

ф а з и л ь
Искандер

с о б р а н и е



с а н д р о и з ч е г е м а 1



собрание

фазиль

ИСКАНДЕР

сандро из чегема 1



МОСКВА

2003

ББК 84.7-4
И86

*Издательство выражает благодарность
Александру Леонидовичу Мамуту
за поддержку в издании книги*

*Макет, оформление, иллюстрации
Валерий Калныньш*

ISBN 5-94117-073-4
ISBN 5-94117-070-X(1)

© Ф. А. Искандер, 2003
© В. Я. Калныньш, 2003
© Издательский дом «Время», 2003



путь из варяг в греки

созвездие козлотура

детство чика

сандро из чегема 1

сандро из чегема 2

сандро из чегема 3

софичка

человек и его окрестности

kozy и шекспир

паром

1. сандро из чегема

Дядя Сандро прожил почти восемьдесят лет, так что даже по абхазским понятиям его смело можно назвать старым человеком. А если учесть, что его много раз пытались убить в молодости, да и не только в молодости, можно сказать, что ему просто повезло.

В первый раз он получил пулю от какого-то негодяя, как он его неизменно называл. Он получил пулю, когда затягивал подпругу своему коню перед тем, как покинуть княжеский двор.

Дело в том, что он тогда был любовником княгини и торчал у нее день и ночь. Благодаря своим выдающимся рыцарским достоинствам, он был в то время первым или даже единственным ее любовником.

Юный негодяй был влюблен в княгиню и тоже торчал у нее день и ночь, кажется, на правах соседа или дальнего родственника со стороны мужа. Но он, по словам дяди Сандро, не обладал столь выдающимися рыцарскими достоинствами, как сам дядя Сандро. А может, и обладал, но никак не мог найти случая применить их к делу, потому что княгиня была без ума от дяди Сандро.

Все-таки он надеялся на что-то и потому ни на шаг не отходил от дома княгини или даже от самой княгини, когда она это позволяла. Возможно, она его не прогоняла, потому что он подхлестывал дядю Сандро на все новые и новые любов-

ные подвиги. А может, она его держала при себе на случай, если дядя Сандро внезапно выйдет из строя. Кто его знает.

Княгиня эта была по происхождению сванка. Возможно, именно этим объясняются ее некоторые любовные странности. К достоинствам ее прекрасной внешности (дядя Сандро говорил, что она была белая, как молоко), я думаю, необходимо добавить, что она отлично ездила верхом, неплохо стреляла, а при случае могла выдоить даже буйволицу.

Я об этом говорю потому, что доить буйволицу трудно, для этого надо иметь очень крепкие пальцы. Так что вопрос об изменности, инфантильности или физическом вырождении сам по себе отпадает, несмотря на то, что она была чистокровным потомком сванских князей.

Я думаю, что этот факт не противоречит историческому материализму, если учесть особенности развития общества в высокогорных условиях Кавказа, даже если при этом не учитывать великолепный воздух, которым дышали ее предки и она сама. Дядя Сандро говорил, что иногда в интимные минуты эта амазонка не прочь была ущипнуть своего любимчика, но он терпел и ни разу не вскрикнул, потому что был настоящим рыцарем.

Я подозреваю, что мужу ее, мирному абхазскому князю, приходилось терпеть более грубые формы проявления ее деспотического темперамента. Так что он на всякий случай старался держаться в стороне.

Одно время этот юный негодяй пытался заручиться его поддержкой, так что скорее всего он был родственником му-

жа, а не соседом. Но пользы от этого было мало, хотя муж ее тоже довольно часто торчал у себя дома. Но, разумеется, не так часто, как дядя Сандро, потому что он был страстным охотником на туров, а занятие это требует много энергии и многонедельных походов.

Возможно, ему нужно было, чтобы во время длительных охотничьих отлучек в доме оставался расторопный и храбрый молодой человек, который мог бы развлекать княгиню, принимать гостей, а если надо, и защитить честь дома. Именно таким молодым человеком и был в те времена дядя Сандро. Так что муж княгини, по словам дяди Сандро, любил его не меньше самой княгини. Поэтому на происки юного негодяя он раз и навсегда сказал ему: «Вы меня в свои дела не впутывайте».

Возможно, после этих слов этот безымянный юный негодяй почувствовал себя до того одиноко и сиротливо, что иного выхода не нашел, как выстрелить в дядю Сандро.

Во всяком случае, так обстояли дела до того дня, когда дядя Сандро бодро затягивал подпругу своему коню, а его безутешный соперник уныло стоял посреди двора, и в его голове дозревало легкомысленное даже по тем временам решение выстрелить в дядю Сандро.

И вот только он затянул переднюю подпругу своему коню, как тот окликнул его. Дядя Сандро повернулся, и тот выстрелил.

— ...твою мать! — крикнул ему дядя Сандро сгоряча. — Если ты думаешь меня одной пулей уложить! Стреляй еще!

Но тут подбежали люди княгини, да и она сама выскочила на террасу.

Дядю Сандро подхватили, а он еще некоторое время продолжал ругаться с пулей в животе, а потом уже упал.

Его сначала уложили в доме княгини, но потом это стало неприлично, и через несколько дней родственники унесли его на носилках домой. Княгиня поехала за ним и проводила у его постели ночи и дни, что было немалой честью, потому что отец его был хотя и довольно зажиточным, но простым крестьянином.

Дяде Сандро пришлось очень плохо, потому что турецкий пистолет этого юного негодяя был заряжен чуть ли не осколками разбитого чугунок. Для спасения его жизни из города был привезен знаменитый по тем временам доктор, который сделал ему операцию и лечил его около двух месяцев. За каждый день лечения он брал по барану, так что отец его впоследствии говорил по дядю Сандро, что этот козел ему обошелся в шестьдесят баранов.

Неизвестно, сколько бы еще длилось лечение, если б однажды отец дяди Сандро в неурочное время не вернулся бы с поля. У него сломалась мотыга, и он пришел за новой. Войдя во двор, он увидел, что доктор мирно спит под тенью грецкого ореха вместо того, чтобы лечить его сына или хотя бы готовить ему снадобья. «Небось его бараны пасутся и набираются жиру для него, а он в это время спит», — подумал старик и прошел в дом.

Он вошел в комнату дяди Сандро и еще больше удивился, потому что дядя Сандро спал и притом не один. Для сестры милосердия, даже княжеского происхождения, это было

слишком. Старик больше всего рассердился, потому что не знал, в какой из этих шестидесяти дней она прыгнула к нему в постель, первая догадавшись, что он выздоровел или, по крайней мере, что ему нужно сменить процедуру. Узнай он пораньше об этом, может быть, десяток баранов можно было бы и не давать этому бездельнику. Так или иначе, он растолкал княгиню.

— Вставай, княгиня, князь у ворот! — сказал он.

— Я, кажется, прикорнула, пока отгоняла от него мух, — вздохнула она, потягиваясь и приподымаясь.

— Ну да, из-под одеяла, — буркнул старик и вышел из комнаты.

Тут дядя Сандро, который от стыда притворялся спящим и хотел притворяться дальше, не выдержал. Он прыснул. Княгиня тоже рассмеялась, потому что, как истинная патрицианка, хотя и высокогорного происхождения, она была не слишком смущена.

В тот же день доктор с причитавшимися ему баранами был отправлен в город, а княгиня еще несколько дней погостила в доме дяди Сандро и, уезжая, по-княжески одарила его сестер своими шелками и бусами. Так что все остались довольны, разумеется, все, кроме юного негодяя. После своего злополучного выстрела он окончательно осиротел, потому что княгиня переехала в дом дяди Сандро, а он при всем своем нахальстве никак не мог там показаться. Более того. Ему пришлось совсем уехать из наших мест. Разумеется, он скрывался не столько от возмездия закона, сколько от пули одно-

го из родственников дяди Сандро. Так что если в доме княгини он все-таки мог надеяться на какой-нибудь случай, чтобы доказать свои более выдающиеся рыцарские способности, если, разумеется, они у него были, то теперь ему приходилось страдать издали.

Кроме этого случая в жизни дяди Сандро было множество других, когда его могли убить или, по крайней мере, ранить. Его могли убить во время гражданской войны с меньшевиками, если бы он в ней принимал участие. Более того, его могли убить, даже если бы он в ней не принимал участия.

Кстати, перескажу одно его приключение, по-моему, характерное для смутного времени меньшевиков.

Однажды дядя Сандро возвращался домой с какого-то пиршества. Незаметно в пути его застигла ночь. Время было опасное, кругом шныряли меньшевистские отряды, и он решил попроситься переночевать где-нибудь под ближайшей крышей. Он вспомнил, что где-то поблизости живет один богатый армянин. Дядя Сандро был с ним немного знаком. Этот армянин в свое время бежал из Турции от резни. Здесь он выращивал высокосортные табаки и продавал их трапезундским и батумским купцам, которые платили ему, по словам дяди Сандро, чистым золотом.

И вот он подъехал к воротам его дома и крикнул своим зычным голосом:

— Эй, хозяин!

Ему никто не ответил. Он только заметил, что на кухне погас свет, а окна изнутри прикрыли деревянными ставнями.

Он еще раз крикнул, но ему никто не ответил. Тогда он пригнулся, и открыв себе ворота, въехал во двор.

— Не подъезжай, стрелять буду! — услышал он не слишком уверенный голос хозяина. Плохи времена, подумал дядя Сандро, если этот табачник взялся за оружие.

— С каких это пор ты в гостей стреляешь? — крикнул дядя Сандро, отмахиваясь камчой от собаки, которая выскочила ему навстречу. Он слышал, как из кухни доносились женские голоса и голос самого хозяина. Видимо, там держали военный совет.

— А ты не меньшевик? — наконец спросил хозяин, голосом умоляя, чтобы он оказался не меньшевиком или, по крайней мере, назвался как-нибудь иначе.

— Нет, — гордо сказал дядя Сандро, — я сам по себе, я Сандро из Чегема.

— Что ж я твой голос не признал? — спросил хозяин.

— С испугу, — объяснил ему дядя Сандро.

Кухонная дверь осторожно приоткрылась, и оттуда вышел старик с ружьем. Он подошел к дяде Сандро и, окончательно признав его, отогнал собаку. Дядя Сандро спешился, хозяин привязал лошадь к яблоне, и они вошли в кухню. Дядя Сандро сразу заметил, что хозяин и его семья ему обрадовались, хотя истинную причину этой радости он понял гораздо позже. Но тогда он ее принял за чистую монету, так сказать, за скромную дань благодарности его рыцарским подвигам, и это ему было приятно. Кстати, семья хозяина состояла из жены, тещи и двух детей-подростков — мальчика и девочки.

В честь дяди Сандро хозяин послал своего мальчика зарезать барана, достал вино, и, хотя гость для приличия старался удержать его от кровопролития, все было сделано как надо. Дядя Сандро был рад, что остановил выбор на этом доме, что ему не изменило его тогда еще только брезжущее чутье на возможности гостеприимства, заложенные в малознакомых людях. Впоследствии непрерывными упражнениями он это чутье развил до степени абсолютного слуха, что отчасти позволило ему стать знаменитым в наших краях тамадой, так сказать, самой веселой и в то же время самой печальной звездой на небосклоне свадебных и поминальных пиршеств.

Попробовав вина, дядя Сандро убедился, что богатый армянин уже научился делать хорошее вино, хотя еще и не научился как следует защищать свой дом. «Ничего, — подумал дядя Сандро, — в наших краях всему научишься». Так они сидели за полночь у горящего камина за обильным хорошим столом, и хозяин все время направлял разговор в сторону подвигов дяди Сандро, а дядя Сандро, не упираясь, с удовольствием шел в этом направлении, так что застольная беседа их была оживленной и поучительной. Кстати, дядя Сандро рассказал ему знаменитый эпизод из своей жизни, когда он силой своего голоса контузил какого-то всадника, как бы самой звуковой волной смыл его с коня.

— У меня в те времена, — добавлял он, пересказывая мне приключение с богатым армянином, — был один такой голос, что, если в темноте неожиданно крикну, всадник иногда падал с коня, хотя иногда и не падал.

— От чего это зависело? — пробовал я уточнить.

— От крови, — уверенно пояснил он, — плохая кровь от страха свертывается, как молоко, и человек падает замертво, хотя и не умирает.

Но пойдем дальше. Беседа и вино мирно журчали, дрова в камине потрескивали, и дядя Сандро был вполне доволен. Правда, ему показалось немного странным, что хозяин не отсылает спать своих детей и тещу, потому что хозяйка вполне могла справиться и одна, обслуживая их за столом. Но потом он решил, что детям будет полезно послушать рассказы о его подвигах, да и не каждый день к ним заворачивает такой гость, как Сандро из Чегема.

Но тут снова залаяла собака, и хозяин посмотрел на дядю Сандро, а дядя Сандро на хозяина.

— Эй, хозяин! — раздалось со двора.

Дядя Сандро прислушался и по перемещающемуся звуку собачьего лая определил, что она облаивает по крайней мере пять-шесть человек.

— Меншевики, — прошептал хозяин и с надеждой посмотрел на дядю Сандро. Сандро это не понравилось, но отступить было стыдно.

— Попробую голосом, — сказал он, — если не поможет, будем защищаться.

— Эй, хозяин, — снова раздался сквозь собачий лай чей-то голос, — выходи, а то хуже будет!

— Отойдите от дверей, — приказал дядя Сандро, — они сейчас будут стрелять в дверь. Меншевики сначала в дверь стре-

ляют, — пояснил он некоторые особенности тактики меньшевиков. Только он это сказал, как — шлеп! шлеп! шлеп! — ударили пули по дверям, выбрызгивая щепки в кухню.

Тут все три женщины заплакали, а теща богатого армянина даже завыла, совсем как наши женщины на похоронах.

— Что же у тебя двери не из каштана? — удивился дядя Сандро, видя, что его дверь ни черта не держит.

— О, Аллах, — воскликнул хозяин, — я знаю табачное дело, такие дела я не знаю.

Он совсем растерялся. Он держал свою старую флинтку, по словам дяди Сандро, как пастушеский посох. «Хоть бы хорошую винтовку привез из Турции», — подумал дядя Сандро с раздражением. Он понял, что на помощь этого табачника рассчитывать не стоит.

— Куда эта дверь ведет? — спросил дядя Сандро, кивнув на вторую дверь в кухне.

— В кладовку, — сказал хозяин.

— Сейчас буду кричать, — объявил дядя Сандро, — пусть женщины и дети запрут в кладовке, а то они своим плачем испортят мой крик.

Хозяин пропустил всю семью в кладовку и уже сам туда хотел войти, чтобы никто не мешал дяде Сандро, но тот его остановил. Он приказал ему стоять у одного из открытых окон, а сам подошел к другому, держа наготове винтовку.

— Открой, хозяин, а то хуже будет, — закричали меньшевики и снова стали стрелять в дверь, и дверь опять стала выщелкивать щепки. Одна щепка ударила дядю Сандро по щеке

и впиалась в нее, как клещ. Дядя Сандро вынул ее и разозлился на богатого армянина.

— Хоть бы дубовые сделал, — сказал он ему, — раз уж вы в Турции о каштановых слухом не слышали.

— Я эти дела не знаю и знать не хочу, — запричитал богатый армянин, — я хочу продавать табак трапезундским и батумским купцам, я больше ничего не хочу.

Но тут дядя Сандро набрал полную грудь воздуха и закричал своим невероятным голосом.

— Эй, вы! — закричал он. — У меня полный патронташ, я буду защищать дом, берегитесь!

С этими словами он слегка приоткрыл ставню и выглянул во двор. Светила луна, но дядя Сандро сначала ничего не заметил. Потом он взгляделся в черную тень грецкого ореха и понял, что они там укрываются. Он удивился, что они сразу не прошли в дом к богатому армянину, ведь бояться его они не могли, но потом догадался, что они заметили чужого коня, привязанного к яблоне, и решили подождать.

Видимо, они совещались, обсуждая его грозное предупреждение. «Может быть, уйдут, — подумал он. — Как бы не прихватили мою лошадь», — вдруг пришло ему в голову, и он замер у окна, вглядываясь в тех, что стояли в тени грецкого ореха.

— Ну, что, попадали они со своих лошадей? — спросил старый табачник. Он совсем не доверял меньшевикам и потому не решался приоткрыть ставню и выглянуть.

— Откуда у этих эндурских голодранцев лошади, — проворчал дядя Сандро, продолжая свои наблюдения.

В те времена он считал, что все меньшевики эндурского происхождения. (Эндурцами в Абхазии считают эндурцев, то есть жителей Эндурского района, независимо от их национального происхождения.)

Тут дядя Сандро заметил, что один из этих прохвостов быстро перебежал двор и остановился в тени яблони возле его лошади. Дядя Сандро не заметил, что он там делает, потому что он стоял за лошадью. Все равно ему это не понравилось.

— Эй, — крикнул он, — это моя лошадь! — Он своим голосом дал знать, что кричащий и хозяин дома далеко не одно и то же.

— А ты Ной Жордания, что ли? — ответил тот, что был у лошади, роясь, как теперь догадался дядя Сандро, в его дорожной сумке. И, хотя сумка была пустая, дяде Сандро такое дело совсем не понравилось. Если человек лезет в твою сумку, значит, он тебя не боится, а раз не боится, значит, может убить.

— Я — Сандро из Чегема! — гордо крикнул дядя Сандро, и ему до того захотелось снести голову этому парню из своей винтовки, что он еле сдержал себя. Он знал, что, если он одного или двоих уложит, остальные сбегут, но потом они придут целым отрядом и наделают бед.

— Мы тебя убьем вместе с хозяином, если не откроете, — сказал тот, продолжая возиться с его сумкой.

— Если меня убьете, за меня отомстит Щашико! — гордо крикнул дядя Сандро.

Услышав такое, те, что стояли в тени грецкого ореха, немного поговорили между собой и отозвали того, что стоял

у лошади. Дядя Сандро подумал, что слухи о знаменитом Щашико дошли до самого Эндурска.

— А кем он тебе приходится? — услышал он.

— Он мой двоюродный брат, — ответил дядя Сандро, хотя Щашико был ему только земляком. Щашико был известным абхазским абреком и стоил примерно ста хороших меньшевиков, как разъяснил мне дядя Сандро.

— Пусть откроет, мы золото не будем искать, — крикнул один из них.

— Золота все равно нету, — встрепенулся старый табачник.

— Какой же ты богатый табачник, если у тебя нету золота? — удивился дядя Сандро.

— Уже взяли! — нервно вскрикнул старый табачник и, бросив свою флинтку, стал бить себя по голове.

— Золото вы уже взяли! — крикнул дядя Сандро сердито.

Тут меньшевики начали что-то хором кричать так, что нельзя было разобрать, что они говорят.

— Говорите кто-нибудь один, — крикнул дядя Сандро, — мы не на базаре.

— Это не мы, это другой отряд золото брал, — крикнул один из меньшевиков обиженным голосом.

— Тогда что вам надо? — удивился дядя Сандро.

— Мы возьмем немного скотины, раз ты брат Щашико, — ответил один из них.

— Так что, впускать? — спросил дядя Сандро, потому что ему не очень хотелось рисковать жизнью ради этого табачника, тем более, что дверь у него прошивалась пулями, как тыква.

— Пускай идут, пускай грабят, — махнул рукой старый табачник, — все равно я отсюда уеду.

И вот дядя Сандро открыл дверь и, держа винтовку наготове, вышел из дому. Меньшевики тоже вышли из тени и пошли ему навстречу, не спуская с него глаз. Их было шесть человек, вместе с писарем этого села, который слегка пожал плечами, когда дядя Сандро взглянул на него. Он пожал плечами в том смысле, что они его заставили заниматься этим некрасивым делом.

Меньшевики, опасливо озираясь, вошли в кухню. По тому, как они сразу же устались на стол, дядя Сандро понял, что эти голодранцы не каждый день обедают, и еще больше стал их презирать, хотя и не подал виду.

— А эта дверь куда ведет? — спросил старший из них. Он был в офицерской форме, хотя и без погон.

— Там кладовка, — сказал хозяин.

— Там кто-то есть, — сказал один из меньшевиков и направил свою винтовку на дверь.

— Там семья, — сказал старый армянин. Его теща слегка завyla, показывая, что она женщина.

— Пусть выходят, — сказал старший.

Хозяин проковылял в кладовку и стал по-армянски уговаривать, чтобы они вышли. Но они стали отказываться и всячески упираться. Дядя Сандро все понимал по-армянски, поэтому он подсказал хозяину, как их оттуда выкурить.

— Скажи им, что солдатам надо харч приготовить, чтобы они не боялись, — подсказал он ему по-турецки.

Хозяин сказал им про харч, и они в самом деле вышли и стали у дверей. Один из солдат взял лампу и заглянул в кладовку, чтобы узнать, нет ли там вооруженных мужчин. Вооруженных мужчин не оказалось, и меньшевики немного успокоились.

Теща хозяина подбросила в огонь свежих поленьев и стала мыть котел, чтобы сварить в нем остатки барана. Как только она взялась за стряпню, она перестала бояться солдат и начала ругать их, правда, по-армянски.

— Давайте к столу, — сказал дядя Сандро, — а винтовки сложите в углу.

Меньшевикам очень хотелось к столу, но винтовки бросать не хотелось. Хозяина-то они не боялись, но уже поняли, что дяде Сандро пальца в рот не кладут.

— Ты тоже свою винтовку положи, — сказал старший.

— Вы — гости, вы первые должны это сделать, — разъяснил дядя Сандро простейший этикет невежественному руководителю солдат.

— Но ты тоже гость, — попытался он спорить. Но в таких делах спорить с дядей Сандро уже тогда было бесполезно.

— Я первый пришел, значит, я гость по отношению к хозяину, а вы пришли после меня, значит, вы гости по отношению ко мне, — окончательно добил он его, показывая этому выскочке, как нужно вести себя в приличном доме перед тем, как сесть за хороший стол. Тут старший окончательно понял, что дядя Сандро не из простых, и первым поставил свою винтовку в угол. За ним последовали остальные, кроме писаря, потому что у не-

го не было никакой винтовки. Дядя Сандро поставил свою винтовку отдельно в другой угол кухни. Флинта хозяйина валялась возле окна. На нее никто не обратил внимания.

И вот они вместе с дядей Сандро уселись за стол друг против друга, в каждое мгновение готовые сорваться за своей винтовкой, понимая, что главное не дать опередить себя. Вообще-то, у дяди Сандро был еще в кармане пистолет, но он делал вид, что теперь безоружен.

— Обычно, — прервал на этом месте дядя Сандро свой рассказ, — я перед тем, как войти в дом, где может быть опасность, прятал где-нибудь поблизости винтовку или заряженный пистолет. Но здесь ничего не спрятал, потому что это был мирный армянин.

— Зачем прятали оружие? — спросил я, зная, что он ждет этого вопроса.

— А как же, — хитро улыбнулся он, — если на тебя неожиданно кто-то напал и разоружил тебя, лучше этого способа нет. Он уходит с твоим оружием, он торжествует, он потерял над собой контроль, и тут ты догоняешь его и отбираешь у него свое оружие и все, что он имеет. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал я, — но если и он прятал оружие и теперь догонит вас и отберет свое оружие, ваше оружие и все, что вы имеете?

— Этого не могло быть, — сказал дядя Сандро уверенно.

— Почему? — спросил я.

— Потому, что это был мой секрет, — ответил он и горделиво разгладил свои серебряные усы, — я его тебе открываю,

потому что ты не только моими секретами, даже своими не можешь пользоваться.

После этого небольшого лирического отступления он продолжал свой рассказ.

Одним словом, они просидели за столом остаток ночи — пили вино и доедали барана. Они поднимали тосты за счастливую старость хозяина, за будущее его детей. Пили, косясь на винтовки, за цветущую Абхазию, Грузию, Армению и за свободную федерацию Закавказских республик, разумеется, под руководством Ной Жордания.

На рассвете старший поблагодарил хозяина за хлеб-соль и сказал, что надо уладить дело, потому что им пора идти. С этими словами он вынул из кармана бумагу, где было записано, сколько у хозяина мелкого и крупного рогатого скота. Когда офицер вынул бумагу, дядя Сандро посмотрел на писаря так, что он съежился.

— Я подтвердил, что Щащико твой брат, — сказал он ему по-абхазски вполголоса.

— Молчи, чесотка, — ответил дядя Сандро презрительно.

— Ты не у себя в Чегеме, — огрызнулся писарь, видимо осмелев от выпитого.

— Чтоб раздавить жабу, не обязательно ехать в Чегем, — сказал дядя Сандро и так посмотрел на писаря, что тот сразу же отрезвел и прикусил язык.

Руководитель отряда долго торговался с хозяином и наконец они сговорились на том, что старик даст ему двадцать баранов и трех быков.

— Нет, я здесь не останусь, я уеду в Батум, — причитал старик, вскрикивая.

— В Батуме будет то же самое, — честно обещал тот, что был в офицерской форме, но без погон.

— Турки резали за то, что армяне, а вы за что? — допытывался старик.

— Для нас все нации равны, — важно отвечал ему старший, — это помощь населению, а не грабеж.

Потом все они поднялись из-за стола, взяли свои ружья и все вместе вышли во двор. Было раннее утро, и в доме старика все еще спали.

— Уеду, уеду, уеду, — причитал старый табачник, пока они проходили к скотному двору.

Старый табачник, продолжая ругаться и проклинать шайтанское равенство, вывел из сарая быков. Это были сильные и породистые быки. Дядя Сандро пожалел, что таких хороших быков приходится отдавать этим эндурским громилам. Он заметил, что в сарае на привязи стоит еще один бык. «С одним быком много не напашешь», — подумал дядя Сандро, жалея хозяина. Потом он вспомнил, что сам недавно проиграл в кости быка и помрачнел. Долг все еще висел на его чести и мешал ему веселиться.

Руководитель отряда договорился с хозяином, что овец выбирать не будут, а прямо отсчитают первые двадцать голов, которые выйдут из загона. Писарь, хрустнув плетнем, перелез в загон и стал выгонять овец. Когда овец перегнали на скотный двор, оказалось, что среди них одна хромая, еле-еле волочится.

— Брак, — сказал руководитель отряда.

— О, Аллах! — взмолился табачник. — Мы же договорились, не я выгонял овец.

— Но она же не дойдет? — задумался руководитель.

— Какое мое дело! — воскликнул хозяин. — Пусть кто-нибудь из твоих людей возьмет ее на плечи.

— Да ну ее, — сказали солдаты, — может, еще заразная.

— Какое мое дело, — повторил хозяин, закрывая загон и показывая, что торг закончился.

— Дайте мне ее, — не выдержал тут писарь, обращаясь к руководителю, — раз она вам не нужна.

— Черт с тобой, бери! — сказал тот. Он был рад, что не приходится заставлять солдат, потому что боялся, что они его не послушаются, и ему будет стыдно перед дядей Сандро.

Писарь с жалкой радостью поймал больную овцу, взвалил ее себе на плечи и стал выходить на дорогу... «Как собака, получившая свою кость», — подумал дядя Сандро, глядя на него.

— Чесотка к чесотке тянется, — сказал он, когда тот проходил мимо. Писарь ничего не ответил, но нарочно, чтобы разозлить дядю Сандро, прочавкал мимо него по грязи, осторожно ликуя под тяжестью добычи. Как только он немного отошел, больная овца, вывернув шею и глядя в сторону загона, так жалобно заблеяла, что дяде Сандро стало не по себе. Потом, когда солдаты вслед за писарем погнали остальных овец, больная овца успокоилась. Но дядя Сандро знал, что, когда писарь свернет к себе домой, а солдаты пойдут дальше, она

опять начнет кричать, и ему было жалко эту несчастную овцу, этого старого табачника и самого себя.

Когда меньшевики скрылись из глаз, дядя Сандро, не глядя на хозяина, сказал:

— Все равно они тебя в покое не оставят, дай мне этого быка...

Хозяин посмотрел на дядю Сандро и молча стал бить себя по голове. Дяде Сандро было неприятно говорить хозяину про быка, но этот проклятый писарь с больной овцой совсем доконал его.

— Бери, все бери, я здесь ни дня не останусь! — наконец закричал хозяин, продолжая бить себя по голове, словно исполняя мрачный обряд шахсей-вахсея.

— Нет, — сказал дядя Сандро, сдерживая рыдания, — я возьму только быка, я его должен одному человеку...

С этими словами он прошел в сарай и стал отвязывать быка.

— Все бери! — закричал ему вслед старый табачник. — Только веревку оставь!

— Зачем тебе веревка? — удивился дядя Сандро.

— Повеситься хочу! — весело крикнул ему старый табачник.

Не понравилось дяде Сандро его веселье, и он стал стыдить старого табачника за малодушие, напоминая, что у него семья и дети.

— В Батум, в Батум уеду, — бормотал старый табачник, уже не слушая его.

— Послушай, — сказал дядя Сандро вразумительно, — если ты один уедешь, тебя десять раз ограбят по дороге. Даю те-

бе слово Сандро из Чегема, что я провожу тебя до самого парохода, дай только знать, когда будешь ехать.

С этими словами он ударил быка так, чтобы он шел впереди по дороге, а сам вернулся во двор и подошел к своей лошади. Он быстро затянул подпруги и только хотел сесть, как вспомнил, что солдат рылся у него в сумке. «Может, бомбу подложил», — подумал он и, сунув руку в сумку, быстро обшарил ее. Она была пуста. Дядя Сандро вскочил на свою лошадь и выехал со двора. Бык медленно шел впереди него вдоль усадьбы старого табачника. Догоняя его, дядя Сандро не удержался и взглянул на хозяина. Старый табачник, пригнувшись к плетню, старательно поправлял разъехавшиеся прутья загона, словно в эту дыру утекли все его богатства.

Дядя Сандро исполнил свое обещание. Месяца через два старый табачник продал все, что можно еще было продать, нанял аробшика и отправился в город. Дядя Сандро сопровождал его верхом на лошади до самой пристани. Глядя на убогий скарб переселенца, никто бы не поверил, что это бывший богатый армянин, поставщик высокосортных табаков трапезундским и батумским купцам.

— Если б дверь была из каштана, еще можно было сопротивляться, — вспомнил дядя Сандро, прощаясь.

— Даже слышать не хочу об этом, — махнул рукой старый табачник. Так они расстались навсегда, и больше его дядя Сандро не встречал в наших краях.

— Вот так из-за меньшевиков лучшие люди нашего края вынуждены были покинуть его, — заключил дядя Сандро

свой рассказ, слегка выпучив глаза и многозначительно покачивая головой, как бы намекая на то, что последствия разбазаривания кадров до сих пор сказываются и еще долго будут сказываться как в административном, так и в чисто хозяйственном смысле.

2. дядя сандро у себя дома

Однажды, когда я собирался уехать из горной деревушки Чегем, где гостил у своих родичей в доме дедушки, мне сказали, что меня хочет видеть один человек.

Я вышел из дому и увидел старика, который, палкой отбиваясь от собак, входил во двор. В одной руке он держал довольно увесистый жбан. Я отогнал собак и подошел к нему.

Взглянув на старика, я подумал, что где-то его видел, но не мог вспомнить где. Вернее, даже не сам старик, а то, с какой радостной злостью накинулись на него собаки, и то, с какой неутраченной яростью он от них отбивался, напомнило мне знакомую картину, но я никак не мог припомнить, когда и где это было.

И только потом, уже в автобусе на обратном пути, я вспомнил, что это было там же, возле дедушкиного дома. Видимо, надо было отойти от этого места, чтобы восстановить в памяти полузабытую картину.

Я вспомнил, что в детстве во время войны, когда я жил у дедушки, этот человек проходил время от времени мимо на-

шего дома, и собаки всегда с такой же веселой злостью напали на него, и он с такой же неугасающей яростью от них отбивался, при этом не убыстряя и не замедляя шагов.

Тогда у нас, посмеиваясь, говорили, что он до самого города ходит пешком, потому что во время войны машины были редки, да и сесть в них было не так-то просто.

Было странно, вернее, как-то чудно, что собаки только на него так набрасывались, потому что он проходил здесь довольно часто, так что им можно было привыкнуть к нему, как они привыкли ко всем остальным, но почему-то к нему они никак не хотели привыкать. Так что можно было, не выходя из дому, по собачьему лаю определить, что это он проходит по дороге.

Обычно, конечно, кто-нибудь выходил, чтобы унять собаку, но не всегда это удавалось, да и он, видимо, несколько их не боялся, а проходил с мешком или без мешка своей упорной походкой, даже успевал, если возвращался из города, прокричать сквозь собачий лай городские военные новости и, не останавливаясь, шел дальше. Но все это, повторяю, я вспомнил на обратном пути, уже в автобусе.

...Мы поздоровались со стариком. Он приподнял жбан и в то же время, озираясь на собак с презрительной яростью, попросил, чтобы я передал в городе этот небольшой гостинчик его брату Сандро.

Я покосился на жбан. Дело было не из приятных. Тащить с ним километров десять до автобуса, а там еще искать в городе какого-то Сандро. Но и прямо отказать тоже было как-то неудобно, я замаялся, чем и воспользовался старик. Поняв

мой взгляд, который я бросил на жбан, он опередил мой отказ, сказав, что проводит меня до машины.

— Хорошо, — согласился я, — только где он живет?

— Бумагу внучка написала, — ответил он и, воткнув свой посох в землю, при этом снова покосился на собак, словно давая им знать, что все равно успеет схватить палку когда надо, достал из кармана негнушейся ладонью тетрадный лист. На нем крупным детским почерком был написан адрес. Тут я опять пожалел, что согласился, но было уже поздно. Брат его жил в пригороде. Правда, туда регулярно ходят автобусы, но все же что за охота тащиться к этому Сандро. Леня изобретательна, и мне пришло в голову, что, может, он работает где-то в городе, так что удобней будет этот жбан занести к нему на работу. Я спросил об этом старика.

— Сандро не из простых, он из присматривающих, — сказал старик, как мне показалось, со скрытой насмешкой над моим невежеством. По-абхазски слово «присматривающий» означает также и «руководящий».

Я попытался выяснить, за чем он присматривает. Старик снова посмотрел мне в глаза с тайной насмешкой, и теперь я понял, что смысл ее в том, что я не могу не знать людей присматривающих, потому что их не так уж много, и если я к ним не принадлежу или о них ничего не слышал, то это не значит, что они сами по себе не существуют.

— Он бывает на сборищах, где собираются стоящие люди, — пояснил он терпеливо и в то же время давая знать, что мне не удастся его перехитрить.

Через полчаса я распрошался с родственниками и пустился в путь. Кстати, они мне напомнили, что речь идет о том самом Сандро, который до войны жил недалеко от дедушкиного дома. Потом, уже после наших первых встреч в городе, я, как это бывает, вспомнил многое, связанное с его жизнью в деревне, но тогда напоминание о нем мне почти ничего не сказало.

Мой спутник оказался очень услужливым и на редкость молчаливым стариком. По дороге он несколько раз порывался взять мой вещмешок, а когда тропа проходила сквозь кустарник дикого ореха, он придерживал нависающие ветки и пропускал меня вперед.

Когда мы спустились к реке и стояли на берегу в ожидании парома, он почему-то сунул жбан в воду и держал его там, покамест паром подходил. Зачем ему надо было охлаждать мед — для меня так и осталось загадкой. Не мог же он не знать, что мед и вообще-то не портится, а такое кратковременное охлаждение все равно никакой пользы не принесет. Солнце довольно сильно пекло, и я в конце концов решил, что он погрузил жбан в холодную горную реку просто для того, чтобы сделать приятное меду или даже самому жбану.

— Не потеряй жбан, он мне нужен для одного дела, — сказал старик, когда я влезал в автобус.

— Не потеряю, — ответил я, понимая, что означает его, якобы отвлеченный, интерес к жбану.

Он стоял возле машины, терпеливо дожидаясь отправки. Я ему сказал, чтобы он шел домой, но он остался ждать,

продолжая загадочно улыбаться, словно я опять пытался его в чем-то перехитрить. Кажется, он хотел увериться, что жбан с медом, по крайней мере, выехал в нужном направлении.

— Передай Сандро, что орехи и кукурузу привезу, как только управлюсь! — крикнул он после того, как автобус тронулся. При этом он закивал головой, словно раскрывая более глубокий смысл своих слов: да, да, там-то я и проверю, как ты справился с моим поручением.

На следующий день я не без труда нашел участок дяди Сандро, как я его потом называл. Впрочем, так его называл чуть ли не весь город.

Обсаженный фруктовыми деревьями и мандариновыми кустами, участок был расположен на крутом косогоре. Поднимаясь к дому по узкой тропке, я подумал, что хозяин и здесь, поблизости от города, выбрал себе место, в миниатюре повторяющее рельеф гор. Теплый осенний день клонился к закату. В воздухе стоял запах перезревшего инжира и тонкий аромат цитрусов. Я подошел к дому.

Опрятная миловидная старушка, стоя на крыльце, ласковым голосом сзывала кур, равномерно, как сеятель, разбрасывая пригоршни кукурузы. Увидев меня, она собрала с подола последнюю горсть зерна, высыпала и, отряхивая фартук, приветливо улыбнулась.

— Хозяин дома? — спросил я.

— Тебя, — повернулась она в сторону веранды. Услышав ее голос, я вдруг вспомнил ее имя — тетя Катя!

— Кто? — спросил из веранды сдержанный, но сильный мужской голос. Веранда была открытая, и я удивился, что говорящего не видно. Я решил, что хозяин лежит на кушетке.

— Первый раз вижу, — сказала старушка, мельком улыbnувшись мне, словно извиняясь за то, что вынуждена объясняться при мне.

— Пусть подыметса, — сказал голос откуда-то снизу. Я взошел на веранду и увидел дядю Сандро. Он сидел на низенькой скамеечке и мыл ноги в тазу.

— Добро пожаловать, — сказал он и чуть привстал, показывая, что тазик мешает ему сделать жест гостеприимства более широким, одновременно как бы предлагая убедиться в его потенциальной широте. После этого он удобней уселся на стульчике, потирая ногой ногу, с вежливым любопытством оглядел меня, показывая, что любопытство его целиком поглощено моей духовной сущностью и никак не распространяется на жбан.

— По обличью вижу, что городской, — сказал он, с хрустом потирая сильные, гибкие ступни ног.

Я назвал себя, объяснил ему цель своего визита и уселся на стул, который подала мне хозяйка, что-то невидимое стряхнув с него фартуком. Дядя Сандро повел бровями в сторону жбана и вполголоса бросил жене:

— Убери.

Старушка взяла жбан и, улыbnувшись мне в том смысле, что человека моего калибра, пожалуй, не стоило беспокоить из-за какого-то меда, унесла его на кухню.

Удивившись, что с тех довоенных времен я довольно сильно вырос, хотя было бы удивительней, если б я остался таким же, он, посетовав на быстротекущую жизнь, успокоился и стал расспрашивать о родственниках и видах на урожай в этом году. Я отвечал, разглядывая его.

Это был на редкость благообразный старик с короткой серебряной шевелюрой, белыми усами и белой бородкой. Розовое прозрачное лицо его светилось почти непристойным для его возраста младенческим здоровьем. Каждый раз, когда он приподнимал голову, на его породистой шее появлялась жировая складка. Но это была не та тяжелая заматерелая складка, какая бывает у престарелых обжор. Нет, это была легкая, почти прозрачная складка, я бы сказал, высококалорийного жира, которую откладывает, вероятно, очень здоровый организм, без особых усилий справляясь со своими обычными функциями, и в оставшееся время он, этот неуязвимый организм, балуется этим жирком, как, скажем, не слишком занятые женщины балуются вязаньем.

Одним словом, это был красивый старик с благородным, почти монетным профилем, если, конечно, монетный профиль может быть благородным, с холодноватыми, чуть навывкате голубыми глазами. В его лице уживался благостный дух византийских извращений с выражением риторической свирепости престарелого льва.

Во время нашей легкой беседы он продолжал омовение ног, время от времени подливая из кувшинчика теплую воду, словно добавляя в тазик благовонные масла.

Вымыв ноги, он расставил их, проследив за симметрией, по краям тазика и, продолжая разговаривать со мной, бросил жене:

— Принеси.

Старушка вошла в кухню и вынесла оттуда старое, но чистое полотенце. Он взял у нее из рук полотенце и легко приподнял обе ноги, показывая, что тазик можно убрать, что и сделала эта миловидная старушка. Она приподняла тазик и тут же шлепнула воду с крыльца.

Дядя Сандро оперся пяткой одной ноги о пол и, продолжая держать другую на весу, стал тщательно протирать ее полотенцем. Он протер одну ногу одним концом полотенца, затем другим концом другую ногу, словно давая каждой ноге, а также окружающим людям урок справедливости и равноправия в пользовании благами жизни.

Все это время он разговаривал со мной, иногда посматривая в дверной проем, словно ожидая кого-то, иногда давая своей жене мелкие хозяйские распоряжения. При этом он понижал голос, и это звучало, как в театре — реплики в сторону, которые якобы зритель не слышит.

— Безразмерные, — сказал он неожиданно, и старушка принесла ему носки, которые он с удовольствием надел, тщательно расправив на них все складки. Старушка поставила рядом с ним галоши уже в качестве личной инициативы, но, видимо, неудачно, потому что дядя Сандро тут же поправил ее. — Новые, — сказал он, как мне показалось, по случаю моего прихода. Старушка унесла старые галоши

и принесла новые, сверкающие черным лаком, с загнутыми вверх носками.

Дядя Сандро надел галоши, легко встал и оказался, ко всем своим достоинствам, еще и высоким, стройным стариком, широкогрудым и узкобедрым, что несколько размывало иконописность его облика и одновременно усиливало дух византийских извращений, возможно, отчасти за счет галош с загнутыми носками.

— Накроешь здесь, — сказал он жене, переходя к столу, что стоял в конце веранды.

Я попытался отказаться, но дядя Сандро не пустил меня. Старушка накрыла стол чистой скатертью, потом принесла сыр, лобio, зелень, хлеб, кислое молоко в запотелых банках и чайные блюда, наполненные пахучим медом.

За ужином дядя Сандро спросил у меня, где я работаю. Я сказал, что работаю в газете.

— Писарь? — спросил он, насторожившись. Я ему сказал, что иногда пишу сам, а чаще всего привожу в порядок то, что пишут другие.

— Значит, присматриваешь за пишущими, — догадался и успокоился он.

Дядя Сандро на некоторое время задумался, а потом, взглянув мне в глаза, спросил, сколько теперь стоит нанять человека из газеты для написания фельетона. Я ему ответил, что для этого ничего не надо платить.

— А почему тогда за объявление о смерти родственника берут деньги? — спросил он.

Я объяснил ему разницу и сказал, что фельетоны пишутся о жуликах, тунеядцах и бюрократах.

— Значит, сначала надо нанять адвоката, чтобы он доказал, что этот человек жулик или бюрократ? — спросил он.

— А в чем дело? — сказал я.

— У меня есть враг в горсовете, — пояснил дядя Сандро, — инженерчик из Эндурска, хотя и скрывает, где родился. Должен деньги получить за оползень, а он не дает.

— Что за оползень? — спросил я.

— У меня на участке оползень, а дом застрахован. Этот негодяй не хочет акт подписывать. Хорошо бы его напугать фельетоном, — сказал дядя Сандро и, сжав кулак, пригрозил им инженерчику из горсовета.

В это время на веранду вошла женщина и, увидев нас за столом, смущенно остановилась.

— Дорогой дядя Сандро, — сказала она, краснея и запинаясь, — извините, что напоминаю, но вы не забыли...

— Как можно! — воскликнул дядя Сандро и, встав, жестом пригласил ее к столу.

— Что вы, сидите! — всплеснула она руками. — Я забежала на минутку.

— Он такие вещи не забывает, — вставила тетя Катя не то с грустью, не то с насмешкой.

— Помолчи, — сказал дядя Сандро миролюбиво и добавил, деловито взглянув на женщину, — вино откуда привезли?

— Вино лыхнинское, пьется, как лимонад, — сказала женщина и добавила: — Говорят, с ними будет один человек,

прямо, говорят, чудище какое-то... Собирается всех наших спонить...

— Кто такой? — встрепенулся дядя Сандро.

— Родственник шарбовцев, — пояснила женщина, — прямо какое-то чудище, говорят. Как бы он нас не опозорил, дядя Сандро, уж вы постарайтесь...

— А-а, знаю я его, сидел с ним, — вспомнил дядя Сандро и презрительно выпятил нижнюю губу. В это мгновение, казалось, он мысленно пробежал картотеку своих застолий и, вытащив нужную карточку, удостоверился, что соперник никакой опасности не представляет. — Передай своим: то, что он выпьет, я в ухо налью, — добавил дядя Сандро и для наглядности похлопал по уху.

— За вами мы, как за большой крепостью, дядя Сандро, — сказала женщина и, пятясь к дверям, заспешила, — так я пойду, дядя Сандро, а то еще столько дел.

— Через час буду у вас, — сказал он и принялся за кислое молоко.

— За вами мы, как за большой стеной, — донесся голос женщины уже с тропинки.

— Мясо не переварите, мясо! — напомнил дядя Сандро зычным голосом, когда она уже скрылась в зарослях мандарина.

— Не беспокойтесь, дядя Сандро, мы постараемся! — успела она ответить откуда-то снизу.

— Не забывай, что ты старик, — сказала тетя Катя с бесполезной грустью.

— С тобой забудешь, — сказал дядя Сандро и, макая ложку сначала в мед, а потом в кислое молоко, принялся за еду.

— Зятя впускают в дом, — пояснил он причину посещения женщины, легко, я бы сказал, красиво отправляя ложку в рот, — хотят, чтобы я был тамадой. Невозможно отказать — соседи.

— Для тебя весь город соседи, — сказала жена все с той же бесполезной грустью, вглядываясь в дорогу, проходящую под их усадьбой.

— И ты можешь гордиться этим, — заметил дядя Сандро, взглянув на меня.

— Вы еще хоть куда, — сказал я.

После ужина мы вымыли руки, причем дядя Сандро долго и тщательно полоскал водой свои большие желтоватые зубы. Потом он натянул на ноги легкие азиатские сапоги, надел черкеску, слегка пожурив жену, что газыри плохо протерты. Он чистым платком протер их и затянул кавказским поясом свою прямо-таки осиную талию.

— Пойдем покажу, что сделал оползень, — сказал дядя Сандро, и мы спустились. Дядя Сандро шел легкой гарцующей походкой, и я снова залюбовался этим серебряноголовым неправдоподобно сохранившимся стариком.

Он показал рукой на цементные сваи, подпиравшие дом. На двух сваях в самом деле были трещины, на мой взгляд, не слишком катастрофические. Забегая вперед, скажу, что дом его до сих пор стоит на месте, хотя с тех пор прошло несколько лет.

— Все-таки его можно было бы припугнуть фельетоном, — сказал дядя Сандро, заметив, что трещины на сваях не произвели на меня большого впечатления.

— Надо посоветоваться, — сказал я неопределенно. Я попрощался со старушкой, и мы с дядей Сандро пошли по тропинке к выходу.

— Не перепивай, не забывай, что ты старик, — с бесполезным упрямством кинула старушка ему вслед. Было похоже, что она ему эту мысль внушает уже десятки лет.

— Вот женщина, — пробормотал дядя Сандро и, не оборачиваясь, кивнул головой в сторону жены в том смысле, что она сознательно упрощает сложный круг его общественных обязанностей.

Покамест мы спускались, дядя Сандро спросил у меня — нет ли среди моих знакомых надежного проводника, чтобы ему можно было доверить фрукты для отправки в Москву. Я сказал, что у меня есть несколько знакомых проводников, но они, скорее всего, мошенники.

— Таких не надо, — сказал дядя Сандро и, просунув руку между штaketинами, щеколдой закрыл изнутри калитку. Мы вышли на дорогу.

Нам надо было идти в разные стороны, но дядя Сандро медлил, словно хотел спросить о чем-то важном, но не решался. Все же он спросил у меня, нет ли среди моих знакомых людей, которые хотели бы купить свежие фрукты прямо с дерева. По интонации я понял, что это не тот вопрос, который он хотел мне задать, скорее всего, этот вопрос — подступ к то-

му, который он сейчас решил отложить. Я сказал ему, что такие знакомые у меня есть.

— Так приведи их, — сказал он, — или же сам бери.

— Хорошо, — сказал я.

— Подумай насчет инженерчика, — напомнил он мне осторожно.

— Хорошо, — сказал я бодро, что ему, видно, понравилось. Он оживился.

— Лучше даже не печатать, — добавил он, — а так просто показать и припугнуть...

— Я подумаю, — сказал я серьезно.

— Мы, земляки, должны друг другу помогать, — заметил дядя Сандро, прощаясь, — заходи.

Видно было, что он доволен и решил, что на этот раз с меня хватит. Он пошел, а я еще немного постоял, любясь его величественной и немного оперной фигурой, как бы иронически сознающей свою оперность и в то же время с оправдательной усмешкой кивающей на тайное шутовство самой жизни.

* * *

Так я стал бывать у дяди Сандро. Возможно, если бы не его рассказы о пережитых приключениях, которые я с удовольствием слушал, мы встречались бы гораздо реже. Я считаю хорошим слушателем, потому что умею отключаться, когда рассказ входит в нудную стадию своего развития. При

этом я время от времени что-нибудь уточняю, ухватившись за хвост последней фразы, что до сих пор помогает мне поддерживать репутацию.

Только один раз в жизни я попался. В те студенческие времена я хаживал в один литературный дом, где устраивались чтения стихов и рассказов. После этого обычно следовало неплохое угощение, особенно если читал хозяин дома.

В тот день как раз он и читал. Предварив свое чтение меланхолическим замечанием, что этот рассказ мы в печати никогда не увидим, хотя другие его рассказы мы тоже никогда в печати не видели, он стал читать нестерпимо скучный рассказ об инспекторе рыбнадзора, который обречен был в конце оказаться хорошо замаскированным браконьером. Он так тщательно его замаскировал, что это было ясно с самого начала.

Скажу коротко, я уснул в самом грубом смысле этого слова. Видит Бог, дело прошлое, я изо всех сил крепился и наконец, как это бывает на собраниях, если сидишь где-нибудь в задних рядах, решил на минуточку прикорнуть, с тем чтобы потом очнуться с посвежевшей головой.

Ни до, ни после этого такого со мной не бывало. Когда я проснулся, в комнате никого не было. Я сначала ничего не понял, а потом, услышав из другой комнаты звон посуды и бодрые голоса моих товарищей, все понял и пришел в ужас. Значит, пока я спал, они успели прочитать рассказ, может быть, даже обсудить его и, оставив меня спать, перешли в другую комнату. Хотелось войти и устроить скандал. Конечно,

можно было набраться нахальства и, сказав, мол, здорово я вас разыграл, потирая руки, усесться за стол. Но это было опасно, могли спросить, кто что говорил во время обсуждения. Униженный и оскорбленный, я тихо вышел в переднюю, схватил плащ и выскочил из дома.

Во всяком случае, дядю Сандро я слушал всегда с неослабевающим вниманием и не помню случая, чтобы хоть на минутку отвлекся.

Постепенно из этих рассказов стала вырисовываться его полуфантастическая в молодости жизнь и довольно странная, во всяком случае, необычная старость.

Оказывается, впервые дядя Сандро переехал в город по приглашению самого Нестора Аполлоновича Лакоба еще в начале тридцатых годов. В те времена он прогремел как один из лучших танцоров знаменитого абхазского ансамбля песен и плясок под руководством Платона Панцулая. Танцуя в ансамбле, он одновременно работал комендантом местного Цика, куда его взял Нестор Аполлонович. Уже тогда он танцевал почти на уровне лучшего танцора ансамбля Паты Патарая, во всяком случае, горячо дышал ему в затылок, и, кто знает, может быть, дядя Сандро дотанцевался бы до такого времени, что почувствовал бы на собственном затылке ревнивое дыхание первого солиста, если бы не безумные события того безумного года.

После смерти Лакоба, когда начались повальные аресты и уже взяли руководителя ансамбля Платона Панцулая, дядя Сандро, провидчески решив, что забирают всех лучших, сна-

чала захромал, а потом и вовсе, уволившись из ансамбля, вернулся в деревню.

Бедняжка Пата, уже испорченный славой, не мог этого сделать и поплатился. Его взяли, обвинили в том, что он на одном из концертов во время исполнения танца с мечами якобы, невольно выдавая тайный замысел, нехорошо посмотрел в сторону правительственной ложи. Разумеется, он во всем признался и получил десять лет. Дядя Сандро, рассказывая об этом, горестно уверял, что этими мечами капусту нельзя было разрубить, а не то чтобы что-нибудь другое.

Второй раз дядя Сандро покинул деревню уже после войны. На этот раз, скорее всего из осторожности, свой половинчатый побег он закончил в пригороде. Он остановился в таком месте, где колхозы уже кончились, а город еще не начался.

За это время слава его как одного из лучших украшателей стола, веселого и мудрого тамады, продолжала расти и ко времени моего с ним знакомства достигла внушительных размеров, хотя я тогда ничего об этом не знал. Я как бы жил в другом измерении и, раз выйдя из него, стал встречать дядю Сандро или слышать его имя довольно часто.

В годы либерализации он стал появляться у должностных лиц, иногда на правах человека, который неоднократно встречался с ними за столом, а иногда просто входил к ним с административными предложениями. Так, мне доподлинно известно, что он побывал у одного крупного должностного лица с предложением вернуть местным рекам, горам и долинам аб-

хазские названия, ошибочно переименованные во времена, которые, в свою очередь, тоже ошибочно до последнего времени именовали временами культа. Культ, безусловно, был. Этого никто не отрицает. Но он был вне времени, поэтому нельзя говорить «времена культа», хотя и в пространстве, и притом довольно значительном.

Но вернемся к дяде Сандро. К сожалению, с его предложением вернуть местным рекам, горам и долинам древние абхазские названия тогда не посчитались. И напрасно, потому что во время известных событий в Абхазии это же самое прозвучало всенародно, что привело к некоторой путанице и бесполовщине.

Кстати, по рассказу дяди Сандро, это самое должностное лицо, к которому он обращался со своим предложением, не встало с места при его появлении в кабинете, а также не встало с места, когда он уходил. Возможно, говорил дядя Сандро, он этим хотел показать, что очень прочно сидит на своем месте.

Все же через некоторое время это самое должностное лицо вынуждено было покинуть свое место якобы в связи с переходом на другую работу, как об этом сообщалось в нашей газете, хотя он сам почти одновременно с этим сообщением благим матом орал на весь город, что не хочет покидать свое место, а потом даже разрыдался на бюро обкома, чем, безусловно, доказал свою искреннюю привязанность к покидаемому месту.

Дядя Сандро после всего этого говорил, что этого человека сняли именно потому, что он в свое время принял у себя в кабинете его, дядю Сандро, с недопустимой по абхазским

обычаем степенью хамства. Я было посмеялся этому предположению, но потом решил, что в его словах все-таки есть доля истины. Ведь частное хамство по отношению к дяде Сандро могло быть признаком универсального охамения должностного лица до степени недопустимой не только по абхазским обычаям, но даже и по общепринятой всесоюзной норме.

Когда наступило поветрие защищать кандидатские диссертации, многие молодые научные работники нередко обращались к дяде Сандро с просьбой разъяснить внешние поводы некоторых дореволюционных, а иногда и послереволюционных княжеских междуусобиц. Дядя Сандро охотно разъяснял им внешние поводы, после чего они в своих диссертациях раскрывали внутренние причины и давали анализ разложения абхазского дворянства. В списке использованной литературы дядя Сандро проходил как престарелый очевидец разложения.

В первое время, когда я у него стал бывать, я обычно находил его в общественном саду, который он сторожил. Сад был расположен недалеко от дома и принадлежал табачной фабрике. В саду росли яблони, груши, сливы и хурма. Когда я первый раз появился в этом саду, почти все фрукты там уже были убраны, только хурма светилась фонарями своих плодов и несколько яблонь, абхазский предзимник, если можно так назвать этот местный сорт, все еще стояли в яблоках.

В этом саду дядя Сандро пас свою полулегальную корову, держа ее на длинной веревке. Обычно он сидел на старом потнике, опрятный, с таким горделивым видом, словно держал

на привязи не обычную корову, а небольшого зубробизона, укрощенного лично им. Иногда на шее у него висел прекрасный цейсовский бинокль, как впоследствии выяснилось, личный подарок принца Ольденбургского.

Я заметил, что с места, на котором он сидел, хорошо просматривалась дорога, а если на ней появлялся, с его точки зрения, подозрительный человек, он загонял корову за большой развесистый куст ежевики, словно нарочно для этой цели выращенный в саду.

Корова, по-видимому, так к этому привыкла, что как только дядя Сандро вставал, а то и не вставая, бывало, подергивал веревкой, она сама брела за куст и, выглядывая оттуда, ждала, пока пройдет подозрительный человек. Кстати, я ни разу не слышал, чтобы эта корова замычала.

Я этим не хочу сказать, что дядя Сандро приучил ее к молчанию или она сама понимала незаконность своего пребывания в пригороде. Все же было довольно странно видеть столь уж бессловесное животное.

В тот первый раз, когда я его посетил в саду, произошел забавный эпизод. Внизу на дороге появился милиционер, судя по буханке хлеба, которую он держал под мышкой, местный человек. Дядя Сандро, продолжая сидеть на своем потнике, слегка приосанился.

Милиционер, поравнявшись с нами, остановился у забора, почему-то бросил тоскливый взгляд на одну из яблонь, потом на дядю Сандро и сказал:

— Пасешь?

— Пасу, — твердо ответил дядя Сандро.

— Хорошую ты мне яблоню отвел, — вздохнул милиционер и снова оглядел яблоню, на которой, как я теперь заметил, и в самом деле почти не было плодов. Это была яблоня местного сорта.

— Сам выбирал, — ответил дядя Сандро загадочно.

— Хорошо ты мне удружил, по-соседски, — сказал милиционер и, укрепив под мышкой буханку, двинулся дальше, все еще продолжая ворчать.

— Что такое? — спросил я.

— Из-за коровы отвел ему яблоню, — сказал дядя Сандро, — а она в этом году, как видишь, не дала урожая. Вот он и сердится.

— И давно это вы так? — спросил я.

— Шестой год, — сказал дядя Сандро, — раньше я коз держал. Выбрать дерево я ему даю весной. В этом году ему не повезло. Я ему дал в придачу сливу-скороспелку, но он все равно недоволен.

Я спросил у него, чего он все следит за дорогой, если уж с милиционером у него налажены деловые отношения.

— А райсовет? — сказал дядя Сандро.

— Отведи и им какое-нибудь дерево, — предложил я.

— На всех не напасешься, — ответил он, как мне показалось, несколько раздраженный неуместной шутливостью моего тона.

Приходя сюда, я обычно усаживался рядом с ним, и мы беседовали, причем дядя Сандро предупреждал меня, чтобы

я не сидел на голой земле, ибо от этого, по его мнению, происходит большинство болезней. Сидеть, уверял он, надо на камне, на бревне, на шкуре животного или, в крайнем случае, если ничего нет, на собственной шапке. По его словам, за всю свою долгую жизнь он ни разу не сидел на земле.

— И, как ты видишь, я неплохо сохранился, — говорил он, поглаживая ладонью свое лицо. На это возразить было нечего.

Почти по любому поводу он вспоминал случаи из своей бурной жизни или меня просил рассказать о том, что делается на свете. Слушал внимательно, но не слишком удивляясь, словно все, что происходит теперь, это — разновидность того, что он давно знал или сам пережил.

Когда я ему рассказал об убийстве президента Кеннеди и том, что убийцу нашли, он спокойно меня выслушал и, обращаясь ко мне, как бы давая мне дружеский совет, сказал:

— Если ты собираешься убить человека, ты должен это сделать так, чтобы тебя не нашли... А так убить каждый дурак может...

Подвиги в космосе как будто оставили его равнодушным. Главное, что меня слегка раздражало, он сначала обо всем очень подробно расспрашивал, а потом, выслушав, махал рукой, мол, все это неправда.

— Один человек из нашей деревни, — сказал он как-то после очередного моего космического рассказа, — вбил кол у себя в огороде, а потом всем говорил, что это — середина земли. Попробуй проверь!

Меня это задело, и я, несколько горячась, стал доказывать, что тут не может быть никакого обмана.

— Послушай сюда, — сказал он и сановито дотронулся до своих серебристых усов, — один пастух, когда кончился март — самый дождливый и неприятный для пастухов месяц, оказывается, сказал: «Слава Богу, кончился этот вонючий март, теперь и вздохнуть можно».

Услышал это март и обиделся на пастуха. Ну, говорит, покажу я этому негодяю. Просит март у апреля: «Одолжи мне пару дней, отомщу я этому голодранцу за оскорбление». — «Хорошо, — говорит апрель, — пару дней я тебе дам по-соседски, но больше не проси, потому что самому времени не хватает».

Взял март у апреля два дня и нагнал такую погоду, что по нужде не выйдешь из-под крыши, а не то чтобы стадо вывести. Что делать? Голодные козы кричат, козлята беспокоятся, без молока вот-вот перемерут. И все-таки пастух вывернулся. Посадил он кошку в козий мешок и повесил за балку в сарае, где держал коз. Кошка кричит из мешка и раскачивает его над головами коз. А козы, как ты знаешь, любопытные, вроде женщин. Вот они и прозыркали два дня, стараясь понять, почему этот мешок качается и кричит кошачьим голосом, а про голод забыли. Вот так наш пастух перехитрил март.

— Ну, это вы перехватили, дядя Сандро, — смеюсь я.

— Меня не проведешь, — улыбается он довольный. — Сандро из Чегема кое-что видел на свете... С принцем Ольден-

бургским встречался, при Лакоба состоял как близкий родственник, со Сталиным два раза сидел вот так, как мы с тобой сейчас сидим... Чем ты меня еще удивишь?

— Расскажите, — прошу я.

— В свое время, в своем месте, — отвечает он, задумавшись, и глядит вдаль.

Под нами живописный косогор с домами, проглядывающими из зелени садов и виноградников. Дома самые разные: обычные, деревенские на высоких сваях, а рядом наскоро сколоченные хибарки только набирающих силы хозяев, а там и двухэтажные безвкусовые домины процветающих пригородников.

Дядя Сандро, окидывая взглядом поселок, бросает замечания по поводу возвышения или падения отдельных хозяйств. Тут я впервые услышал о Тенгизе, которого он обычно уменьшительно называл «мой Тенго».

— Далеко пойдет этот парень, — сказал он, показывая на его дом, со стороны веранды уютно озелененный стеной винограда, а с другой — еще в строительных лесах.

— А что он? — спросил я.

— Он присматривает за всеми машинами, идущими по приморской дороге, — сказал дядя Сандро.

— Автоинспектор, что ли? — спросил я. Возможно, в моем вопросе ему почудился недостаток уважения к его любимчику, потому что глаза его внезапно вспыхнули, и выражение свирепости престарелого льва на лице его показалось мне теперь не столь уж риторическим.

— Ты его можешь назвать мусорщиком, но он присматривает за идущими машинами и имеет государственный пистолет...

— Я и не спорю, — вставил я.

— Какой может быть спор, — успокаиваясь, заметил он, — раз ему доверили пистолет, значит, ему доверили стрелять в нужное время, а тебе (тут он неожиданно ткнул пальцем по колпачку авторучки, торчавшей из кармана моего пиджака) доверили этот пугач, стреляющий чернилами, и то ты боишься пугануть инженерчика из горсовета.

С тех пор я старался быть осторожней, когда речь заходила о Тенгизе, и по мере сил изображал на лице восхищение его любимчиком.

Иногда я встречал дядю Сандро на берегу моря, где он сидел на скамейке, перебирая четки и любуясь мельгешением чаек. Порой он словно прохаживался вдоль берега, изредка поглядывая из-под руки на горизонт, словно переодетый адмирал, ждущий тайного транспорта. Или я его заставал сидящим на берегу с газетой в руках, и тут он неожиданно бывал похож на дореволюционного профессора, удачно вросшего в социализм и потому хорошо сохранившегося, если, конечно, не обращать внимания на его экзотический наряд или то, что он в отличие от профессора все же читал по складам.

Он сиживал и в кофейнях в окружении шумной компании, между прочим, нередко молодых людей. Видимо, он им рассказывал что-то веселое, потому что оттуда время от времени доносились взрывы смеха. Иногда я его перехватывал,

едва он только заходил в кофейню, и усаживался с ним за отдельный столик.

— Встречаю на базаре братьев Ламба, — начал он однажды в кофейне без всякого вступления, — давно я с ними хотел поговорить, да все случая не было.

— Идемте, — говорю, — в кофейню, у меня к вам разговор есть.

— Пойдемте, — говорят, — дядя Сандро.

Заходим, садимся. Я за свой счет заказываю кофе, коньяк, боржом. Официантка подает. Я молчу. Думаю, пусть она отойдет. Она отходит. Я смотрю на них, сидят напротив два здоровых лба и смотрят.

— Догадываетесь. — говорю, — зачем я вас позвал?

— Нет, — говорят лбы, переглянувшись.

— А отчего, — говорю, — вы такие недогадливые?

— Не знаем, — говорят лбы и снова переглядываются.

— Может, — говорю, — родители виноваты?

— Нет, — говорят, — мы сами такие.

— Значит, родители не виноваты?

— Нет, — говорят.

— В том числе и отец?

— В том числе и отец.

— Так слушайте меня внимательно, — говорю. — Я знал хорошо вашего отца. Сорок лет назад его убил холуй князя Чачба. С князем кое-как справилась Советская власть, а холуй до сих пор ходит по нашей земле и смеется над вами про себя, а иногда и открыто. За сорок лет Советской власти са-

мые дремучие пастухи, — говорю, — из самых дремучих урочищ свет увидели, а некоторые даже депутатами стали. Неужели вы до сих пор такие темные, что не знаете — за отца сыновья должны отомстить?!

— И что ты думаешь, они на мои чистые, красивые слова ответили? — обратился дядя Сандро ко мне.

— Не знаю, — говорю.

— Так слушай, если не знаешь, — заметил дядя Сандро, — так вот...

— Дядя Сандро, — говорит лоб, что постарше, — но ведь нас за это арестуют.

— Козлиная голова, — отвечаю ему, — конечно, арестуют, если поймают. Но ты подумай: как показал двадцатый съезд, партийные люди и то по десять, по пятнадцать лет даром просидели, а ты что, за родного отца отказываешься посидеть? Отрекаешься?

— Не отрекаемся, — отвечает теперь лоб, что помладше, — но, может, в этом деле отец был виноват?

— Ты что, — говорю, — судья?

— Нет, — говорит, — я — завмаг.

— Тогда, — говорю, — ты исполни свой долг, а судья, исполняя свой долг, разберется, кто был виноват.

— Нет, — говорит, — ты нас, дядя Сандро, в такие дела не втягивай...

Тут я не выдержал. Я ему напоминаю о чести, я его за свой счет угощаю коньяком, чтобы пробудить в нем мужество, и я же виноват!

— Чтоб я, — говорю, — твой гроб купил в твоём магазине! Убирайтесь отсюда и чтоб на базаре и в других общественных местах вашей ноги не было, пока я жив!

Слова не сказали — встали, ушли. Да что толку — люди совесть забыли, освинели... Правда, я тоже ошибку допустил, надо было сначала отдельно друг от друга с ними поговорить, да понадеялся на их совесть... Отец-то у них был орел, — добавляет дядя Сандро после некоторого молчания, как бы еще раз мысленно пересмотрев все возможные причины падения братьев Ламба, — но со стороны матери, кажется, у них кровь подпорчена эндурской примесью.

Он допивает свой остывший кофе несколькими большими глотками и окончательно успокаивается.

— Между прочим, мой Тенго помог мне с оползнем, — вспоминает он своего чистокровного скакуна, может быть, мысленно отталкиваясь от подпорченного завмага.

— Значит, выплатили?

— Нет, бетонную канаву провели за счет горсовета, и то хлеб...

После этой встречи мы с ним не виделись около месяца, и я стороной узнал, что дядя Сандро попал в автомобильную катастрофу. Он ехал на грузовике вместе со своими земляками на какие-то большие похороны в селе Атары. Навстречу им мчался грузовик, возвращавший людей с этих же похорон. Шофер встречного грузовика, оказывается, по неопытности перепил на поминках. Одним словом, машины столкнулись. К счастью, никого не убило, но было много раненых. Дядя

Сандро сравнительно легко отделался, он вывихнул ногу и потерял один зуб.

— Чуть со своими покойниками не приехали на эти похороны, — рассказывал он во время нашей следующей встречи и, пальцем оттянув губу, показывал на единственный проем между зубами, явно насильственный, во рту и без этого зуба переполненном крепкими желтоватыми зубами.

Он сидел в саду на таком же потнике, только теперь рядом с ним торчал посох, к которому он, оказывается, прирастил-ся после этой автомобильной катастрофы. Коровы на длинной веревке паслись тут же. Время от времени отрываясь от своего сочного занятия, она, поднимая голову, поглядывала на дорогу.

В то время как раз проходила кампания по пересмотру пенсионного дела. То ли дядя Сандро узнал о ней, то ли решил, что автомобильная катастрофа — это не что иное, как производственная травма, но он стал просить помочь ему выхлопотать пенсию. В каком-то идеальном смысле он и в самом деле получил производственную травму, но навряд ли собес захотел бы это понять.

Он показал мне два длинных заявления с перечислением его скромных заслуг в хозяйственном и культурном (годы, проведенные в ансамбле песен и плясок) строительстве Абхазии. Заявления были написаны на имя Хрущева и Ворошилова.

— Как ты думаешь, Хрущит поможет? — спросил он, называя его на абхазский манер.

— Не знаю, — сказал я, возвращая ему машинописные копии заявлений. По-видимому, оригиналы были уже посланы в правительство.

— Ну, и ты со своей стороны поднажми, — попросил он, пряча бумаги в карман.

— Дядя Сандро, — сказал я, — но ведь у вас нет трудового стажа.

— Шесть лет за этим садом присматриваю, гори он огнем, — сказал он без особого энтузиазма. Видно, вопрос этот уже подымался и без меня.

— Мало, — сказал я.

— Выдумали какой-то стаж, — проворчал он, — можно подумать, что все эти годы они меня кормили. Раз человек не грабил, не убивал, значит, он жил трудом... А что, если хлопотать как о престарелом колхознике?

Я засмеялся.

— Но мои братья там, — ответил он на мой смех, — все налоги платят вовремя...

— Навряд ли поможет, — сказал я.

— Посмотрим, — сказал дядя Сандро, — с моим Тенго посоветуюсь. Ты не слыхал, что он сделал?

— Нет, — сказал я, стараясь следить за собой.

— Электрическим насосом воду подымает на свой участок, вот что сделал! — воскликнул дядя Сандро.

— Выдающийся человек, — сказал я и твердо посмотрел ему в глаза.

— В хорошем смысле, — поправил меня дядя Сандро и тоже твердо посмотрел мне в глаза.

Опять на дороге появился милиционер. Дядя Сандро несколько подобрался в ожидании, когда тот поравняется

с нами. Поравнявшись, милиционер снова остановился и мельком взглянул на свое дерево, как бы с презрительной надеждой увидеть на нем неожиданно появившиеся плоды, хотя теперь уже и на других деревьях не было ни одного плода.

— Пасешь? — перевел он взгляд на дядю Сандро.

— Пасу, — с достоинством ответил дядя Сандро.

— Чтоб ты столько счастья имел, сколько я пользы имею с твоего дерева, — проговорил милиционер и пошел дальше.

— Другой раз будешь летние выбирать, — крикнул ему вслед дядя Сандро.

Милиционер остановился и, обернувшись, горестно протянул:

— Летние... Ничего, Сандро, дожدهшься похуже того, что с тобой случилось, — добавил он и пошел дальше. Было похоже, что милиционер этой загадочной фразой дал знать, что автомобильная катастрофа — это деликатный намек того, кто свыше следит за нашими поступками и время от времени легкими щелчками напоминает о себе.

— Иди, иди, дуралей, — проговорил дядя Сандро скептически, но не очень громко.

— А почему ему летние сорта не нравятся? — спросил я.

— Наш сорт тем и хорош, что толстокожий... весной можно продавать...

Кажется, этим замечанием о выгодной толстокожести наших яблок в тот раз и закончилась наша встреча. В последующие годы, видимо потеряв надежду использовать меня в ад-

министративном порядке, дядя Сандро поручал мне, если я к нему приходил в сезон, только собирать фрукты.

— Можешь есть от пуза, — говорил он, стоя под деревом и подавая мне снизу корзину, когда я вскарабкивался на нижнюю ветку.

Между прочим, пенсию он все же получил той же зимой. Правда, небольшую, что-то около двухсот рублей старыми деньгами, но все-таки пенсию. Я уж не знаю, что он там использовал для этого — то ли автомобильную катастрофу, то ли еще что. А может быть, люди, достигшие его возраста, вообще независимо от трудового стажа имеют право на пенсию.

— Нет, — сказал он, словно мягко возражая кому-то, — все-таки власть у нас неплохая, идет навстречу человеку.

— Как же все-таки получили? — полюбопытствовал я.

Мы сидели за столиком в той же приморской кофейне. Пытаясь загладить свою вину за неучастие в его пенсионных делах, я заказал графинчик коньяка, боржом и кофе — легкий горячий материал наших бесед.

Был один из тех чудных декабрьских дней, когда солнце не наваливает, распустив пояс, а доносит свое тепло в благородной, сдержанной дозировке. Дядя Сандро был в отличном настроении. Рассеянно, но доброжелательно оглядывая столики, он выслушал мой вопрос, погладил усы и, слегка запрокинув голову, притронулся к нежной складке на шее.

— Ты знаешь, что это такое? — спросил он, веселя глазами.

— Жир, — упрощенно ответил я.

— Мозоль, — ответил он с шутливой гордостью.

— От чего? — спросил я, стараясь угадать его стройный, хотя еще не совсем понятный силлогизм.

— Думаешь, легко быть вечным тамадой, — ответил он и еще сильнее запрокинул голову, показывая, что, когда пьешь, все время приходится держать ее в таком положении. Он снова притронулся к этой складке на шее и даже поощрительно похлопал ее в том смысле, что она ему еще послужит.

Именно в эту встречу у нас разговор зашел о божественных промыслах. В это время газеты были переполнены разговорами о снежном человеке, и я кое-что пересказал ему.

Он с интересом выслушал меня и спокойно подтвердил, что все это правда, что он сам в молодости видел в горах лесную женщину, как он ее назвал на наш лад. На его глазах она выскочила из зарослей с длинными, до колен развевающимися волосами и побежала вниз, в котловину, на ходу ударяя руками по голове, как это делают у нас женщины во время оплакивания.

— Вы не испугались? — спросил я.

— Нет, — сказал он просто, — у меня было ружье. Я даже пытался ее догнать, но она как чесанула в заросли рододендрона, вмиг сгнула.

— Вы что, хотели ее поймать? — спросил я.

— Сам не знаю, — пожал он плечами, — выдумывать не хочу. Вообще, когда женщина бежит, хочется погнаться за нею, а мы тогда пастушили в горах, и я несколько месяцев женщину не видел. В те времена лесных людей многие видели, но женщины среди них попадались очень редко. Вот другой слу-

чай был у меня в горах, тут я испугался по-настоящему. Но это он сам подстроил, — заключил дядя Сандро и кивнул головой на небо.

— Как он? — переспросил я, потому что никогда до этого не слышал, чтобы дядя Сандро ссылался на небеса.

— Он или кто-то из его людей, — уточнил дядя Сандро и посмотрел на меня многозначительно.

— Так расскажите, — попросил я.

— Выпьем еще по кофе и коньяку, — согласился дядя Сандро, кивнув на официантку, — я этот случай редко рассказываю, но тебе расскажу...

Я подозвал официантку и заказал. Дядя Сандро, пока я заказывал, спокойно сидел напротив, внушительно положив руки на посох, который он завел после автомобильной катастрофы. Я ждал, когда он начнет рассказывать, но дядя Сандро молчал, поглядывая на официантку, убирающую со столика, в том смысле, что рассказ не рассчитан для слуха непосвященных.

И вот он начал говорить, и я впервые понял, что вещи эпического склада получаются у него не хуже бытовых.

— Это было, — начал он, отхлебнув кофе из чашки, — за год до Большого Снега и через год после того, как наш народный герой Щащико убил стражника и ушел в лес. Его ловили пятнадцать лет и не могли поймать. Ни один пристав не мог пройти пешком или проехать на лошади от Чегема до самого Цабала. Везде его поджидала верная пуля Щащико. Но что о нем говорить, я не о нем, царствие ему небесное. Как всегда,

обманом его выманили из леса, обещали амнистию, а потом вместе с братом убили в тюрьме.

Но я не об этом. Я хочу рассказать, что было со мной. В то лето отец держал скот в урочище Башкапсар. Здесь в те времена дичь еще была непугана, и косули иногда заходили в наше стадо поиграть с козами.

Однажды у нас пропала лошадь. Мы с раннего утра ее искали, и, когда солнце поднялось на высоту хорошего бука, мы попали на ее след. Часа два шли мы по ее следу, пока не увидели ее на таком выступе, откуда она сама спуститься не могла. Со скотом такое бывает, особенно когда он голоден и нападет на хорошую траву. А эту лошадь только-только пригнали из деревни. Семь потов с нас сошло, пока мы ее оттуда выволокли и пригнали обратно.

И вот мы уже подходим к нашему лагерю, но решили передохнуть на взгорье у ручейка. Лучшего места для отдыха не сыщешь.

Внизу в лощине версты две до нашего лагеря. Над балаганом дым — пастухи обед готовят. Справа на склоне пасутся коровы, выше — лошади, еще выше — козы. Слева пихты и кедрачи, ломая друг другу ребра, тянут головы к небу. А небо чистое — ни одной тучки. Воздух крепкий и вкусный, как буйволиное молоко. Такого воздуха, такой благодати сейчас нет. Сейчас и в горах воздух порченный, потому что везде самолеты летают.

Вот в таком месте мы присели у ручья, напились и решили передохнуть. Товарищ мой, наш односельчанин, я его не

называю, потому что он еще живой, решил смочить в воде свои чувяки. Они у него пересохли. Вижу: снимает с ног и сует прямо туда, где мы пили воду.

— Что ты делаешь? — говорит, — разве ты не знаешь, что это не положено по нашим обычаям? Раз ты пил здесь воду, значит, надо спуститься пониже, если хочешь вымыть ноги, или смочить чувяки, или платок постирать.

— А, — говорит, — ничего не случится. Мы уже напились, а люди здесь не ходят...

— Может, ничего и не случится, — говорю, — но зачем обычай нарушать? Не мы его придумали.

— Тех, кто придумал, — отвечает он вроде в шутку, — давно уже нет, а мы никому не скажем...

Не понравилось мне это, но что скажешь? Слишком легкий он был человек, да и я был молод. Думал, обойдется как-нибудь... Так вот он и сунул свои чувяки в воду, и даже камнем их прикрыл, чтобы лучше водой пропитались.

И вот, значит, лежим мы в медовой альпийской траве. Солнце греет, ручеек журчит, дремота забирает... Такое сладкое место — нельзя не уснуть. И уже я, наверное, видел второй сон и переходил к третьему, как почувствовал во сне — случилось что-то нехорошее.

Еще сплю, а сам думаю, что бы могло случиться? Неужели широколапый, медведь значит, зарезал кого-нибудь из нашего стада? И так во сне хочу догадаться, что случилось, потому что, думаю, проснусь — поздно будет. Но чувствую — никак не могу догадаться во сне. Нет, думаю, надо проснуться-

ся и на все посмотреть своими глазами, тогда, может, пойму, что случилось. Подымаю голову, озираюсь.

Смотрю вниз — балаганы на месте, дым идет, пастухи обед готовят. Смотрю направо по склону — вижу коровы пасутся, выше — лошади и совсем наверху — козы, как белые камни. Нет, думаю, там ничего не случилось, иначе стадо всполошилось бы. Товарищ мой спокойно спит. Отчего же, думаю, что-то душу свербит? И вдруг прислушался и обмер — ручей перестал журчать. Я заглянул в него и почувствовал — не дай тебе Бог почувствовать такое! Словом, вижу — ручей пересох. Вода кое-где в углублениях, как на дороге после дождя. Так что и горсти не наберешь. Тряхнул я своего товарища и говорю:

— Посмотри, что ты наделал!

Он так перепугался, что никак не мог на ноги натянуть свои чувяки. Руки болтаются, как сломанные, губы шепчут:

— Аллах, пощади...

В то лето его буйволица во время грозы, ошалеv от крупного града, сорвалась со скалы и сдохла, а у меня медведь зарезал годовалого телка. С тех пор мы на эти пастбища не возвращались.

— Дядя Сандро, — говорю я, — а что, если где-то наверху сорвался большой камень или лавина перекрыла ручей?

— Так и знал, что что-нибудь такое скажешь, — ответил дядя Сандро с усмешкой. — Значит, по-твоему, лавина день и ночь ждала, покамест мой товарищ чувяки вымоет в этом ручье, а потом сказала себе: «Ага, теперь самое время сорваться и перекрыть ручей!»

— Мало ли что могло случиться, — сказал я.

— Тогда ответь, — вдруг оживился дядя Сандро, — почему он у него взял буйвола, а у меня только телку?

— При чем тут буйвол и телка? — не понял я.

— А при том, — ответил дядя Сандро, — что он, как хороший судья, наказал нас. У него, как у главного виновника, взял буйвола, а у меня — годовалую телку за то, что не оставил его.

— Дядя Сандро, — говорю я, — неужели он за вами не видел других грехов?

Дядя Сандро спокойно посмотрел на меня и сказал:

— Он не всякие грехи карает. Если ты грешил, рискуя жизнью, он это учитывает. Но если ты грешил, ничем не рискуя, наказания не избежать... И у меня есть такой грех.

— Расскажите, дядя Сандро, — попросил я, разливая остаток коньяка.

— Нечего рассказывать, — сказал дядя Сандро и, сполоснув рот коньяком, проглотил его. — На свадьбе Татырхана я своей рукой зарезал двенадцать быков, и теперь в последние годы кисть правой руки болит. — Дядя Сандро зашевелил вытянутой кистью правой руки, как бы прислушиваясь к действию давнего греха: — И тогда, помнится, вот так же болело запястье... Глупый был, согласился...

Он задумался, и выражение его слегка выпученных глаз мне впервые показалось сентиментальным.

— Да, — проговорил он, — двенадцать беззащитных быков...

Мне показалось, что он сейчас разрыдается. Но тут к нам подошел молодой человек, исполненный ликующего почтения.

— Дядя Сандро! — воскликнул он. — А я вас ишу по всему городу...

— Что ты говоришь! — оживился дядя Сандро. — А я совсем забыл. Старею, старею, дорогой.

— Как можно, дядя Сандро, вас ждут! — воскликнул молодой человек. — Никто ни к чему не хочет притронуться.

— Иду, мой мальчик, иду! — сказал дядя Сандро и, встав, оправил черкеску.

— Извините, дорогой, но компания ждет, — добавил молодой человек, миролюбиво, но твердо обращаясь ко мне, как бы давая знать, что было б безумным расточительством тратить драгоценные силы великого тамады на одного человека, когда его ждут жаждающие массы.

— Так ты остаешься? — спросил дядя Сандро, словно до этого уговаривал меня пойти с ним, но я отказался.

— Да, — сказал я, — я еще посижу.

Постукивая посохом и кивая знакомым, дядя Сандро прошел между столиками походкой шеголеватого пророка и скрылся на улице.

Всегда бывает немного обидно, если кто-нибудь в твоём присутствии уходит веселиться, даже если ты и не собирался сопровождать его. Я еще посидел немного, раздумывая над рассказом дяди Сандро, а потом пошел домой в состоянии некоторой грусти.

Помню, в голове застрял какой-то обрывок мысли насчет того, что не только люди создали богов по своему подобию, но и каждый человек в отдельности создает бога по своему собственному подобию. Впрочем, возможно, я об этом подумал не тогда, а несколько позже, а то и раньше.

3. принц ольденбургский

Принц Ольденбургский стоял, задумавшись, над прудом гагринского парка, как Петр над водами Балтийского моря. Он стоял, слегка опершись на палку огромным, все еще поджарым, несмотря на возраст, телом.

Александр Петрович был не в духе. Свита вместе с адъютантом, в количестве шести человек, стоявшая рядом на длинной и широкой, как петербургский проспект, парковой аллее, всей своей позой выражала готовность броситься выполнять любой его приказ, как, впрочем, и разбежаться во все стороны.

Свита молча следила за принцем. Сам же принц следил за черным австралийским лебедем, бесшумно скользившим по воде в его сторону. Казалось, маленький пиратский фрегат бесстрашно атакует императорский крейсер, то есть самого принца.

Это был старый яростный самец, рвавшийся в драку с молодым соперником, стоявшим на воде в двух шагах от Ольденбургского. Молодой лебедь, изогнув свою бескостную

шею, с глупой беспечностью рылся красным пасхальным клювом у себя под крылом.

Был чудный солнечный день начала октября. Легкая тень принца падала на воду. Молодой лебедь, стоя в его тени, продолжал рыться клювом под крылом. Александр Петрович вдруг подумал, что молодой лебедь потому и беспечен сейчас, что чувствует его отеческую тень. Возможно, так оно и было.

Между тем старый забияка, выгнув копьевидную голову, приближался к берегу. «Заклюет, сволочь», — подумал принц, когда тот, не снижая скорости и не меняя своих воинственных намерений, вплыл в его тень. Принц Ольденбургский с неожиданным проворством пригнулся и ударил палкой по воде перед самым носом старого самца. Тот остановился и возмущенно вскинул голову. Потом он вытянул шею и, уже не продвигаясь, попытался дотянуться до своего беспечного соперника. Принц Ольденбургский палкой надавил ему на шею и с трудом оттолкнул упрямо тормозящее, тяжелое тело лебедя. После этого он еще несколько раз ударил палкой по воде, и старый самец, несколько охлажденный ртутными брызгами, посыпавшимися на него, повернул обратно, чтобы взять разгон для новой атаки.

Розовый пеликан Федька дремал на искусственном островке, положив на крыло тяжелый меч клюва. Иногда он открывал глаз и без особого любопытства следил за происходящим. Так умная, уважающая себя собака иногда сквозь дремоту слеживает за щенячьей возней.

Огромный белый лебедь-шипун, привлеченный шумом воды, осторожно приблизившись, проплыл мимо принца. Было странное противоречие между белоснежным величием его царственно скользящего тела и выражением алчного любопытства его глупенького глаза, увенчивающего божественную шею. Хаос мировой глупости и жестокая глупость всех женщин глядели из этого глаза.

Лебедь, которого защищал принц, так и не заметив опасности, продолжал сладострастно рыться у себя под крылом.

Александр Петрович выпрямился и вздохнул. Сейчас он с особенной тоской вспомнил, что ему не хватало в последние недели. Он вспомнил мягкие, сильные пальцы своей массажистки Элеоноры Леонтьевны Картуховой или Картучихи, как ее обычно называли гагринцы, да и сам принц, когда бывал шутливо или, наоборот, сердито настроен.

Почти месяц назад он приказал ей пребывать под домашним арестом и ни под каким предлогом не появляться на улицах местечка под угрозой высылки в отдаленные места, потому что открылось безобразное коварство этой женщины.

В те дни принц был занят хлопотами, подготавливая гостью к приезду из Петербурга фрейлин императрицы Александры Федоровны. Тогда же неожиданно запил, вернее, с неожиданной широтой запил бывший солдат Преображенского полка, промышлявший в местечке крысиным ядом и мочегонными средствами. Когда один из собутыльников бывшего преображенца спросил, откуда у него столько денег, тот проговорился, что Картучиха закупила у него крысиного яда для

отравления прибывающих фрейлин, которые, кстати, так и не прибыли.

Преображенец спяну проговорился, собутыльник с похмелья донес. И хотя Александр Петрович не вполне поверил, что Картучиха и в самом деле собирается отравить фрейлин императрицы или, по крайней мере, одну из них, которую он якобы собирается прельстить, но сама попытка шантажировать его таким образом привела принца в законную ярость.

В прошлом Картучиха была массажисткой и любовницей принца, совмещая эти две естественно перерастающие одна в другую должности. Но в последние годы ей все чаще приходилось ограничиваться массажами по причине мирного угасания страсти стареющего принца. Ему уже было за семьдесят.

Картучиха, думая, что принц охладел именно к ней, бешено его ревновала и особенно утонченными массажами пыталась восстановить свою вторую должность.

Никогда раньше принц Ольденбургский не чувствовал себя после этих массажей освеженным и бодрым, но отнюдь не для любовных утех, а для деятельности государственной, чего эта дура, без которой он уже не мог обойтись, никак не могла понять.

Александр Петрович сам никогда не был ни гулякой, ни развратником и терпеть не мог таковых. Он и с Картучихой сблизился из-за телесной необходимости, потому что когда-то горячо любимая жена его, принцесса Евгения Максимилиановна, уже долгие годы разбитая параличом, влачила слабое существование.

Бог с ней, с этой Каргучихой, баба она и есть баба, но разве в Петербурге его понимают? Царь, которого Александр Петрович, несмотря на все его слабости, так нежно любит, постоянно вводится в гиблые заблуждения придворными интригами. Сколько своевременных и прекрасных начинаний было испорчено из-за того, что люди, окружающие его, свою личную корысть ставят выше интересов империи, чем так ловко пользуются для своей агитации иуды-социалисты.

Когда в начале века он пришел к царю с проектом создания на Черноморском побережье климатической станции с тем, чтобы со временем превратить ее в кавказскую ривьеру, царь с неожиданной быстротой согласился с его предложением. Потом-то Александр Петрович догадался, что они таким образом просто хотят избавиться от него в Петербурге. Александр Петрович знал, что его при дворе считают чудачком за то, что он всегда, не взирая на лица, со всей откровенностью верноподданного высказывал свои мысли о средствах к спасению царя и государства Российского. Все Ольденбургские принцы были такими, и все считались чудачками.

Принцы Ольденбургские принадлежали к голштейн-готторпской линии Ольденбургского дома. Они — прямые потомки Георга-Людвига Гольштинского, вызванного на русскую службу императором Петром Третьим. При Екатерине они несколько зачухли и даже как бы отчасти возвратились в Германию, демонстрируя преданность Петру Третьему, но позже всегда были на виду и всегда считались чудачками.

С тех давних пор они, как водится, обрусели с запасом, продолжая, однако, пребывать в чужаках.

Так, дед Александра Петровича, принц Георгий, будучи генерал-губернатором нескольких губерний, и притом дельным генерал-губернатором, писал стихи. Мало того, что он их писал, он их еще и печатал на всеобщее обозрение, неизменно посвящая стихи собственной жене, великой княгине Екатерине Павловне, что было почти неприлично.

Александр Петрович не забыл, как посмеивались при дворе над его отцом, Петром Георгиевичем, когда тот предложил покойному Александру Третьему объявить торжественным манифестом, что отныне вместе с императорской короной и скипетром будет храниться под общим колпаком экземпляр свода законов.

Но что было смешного в этом благороднейшем и полезнейшем предложении, господа? Это был бы великий манифест, означавший, что отныне свод законов в пределах Российского государства так же свят, как императорская корона. Разве не от беззакония и злоупотреблений, ничего общего не имеющих с поистине общенародной идеей самодержавия, зашаталась Россия? Разве не они дают ядовитую пищу социалистическим горлопанам?

Для создания кавказской ривьеры принц Ольденбургский выдвинул весьма действенный аргумент, заключавшийся в том, что русские толстосумы будут ездить в Гагры вместо того, чтобы прокучивать свои деньги на Средиземноморском побережье. Но даже сам этот достаточно важный расчет был

только тонким тактическим ходом. Истинная пламенная мечта принца, пока тщательно скрываемая от всех, заключалась в том, что он здесь, на Черноморском побережье, внутри Российской империи, создаст маленький, но уютный остров идеальной монархии, царство порядка, справедливости и полного слияния монарха с народом и даже народами. (Словно нарочно, для удобства эксперимента, берег был богат многообразием чужеродцев.)

И вот выросли на диком побережье дворцы и виллы, на месте болота разбит огромный «парк с насаждениями», как он именовался, порт, электростанция, больница, гостиницы и, наконец, гордость принца, рабочая столовая с двумя отделениями: для мусульманских и христианских рабочих. В обоих отделениях столовой кухня была отделена от общего зала стеклянной перегородкой, чтобы неряхи-повара все время были на виду у рабочих.

Это было личное изобретение принца, которое там, в Петербурге, тоже могло показаться смешным. Но бунт на броненосце «Потемкин», не забываяте, господа, начался с кухни!

И все-таки венец всего сделанного принцем здесь — лучшее в Европе пожарное депо, где каждый инструмент пронумерован, а наиболее отважные и сильные жители местечка снабжены особыми бляхами с соответствующим номером, чтобы в случае пожара не метаться, не хватать что попало, а бжать к месту бедствия со своим инструментом.

Наиболее ценные здания местечка была снабжены дырчатыми трубопроводами, расположенными в середине потолка

каждого помещения. В случае пожара, по замыслу, в эти трубы должна была под большим давлением накачиваться вода, чтобы сбивать пламя не только снаружи, но, подобно неожиданному кавалерийскому рейду в тылы врага, уничтожать его изнутри. Потомственный преображенец, участник турецкой кампании, принц знал толк в таких вещах.

Правда, пожары в Гаграх, как в турецкой бане, случались крайне редко, но на то и санитарные меры. Санитария — великая вещь! Недаром принц Ольденбургский в свое время возглавлял комиссию по борьбе с чумой.

Что и говорить, местечко процветало под неусыпным отеческим глазом Александра Петровича. И в дни празднеств в парке с насаждениями он всегда был в гуще народа, озаренный огнями фейерверков, многочисленных и в тоже время не представляющих пожарной опасности ввиду их строгой направленности в сторону моря, кстати, самой могучей противопожарной стихии. И в дни бедствий он всегда был с людьми, личным примером воодушевляя растерянных и слабых духом. Так, недавно, когда наводнение прорвало плотину на Жокваре, не он ли первым с ротой верных преображенцев бросился в воду, так что свите ничего не оставалось, как последовать за ним?

Да, только личным примером можно воодушевить нацию, как учил и продолжает учить нас Великий Петр, сам неутомимый труженик на троне. Впрочем, личный пример принца Ольденбургский нередко подкреплял личной палкой, в ее прямом петровском предназначении гулявшей по спинам

всех этих полицеймейстеров, канцеляристов, нагловатых инженеров, а иногда и до генералов добиралась его поистине демократическая палка.

Но, разумеется, не только на простолюдинов старался воздействовать личным примером принц Ольденбургский. Нет, его деятельность была отчасти укоряющим, но в то же время и воодушевляющим кивком в сторону Петербурга. К сожалению, там все еще недопонимали истинный смысл его работы.

Даже нежно любимый царь, когда в 1911 году, проездом на крейсере, посетил гагринскую климатическую станцию, пробыл на ней всего два часа. А царица даже не соизволила сойти с крейсера на гостеприимный гагринский берег.

Царь очень одобрительно отозвался о парке с насаждениями, но пожарное депо и рабочую столовую почему-то отказался осмотреть. А главное, не сделал никаких указаний в смысле постепенного, но повсеместного распространения гагринского опыта.

Истинный замысел принца приняли как раз те, кто пытался разрушить и разложить Российское государство, то есть иуды-социалисты. Еще в 1903 году принц получил анонимное письмо, по-видимому, от одного из придворных прохвостов. В письмо была вложена подпольная газетка с вызывающим, огнеопасным названием — не то «Пламя», не то «Костер». Там против Ольденбургского была статейка под названием «Коронованный вор, или Царское приданое». Статейка представляла из себя смесь чудовищного нахальства и такого же невежества. Особенно его поразило одно место,

где говорилось, что «захват гагринской дачи вызвал целую бурю недовольства у абхазцев, аборигенов края, и для них в Гагры приглашены две пехотные роты».

Во-первых, почему захват гагринской дачи, когда объяснительную записку по делу гагринской дачи одобрил царь, рассматривало и изучало министерство финансов и, наконец, с полным соблюдением всех законов проект был принят по докладу министра финансов? Какой же это захват, иуды-социалисты? Вот ваше учение о том, что все на свете принадлежит пролетариату. — вот это захват, вот это грабеж и разбой, а тут абсолютно законный, а главное, полезный для судеб империи акт.

Что касается двух пехотных рот, опять вранье. Пехотные роты тогда никто не приглашал, поскольку никакой бури недовольства у аборигенов края не было и не могло быть.

Правда, через два года некоторые рабочие взбаламутились, да и то не местные аборигены, а свои же босяки. И тогда в самом деле просили из Новороссийска пехотную роту (роту, а не две, иуды), и ту не прислали, потому что у самих было неспокойно.

Александр Петрович, получив письмо с этой поджигательской газеткой, не только не пришел в бешенство, как, по видимому, ожидал анонимный прохвост, но почувствовал огромное удовлетворение. Да, да, именно враги первыми разгадали его замысел и забили тревогу.

Что касается аборигенов, то у него с ними сложились самые хорошие отношения. Он нередко защищал их от жули-

ков-подрядчиков, нанимавших их на общественные работы, и от канцелярских бумагомарателей.

Некоторые обычаи их восхищали его своей первозданной мудростью. В исключительном уважении к старости, вернее, к возрастному старшинству, естественно восходящему самой большой почтительностью к самому старому человеку, он с радостью ученого угадывал биологический монархизм, как бы предтечу стройной идеи христианского самодержавия, к сожалению, во многом испоганенную сословными паразитами и бездельниками.

Подобно Великому Петру, принц Ольденбургский организовал в Гаграх кунсткамеру с живыми и мертвыми чудесами. Кунсткамера была организована для развития любознательности у аборигенов. За интересные экспонаты принц щедро вознаграждал. Дабы избежать в этом деле бюрократической рутины, Александр Петрович особым приказом повелел направлять людей с интересными находками лично к нему.

В кунсткамере хранились образцы местных минералов и руд, огромная древнегреческая амфора с лепешкой запекшегося вина на дне, еще не слишком проржавевшие стрелы и феодальные мечи, женское седло величиной с верблюжий горб, названное седлом «неизвестной амазонки», и многое другое — не менее любопытное и поучительное.

Живая природа была представлена в виде чучел местных орлов, с ненавистью взиравших на своих живых собратьев, кукурузный стебель с четырнадцатью початками, корни аб-

хазского женьшеня, совершенно белый дикий кабан-альбинос, папоротниковое дерево величиной с вишню, дикий буйвол, пойманный в горах, но впоследствии uznанный хозяином и признанный одичавшим.

Кроме всего, принц Ольденбургский много экспериментировал для украшения и развития самой природы, хотя наряду с успехами в этой области были и досадные неудачи.

Так, полсотни розовощеких ангольских попугайчиков, купленных в Берлинском зоопарке, были выпущены на волю. Попугайчики сначала хорошо прижились и даже прилетали в парк, но потом их довольно быстро переклевали растерявшиеся было местные ястребы.

Вопреки уверениям специалистов, что обезьяны не могут перенести местной зимы, принц Ольденбургский выпустил на волю десять мартышек обоего пола. Вопрос о возможности приживания африканских мартышек остался открытым, потому что еще до наступления зимы их перестреляли местные охотники.

Первую убитую мартышку принцу привез сам охотник, ничего не знавший об эксперименте и требовавший вознаграждения. Потом явилась целая делегация старейшин окрестных сел и довольно твердо заявила, что абхазцы в дальнейшем не потерпят осквернения дедовских лесов человекообразными тварями. Принц смирил гордость и махнул рукой на обезьян во имя главного дела. Ведь он надеялся неустанно привлекать чужеродцев разумной целесообразностью русского покровительства.

Цивилизация края шла полным ходом, хотя иногда наталкивалась на неожиданные препятствия. Так и сегодня ряд безобразных случаев испортил ему настроение.

Ровно в шесть утра Александр Петрович проснулся по сигналу горниста и сразу же покинул постель. По замыслу, серебряный звук горна, раздававшийся над Гаграми в шесть утра, должен был призывать жителей местечка к созидательной работе. На самом деле по сигналу горна вставал только сам принц и рабочие ремонтных мастерских, которых он, кстати говоря, назло теориям иуд-социалистов, любил больше всех остальных жителей городка.

Обход своих владений принц в этот день решил начать с ремонтных мастерских. Ряды деловито жужжащих станков, сосредоточенные фигуры рабочих, склоненные над ними, всегда способствовали его радостному созидательному настроению.

В это утро душевное состояние принца было недостаточно ясное, все еще мешала некоторая оскомина вчерашнего безобразия. Накануне утром он посетил бараки, расположенные недалеко от Гагр, где жили пленные австрийцы, работавшие на прокладке железной дороги. Принц нашел общее состояние барачников неудовлетворительным. Особенно его возмутило, что при огромной вместительности барачников они имели только по одной двери, что в случае ночного пожара могло привести к панике и человеческим жертвам. Принц Ольденбургский приказал начальнику участка инженеру Бартмеру немедленно вызвать всех плотников и к пяти ча-

сам вечера во всех бараках прорубить двери через каждое третье окно. Ровно в пять часов вечера лимузин «бенц» Ольденбургского снова остановился в ущелье Жоеквары недалеко от бараков. К этому времени оставалось прорубить и навесить три двери. На начальника участка инженера Бартмера был наложен месячный арест с исполнением служебных обязанностей.

Принц Ольденбургский ко всем своим многочисленным служебным обязанностям с начала Второй Мировой войны был назначен начальником санитарно-эвакуационной службы, и следить за содержанием пленных входило в его прямые полномочия.

Александр Петрович придавал большое значение человеческому отношению к пленным. Сегодня он пленный, думал принц, но завтра возвратится домой, и от нас зависит, кем там будет, хвалителем или хулителем империи. Так учил нас Великий Петр. Как там сказано у Пушкина: «И славных пленников ласкает...» Этого не понимает инженер Бартмер своим кудым практическим умом, за что и несет наказание.

Вот что случилось вчера и от чего на душе у принца оставалась некоторая смутность. Для восстановления ясности духа Александр Петрович и решил начать день с ремонтных мастерских.

...Золотисто-зеленое утреннее небо обещало хороший день. Лимузин «бенц», ведомый кожаным шофером-итальянцем, вместе с сонной свитой и дураком-адъютантом вез его к рабочим.

— Захвстуйте, бхатцы! — гулко разнеслось в помещении мастерских, и принц Ольденбургский легко зашагал в сопровождении мастера между деятельно жужжащими станками. Иногда он останавливался у станка и спрашивал у мастера, кто, что и для чего делает, каждый раз получая толковый умиротворяющий ответ. Настроение улучшалось. Хотелось жить и работать. А главное — эти прекрасные, сосредоточенные лица рабочих, которые без тени подобострастия или жульничества продолжали работать даже тогда, когда он останавливался возле их станков. Поблагодарив рабочих за службу, Александр Петрович уселся вместе со свитой в машину и поехал дальше, осматривать другие заведения местечка.

— Выключай станки, — сказал мастер, проследив в окно за удаляющейся машиной. Часть станков, не нужных для дела, тут же выключили. Было замечено, что принцу нравится, когда работают все станки.

Взбодренный ремонтными мастерскими, Александр Петрович катил по чистому, как стеклышко, гагринскому шоссе. И вдруг недалеко от полицейского участка машина остановилась как вкопанная: посреди дороги валялся разбитый арбуз. Главное, что полчаса назад, когда они здесь проезжали, ничего такого не было, и уже кто-то успел нагадить.

Принц Ольденбургский медленно багрел. Услышав, что машина остановилась, от полицейского участка, стуча сапогами, бежал помощник начальника полиции. Адъютант и свита несколько ожили и задвигались на сиденье в ожидании развлекательной взбучки. Комизм положения усугублялся тем,

что помощник начальника полиции бежал сзади по ходу машины. Поравнявшись с сидящим принцем, он остановился, так и не заметив разбитого арбуза.

— Что это? — Александр Петрович, вытащив палку, ткнул ею в сторону безобразия.

Обреченно косясь на палку, полицейский осторожно заглянул за радиатор:

— Арбуз, ваше высочество!

— Кто?! — взорвался принц.

— Не смею знать, ваше высочество!

— Убхать! — и палка, выбив струйку пыли, опустилась на мгновенно отвердевшую спину блюстителя порядка. Лимузин «бенц», брезгливо объехав безобразия, покотил дальше.

В то же утро за завтраком принц узнал о новых безобразиях. Как обычно, завтракая, он просматривал свежую почту. Письма, требующие безотлагательного ответа, складывались в аккуратную стопку, остальные отбрасывались в ворох ничемных или не требующих быстрого ответа.

Внимание Александра Петровича задержало письмо одного очень богатого помещика, недавно отдохавшего в Гаграх в течение двух месяцев. Помещик писал, что скучает по этому райскому уголку, созданному руками принца, что Гагры снятся ему по ночам, и он прямо не находит себе места в родовом имении.

Александр Петровичу, с одной стороны, было приятно впечатление, произведенное его детищем на этого выдавшего все, пресыщенного эпикурейца, но, с другой стороны, ему хо-

телось, чтобы Гагры внушали таким людям более созидательные мысли, а не эти сентиментальные вздохи.

Вот чудак, думал принц, сделай у себя то же самое и не будешь скучать. Так и не решив, напомнить ему об этом или не стоит заводить с ним переписку, Александр Петрович бросил его письмо между ворохом никчемных и стопкой безотлагательных.

Дальше шло письмо от студента Дадиани, родственника по грузинской линии. Родственник был так себе, десятая вода на киселе, но он был в числе тех, кому принц помогал. Александр Петрович помогал бедным студентам из хороших дворянских семей.

В почтительных тонах студент напоминал о помощи, но самое письмо было написано без единого ятя, от чего почтительный тон превращался в утонченное издевательство. Письмо было скомкано и отброшено — и сюда проникла социал-демократическая зараза!

— Ни копейки мехзавцу!

Управляющий легким поклоном-кивком дал знать, что распоряжение, и притом не без личного удовольствия, принято к сведению.

Еще одна корреспонденция остановила внимание принца. Это была копия телеграммы инженера Бартмера дирекции компании, в которой он служил. Инженер Бартмер жаловался на инцидент с бараками, впрочем, абсолютно точно излагая факты. Это его право, подумал принц, откладывая телеграмму.

— Ваше высочество, — проговорил управляющий, — телеграфист спрашивает, передавать телеграмму или нет?

— В пределах Российской империи, — строго ответил принц, — каждый имеет право телеграфировать, куда он хочет и что он хочет.

Управляющий замер, чувствуя, что Александр Петрович сел на любимого конька.

— А если злоумышленник, ваше высочество?

— Даже если готовится покушение на особу царствующего дома, — страшным от вдохновения голосом проговорил принц, — он обязан, не останавливая преступной телегхаммы, вежноподданно упредить, известив об этом полицию.

«А как же быть с тайной переписки?» — подумал управляющий, но еще более замер, как бы потрясенный трагической красотой независимости российских законов.

Теперь управляющему предстояло доложить еще о двух безобразиях, что было особенно трудно, учитывая характер этих безобразий и высокое состояние принца. Но так или иначе доложить пришлось.

Первое безобразие состояло в том, что сегодня утром некий абзаец разбил голову сторожу гостиницы «Альпийская» у него же выхваченным из рук ружьем. Преступник, не оказавший сопротивления, был схвачен служителями гостиницы и отправлен в полицию вместе со своей лошадейю. В свое оправдание он заявил, что сторож оскорбил его посредством непристойного звука, якобы нарочно изданного, когда абorigine пил воду из источника около гостиницы.

Издавал ли сторож непристойный звук и притом нарочно, чтобы оскорбить аборигена, было неизвестно, потому что сам он в бессознательном состоянии был отправлен в больницу, а других свидетелей нет.

Второе безобразие состояло в том, что ночью исчез один из трех черных лебедей, как раз любимец принца. По слухам, из парка в эту ночь раздавались пьяные голоса неизвестных людей, а сторож за день до этого был свален тропической лихорадкой.

— Узнать, кто знал, что сторож болеет, — приказал принц, но это ничего не дало, потому что все знали, что сторож заболел.

Принц приказал своему адъютанту на моторной лодке обойти море в окрестностях Гагр на случай, если лебедь просто улетел от преследователей. Иногда лебеди и сами улетали в море, но потом всегда возвращались.

Поиски лебеда на моторной лодке окончились безрезультатно. О пьяных ничего не было известно, кроме того, что на берегу пруда был найден ремень без опознавательных знаков, из чего можно было заключить, что пьяные, во всяком случае один из них, раздевшись, пытался поймать лебеда в самом пруду.

Не давая волю личным переживаниям, принц Ольденбургский непреклонно продолжал свой распорядок дня, приказав к одиннадцати часам привести преступника в парк, где он будет в это время рассматривать место ночного происшествия.

Исчезнувший лебедь обычно защищал молодого самца от наскоков старого вояки. Отчасти за эти рыцарские качества принц Ольденбургский его и любил. Он вообще очень любил свое птичье хозяйство, но особенно выделял розового пеликана и этого исчезнувшего лебедя за красоту и благородство.

После массажей Картучихи, будь она неладна, и осмотра ремонтных мастерских кормление пеликанов было третьим по силе воздействия успокаивающим средством Александра Петровича.

Розовый пеликан все еще дремал на островке, а три черные лебедицы, из-за которых старый самец не давал покоя молодому, спокойно паслись в дальнем конце пруда. Судя по всему, поглощенный процессом вражды, старый самец забыл о ее причине. Сейчас он опять приближался к своему сопернику.

— Так и буду стоять, — пробормотал принц, снова отогнав самца и отряхивая свою палку.

— Уже ведут, ваше высочество, — как всегда невпопад отозвался адъютант, кивнул на парковую аллею, в конце которой появились три фигуры — начальник полиции, переводчик канцелярии принца и преступный абхазец. Адъютант даже приподнял на груди бинокль и взглянул на эту группу из присущей ему, как считал принц, паразитической праздности. Бинокль остался у него на груди после бесцельных поисков пропавшего лебедя.

Александр Петрович не любил своего адъютанта, считая его шалопаем и бездельником. Он бы давно его выгнал, но,

подозревая, что адъютант отчасти следит за ним и время от времени доносит на него в Петербург, нарочно из гордости продолжал оставлять его при себе.

Принц Ольденбургский подошел к свите и посмотрел вперед. Они приближались. Впереди шел, по-видимому, сам преступник — стройный молодой человек в черкеске и мягких азиатских сапогах. Одной рукой он придерживал перекинутый через плечо дорожный хурджин. Александр Петрович невольно залюбовался его упругой рысью походкой.

Шагов за тридцать преступник оглянулся и спросил у переводчика по-абхазски:

— Кто из них сам?

— Тот, что с палкой, — тихо ответил переводчик.

— Я так и думал, — сказал молодой человек. Молодой человек — увы, это был дядя Сандро — приостановился шагах в пяти от принца и, слегка поклонившись, пробормотал по-абхазски приветствие. На приветствие ему никто ничего не ответил, и он притих, стараясь умерить природную живость своих глаз, которая сейчас не без основания могла быть воспринята как признак дерзости, граничащей с нахальством.

Несколько секунд длилось неловкое молчание, потому что Александр Петрович почувствовал неудобство оттого, что судилище приходится производить стоя. В этом был какой-то непорядок, и он молча двинулся к скамейке, стоявшей в десяти шагах от него под олеандром. Все последовали за ним.

Наконец, принц уселся, а свита, симметрично разделившись, стояла по обе стороны от скамейки.

— Как случилось? — спросил принц, сутуло наклоняясь вперед и исподлобья оглядывая дядю Сандро. Эта привычка придавала его позе грозную стремительность и внушала собеседнику необходимость идти к истине кратчайшим путем.

Дядя Сандро это сразу понял и, почувствовав, что кратчайший путь к истине будет для него наиболее губительным, решил не поддаваться, а навязать ему свой путь к истине. Начало этого пути уже было заложено в полицейском участке, где он притворился не понимающим русского языка.

Переводчик перевел вопрос принца. Дядя Сандро благодарно ему кивнул за перевод и начал излагать свою версию происшествия. Принц Ольденбургский почувствовал, что дядя Сандро уклоняется от кратчайшего пути к истине, перебил его, ткнув палкой на хурджин.

— Что это у него там шевелится? — спросил он у переводчика.

Дядя Сандро закивал головой и стал развязывать хурджин. К великому удивлению окружающих и самого принца, он вытащил оттуда несколько придушенного и измазанного в собственном помете черного лебедя.

— Откуда? — встрепенулся принц и, легко вскочив на ноги, взял у него любимую птицу.

— Может запачкать, — предупредил дядя Сандро, но переводчик не осмелился перевести. — В подарок привез, — добавил дядя Сандро.

Принц Ольденбургский с лебедем в руках подошел к пруду и поставил его на воду. Лебедь несколько секунд

скучно стоял на воде, но потом вдруг встрепенулся и с криком поплыл на середину пруда, раскатывая грудью треугольную рябь.

— Что ж ты сразу не сказал? — спросил принц, удивленно уставившись на дядю Сандро. Наглое обаяние дяди Сандро начинало действовать на принца.

— Я это вез ему в подарок, но раз такое случилось, решил: пусть сначала накажут, а потом подарю, — ответил дядя Сандро.

— Что ж, благоходно, — кивнул принц, снова усаживаясь на скамейку. На самом деле дядя Сандро, увидев в пруду несколько черных лебедей, приуныл, решив, что у принца уже такое есть и находка его не представляет большой ценности.

— Где ты его нашел? — спросил принц, откидываясь на скамейке и доброжелательно оглядывая дядю Сандро, как бы разрешая ему несколько удлинить путь к истине. Дядя Сандро это сразу же почувствовал и, не скупясь на краски, рассказал историю поимки черного лебедя.

В то раннее утро дядя Сандро ехал верхом из Гудауты в село Ачандары, где он собирался погостить несколько дней у своего родственника в ожидании поминального пиршества, которое должно было состояться в соседнем доме. В наших краях сороковины устраиваются не очень точно, то к погоде прилаживаются, то еще какие-нибудь хозяйственные расчеты, так что дядя Сандро решил, что лучше не рисковать и подождать на месте, чем пропустить хорошие поминки.

И вот он едет по приморской дороге и вдруг видит, что недалеко от берега на воде сидит невиданная в наших краях черная птица с длинной шеей.

До этого он о лебедях Ольденбургского и слыхом не слышал, хотя о самом принце наслышался, но не видел его ни разу.

Так вот дядя Сандро заинтересовался этой птицей и осторожно подъехал к самому берегу. Птица тоже заметила дядю Сандро и, может быть, даже заинтересовалась им, потому что, вытянув длинную шею, стала за ним следить. Дядя Сандро очень удивился этой странной встрече и решил пристрелить ее и принести родственникам на завтрак, если она не слишком воняет рыбой. По его словам, она была покрупнее хорошей индюшки.

Дядя Сандро, не слезая с лошади, вытащил свой смит-вессон, прицелился и выстрелил. Птица стояла на воде метрах в тридцати от берега, но дядя Сандро в нее не попал. Но самое главное, что птица никуда не улетела, а только отплыла метров на двадцать и не в глубь моря, а вдоль берега. Дядя Сандро слегка тронул лошадь и, поравнявшись с птицей, еще более тщательно прицелился и снова выстрелил. Опять не попал, а главное, птица никуда не улетела, а только проплыла вдоль берега, примерно на такое же расстояние. Дядя Сандро раззадорился и, снова поравнявшись с птицей, снова пальнул в нее. Опять не попал. То ли смит-вессон не брал на таком расстоянии, то ли птица была замороженная. Будь у меня, говорил дядя Сандро, побольше патронов, так бы и пригнал ее в Гагры, потому что она все время отплывала в одну сторо-

ну. У дяди Сандро было всего пять или шесть зарядов и, расстреляв их задаром, он пришел в такое бешенство, что решил вплавь пуститься за ней, раз уж она не улетает.

Не долго думая, он загнал в море своего рябого скакуна. До этого дядя Сандро в море его никогда не пробовал, но абхазские и мингрельские реки скакун одолевал хорошо.

Все же в море ему не понравилось и он долго упирался. Дядя Сандро загнал его в воду. Как только конь поплыл, он сразу же сделался послушным, потому что упираться стало не во что. Проклятая птица подпускала его довольно близко, но как только он подплывал, отходила, и опять же в сторону Гагр.

Или подранок, или наваждение, думал дядя Сандро, и хотя весь промок, но до того разгорячился, что не замечал холода, и, главное, конь, рассказывал дядя Сандро, уже как хорошая собака, напавшая на след дичи, сам рвался за ней, но все же догнать не мог.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если б, на счастье, они не вышли на мелководье. Почувствовав под ногами дно, конь припустил, а птица, рассказывал дядя Сандро, припустить не могла, потому что, хоть шея у нее и была длиной с мою руку, ноги все же у нее были короткими, особенно против лошадиных. В последнее мгновение она попыталась нырнуть, но дядя Сандро успел ухватить ее за черную задницу и приподнять над землей.

Дядя Сандро страшно замерз и разозлился на эту странную птицу, особенно после того, как, пощупав ее, убедился,

что тело у нее твердое, как доска, и до индюшки ей далеко. Хотел он ей тут же размозжить голову, но вспомнил, что рядом, в Гаграх, живет принц Ольденбургский и от скуки покупает всякую всячину.

Может, купит, подумал дядя Сандро, и, сунув птицу в хурджин, приторочил его к седлу и поехал в Гагры.

Часа через два дядя Сандро был в Гаграх. Одежда на нем кое-как обсохла, но все же он сильно продрог и очень хотел выпить, чтобы согреть кровь, но выпить было нечего и не на что.

В самих Гаграх он встретил одного абхазца и спросил у него, принимает ли еще принц всякую всячину.

— Если всякая всячина понравится, то принимает, — ответил абхазец. Тогда дядя Сандро попросил отвести его к принцу. Но тот отказался, ссылаясь на то, что принц со вчерашнего дня не в духе.

— Что же случилось вчера? — спросил дядя Сандро, начиная раздражаться.

Тут абхазец этот радостно, но под большим секретом рассказал ему, что двери в бараках австрийских пленных до сих пор еще не прорубили и что принц из-за этого сильно сердается, особенно на инженера Бартмера, который считай что мертвый и не слишком ошибешься.

Дядя Сандро еще больше помрачнел, и тогда абхазец сказал, что в Гаграх живет один грек, который перекупает подарки принцу, а потом сам или через своих родственников преподносит ему.

— Дом построил на этом деле, — похвастался он своим знакомым греком и предложил свести его с ним. Дядя Сандро отказался. Тогда абхазец попросил показать ему подарок принцу, но дядя Сандро и тут отказался.

— Да так, пустячок, — сказал он.

— Учти, если орел, — сказал абхазец, оглядывая хурджин и стараясь угадать, что в нем лежит, — можешь его собакам отдать, орлов уже не принимает.

— Как же, орел, — сказал дядя Сандро, радуясь за свою птицу, — чуть не заклевал меня вместе с лошадей.

Тут абхазец двинулся дальше, и дядя Сандро, оставшись один, опять помрачнел.

— Так когда же они эти проклятущие двери прорубят?! — крикнул ему вслед дядя Сандро.

— Никто не знает! — радостно обернулся абхазец. — Одно могу сказать, за мильон рублей не хотел бы я быть инженером Бартмером.

Абхазец, махнув рукой, скрылся за углом, все еще радуясь, что он не инженер Бартмер.

Дядя Сандро поехал дальше. Он подъехал к гостинице «Альпийская» и увидел этого несчастного сторожа. Дядя Сандро спросил у него, нельзя ли ему увидеться с принцем Ольденбургским, которому он привез одну диковинку. Сторож ему на это ответил, что с принцем увидеться нельзя, и опять, как тот абхазец, стал ему рассказывать про ненавешенные двери и пленных австрийцев, хотя про инженера Бартмера ничего не сказал.

Можно себе представить, каково было дяде Сандро слушать все это во второй раз. К тому же сторож поинтересовался, какой подарок он везет принцу Ольденбургскому.

— Камень или животное? — спросил сторож.

— Уж, во всяком случае, не орел, — ответил дядя Сандро, еле сдерживая себя.

Видя, что из-за этих дурацких ненавешенных дверей ему не удастся свидеться с принцем, дядя Сандро, отчаявшись, спросил у сторожа, как найти того грека, который перекупает всякую всячину для принца. Сторож ему на это ничего не ответил, а только подозрительно посмотрел на него и сурово замкнулся, намекая на свою должность.

Дядя Сандро проглотил это оскорбление, но, чтобы сторож не подумал, что он его испугался, он слез с лошади и стал пить воду из фонтанчика, устроенного перед входом в гостиницу, хотя пить ему не хотелось.

Дядя Сандро, нагнувшись, сделал пять-шесть глотков из этого фонтанчика, как вдруг услышал непристойный звук, изданный гяурской задницей сторожа.

Ошеломленный странными гагринскими делами, еще до этого замученный птицей, дядя Сандро не выдержал. Он бросил свою лошадь, подскочил к сторожу, выхватил у него винтовку и дал ему прикладом по голове. Обливаясь кровью, сторож рухнул у своей гостиницы. Из гостиницы выскочили служители, схватили дядю Сандро и переправили его в полицейский участок.

Все это дядя Сандро рассказал принцу, по дороге отбрасывая ненужные детали и, наоборот, останавливая внимание на

деталях полезных. Так он решил, что про смит-вессон и упоминать не стоит, тогда как расстояние от берега до черного лебеда смело увеличил до одной версты.

— Да как ты его разглядел с бехега? — удивился принц.

— У нас, у чегемцев, глаз острый, — скромно пояснил дядя Сандро.

Принц Ольденбургский выразительно посмотрел на адъютанта.

— Так он же возле Гудаут нашел его, — напомнил адъютант.

— А бинокль? — спросил Александр Петрович, на что адъютант ничего не смог ответить.

— Так, значит, — повернулся принц к дяде Сандро, — у всех чегемцев глаз острый?

— Да, — сказал дядя Сандро, не моргнув своим острым чегемским глазом, — у нас вода такая.

— Интересно, что за вода, — сказал принц Ольденбургский задумчиво, — надо будет снарядить человека за пробой...

Дядя Сандро ясным взором смотрел на принца, выражая готовность внести любые уточнения по поводу чегемских источников.

— Дарю тебе за любознательность и остроглазие, — сказал принц Ольденбургский и кивнул на бинокль адъютанта. Тот молча снял его и передал дяде Сандро. Дядя Сандро поблагодарил принца и повесил бинокль на шею.

— Ах ты, везунчик, — сказал переводчик по-абхазски.

Происшествие со сторожем дядя Сандро изложил как бы мимоходом, стараясь не портить хорошее впечатление от

остального рассказа. Он сказал, что, проезжая мимо гостиницы, решил напиться, и когда спешившись стал пить воду из фонтанчика, сторож без всякого повода стрельнул в него задней, что по абхазским обычаям считается страшным оскорблением. Вот он и не выдержал.

Дикарь, подумал Александр Петрович, но какое чувство собственного достоинства.

— Спроси, — кивнул он своему переводчику, — откуда он знает, что сторож хотел его этим оскорбить?

— А там больше никого не было, — ответил дядя Сандро.

Свита рассмеялась. Принц нахмурился: не вполне законная симпатия к этому молодому человеку начала передаваться свите.

— А если сторож умрет? — спросил принц, стараясь постигнуть психологию поступка молодого аборигена.

— Значит, так у него на роду написано, — ответил дядя Сандро и для полной ясности постучал указательным пальцем себя по лбу.

— Тогда мы тебя сошлем на каторгу, — сказал принц, все еще пытаясь раскрыть перед его сознанием, упрямо отказывающимся рефлексировать, всю трагическую нелепость его поступка.

— Знаю, в Сибирь, — поправил его дядя Сандро и добавил: — Значит, так суждено.

— Ну, а если у него это нечаянно получилось? — не унимался принц.

— Он должен был сразу же, пока я еще не успел оскорбиться, сказать: «Не взыщите, нечаянно!» — радостно отве-

тил дядя Сандро, показывая, что при отсутствии злого умысла всегда можно найти общий язык.

Принц Ольденбургский задумался. Дядя Сандро, почувствовав, что допрос, по-видимому, кончился, вывернул свой хурджин и, присев у пруда, стал его обмывать.

«Дикарь, но как свободно держится, — думал Александр Петрович, — крепостного рабства не знали, вот в чем дело...»

В это время по парковой аллее в кресле-коляске, запряженной осликом, тряся сухонькой головкой, проехала принцесса Евгения Максимилиановна. Ослика вел под уздцы казак. Другой казак придерживал коляску сзади. Свита поклонилась. Ничего не замечая, принцесса проехала как страшный сон,

— А это еще кто? — тихо спросил дядя Сандро у переводчика при виде такого странного зрелища.

— Его жена, — так же тихо ответил переводчик.

— Ну и жена, — вздохнул дядя Сандро, жалея принца.

— Ваше высочество, как быть с этим? — спросил начальник полиции, почувствовав, что дальше занимать время принца неприлично и опасно.

— Если сторож придет в себя, отпустить, а если что, будем судить, — сказал принц.

Дядя Сандро вместе с переводчиком и начальником полиции пустился в обратный путь. Сейчас спутники дяди Сандро едва поспевали за ним, ему хотелось догнать коляску и еще раз посмотреть в лицо страшной принцессы.

Начальник полиции туго обдумывал слова принца, стараясь вникнуть в их подспудный смысл, угадать, нет ли ловушки, тайного испытания. Он почувствовал, что преступник чем-то понравился принцу, иначе он не стал бы дарить ему бинокль, но, с другой стороны, ему же, принцу, в угоду надо было неукоснительно выполнять законы.

— Рабства не знали, вот в чем положительная особенность абхазов, — многозначительно сказал принц, обращаясь к свите. Свита вздохнула, и на некоторых лицах даже как бы появилось выражение некоторой запоздалой вины за слишком длинное крепостное рабство в родной стране.

С пристани раздался звук шомпольной пушки, возвестившей законный полдень. Принц Ольденбургский покосился на свиту. Свита подчеркнуто замерла, выражая полное доверие к точной работе шомпольной пушки. А раньше, бывало, как только ударит пушка, кто-нибудь нет-нет и посмотрит на часы, словно надеясь, что пушка вдруг ошибется. Но пушка не могла ошибиться, потому что была связана электрической проводкой с башенными часами.

В двенадцать часов начинался перерыв на всех рабочих предприятиях Гагр. Кроме того, это было время кормления пеликанов и цапель.

Услышав выстрел, розовый пеликан бросился в воду и теперь ракетными толчками пересекал пруд.

Через несколько минут у пруда появился боцман пристани с мокрым сачком, наполненным ставридой. Принц Ольденбургский требовал для кормления пеликанов самой све-

жей рыбы. поэтому боцман всегда держал про запас сачок, наполненный рыбой и опущенный в море. Такая рыба, по крайней мере, в течение суток была похожа на свежесвыловленную.

Увидев боцмана, пеликан, выходя из воды, хлопотнул и, расправив огромные крылья, словно прикрывая беговую дорожку от возможных соперников, побежал к нему. Как пеликан ни спешил, а все-таки остановился на краю аллеи, там, где кончался зеленый дерн — знал, дальше не положено. За пеликаном более сдержанно приковыляла пеликанша, а там и вовсе скромно, не доходя до границы аллеи, остановились цапли.

Птицы лучше иных людей усваивали порядок, который с такой энергией насаждал принц Ольденбургский. Птицы и рабочие ремонтных мастерских, и потому он тех и других любил больше всех.

Началось кормление. Александр Петрович вынул из сачка крупную ставриду и бросил ее пеликану. Разинув свой чудовищный клюв, пеликан с ловкостью собаки на лету подхватил добычу. Мгновенье было видно, как рыба, скользя, проваливается по желобу нижней челюсти. Пасть захлопнулась с полноценным звуком одернутого зонта. Александр Петрович бросил рыбу пеликанше. Тот же благородный костяной звук с металлическим оттенком, только зонт поменьше. Так повторялось много раз, и пасти пеликанов перещелкивались, прихватывая рыбу.

Иногда Александр Петрович нарочно подбрасывал обезглавленные экземпляры ставриды, и оба пеликана гневным

движением так и не раскрывшихся клювов отменяли попытку подсунуть им неполноценную добычу. Обезглавленная рыба каждый раз определялась безошибочно и на лету, вызывая горестное восхищение Александра Петровича. О, если бы правители России и ее народы также точно подхватывали полноценные идеи и отбрасывали порочные!

Наконец пеликаны наелись. Самка отошла, а самец, расправив мощные крылья из розового мрамора и выставив вперед первобытный клюв, застыл в позе неведомого герба. С остатками рыбы, в том числе и обезглавленной, скромно расправлялись цапли.

Александр Петрович почувствовал, что к нему возвращается гармоническое состояние.

— Поехали поглядим, как поубили двей в бахаках, — обратился он к свите, вытирая руки чистым полотенцем, поданным боцманом пристани.

Усаживаясь в машину рядом с кожаным шофером, он подумал: если все будет хорошо, после обеда зайду к Картучихе. В сущности, думал он, это не будет нарушением собственного приказа. Ведь приказ пребывать под домашним арестом, до конца которого оставалось два дня, никак не оговаривал ежедневные массажи. Массаж он отменил ввиду личной немилости, хотя сам же от этого и страдал.

— Пеедай, буду после обеда, — сказал он адъютанту, усевшись рядом с шофером и тем самым останавливая его попытку влезть в машину. Надо было показать, что его бездарный объезд залива в поисках черного лебедя не остался безнака-

занным. Адъютант придал лицу кающееся выражение, хотя был рад, что ему не придется топтаться возле этих вонючих барачков.

Лимузин «бенц» ехал в сторону ущелья Жоеквары. Редкие прохожие, останавливаясь, смотрели на экипаж принца и на самого Ольденбургского. Он сидел, откинувшись назад, как бы полностью доверяясь стремительности мотора и потому давая отдохнуть собственной стремительности. Рука его, зацепившись большим пальцем за крючок мундира, лежала на груди. Сейчас загнутая ручка его знаменитой палки висела на его костистом запястье — верный признак ясного состояния духа.

Через полчаса веселый абхазец, встретивший утром дядю Сандро, потерял свой мифический миллион — инженер Бартер был прощен ввиду того, что последняя дверь в последнем бараке (приказ: по фасаду через три окна) ко времени приезда принца была навешена.

В шестом часу вечера огромная спина принца принимала заслуженную дозу блаженства. Принц лежал в спальне Картучихи на низкой тахте, уютно продавленной за многие годы его большим телом. Картучиха работала над ним, как истосковавшийся арендатор над своим участком. Александр Петрович засыпал. Последние волны блаженства стекали к ногам и подымались к затылку. Картучиха прикрыла его легким одеялом и тихо вышла из спальни.

Через минуту, хлопнув калиткой, она шла по улице к соседу турку-кофевару якобы для покупки кофе. На самом деле она хотела показать людям, что полоса великого гнева

сменилась на милость. Хотя принц Ольденбургский и не отменял своего наказания, она знала по опыту, что спина Александра Петровича, вкусившая массаж, сама похлопочет за нее и в конце концов смягчит суровую точность его приказа.

На улице Каргучиха встретила санитаря, бежавшего из больницы в полицейский участок.

— Куда бежишь, Серафим? — спросила Каргучиха, останавливая его.

— Сторож очнулся и попросил водички, — сказал санитар, обалдело оглядывая ее, — бегу в полицию.

— А-а, — сказала Каргучиха, — давай беги.

И санитар припустил дальше. Услышав сообщение санитаря, заместитель начальника полиции, точно исполняя приказ начальника, лично открыл камеру, в которой сидел дядя Сандро, и выпустил его, сказав при этом:

— Катись к едреной матери, пока сторож в сознании. Моя бы воля...

В чем заключалась его воля, дядя Сандро так и не узнал, хотя догадывался, что она ему ничего хорошего не сулила. Он поспешно вывел свою лошадь из полицейской конюшни и выехал на улицу.

В тот раз дядя Сандро так и не попал на поминальное пиршество в селе Ачандара, потому что, не слишком надеясь на здоровье сторожа, решил не рисковать и ехать к себе в Чегем. Бинобль, болтавшийся у него на груди, приятно тяжелил ему шею, напоминая об удивительной встрече с удивительным принцем Ольденбургским.

Остается сказать, что после революции принц Ольденбургский переехал в Финляндию, где, по слухам, занимался цивилизацией некоего местечка, которое по доброй старой памяти назвал Новыми Гаграми. Продолжил ли он свои опыты, надеясь на скорое падение Советов, или просто деятельная его натура ни в чем не терпела застоя, остается неизвестным. О дальнейшей его судьбе ни мне, ни владельцу великолепного бинокля ничего не известно.

— Он хотел людям хорошего, — говаривал дядя Сандро, вздохнув, — но среди людей немало сукиных сынов оказывалось...

4. игроки

Третьи сутки в большом зале особняка известного табачника Коли Зархиди шла большая игра.

Играли в нарды. В ту ночь трижды менялись свечи в подсвечниках, и постепенно играющие отпадали, переходили в более укромные уголки, где, попивая вино, перекидывались в карты на небольшие ставки. Некоторые толпились у низенького столика посреди залы, как бы составляя кордебалет при двух основных солистах — хозяине дома и эндурском скотопромышленнике.

Дядя Сандро знал Колю Зархиди, потому что тот покупал табак у его отца и, кроме того, сам держал несколько плантаций в селе Чегем, как и в некоторых других селах. Летом в до-

ме дяди Сандро нередко гостили родственники Коли Зархиди, особенно те, кого донимала всесильная в те времена колхидская лихорадка. Бывал там и Коля.

Дядя Сандро, приезжая в город, обязательно захаживал к своему высокому кунаку, ценившему в нем легкость на ногу, когда дело касалось опасных приключений, и твердость в ногах при питье.

Коля Зархиди, несмотря на свой солидный авторитет крупного табачника, был известным в Абхазии кутилой и игроком. Вернее даже сказать, что Коля Зархиди, несмотря на то, что был известным кутилой и игроком, все же не терял наследственного чутья торговца и знатока табаков.

Игра эта готовилась давно. Среди собравшихся было несколько тайных союзников скотопромышленника и еще больше не слишком тайных друзей Коли. Среди них на первом месте был дядя Сандро, заранее предупрежденный и приглашенный Колей. В таких играх мало ли что может быть, надо быть готовым ко всему.

Коля Зархиди рассчитывал сорвать с этой игры большой куш. Но провидению было угодно другое. Третьи сутки с небольшими перерывами маленький бледный грек сидел против разлапного, широкоплечего скотопромышленника с зоркими под лохмами бровей глазами умного кабана.

Удачливый Коля на этот раз проигрывал. Если ему удавалось взять «оин», скотопромышленник отвечал «марсом», то есть двойным выигрышем. Скотопромышленник играл смело и раскидисто, открывался и давал бить свои фишки. Пленные

фишки неожиданно взрывали оборону грека и сами, в конце концов, пленяли и растаскивали его камни.

Четырежды грек менял кости, но ничего не помогало, они ложились так, как хотел скотопромышленник. Он был в ударе и каждый раз из дюжины возможных комбинаций почти безошибочно выбирал наиболее надежную для продолжения партии. Так, бывало, в стаде нежноглазых телят он угадывал и метил самого мощного в будущем, самого крутолобого производителя.

Кроме того, ему везло, как везет всем скотопромышленникам в мире. А ничто так не обостряет способности, не вдохновляет, как везение, и ничто так не способствует везению, как вдохновенная игра.

За эти трое суток между партнерами произошло несколько неприятных стычек в связи с оценкой некоторых плантаций, но все обошлось благополучно, потому что в качестве третейского судьи в эту последнюю ночь был приглашен персидский коммерсант Алихан, как представитель солидной нейтральной нации.

Алихан держал в городе кофейню-кондитерскую под названием «Кейф», где продавались восточные сладости собственного изготовления, горячительные и прохладительные напитки и, конечно, кофе по-турецки.

После того как все плантации были проиграны, Алихану предложили уйти домой, но он почему-то остался и стал помогать юной хозяйке, любовнице табачника, варить кофе и подавать гостям. Эту сонную толстушку, волоокую красавицу

вицу по имени Даша, Коля Зархиди увел, вернее, как бы одолжил у своего приятеля, гарнизонного офицера, такого же кутилы, как и он. Даша ему давно нравилась, может быть, он даже влюбился бы в нее, если б у него было больше времени. Но времени у Коли не было, и потому однажды ночью, когда Коля с друзьями возвращался на фаэтонах после одного из загородных кутежей (Даша вместе с офицером ехала с ним в одном экипаже), он спросил у офицера:

— Что скажешь, если Даша поедет со мной?

— Скажу «уф», — ответил офицер.

Даша была родом из Екатеринодара, куда офицер этот, возвращаясь из отпуска в Россию, захотел погостить к своему товарищу. Почти в шутку, смехом, он тайно увез ее из дому, обещая показать ей Москву и там жениться на ней.

Только в Туапсе, увидев море, Даша догадалась, что они едут не в Москву, а даже в противоположную сторону. Даша встала, чтобы выйти из дилижанса, на котором они катили вдоль моря, но дилижанс шел слишком быстро, к тому же в нем были чужие люди. Даша постеснялась чужих людей, вздохнула и села на место. Через два дня, уже подъезжая к Мухусу, она успокоилась и сказала, что море ей напоминает степь, только по степи можно ходить, а по морю нельзя.

Офицер этот жил с нею четыре года, случалось, бивал ее плеткой, чтобы вызвать в ней интерес к жизни, или добратся до ее спящей души, или, по крайней мере, хотя бы отучить ее рассказывать по утрам сны, бесконечные, как степные дороги с однообразными вехами эротических миражей.

Он считал, что терпит Дашу в ожидании удачной женитьбы, когда он сможет вырваться из армии, из Кавказа, из этой малярийной дыры и богатого убожества провинциальных кутежей. Но удачная партия здесь никак не подворачивалась, а в Москве не хватало отпускного времени и полезных знакомств. За время гарнизонной службы он достаточно окавказился, чтобы разделять застолье местных табачников, но не настолько, чтобы кто-нибудь из них захотел вступить с ним в родство и отделить ему часть своих накоплений или тем более взять его в компаньоны.

На легких кавказских хлебах Даша расцвела и, как свойственно славянской натуре, быстро приспособилась к чуждым формам блаженства. Она принимала участие в кутежах своего возлюбленного, волнua застольцев юным обилием и сонным цветением.

Но больше всего она любила пить кофе по-турецки, запиная его знаменитым лимонадом братьев Логидзе. Она научилась гадать и, выпив кофе, переворачивала чашку, давая стечь кофейной гуше, потом заглядывала в нее. Показания кофейной гуши она сопоставляла с картинами своих снов, соединяла их, мысленно прочерчивая кривую судьбы.

— Чтой-то будет, — вздохнув, говорила она, закончив гадание.

Показания кофейной гуши, подстрахованные снами, в самом деле сбывались, потому что в жизни всегда что-нибудь случается.

Так и теперь, услышав разговор своего возлюбленного с Колей, Даша поняла, что сбывается то, что должно сбыться,

и промолчала. Она только закусила губу от смущения и крепче повязала на шее платок, как бы почувствовав на лице дуновение судьбы. Вместе с тем, она обиделась на своего возлюбленного за его ответ-выдох и с покорной грустью поняла, что никогда ему этого не сможет простить.

С этого мгновения ее мерцающее сознание обратилось на Колю. Она вспомнила, что маленький порывистый грек ей нравился всегда, она испытывала к нему почти материнскую нежность. Только от его мельтешенья у нее, бывало, рябило в глазах, бывало, все ей хотелось как-нибудь уговорить его, да она не знала, как это сделать. И в том, что ей и раньше хотелось уговорить Колю Зархиди, Даша разгадала давний намек судьбы и окончательно успокоилась. Она стала думать, как запутает его обволакивающей нежностью, запеленает ласками, замурыкает. «Небось уговорится», — думала она, заранее стараясь не пропустить, а главное, не забыть новые сны, которые она увидит на новом месте.

Рано утром, пока Даша старательно спала на новом месте, Коля встал (выпутался-таки) и, как обычно, ушел в кофейню, где за хашем, чачей и турецким кофе опохмелялся и получал свежую коммерческую информацию.

Коля ушел, но многочисленная родня его оставалась дома. И когда мать зашла в его спальню, куда она обычно заходила по утрам, чтобы прибрать ее и по запахам определить, где кутил ее сын и сколько он выпил, и вдруг обнаружила в постели сына женщину, старуха завопила. Этого еще не было, чтобы ее единственный сын, Коля Зархиди, приводил русскую

женщину в честный греческий дом. На шум сбежалась родня, дюжина кривоногих и патриархальных приживалок.

Даша проснулась и попыталась привстать, спросонья улыбаясь улыбкой гимназистки, вспоминая свой первый школьный бал. На самом деле она старалась вспомнить сны этой ночи. Выражение лиц и шум, поднятый женщинами, постепенно привели Дашу к враждебной яви. Она сделала еще одну попытку привстать и даже в самом деле села на постель, удивленно оглядывая женщин и вслушиваясь в их враждебное лопотанье.

— А мы с Колей решили, — начала было она, всплеснув руками, и вдруг забылась, обдав женщин сладостной чумой наспянного греха.

— Дьяволос! — закричали они и, путаясь в дверях ногами, ринулись из комнаты.

В тот вечер в доме Зархиди собрались на семейный совет все родственники, среди которых было немало почтенных коммерсантов. Взрослые замужние сестры Коли неистовствовали, как голодные тигрицы. Во время совета они несколько раз рвались в его спальню, где дожидалась своей участи Даша, чтобы избить ее. К счастью, мужа вовремя перехватывали их и оттаскивали назад, с добровольно преувеличенным усердием.

Успокоившись, сестры предложили объявить Колю сумасшедшим и на этом основании взять над ним опеку. Но этот способ уже тогда опытным людям казался устаревшим, потому что почтенные коммерсанты стали возражать. Они

утверждали, что этим немедленно воспользуются другие табачники, чтобы подорвать его коммерческое имя. Матери тоже было обидно объявлять Колю сумасшедшим, и она не поддержала дочерей.

Сам Коля откровенно и нагло смеялся над родней, потому что был уверен в своем главной козыре: он был единственным сыном своего отца, и было никак невозможно продолжить славный род Зархиди, не прибегнув к его услугам, при том добровольным.

В конце концов по совету старейшего родственника решили подождать, пока Даша надоест Коле, потому что, как он пояснил, всякая женщина надоедает мужчине, если у него ее не пытаются отобрать.

Поджав губу, мать скорбно согласилась с этим решением, но сестры требовали, чтобы Коля точно сказал, когда она надоест.

— Откуда я знаю! — кричал Коля, весело размахивая руками.

Сестры уходили, бросая гневные взгляды на дверь, за которой ждала своей участи Даша. Мужья их, завидуя Коле, задумчиво медлили на мраморной лестнице.

Решение ждать, пока Даша надоест Коле, оказалось роковым. Все получилось наоборот — тихая, сонная Даша выжила из дому дюжину воинственных и шумных гречанок.

Как и во всяком южном доме, в особняке Коли с утра начиналась бешеная деятельность. Многочисленная родня хваталась с утра за веники, шваркала половыми тряпками, гро-

хоча ведрами, бегала за водой. Все эти приживалки, под зычным руководством матери Коли, скрипели базарными корзинками, стучали столовыми ножами, соскребали нагар с подсвечников и налеты органических окаменений с мидий, перерывали горы риса, выскивая порченные зерна, переругивались с продавцами фруктов, на своих осликах въезжавших во двор особняка, выбрасывали на окна и балконы и тут же колотили палками ни в чем не повинные матрацы, шушукались с греческими свахами, постоянно ждали неведомых гостей, с ужасом прислушивались к вестям из России, где, по слухам, рабочие не только греческих коммерсантов, собственного царя не пощадили, оставив его с женой и детьми без куска хлеба.

И что же? Посреди этого могучего жизнеутверждения семейственности, очаголюбия ходила сонная волоокая женщина, шлепая по мокрому полу босыми ногами, пытаясь рассказывать свои степные сны, непонятные и ненужные, как валенки киприоту.

И эта женщина завладела сердцем единственного мужчины, продолжателя славного рода Зархиди?! Где справедливость, где божественный промысел?! Поистине боги отвернулись от Греции и от каждого грека в отдельности.

Однажды за обедом Даша отказалась есть плов с мидиями.

— Зачем? — кротко спросила свекровь поневоле.

— Они противные, они как улитки, — сказала Даша, не подозревая, что улитки еще более национальное блюдо, чем плов с мидиями. Во всяком случае, для черноморских греков.

— Борщ лучше? — все с тем же кротким любопытством спросила Колина мама. Приживалки, вытаращив глаза и стараясь не шуметь челюстями, глядели на Дашу. Надвигалась гроза, но Даша не понимала.

— Конечно, — сказала Даша, — маменька готовила такой борщ...

— Езжай маменька, деньги дам, — ласково предложила мать Коли.

— Мне нельзя, — вздохнула Даша, — меня папенька убить могут...

— Зато мне можно, — внятно сказала старуха и встала из-за стола. Смертельно перепуганные приживалки последовали за ней.

В тот же день небольшая траурная процессия во главе с матерью Коли Зархиди вышла из особняка, прошла по городу и скрылась в доме одной из сестер Коли. Правда, в доме оставалась преданная служанка, которой старуха наказала следить и следить за этой русской дьяволос, мечтающей разорить сына на радость конкурирующим табачникам.

Она была уверена, что офицер этот, купленный табачниками, подсунул Дашу ее бесхитроственному сыну. Исподволь, через верных людей она стала выяснять, сколько получил офицер за свою операцию, чтобы не слишком переплатить, когда она попытается откупиться от Даши. Говорят, они встречались, но свидетелей при этом не было, поэтому точно ничего не известно.

А Даша целыми днями в халате с короткими рукавчиками сидела на балконе особняка, поглядывая на улицу, прихлебывая кофе и запивая каждый глоток знаменитым лимонадом братьев Логидзе. Если по улице проходил кто-нибудь из знакомых, Даша окликала его и спрашивала:

— Колю не видел?

— Видел, в кофейне, — обычно отвечал прохожий.

— Гони его домой, — обычно наказывала Даша, прихлебывая кофе.

Если прохожий отвечал, что не видел Колю, Даша не огорчалась.

— Гони, если увидишь, — просила Даша, тут же забывая о человеке, с которым только что говорила. А тот, бывало, стоял, переминаясь, чего-то ожидая и наконец вздохнув Бог знает о чем, шел дальше своей потускневшей дорогой.

Так обычно она проводила свои дни, если не возилась во дворе особняка, где она разбила грядку подсолнухов между благородными лаврами, посаженными еще отцом Коли.

Однажды, когда Даша, как обычно, сидела на балконе, попивая кофе, к особняку верхом на лошади подъехал ее бывший возлюбленный. Он остановил лошадь, поднял голову и сказал:

— Высоко забралась, Дашка?

— Мне не то обидно, что бил, — ответила Даша, продолжая держать в руке чашку с кофе и ложась грудью на перила балкона, — а то обидно, что ты сказал «уф».

— Погуляла и хватит, — примирительно посоветовал офицер, — вон и мамаша его от тебя сбежала.

— Я теперь Колю люблю, — ответила Даша, — а морских улиток я не могу уважать...

Уже начиная раздражаться, офицер начал уговаривать ее, переходя от любовных воспоминаний к угрозам и наоборот. Даша тихо слушала его, положив голову на перила, высунув неуклюжую полную руку, и скапывала из чашки остатки кофейной гущи, стараясь попасть ими в шевелящееся ухо лошади. Наконец попала. Лошадь, гремя уздечками, замотала головой.

— Значит, не хочешь? — спросил офицер.

Даша, все еще лежа щекой на перилах, тихо покачала своей волоокой кудлатой головой.

— Видно, мало я тебя лупцевал, Дашка, — крикнул офицер и, ударив лошадь плетью, галопом помчался в сторону моря.

— Видно, мало, — повторила Даша и заплакала, продолжая лежать щекой на перилах, так и забыв убрать руку с запрокинутой чашечкой в ладони.

Так Даша навсегда осталась у беспутного Коли Зархиди. В тот вечер самая старшая из Колиных сестер пыталась ворваться в особняк, чтобы собственноручно рассчитаться с Дашей. К счастью, Коля оказался дома. Он закрыл парадную дверь на цепочку, но та ворвалась в дом через вход со двора. Коля едва успел ее перехватить. В виде жалкой отместки она сломала все подсолнухи на Дашиной грядке, чем сильно огорчила ее. В тот же вечер Коля собственноручно заколотил дверь, ведущую во двор, и велел Даше не открывать парадной двери незнакомым людям, пока не посмотрит на них с балкона.

— Я и так всегда на балконе, — сказала Даша.

Дней через десять после посещения Даши застрелился офицер, ее бывший возлюбленный. Все это время он беспробудно пил, но в то утро, по словам денщика, был спокоен и абсолютно трезв. Сидя за своим столом и глядя в зеркало, он тщательно побрился и велел денщику принести полотенце, вымочив его в горячей воде. Денщик принес полотенце, помог ему сделать горячий компресс, после чего офицер отдал ему полотенце и сказал:

— Спасибо, братец.

Унося полотенце, денщик оглянулся и увидел, что офицер, боком глядя в зеркало, как если бы бритвой выравнивал висок, осторожно поднес к нему пистолет, посмотрел в зеркало и выстрелил. Некоторые говорили по этому поводу, что это тихий случай белой горячки, другие говорили, что тут замешана какая-то женщина. Интересно, что о Даше никто не подумал, потому что все знали о том, как он к ней относился и как лихо сказал «уф», когда отдавал ее греку.

Денщик, допрошенный с пристрастием, повторил то же самое, только признался, что офицер перед выстрелом не говорил ему «спасибо, братец», а что это он сам придумал для красоты несчастья.

Начальник гарнизона, посылая рапорт по этому случаю, писал, что офицер наложил на себя руки во время очередного приступа тропической лихорадки, тем самым облагородив версию о белой горячке.

Так обстояли дела и жизнь к тому времени, когда маленький стройный грек и грузный эндурец насмерть уселись посреди залы за низеньким игральным столиком.

Игра продолжалась. Бледные лепестки огня на свечах вздрагивали, когда скотопромышленник, тряхнув в ладони, бросал на доску щебечущие кости и бил этой же ладонью по груди, словно давая клятву верности.

Два маленьких кубика, бешено вращаясь, прокатывались по лакированному днищу игровой доски.

— Щась-бещь!

— Иоган, прошу!

— Ду-се!

— Иоган, прошу, да?!

— Чару-се!

— Ду-як!

— Иоган, прошу как брата!

— Дорт-чар!

— Иоган-раз! Иоган-два! Иоган-три! Иоган-четыре!

Удары передвигаемых фишек, особенно когда ложились на битые, щелкали, как бичи надсмотрщиков. В голосе Коли, когда он называл выпавшие кости или выкрикивал желанные, слышалось вибрирующее отчаяние. Скотопромышленник, как выигрывающий, играл шумно, фамильярничал с судьбой, с хохотом, с прибаутками выкрикивал свои кости, что нервировало грека и давало эндурцу дополнительный психологический перевес.

— Щащи-бещи! — говорил он. — Снимай вещи!

— Ду-бара-дубринский, — сообщал он, — танцует по-лезгински!

Коля Зархиди продолжал проигрывать. Плантации и два табачных склада остались позади. Уже был пушен в ход особеняк и его, партию за партией, крупными ломтями, как рождественский пирог, пожирал эндурский скотопромышленник.

Светало. Дядя Сандро нервно прохаживался по зале. Он искал выхода из создавшегося положения и не мог найти. Двое из гостей, переглянувшись, тихо вышли. Дядя Сандро догадывался, что эти люди связаны с другими табачниками, которые кровно заинтересованы первыми узнать окончательный исход игры. Надо было спасти Колю, надо было остановить игру и повернуть ее вспять, но как это сделать, сохранив приличие?

От избытка энергии дядя Сандро заглянул в кухню, где персидский коммерсант, сдержанно горячась, что-то доказывал Даше. Из соседней комнаты доносилось тихое надгробное песнопенье служанки, запертой там Колей, чтобы она не шпионила за ним и не вмешивалась в игру.

Дяде Сандро показалось, что персидский коммерсант уже уговаривает Дашу бежать с ним. Во всякой случае, при виде дяди Сандро он замолк и пожал плечами, давая знать, что он ничего такого не говорил, а если что-нибудь такое и говорил, то может тут же взять свои слова обратно. При этом он опускал не по возрасту длинные ресницы, чтобы притушить настоящий блеск в глазах, больше слов выдававший тайные старания хорасанского сластолюбца. Дядя Сандро молча вы-

шел из кухни. Этого он не принимал всерьез, опасность была не здесь.

Дядя Сандро подошел к столику, чтобы проследить за очередной партией. Скотопромышленник, подняв голову, хозяйски оглядывал потолок залы. И вдруг, молча кивнув дяде Сандро, он показал рукой на один из углов, где от сырости слегка размыло роспись орнамента.

Казалось, новый хозяин пригласил мастера и показал ему, какие работы предстоит произвести. Дяде Сандро большого труда стоило сдержаться. Он заставил себя углубиться в игру, тем более что Коля эту партию выигрывал.

Но когда скотопромышленник и эту партию повернул назад, поставив на место все свои битые фишки, да еще по дороге прихватил фишки противника, что неминуемо вело грека к очередному проигрышу, дядя Сандро не выдержал. Он схватил серебряный фруктовый нож, лежавший на столике, и с такой силой ударил его о столик, что нож сломался, и лезвие со свистом пролетело мимо головы скотопромышленника и ударилось о стену. Тот и ухом не повел. Он только провел ногтем большого пальца по выщербу, оставленному ножом на поверхности столика, и сказал:

— Лакировка...

Дядя Сандро заметил, что скотопромышленник чем больше выигрывал, тем наглее оглядывал Дашу. Принимая кофе из ее рук, прихлебывал, чмокал губами и, оглядев ее пышный бюст, двусмысленно хвалил:

— Хорош каймак, хорош...

На этот раз, когда Даша, собрав на поднос пустые чашечки, сонно удалилась на кухню, скотопромышленник подозвал одного из своих людей и что-то шепнул ему на ухо. Дядя Сандро все понял, но сделал вид, что ничего не заметил. Через некоторое время тот вернулся и подошел к скотопромышленнику. Дядя Сандро тихо прошел на кухню.

Даша, потупившись, стояла у плиты, а персидский коммерсант взволнованно ходил по кухне, время от времени взмахивая руками под давлением расправившего его гневного, но безгласного монолога.

— Что случилось, Даша? — спросил дядя Сандро.

— Они зовут меня в Эндурию; они говорят, что Коля теперь нищий, — сказала Даша, задумавшись.

— Что за нац?! — всплеснул руками персидский коммерсант и посмотрел на дядю Сандро, взглядом призывая закончить его возмущение своим действием.

— А ты что? — спросил дядя Сандро.

— Я что? Я как Коля скажет, — ответила Даша.

— Что за нац?! — снова всплеснул руками персидский коммерсант, выслушав Дашу и тоном показывая, что он на этот раз в свое восклицание включает более широкий круг народов.

— Пока у вас есть я, не бойся, Даша, — сказал дядя Сандро загадочно и вышел из кухни.

Неизвестно, что бы придумал дядя Сандро, если бы в это раннее утро Даша еще раз не вошла в залу с дымящимся подносом. Увидев ее, скотопромышленник вдруг откинулся на

стуле, отставил ногу и, улыбочиво глядя на Дашу, неожиданно пропел:

*Базар большой,
Народу много.
Русский девушка идет,
Давай дорога.*

— Поет! — громовым голосом воскликнул дядя Сандро и, как выпущенный из пращи, вылетел из зала. В зале вдруг замолкли все звуки. Стало слышно, как работают в столовой фамильные часы, а из комнаты служанки донеслось надгробное песнопение.

Все почувствовали, что в воздухе запахло смертельной опасностью. Скотопромышленник, в это мгновение взяв кофе с подноса, осторожно приподнял чашечку. Сторонники грека и самого скотопромышленника, замерев, жадно следили за его рукой, ожидая, вздрогнет она или нет. Но не вздрогнула рука скотопромышленника, выдержали его буйволиные нервы. Он отпил кофе, облизнулся, поставил чашечку на столик и сказал, кивнув в сторону двери:

— За гитарой побежал...

Сторонники скотопромышленника приободрились.

— Сандро просто так ничего не делает, — не слишком уверенно заметил один из друзей грека. Не успел он договорить, как в зал вбежал персидский коммерсант и закричал:

— Сандро подымается!

Почти одновременно послышалось усиливающееся цоканье металла по мрамору, бронзовый звук судьбы. Гости повскакали с мест, не зная, к чему готовиться, а маленький грек и скотопромышленник, не шевелясь, продолжали сидеть за своим столиком. И тут все заметили, что кровь стала медленно отливать от лица скотопромышленника, а посеревшее за трое суток лицо грека стало розоветь, словно они были связаны, как сообщающиеся сосуды, словно какой-то невидимый перепад давления погнал эту самую общую кровь в обратном направлении.

Античный звук ударов копыт по мрамору забытой доблестью пьянил душу маленького грека. И когда звук этот подошел к самым дверям, где все еще стоял персидский коммерсант, тот вдруг лягающим движением ноги распахнул обе створки и, как вспугнутый заяц, метнулся в сторону перед самой огнедышащей мордой коня.

Сдержанной рысцой дядя Сандро прогарцевал по зале, не сводя со скотопромышленника гневных выпуклых глаз. Дядя Сандро пересек залу и, сам открыв себе дверь, въехал в другую комнату.

— Играй! — крикнул Коля замешкавшемуся скотопромышленнику.

Тот вяло кинул кости, продолжая прислушиваться к удаляющемуся цоканью копыт.

— Что случилось, Коля?! — раздался истошный крик запертой служанки.

— Сандро лошадь прогуливает! — крикнул в ответ повеселевший Коля.

— Уехал? — спросил скотопромышленник, когда звук копыт замолк в одной из задних комнат. Друзья грека радостно объявили ему, что Сандро уехать никак не мог, даже если бы захотел, потому что второй выход из дома Коля вынужден был заколотить из-за плохого поведения старшей сестры.

— Причем сестра, — сморщился скотопромышленник, и все почувствовали, что нервы у него сдают.

Дядя Сандро проехал по всем комнатам особняка. Выпростав ногу из стремени, он на ходу отбрасывал или отодвигал столы, стулья и все, что могло помешать свободному движению лошади. В столовой, увидев свое отражение в большом настенном зеркале, лошадь заржала и попыталась въехать в него. Дядя Сандро с трудом ее повернул и погнал обратно.

На этот раз он влетел в залу и, огрев ее камчой, перебросил через столик игроков.

— Bravo, Сандро! — закричали в один голос сторонники грека, а эндурец в знак протеста положил кости на дно игровой доски.

— Играй! — приказал Коля и, вынув из кармана пистолет, положил его на столик рядом со своим портсигаром.

— Скажи ему, чтоб не прыгал, — попросил скотопромышленник, — я под лошадью не привык играть.

— Успокой нервы и играй, — снова приказал грек и постучал по столику дулом пистолета, как учитель указкой.

Складывалось щекотливое положение. С одной стороны, по неписанным и потому нетвердым законам игры выигрывающий обязан играть до тех пор, пока проигрывающему есть

что проигрывать, но, с другой стороны, дядя Сандро выделял черт-те что. Скотопромышленник обратился к своим сторонникам, но те, сломленные дерзостью Сандро, а может быть, из любопытства к необычности происходящего, решили, что он все-таки должен продолжать игру в случае, если Сандро будет прыгать через игральный стол с одинаковым риском для обоих игроков, то есть чрез середину стола.

— Зачем он должен прыгать, зачем? — пытался эндурец поднять голос.

— Судьба, — отвечали ему.

Опять в качестве третьейского судьи был выбран персидский коммерсант, как представитель солидной нейтральной нации.

Его поставили к стене таким образом, чтобы между дверями, серединой стола и местом, которое он занимал, проходила прямая, и он мог бы точно видеть, насколько отклоняется лошадь дяди Сандро во время полета.

Игра была продолжена. Дядя Сандро прыгал только в одну сторону, потому что для обратной стороны не хватало разгона. Так что из залы он обычно выезжал на холостом ходу, не забыв бросить гневный взгляд на скотопромышленника.

Каждый раз, услышав приближающийся стук копыт, эндурец нагибал голову и, втянув ее в плечи, замирал, пока лошадь не проскакивала над столиком. Как только лошадь проскакивала, он с надеждой смотрел на персидского коммерсанта. Но тот грустно качал головой в том смысле, что Сандро и на этот раз не проштрафился.

Иногда дядя Сандро, доскакав до столика, неожиданно поворачивал лошадь, как бы не соразмерив разгон, и уходил в новый заезд. Эти ложные попытки еще больше сбивали с толку скотопромышленника.

А маленький грек с каждым прыжком дяди Сандро делался все уверенней, все веселей — былая удачливость возвращалась к нему. И когда во время одного из прыжков дяди Сандро он поднял свою чашечку с кофе и отпил глоток под самым летящим, обдающим горячим воздухом брюхом лошади — «Браво, Коля!» — заревели сторонники грека и захлопали в ладоши. Скотопромышленник сникал.

— Лошадь устает, — начал он тревожиться после десятого прыжка.

— Ничего, она у меня застоялась, — ответил дядя Сандро и, потрепав ее по шее, выехал из залы, готовясь к новому заезду. Через минуту из глубины особняка раздался страшный грохот, казалось, лошадь вместе со всадником провалилась в тартарары.

— Я же говорил, лошадь устала! — радостно закричал скотопромышленник и вскочил с места.

Но тут снова раздался стук копыт приближающейся лошади, а скотопромышленник, еще стоя, стал втягивать голову в плечи, постепенно оседая.

— Что случилось, Сандро? — крикнули в один голос гости, когда он появился в дверях.

— В зеркало въехала, — ответил дядя Сандро на лету, перемахивая через столик.

— Она думала, другая лошадь едет, — приземлившись, стал пояснять дядя Сандро, поглаживая по шее, чтобы немного успокоить разгоряченную лошадь, — но она не знает, что в Абхазии другой такой лошади нет...

В самом деле, это была лошадь хоть и местной породы, но довольно странной масти — гнедая, в то же время ярко-пятнистая, как рысь. Дядя Сандро говорил, что конокрады дважды бежали из отцовской конюшни, неожиданно увидев ее среди лошадей. И хотя трудно установить, отчего бежали конокрады, по словам дяди Сандро получалось, что они принимали его лошадь за дикого зверя, поставленного сторожить обычных лошадей.

— Никак голову не мог удержать, — радостно продолжал пояснять дядя Сандро, выезжая из залы и отряхиваясь от мельчайших осколков зеркала, как от воды.

— Почему? — восторженно спросили сторонники грека.

— Такую шею имеет, — уже в дверях сказал дядя Сандро, — пароход может поднять, — и, не оборачиваясь, выехал из залы.

— Эта лошадь ему идет, — задумчиво сказала Даша, глядя ему вслед.

Стоит ли говорить, что скотопромышленник проигрывал партию за партией. Примерно на четыре прыжка приходился один проигрыш.

— Ну, как? — спрашивал дядя Сандро, перебросив лошадь через играющих.

— Оин мой, — радостно отвечал грек, раскладывая фишки, если партия была закончена.

Два с половиной часа длилась эта необычная игра под брюхом летящей лошади. За это время Коля Зархиди успел отыграть весь проигрыш, всю наличность и коляску скотопромышленника, на которой он приехал из Эндурии.

Наверное, в ход были бы пущены эндурские бойни, если бы лошадь в самом деле не устала. После сорокового прыжка дядя Сандро не стал выезжать из зала, а, вплотную подъехав к столу играющих, поднял лошадь на дыбы и несколько сокрушительных секунд стоял над столом, задрав хрипящую и шмякающую кровавую пену на игральную доску голову лошади.

Как только лошадь опустила копыта, скотопромышленник встал.

— Я в проигрыше, и я кончаю, — сказал он, как-то странно зашпешив, и вдруг все заметили, что это уже не тот всеильный скотопромышленник, а просто пожилой, сломленный человек.

— Ваше дело, — ответил Коля, пряча пистолет в карман. К нему вернулась корректность крупного табачного дельца.

Все еще разгоряченный, дядя Сандро выехал на балкон и, расстегнув рубаху, подставил грудь под прохладный утренний ветерок.

Окрестные крестьяне, погоняя осликов, навьюченных огромными корзинами с зеленью, фруктами, краснозобыми индюшками, шагали в сторону базара. Портовые рабочие, ежась от утренней прохлады, плелись в сторону порта, и только стайки алкоголиков, оживленно узнавая друг друга, целенаправленно торопились в хашные и кофейни.

С видом усталого триумфатора дядя Сандро глядел на утренний город.

— Сандро, прошу как брата, — крикнул ему Коля, — кто-нибудь увидит и матери расскажет за лошадь.

— Ты моей лошади должен задницу целовать, — сказал дядя Сандро, въезжая в залу.

— И буду, клянусь прахом отца, — ответил Коля. Выпущенная служанка выносила полное ведро разбитых тарелок. В столовой лошадь дяди Сандро врезалась ногой в буфет. Кроме зеркала и буфета да еще куска мрамора величиной с кулак, отбитого от лестницы копытом лошади, когда он выезжал из особняка, никакого другого ущерба прыжки и скачки дяди Сандро особняку не нанесли.

Скотопромышленнику дали на своей коляске доехать до гостиницы «Ориенталь», откуда он в тот же день выехал в Эндурию на местном дилижансе.

Говорят, именно в тот год дела его пошли прахом. В Эндуррии выдвинулся другой скотопромышленник. Он тайно закупил на Кубани огромную партию истощенного бескормией скота, перегнал его на летние пастбища альпийских лугов, и осенью орды ожиревшего кубанского скота ринулись на рынки Эндурска и разорили старого скотопромышленника.

Говорят, старик после такого двойного удара тронулся. Коля Зархиди, надо отдать ему справедливость, узнав об этом, снарядил из Мухуса в Эндурск известного городского психиатра и велел его лечить за свой счет, пока тот не войдет в ум.

Как это ни странно, вылечил его не психиатр, а Октябрьская революция, когда она реально утвердилась в Закавказье. В день, когда старик узнал, что все имущество молодого скотопромышленника конфисковала новая власть, он поставил во здравие Ленина в Иллорском монастыре пятьдесят свечей в человеческий рост из самого благоухающего цебелдинского воска. Кроме того, он устроил народное пиршество, на котором скормил эндурским нищим последних быков.

Старик настолько оправился, что через некоторое время пошел работать мясником в одну из своих бывших лавок, где проработал до конца своих дней.

Потрясение от знаменитой игры с Колей осталось у него в виде небольшой странности — слышав цоканье лошадиных копыт, даже если это были обычные извозчичьи дроги, старик, втянув голову в плечи, замирал в той позе, в какой застал его тревожащий душу звук. Покупатели к этой его небольшой странности привыкли и не тормозили его до тех пор, пока он сам не отходил.

После этой знаменитой победы пиры в доме Коли Зархиди и в окрестных ресторанах длились почти непрерывно до самой Октябрьской революции (в ее закавказском варианте), которая, по ложному учению Троцкого, тоже должна была развиваться перманентно, что было бы ужасно и потому нежелательно.

Злые языки утверждают, что Коля Зархиди вознаградил дядю Сандро через Дашу, но другие говорят, что этого не мог-

ло быть потому, что было и так. Сам дядя Сандро оба эти предположения до сих пор с негодованием отвергает.

Возможно, вмешательство дяди Сандро в эту знаменитую игру (хотя она тем и знаменита, что он вмешался в нее) с точки зрения содержателей европейских игорных домов и покажется недопустимым давлением на психику игрока, я все-таки склонен считать поступок дяди Сандро исторически прогрессивным.

Так или иначе, он помог сохранить имущество Коли Зархиди, которое, за исключением настенного зеркала, проломанного буфета и других мелочей, полностью перешло в руки Советской власти.

— Я же говорила, чтой-то будет, — напомнила Даша, когда в согласии с решением местного Совета им предложили покинуть особняк, что они и сделали. Правда, мать Коли Зархиди опять ухитрилась оставить при особняке служанку, которая теперь работала уборщицей и жила во дворе в одной из пристроек. На этот раз мать Коли оставила ее здесь с тем, чтобы она присматривала за Советской властью, что, безусловно, было гораздо сложнее. В особняке были размещены учреждения местной власти.

Хотя Коля, конечно, был разорен, все же многое в его жизни прояснилось. Во-первых, мать примирилась с его любовницей, которая теперь не могла ему сделать ничего плохого, польстясь на его добро. Она даже сама настояла на том, чтобы Коля женился на ней, что он и сделал, быстро оформив легкий в те времена советский брак.

Сначала им пришлось довольно туго, но потом, во времена нэпа, персидский коммерсант снова открыл свою кофейню-кондитерскую, на этот раз осторожно назвав ее «Кейфующий пролетарий». Он взял в долю бывшего табачника, все еще пытаясь осуществить свои хоросанские виды на Дашу. Коля числился на работе, хотя целыми днями только и делал, что пил кофе и водку за счет бывших друзей, а иногда даже и за счет своих бывших рабочих табачных складов.

В связи с последним обстоятельством некоторые люди, уполномоченные для этого, нарочно подсаживались к ним и узнавали, не баламутит ли он своих бывших рабочих. Как выяснилось, Коля рабочих не баламутит, и его оставили в покое с тем, чтобы он в согласии с ходом истории перековывался или отмирал вместе с нэпом.

Иногда, раздухарившись со своими бывшими друзьями, а ныне деклассированными собутыльниками, он кричал Алихану прислать за его счет пару бутылок. Алихан целыми днями стоял за прилавком, варил с утра до вечера кофе в джезвеях и отпускал напитки.

— Какой счет? — неизменно спрашивал Алихан, услышав этот нахальный призыв, и, разводя руками, удивленно подымал свои круглые брови. Тем не менее он всегда посылал эти запрошенные бутылки, потому что Даша была рядом. С сонной медлительностью она разносила заказы, и на нее никто не обижался, потому что для этого и приходили тогда в кофейни, чтобы помедлить, покейфовать, согласно названию

кофейни, передохнуть от мчащегося и гремящего, как порожняк на рельсах, времени.

Но судьбе было угодно еще раз возвысить Колю Зархиди. Однажды неожиданно-негаданно его к себе вызвал наш замечательный революционер, бессменный, пока его не отравил Берия, председатель Совнаркома Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба.

Стране нужна была валюта. Абхазские высокогорные табаки все еще помнили на международных рынках. Необходимо было восстановить старые торговые связи и организовать новые.

Нестор Аполлонович пригласил его в свой кабинет, расположенный в его бывшем особняке. Он рассказал ему суть дела и предложил честно работать с Советской властью. За это он обещал ему предоставить приличную квартиру и вернуть все, что найдется из реквизированной мебели.

— Я согласен, — сказал Коля, — только мебель не надо.

— Почему? — удивился Нестор Аполлонович и, наклонившись над столом, приложил ладонь к уху. Он был глуховат, Нестор Аполлонович. С плутовской улыбкой (каждый грек немного Одиссей) Коля кивнул на фамильные часы, стоявшие за спиной наркома. Нестор Аполлонович обернулся и сказал со своей милой, обезоруживающей улыбкой: — У них бой хороший, а я плохо слышу...

Больше к вопросу о мебели не возвращались. Впоследствии Нестор Аполлонович никогда не пытался, в отличие от некоторых, отомстить ему за этот дерзкий жест, потому что,

опять же в отличие от некоторых, сам был человеком острым и ценил в людях находчивость.

Кстати, небольшой пример его находчивости. Однажды на одном совещании в Тбилиси один из ораторов сказал, что в Абхазии, несмотря на неоднократные указания, все еще медленно строят шоссейные дороги.

— По-видимому, — добавил он не слишком тактично, — мы недостаточно громко об этом говорим, и Нестор Аполлонович нас плохо слышит.

— Слышу, — писклявым голосом, свойственным людям с поврежденным слухом, выкрикнул Нестор Аполлонович.

— Тогда давайте, — попросил оратор и, уступив ему трибуну, проковылял на место походкой, свойственной хромым от рождения.

Говорят, в ответной справке Нестор Аполлонович дал толковый отчет о дорожном строительстве в Абхазии, сказал о недостатках и достижениях в этом деле. В конце он добавил, что хотя в Абхазии строились и будут строиться шоссейные дороги так, как тому нас учит партия, все же проложить такой шоссейной дороги, особенно в горных условиях, на которой данный товарищ не хромал бы, мы, конечно, не можем.

Но я отвлекся. Таким образом, Коля Зархиди снова оказался при деле. В ближайший год он наладил закупку табаков у населения, переработку и дальнейшую продажу за границей.

Нестор Аполлонович доверил ему самому съездить с табаками в Стамбул, откуда он через некоторое время привез зо-

лото. Через год Коля Зархиди повез в Стамбул еще большую партию табаков и получил за нее еще больше валюты. А еще через два года он увез в Турцию чуть ли не целый пароход душистого высокогорного табака и не вернулся. В Стамбуле играют прямо в кофейнях и, видно, Коля не удержался...

Это вероломство (вольное или невольное) сильно огорчило Нестора Аполлоновича. Пожалуй, всех огорчил Коля Зархиди своим поступком, кроме персидского коммерсанта, что в достаточной степени говорит о его аполитичности. Он добился своего — Даша осталась с ним.

Но и ему пришлось несладко — кончался нэп, наступал государственный сектор. Для начала Алихану предложили расчленить кофейню-кондитерскую и свободно выбрать одно из двух: или кофейню, или кондитерскую. Алихан подумал и выбрал кофейню. Через некоторое время ему предложили прекратить продажу в кофейне горячительных напитков, одновременно расширив ассортимент прохладительных. Алихан согласился, но схитрил, продолжая из-под прилавка продавать горячительные напитки. Так как дело шло к полному подавлению частного сектора, ему предложили прекратить в кофейне продажу кофе, но оставить прохладительные напитки. На этот раз Алихан не согласился и совсем закрыл кофейню.

Алихан крепился. Он приобрел лоток на колесиках, в котором продавал восточные сладости собственного изготовления: рахат-лукум, козинаки, халву, щербет... Бесплезно упорствуя, он все еще продолжал именовать себя коммерсантом.

В этом качестве его привел в наш дом мой отец. Он переехал к нам вместе со своей простоволосой, неряшливой женой, которую во дворе иногда называли бывшей красавицей, а иногда, по-видимому, для сокращения, просто бывшей.

Целыми днями, я об этом смутно помню, она варила себе кофе на мангале, помыкала худым, высоким стариком и что-то кричала ему вслед, когда он вывозил со двора на своем лотке маленькую витрину магометанского рая.

Потом он почему-то перестал продавать восточные сладости и перешел на жареные каштаны и, как непонятно говорили взрослые, стал морфинистом. Через несколько лет он вместе с женой переехал в Крым, и запах жареных каштанов постепенно выветрился со двора.

А бывало, вечерами дядя Алихан сидел на пороге своей комнатенки, парил мозоли в теплой воде, курил и напевал персидские песни. Помню стекленеющий взгляд каштанщика, мелодию, цепящую сладкой горечью бессмысленности жизни, бесконечную, как караванный путь в никуда.

Бисмилах ирахмани ирахим! — блажен, кто блажен!..

5. битва на кодоре, или деревянный броневик имени ной жордания

Подобно тому, как на скотном дворе стоит сделать неосторожный шаг, как тут же угодишь в коровью лепешку, так

и в те времена, говаривал дядя Сандро, бывало, носа не высу-
нешь, чтобы не шмякнуться в какую-нибудь историю.

В тот же день дядя Сандро гостил у своего друга в селе Ан-
хара, расположенном на живописном берегу Кодора. В этом
большом зажиточном селе уже с полгода стоял меньшевист-
ский отряд. На другом берегу реки стояли красные. В этом
месте был проложен, тогда еще единственный, мост через Ко-
дор. С этой стороны моста меньшевики охраняли мост от
большевиков, тогда как с другой стороны моста большевики
охраняли мост от меньшевиков.

В то время было или казалось, а то и делали вид, что было
временное равновесие сил. Так или иначе меньшевистская
охрана так же, как и наша, скучала, и от нечего делать, а так-
же для разнообразия солдатского стола, глушила рыбу.

Глушили рыбу километра за два выше моста, и мертвая
форель кверху брюхом плыла вниз по течению. Иногда рыба,
оглушенная меньшевиками, попадала к большевикам, иногда
наоборот.

Как только раздавались взрывы, по обе стороны реки по-
являлись мальчишки, потому что солдаты и красноармейцы,
как ни старались, не могли выловить всю рыбу — течение, да-
же здесь, в низовьях Кодора, очень быстрое.

Так как было еще неясно, кто будет наступать — больше-
вики или меньшевики, обе стороны по взаимному согласию
и договоренности глушили рыбу, чтобы не повредить моста,
на достаточно большом расстоянии от него. Таким образом,
сравнительно мирные взрывы раздавались почти каждый

день, потому что обе стороны отчасти старались доказать, что у них гранат и других боеприпасов достаточно, так что в случае войны есть чем встретить врага.

Меньшевики в первое время, когда расположились в этом селе, объявили его Закрытым Городом, чтобы красные лазутчики не могли шпионить за ними. Кроме того, они побаивались и партизан, хотя, как потом выяснилось, в этих местах никаких партизан не было, потому что те, кто хотел воевать на стороне большевиков, могли просто переплыть Кодор и присоединиться к ним.

Как только меньшевики объявили село Закрытым Городом и стали ограничивать впуск и выпуск людей из села, жители его с особенной остротой стали переживать вынужденную разлуку со своими близкими и не могли успокоиться до тех пор, пока те не приезжали или они сами не навещались к ним.

А как быть с освященной древними традициями необходимостью побывать на свадьбе и других родовых торжествах? А дежурство у постели больного родственника? А годовщина смерти, а сорокадневье? Я уж не говорю о свежих похоронах.

Одним словом, поднимался ропот, и командование, не решаясь осложнять свои отношения с местным населением, тем более что отряд в значительной степени кормился за счет него, и в то же время стараясь сохранить престиж, отменило свой приказ и, наоборот, объявило село Анхара Открытым Городом для всех, кроме большевиков.

Тут местные жители успокоились, и уже разлуку с близкими стали переживать менее болезненно, и уже никто не приглашал чересчур настойчиво и никто никуда не уезжал без особой надобности, а все делалось в меру, как того требуют обычаи и собственное желание.

Так обстояли дела в селе Анхара до первых дней мая 1918 года. Именно в эти дни дядя Сандро гостил у своего друга, жителя этого села, и на его глазах, можно сказать, история сдвинулась с места и покатилась по черноморскому шоссе.

Друга дяди Сандро звали Миха. Был он, по его описаниям, человеком статным, приятным с виду и умным. Слегка разводя руками и оглядывая свою сановитую фигуру, дядя Сандро так о нем говорил:

— Видишь, какой я? Так вот он был почти не хуже.

По словам дяди Сандро, этот самый друг его разбогател на свиньях. Каждую осень он перегонял своих свиней в самые глухие каштановые и буковые урочища и держал их там вплоть до первого снега.

В те времена в этих урочищах каштанов и буковых орешков лежало на земле по колено. Свиньи жирели с невероятной быстротой, так что к концу осени некоторые уже не могли встать на ноги и, ползая на брюхе, продолжали пастись и жиреть. В конце концов когда выпадал первый снег, свиней перегоняли домой, а оттуда на базар.

Наиболее преуспевших в ожирении приходилось перевозить на ослах, потому что сами они передвигаться не могли. Конечно, какую-то часть уничтожали волки и медведи, но все

равно выручка от продажи свиней перекрывала эту усушку и утруску за счет хищников.

Ни до него, ни, кажется, после него никто не догадывался перегонять свиней на осенний выпас в каштановые леса, подобно тому, как перегоняют травоядных на летние пастбища.

Впрочем, все это не имеет никакого отношения к самой сути моего рассказа. Вернее, почти никакого.

Правда, время было тревожное. И когда на дорогах Абхазии люди стали встречать ослов, навьюченных свиньями, этими злобно визжащими, многопудовыми бурдюками жира, верхом на длинноухих терпеливцах, то многие, особенно старики, видели в этом зрелище мрачное предзнаменование.

— Накличешь беду, — говаривали они Михе, останавливаясь на дороге и провожая глазами этот странный караван.

— Я сам не ем, — пояснял тот мимоходом, — я только нечестивцам продаю.

Так вот, в то утро дядя Сандро вместе со своим другом сидел за столом и завтракал. Они ели холодное мясо с горячей мамалыгой. Дядя Сандро нарезал аккуратные кусочки мяса, обмазывал их аджикой, клал в рот, после чего досылал туда же ломоть мамалыги, не забыв предварительно окунуть его в алычевую подливку. Хозяин время от времени подливал красное вино.

Разговор шел о том, что горные абхазцы, в отличие от долинных, более конструктивны и все еще не хотят разводить свиней, тогда как это очень выгодное дело, потому что в горах полным-полно буковых и каштановых рощ.

Хозяин давал знать, что ценит широту взглядов, которую проявляет дядя Сандро как представитель горной Абхазии, тем более что в самом селе Анхара многие никак не могли смириться с тем, что Миха вот так вот запросто, ни с того ни с сего взял да и разбогател на свиньях.

Земляки завидовали Михе, а так как догнать его в обогащении на свиньях уже не могли, им ничего не оставалось, как кричать ему вслед, что он плохой абхазец.

Дядя Сандро жаловался, что у него нет времени заниматься свиньями, а отец не соглашается их разводить из глупого мусульманского упрямства. Миха обещал ему при случае поговорить по этому поводу с отцом дяди Сандро, хотя ему было неясно, почему у дяди Сандро находится время на всякое мало-мальски заметное застолье (в пределах Абхазии), а на разведение свиней не хватает. Миха, разговаривая с гостем, по привычке прислушивался к мирному похрюкиванию свиней в загоне и глухим взрывам со стороны реки. Сегодня взрывы эти доносились отчетливей, и разговор невольно обратился к последним новостям, вызвавшим усиление этих неприятных звуков.

Дело в том, что позапрошлой ночью к меньшевикам пришло подкрепление, и они стали готовиться к штурму моста. И то и другое они старались, насколько это возможно, скрыть от постороннего глаза. Скрыть, разумеется, не удавалось, и тот берег обо всем знал.

Во всяком случае, сразу же после прибытия подкрепления, то есть на следующий день с утра, большевики первые

нарушили договор и стали глушить рыбу совсем рядом с мостом, тем самым показывая, что они знают и о прибывшем подкреплении, и о готовящемся штурме.

Глушением рыбы возле моста они показывали, что у них теперь нет никакого резона беречь мост, по которому собираются наступать меньшевики, а, наоборот, даже есть интерес взорвать его. И все-таки они его не взрывают. А почему? А потому, что уверены в своих силах.

Кстати, меньшевики после прибытия подкрепления заняли большой сарай местного князя, который использовал его обычно для общественных собраний (понимай — пиршеств) при плохой погоде.

Они выставили усиленную охрану и стали что-то строить внутри сарая. А что они строят, никто не знал. Знали только одно, что меньшевики купили у местного населения десять арб, но использовали от них только колеса, а почему не использовали остальные деревянные части, было неизвестно. Кроме того, они купили у местных крестьян каштановые балки и доски и, надо честно сказать, купили щедро — по хорошей цене.

Одним словом, было ясно, что там что-то строится, что это что-то будет на колесах арб, но что из себя представляет это что-то, никто не знал.

Одни говорили, что меньшевики строят огромную бомбу, которую на колесах довезут до Мухуса и там, раскатив ее с пригорка Чернявской горы, пустят на город и взорвут его. Другие говорили, что строится не бомба, а деревянный броне-

вик имени Ной Жордания. Правда, на вопрос, что же послужит тягловой силой этому броневику, никто ничего определенного не мог ответить.

Рядом с этим сараем лежало зеленое поле, общественный выгон, и некоторые крестьяне беспокоились, как бы во время строительства этого сооружения оно не взорвалось и не покалечило скот или кого-нибудь из людей.

На этот день, который мы сейчас описываем пером, свободным от предрассудков, была назначена сходка перед конторой старшины. На нее должно было явиться взрослое население мужского пола.

Насильственная мобилизация была маловероятна, хотя и не вполне исключена, поэтому Миха не спешил на сходку, а ждал оттуда вестей, тем более что для неявки у него была достаточно уважительная причина — в доме гость.

После того как жена его прибежала от соседей и сказала, что мобилизации не будет, потому что сходку уговаривать уговаривают, а оцеплять не оцепляют, хозяин решил пойти туда вместе с дядей Сандро.

Верный своему правилу за большими общественными делами не забывать маленьких личных удовольствий, дядя Сандро тщательно выскоблил из кости, лежавшей перед ним, костный мозг, слегка обмазал его аджикой и отправил все в рот, жестом показывая хозяину, что теперь он готов идти на сходку.

Дядя Сандро и Миха вышли на веранду, где вымыли руки и ополоснули рты. Спустились вниз во двор. Здесь их встре-

тил десятилетний хозяйский мальчик, всем своим видом показывая готовность выполнить любое поручение.

Дядя Сандро подумал, что друг его, несмотря на то, что занимается разведением свиней, все-таки правильно, по-нашему воспитывает детей. Он одобрительно посмотрел на мальчика и поручил ему поймать свою лошадь и загнать во двор. Он хотел быть готовым ко всему.

— С этими никогда не знаешь, то ли гнаться за кем, то ли бежать от кого, — сказал он своему другу, на что тот понимающе кивнул.

— С теми тоже, — добавил Миха.

Дядя Сандро и Миха вышли на проселочную улицу. Со стороны моря дул свежий бриз, внизу под обрывистым склоном желтела всеми своими рукавами дельта Кодора. Солнце играло на зелени, до того свежей и пушистой, что хотелось стать возле молодого куста дикого ореха и кротко обглодать его.

Дядя Сандро подумал, что такие мысли не ко времени и, шелкнув камчой по мягкому голенищу своего сапога, бодро зашагал, как бы подгарцовывая небесной музыке этого цветущего и тревожного дня.

Дядя Сандро любил, спешившись, ходить вот так вот с камчой. Он чувствовал, что человек с камчой всегда производит на других благоприятное впечатление. Держа в руках камчу, прохаживаясь и постукивая ею по голенищу, дядя Сандро чувствовал, как в нем крепнет хозяйская готовность оседлать ближнего, тогда как та же камча нередко на глазах у дяди Сандро вызывала и укрепляла в ближнем способность

быть оседланным. А у иных, замечал дядя Сандро, при взмахе камчи в глазах появлялась даже как бы робкая тоска по оседланности.

Дядя Сандро любил прогуливаться с камчой, но не потому, что стремился оседлать ближнего. Здесь была своего рода военная хитрость, самооборона. Если у тебя вид человека, стремящегося оседлать ближнего, говаривал дядя Сандро, то уж, во всяком случае, тебя не слишком будут стремиться оседлать другие.

Конечно, бывали случаи, когда у некоторых людей вид этой камчи вызывал раздражение, но дядя Сандро считал, что это просто зависть или ревность к его хозяйской готовности оседлать ближнего.

По дороге стали попадаться жители села, верхом или пешком идущие на сходку. Кое-кто торопился, а кое-кто не спешил. Через некоторое время они догнали арбу, груженную песком. Друзья заторопились, потому что знали — она направляется к этому сараю, где меньшевики строят свое секретное оружие. Оказывается, для этого оружия им понадобился песок, и они наняли крестьян возить его.

Было известно, что аробшиков, привозящих песок, к самому сараю не подпускают, им приказывают отойти в сторону и сами заводят арбу в сарай, сами ее разгружают и потом подводят пустую арбу к хозяину, с тем чтобы она снова ехала за песком.

Поравнявшись с арбой, дядя Сандро сразу же узнал аробшика, это был Кунта Маргания, когда-то работавший пастухом и живший в их доме.

Увидев дядю Сандро, Кунта обрадовался и на ходу спрыгнул с арбы. Обнялись. Кунта теперь шел рядом с дядей Сандро, изредка помахивая над буйволами длинным прутом:

— Ор! Хи!

Арба немилосердно скрипела, а буйволы, наклонив рогатые головы, тянули ее, как бы стараясь разъехаться в разные стороны.

Разговаривая с Кунтой, дядя Сандро поглядывал на него и думал о том, что рановато постарел Кунта. Ему было не больше сорока, но выглядел он уже чуть ли не старичком. Маленького роста, большерукий, и горб за спиной как вечная кладь. В чувяках из сырмятной кожи, сейчас он бесшумно шагал рядом, напоминая дяде Сандро о собственном детстве, таком далеком и таком безгрешном.

Кунта был человеком добрым и, прямо скажем, глупым. Он почти не мог самостоятельно вести хозяйство — разорялся. Обычно после этого он нанимался к кому-нибудь пастушить. За несколько лет становился на ноги, брался за самостоятельную жизнь и снова разорялся.

Правда, по слухам, теперь у Кунты взрослый сын, и он с его помощью справляется со своим нехитрым хозяйством. После обычных расспросов о здоровье родных и близких Кунта вдруг ожил.

— Слыхали? — спросил он и взглянул в глаза дяде Сандро.

— Смотря что? — сказал тот.

— Меньшевики добровольцев берут, — важно заметил Кунта.

— Это и так все знают, — сказал Миха.

— Говорят, — пояснил Кунта с хитрецей, — если возьмут Мухус, разрешат потеревить лавки большевистских купцов.

— Выходит, если Мухус возьмешь, что хочешь бери? — спросил дядя Сандро, потешаясь над Кунтой и подмигивая Михе.

— Сколько хочешь не разрешается, — сказал Кунта, не чувствуя, что над ним смеются, — разрешается только то, что один человек на себе может унести.

— Что же ты хотел бы унести? — спросил дядя Сандро.

— Мануфактуру, гвозди, соль, резиновые сапоги, халву, — с удовольствием перечислял Кунта, — в хозяйстве все нужно.

— Слушай, Кунта, — серьезно сказал дядя Сандро, — сиди дома и кушай свою мамалыгу, а то худо тебе будет...

— Переполох, — вздохнул Кунта, — в такое время многие добро добывают.

— Сиди дома, — подтвердил Миха, — сейчас не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

— Тебе хорошо, у тебя свиньи, — как о надежной твердой валюте напомнил Кунта и, немного подумав, добавил: — Я-то сам не иду, сына посылаю...

Они вышли на лужайку перед конторой, и сразу же гул толпы донесся до них. Под большой, развесистой шелковицей стояло человек триста—четыреста крестьян. Те, что уместились в тени шелковицы, сидели прямо на траве. Позади них, стоя, толпились остальные. Среди них выделялось де-

сятка полтора всадников, что так и не захотели спешиться. У коновязи трепыхалась сотня лошадиных хвостов.

Кунта попрощался с друзьями и легко вскочил на арбу.

— Подожди, — вспомнил дядя Сандро про тайное оружие меньшевиков, — ты о нем что-нибудь знаешь? — Он кивнул в сторону сарая.

— Нас близко не подпускают, — сказал Кунта.

— А ты попробуй, придурись как-нибудь, — попросил дядя Сандро.

— Хорошо, — уныло согласился Кунта и, взмахнув прутом, огрел вдоль спины сначала одного, а потом и второго буйвола, так что два столбика пыли взлетели над могучими спинами животных.

— Да ему, бедняге, и придуряться не надо, — заметил Миха.

Дядя Сандро кивнул с тем теплым выражением согласия, с которым все мы киваем, когда речь идет об умственной слабости наших знакомых.

— Эртоба! Эртоба! — первое, что уловил дядя Сандро, когда они с Михой приблизились к толпе. Это были незнакомые дяде Сандро слова. Они подошли к толпе и осторожно заглянули внутрь.

У самого подножия дерева за длинным столом сидело несколько человек. Стол этот, давно вбитый в землю для всяких общественных надобностей, сейчас, из уважения к происходящему, был покрыт персидским ковром, принадлежащим местному князю.

Сам князь, пожилой подтянутый мужчина, тоже сидел за столом. Кроме него за столом сидели два офицера: тот, что был с отрядом, и тот, что прибыл с подкреплением. Дядя Сандро сразу же по глазам определил, что оба настоящие игроки, ночные птицы.

Рядом с князем сидел и явно дремал огромный дряхлый старик в черкеске с длинным кинжалом за поясом, с башлыком, криво, по-янычарски повязанным на большой уса-той голове. Усы были длинные, но как бы изъеденные вре-менем, негустые. Это был известный в прошлом головорез Нахарбей. Хотя по происхождению он был простым крестьянином, за неслыханную дерзость и свирепость в расправе со своими недругами он пользовался уважением почти наравне с самыми почтенными представителями княжеских фамилий, что, в свою очередь, рождало догадку о характере заслуг далеких предков нынешних князей, которые вывели их когда-то из толпы обыкновенных людей и сделали князьями.

Поговаривали, что Нахарбей участвовал в походах Шамиля, но так как сам он уже смутно помнил все кровопролития своей цветущей юности и иногда аварского Шамиля путал с абхазским Шамилем, известным в то время абреком, то местные заправила, стараясь преуспеть в большой политике, поддерживали то одну, то другую версию. Сейчас господствовал аварский вариант, потому что борьба меньшевиков с большевиками довольно удобно укладывалась в традиции борьбы с царскими завоевателями.

Нахарбей дремал, склонив голову над столом, иногда сквозь дрему лова губами нависающий ус. Порой он открывал глаза и смотрел на оратора грозным склеротическим взглядом.

У края стола возвышался оратор. Никто не знал его должности, но дядя Сандро, оценивая происходящее, решил, что он — меньшевистский комиссар. Это был человек с бледно-желтым лицом, с чересчур размашистыми движениями рук и блестящими глазами.

Говорил он на чисто абхазском языке, но иногда вставлял в свою речь русские или грузинские слова. Каждый раз, когда он вставлял в свою речь русские или грузинские слова, старый Нахарбей открывал глаза и направлял на него смутно-враждебный взгляд, а рука его сжимала рукоятку кинжала. Но пока он это делал, оратор снова переходил на абхазский язык, и взгляд престарелого джигита затягивался дремотной пленкой, голова опускалась на грудь, а рука, сжимавшая рукоятку кинжала, разжималась и сползала на колено.

Время от времени оратор хватался за стакан и отпивал несколько глотков. Когда в стакане кончалась вода, сидевший рядом с оратором писарь услужливо наливал ему из графина. Звук льющейся воды или звяканье графина о стакан тоже ненадолго будили престарелого джигита.

Перед писарем лежала открытая тетрадь. Слушая оратора, он постукивал по столу карандашом, держа его длинным отточенным концом вверх. Оглядывая крестьян, он взглядом

давал знать, что с удовольствием внесет в свою тетрадь эту замечательную речь, но только плодотворно преобразенную в виде списков добровольцев.

Во время своей речи оратор то и дело выбрасывал руку вперед и сверкающими глазами как бы указывал на какой-то важный предмет, появившийся вдали. Дядя Сандро уже знал, что это делается просто так, для красивой убедительности слов, но многие крестьяне еще не привыкли к этому жесту, тем более в сочетании со сверкающими глазами, и то и дело оглядывались назад, стараясь разглядеть, на что он им показывает. Те, что попривыкли к этому жесту, посмеивались над теми, кто все еще оглядывался.

Справа от дяди Сандро сидел на лошади незнакомый крестьянин. Лошадь его, косясь на камчу дяди Сандро, беспокоилась и все норовила уйти в сторону, но отойти было некуда, и хозяин, не понимая причины ее беспокойства, тихонько ругался, каким-то образом связывая в один узел это ее беспокойство и суетливость оратора.

После очередного выбрасывания руки, когда многие крестьяне оглянулись по направлению руки, всадник этот с довольной улыбкой посмотрел на дядю Сандро и сказал:

— В первый раз, как увидел, думаю, на что это он там показывает? Может, думаю, скот в поле... На потраву показывает... Как же, думаю, я с лошади не вижу, а он со своего места замечает?!

В конце лужайки за плетнем виднелось кукурузное поле. Всадник, поглядывая на дядю Сандро и одновременно косясь

на это поле, давал убедиться своему собеседнику, что у него кругозор гораздо шире, чем у оратора, и, стало быть, оратор никак не может видеть что-нибудь такое, чего не видит он со своей лошади.

После этого он неожиданно притянул одну из веток, нависающих над его головой, и стал бросать в рот, посасывая и причмокивая, мокрые продолговатые ягоды шелковицы.

— А ну, тряхни! — сказал кто-то из сидящих впереди. Всадник крепче ухватился за ветку и несколько раз тряхнул ее. Черный дождь шелковиц посыпался вниз. Впереди образовалась небольшая суматоха, и писарь, заметив ее, направил на всадника осуждающий взгляд. Дядя Сандро с усмешкой отметил, что писарь старается придать своим глазам такой же блеск, как у оратора. Постепенно крестьяне притихли, и только лошадь, шумно дыша на траву, дотягивалась до рассыпанных ягод.

А между тем оратор продолжал говорить, стараясь разгорячить сходку и довести ее до состояния митинга. Но сходка до состояния митинга никак не доходила. Самому оратору почему-то мешали взрывы, то и дело доносившиеся со стороны реки, да и сами крестьяне, задававшие всякие уводящие от митинга вопросы.

Как только слышался очередной взрыв, оратор замирал, поворачивал к реке свое бледное, подвижное лицо и говорил:

— Слышите?! Сами нарушают, а потом сами будут жаловаться, что мы наступаем.

Дядя Сандро никак не мог понять, кому будут жаловаться большевики, если меньшевики начнут наступать. Вообще, он многого из речи оратора не понимал, объясняя это отчасти своим опозданием на сходку, отчасти всеобщим безумием.

Оратор, по-видимому, еще до прихода дяди Сандро объяснил, почему меньшевистская власть хорошая, а советская — плохая. Теперь, уже исходя из этого, он останавливался на выгодах, которые получают крестьяне при меньшевистской власти именно потому, что она хорошая, а не наоборот. А раз так, говорил он, крестьяне должны проявить сознательность и вступать в ряды добровольцев. Каждый, говорил он, кто не превышает тридцатипятилетний возраст и еще не потерял совести под влиянием большевиков, должен в это трудное время вступить в ряды добровольцев.

Для тех, пояснил он, кто превышает этот возраст и в то же время не потерял совести под влиянием большевиков, командование сделает исключение и будет принимать в ряды добровольцев. Так пояснил он, хотя никто у него не просил пояснения.

— Эртоба! Эртоба! — при каждом удобном случае выкрикивал он.

— Что это за слово? — спросил дядя Сандро у своего товарища, который во всех отношениях был почти не хуже дяди Сандро, а в отношении грузинского и русского языка даже лучше, опять же как человек, торгующий свиньями, то есть имеющий дело с христианскими народами.

— Эртоба значит единство, — ответил Миха, — он хочет, чтобы мы с ним были заодно.

Слева от дяди Сандро стоял незнакомый крестьянин. Дядя Сандро заметил, что тот каждый раз, когда недослышивал или недопонимал оратора, приоткрывал рот, словно включал инструмент, усиливающий как смысл, так и звук ораторской речи. Сейчас он обернулся на слова Михи.

— Я могу быть с родственником заодно, — сказал он, загибая корявый палец и с дурашливой улыбкой кивая на оратора, — с соседом заодно, с односельчанином заодно, но с этим эндурцем, которого первый раз вижу, как я могу быть заодно?

— В том-то и дело, что чушь болтает, — отозвался верховой, снова пригибая ветку шелковицы и ища глазами, где она гуще облеплена ягодами, — стоящий человек никогда не будет показывать на то, чего сам не видит.

— ...Завтра наступаем, — объявил оратор, — кто с нами, записывайтесь до шести утра, а после шести, хоть золотом осыпьте, ни одного человека не возьмем... Спешите в ряды!! Эртоба! Эртоба! — крикнул он и взмахнул рукой, как бы призывая весь оркестр звучать в едином марше.

— Эртоба! — повторили за ним несколько голосов, да и те запнулись, смущаясь своим одиночеством.

Видя, что люди слишком мнутя, оратор решил им помочь и сказал, что если прямо сейчас некоторым записываться стыдно перед близкими, у которых родственники ушли с большевиками, то такие позже могут заходить в контору

и записываться тайно, потому что командование, в отличие от тех (кивок в сторону реки), уважает родственные чувства.

Писарь, оглядывая собрание и молча останавливая взгляд то на одном, то на другом, предлагал вписать их в свою тетрадь, но те, на ком он останавливал свой взгляд, чаще всего отворачивались или, не успев отвернуться, прикладывали руку к груди и отказывались, смягчая отказ этим жестом благодарности за доверие.

Все же человек пятнадцать—двадцать записалось. Первым по предложению князя зачислили в отряд в качестве Почетного Добровольца старого Нахарбея. При этом все радостно зашумели, писарь медленно, словно продлевая удовольствие, вписывал его в тетрадь, а оратор в это время уверял сходку, что дух Нахарбея осенит правое дело меньшевиков.

Сам престарелый джигит, услышав свое имя в сопровождении слишком громкого шума, куснул ус и уставился на оратора до того неподвижным и долгим взглядом, что тот не на шутку смутился. Но тут к Нахарбею наклонился князь и что-то зашептал ему на ухо. Тот кивнул усатой головой и успокоился.

— Задавайте вопросы, — сказал оратор, одобренный тем, что все-таки кое-кто записался. После добавил, с намеком на тех, кто за рекой: — Мы вопросов не боимся...

Он победно оглядел собравшихся и теперь уже сам, налив себе воду из графина, стал ее пить большими глотками.

— Как мельница, на воде работает, — сказал кто-то из задних рядов.

— Работает-то как мельница, да муки не видать, — добавил другой.

— Сынок, — кто-то обратился к оратору из толпы, — говорят, если Мухус возьмете, большевистских купцов разрешат потребить. Интересуемся, это правда?

Оратор все еще пил воду, когда прозвучал вопрос, но, услышав его, он быстро отставил стакан и замахал рукой:

— Ничего такого и не говорил и даже не имею права говорить! — как-то чересчур сварливо откестился он, из чего многие поняли, что так оно и будет, только прямо говорить об этом не хотят.

— Послушай, — вдруг закричал тот, что стоял слева от дяди Сандро, — а что будет с нами, если мы с вами пойдем, а большевики вас побьют?

Сразу же установилась неловкая тишина. Стало слышно, как у коновязи щелкает железо во рту у лошадей и шуршат их хвосты, отмахивающиеся от мух. С одной стороны, всем не терпелось узнать, что скажет оратор, а с другой стороны, вопрос прозвучал слишком дерзко для этих гостелюбивых краев. А ведь меньшевики были некоторым образом гостями, хотя и незванными.

— Интересный вопрос, — сказал оратор и посмотрел на сидящих рядом с ним за столом. Оба офицера презрительно закачали головами, показывая, что исход предстоящего сражения у них не вызывает тревоги.

— Интересный вопрос, — повторил оратор и прибавил, — но нас коммунисты никогда не побьют, тем более...

Оратор умолк и многозначительно кивнул в сторону сарая, откуда доносился приглушенный перестук топоров.

— Кто его знает, — миролюбиво заметил сосед дяди Сандро, задававший вопрос. Он был рад, что кое-как выкарабкался из своего вопроса.

— А почему вы не говорите, что у вас там делается в сарае? — вдруг раздался чей-то раздраженный голос из задних рядов. Люди, видно, продолжали подходить. Дядя Сандро говорящего не видел, но по голосу почувствовал, что тот стоит на солнце и, может, даже без шапки.

— ...Может взорваться, — продолжал раздраженный голос, — а у нас там скот пасется, женщины ходят...

— Взорваться не может, не допустим... Но военную тайну разглашать не имею права, — ответил оратор и прибавил: — Завтра сами увидите.

— А как быть с теми абхазцами, — вдруг кто-то выкрикнул из толпы, — которые, пользуясь суматохой, всюю разводят свиней?!

— Каких свиней?! — растерялся оратор.

— Да, да, как быть?! — с нескольких сторон оживились завистники Михи. Оратор растерялся, но зато сам Миха ничуть не растерялся.

— Я сам не ем, черт вас подери! — громко выкрикнул он. — Я только нечестивцам продаю!

— И я, как гость, подтверждаю! — зычно добавил дядя Сандро.

Все оглянулись на него, многие удивленно, потому что видели его в первый раз.

— Сандро из Чегема, — теплым, ласкающим слух ветерком прошелестело по толпе.

— Ты гость, ты можешь не все знать, — вяло огрызнулся тот, кто выкрикнул насчет свиней.

— Вы у человека про дело спрашивайте, — вставился князь, — а со своими свиньями мы тут сами разберемся.

Князь тоже был противником свиноводства. Он считал, что вместе со свиньями в чистую жизнь абхазцев проникает гибельное неуважение к старшинству, хамская односложность отношений, свойственная другим, простоватым по сравнению с абхазцами, народам. Но сейчас заниматься этим было неуместно.

— А сколько продлится поход? — раздался голос из толпы.

— Думаю, с месяц, — сказал оратор довольно уверенно.

— Ого! — громко удивился тот же голос, — как же я пойду, если мне через две недели кукурузу мотыжить, а там и табак подоспеет?!

— Пусть родственники... — начал было оратор, но он не договорил, потому что со стороны реки опять раздался взрывы.

— Видите, что делают! — дернулся он в сторону взрывов. — Сами нарушают, а потом сами будут говорить, что мы первые...

— Интересно, — раздался голос, — до какого места будем воевать, до Гагры или до Сочи?

— До Сочи и даже дальше...

— Зачем дальше? Дальше Россия...

— Чтобы окончательно Ленина победить, надо идти и на Россию! — выкрикнул оратор. — Но для этого нам нужны три вещи...

Он замолк и, поджав губы, уставился в толпу наглова-стекленеющими глазами, стараясь заранее внушить важность того, что он собирается сказать.

— Ленина сами русские победить не смогли, а ты что, сможешь?

— Тише, говорит, какие-то вещи нужны...

— Лошадь, седло, винтовка — вот тебе три вещи...

— Эртоба, Эртоба, Эртоба! — разрядился наконец оратор с таким видом, словно сказал что-то новое.

— Надоел со своим единством...

— Попомните мое слово, — опять заметил всадник и, деловито оглядев шелковицу, слегка сдвинул коня, чтобы достать ветку получше, — человек, который показывает на то, чего сам не видит, порченный...

— Ты хоть шелковицы налопаешься, — заметил крестьянин, что стоял слева от дяди Сандро, — а мы чего сюда притащились?

— Ша! Кто-то из наших будет говорить...

Какой-то старик пробрался в толпе, вышел из первого ряда, спокойно всадил посох в землю, положил на него обе руки и сказал, что выступит от имени многих, хотя и не всех.

Он сказал, что некоторые согласны служить в армии меньшевиков, но с тем условием, чтобы охранять склады, готовить еду, присматривать за лошадьми. Но стрелять те мно-

гие, хотя и не все, от имени которых он выступает, не согласны, потому что среди большевиков немало родственников и односельчан.

Поэтому, сказал он, если наши добровольцы сейчас начнут стрелять по большевикам, то не исключено, что кто-нибудь из них попадет в нашего, а пролитая кровь будет взывать к мести и погибнет много невинных. Особенно неприятно, сказал он, что большевики с меньшевиками или замиряются, или (добавил он с какой-то обидной непричастностью) победят друг друга, а кровная месть будет продолжаться годами.

Поэтому те многие, хотя не все, от имени которых он говорит, решили, что нашим добровольцам можно идти в поход, но от стрельбы их следовало бы освободить. С этими словами он вытащил свой посох из земли и уважительно, но с достоинством пятясь, вошел в толпу, которая поддерживала его речь одобрительными выкриками, может быть, как раз тех многих, хотя и не всех, от имени которых он говорил.

— Когда дело касается свободы, не будем торговаться, — заметил оратор, сделав кислую мину. Видно, речь старика ему не совсем понравилась.

— Будем торговаться! — злобно выкрикнул тот, что говорил о сарае. Дядя Сандро, узнав его по голосу, удивился, что тот все еще стоит на солнце.

— ...Большевики говорят, не будем торговаться, вы говорите, не будем торговаться, — окончательно закипел тот, что стоял на солнце и притом, возможно, без шапки, — а мы отрезаны от города: соли нет, мануфактуры нет!

— Вы не так поняли! — крикнул оратор, но тут другие ему не дали говорить.

— Так поняли, потому что и стекло для ламп тоже нет, — крикнул кто-то, и всем почему-то сделалось смешно. Толпа задвигалась и стала распадаться на части, и уже ни оратор, ни, как бы пораженный неуважительностью своих земляков, князь никого остановить не могли. Некоторые стали отходить к коновязи, другие, что пришли пешком, уходили, громко зовя родственников и попутчиков.

Последнее, что успел прокричать оратор, это чтобы родственники ушедших с большевиками не мешали односельчанам вступать в ряды добровольцев.

— Мы вас не агитируем, вы их не агитируйте, — прокричал он, выбросив вперед руки с выпяченными ладонями, как бы намекая на необходимость соблюдать равенство шансов.

Дядя Сандро вместе со своим другом отошел к дороге, где должен был проехать Кунта. Во время сходки он то и дело поглядывал на дорогу, чтобы не пропустить его. Наконец Кунта появился на дороге.

— Я придурился, но ничего не получается, — сказал он, поравнявшись с друзьями. Он остановил арбу и хотел сойти с нее.

— Ладно, поезжай, — сказал дядя Сандро, не давая ему сойти с арбы.

— Может, зайдешь? — неуверенно спросил Кунта, глядя в лицо дяде Сандро. — Уж цыпленочка-то для тебя отыщем...

— Спасибо, Кунта, в другой раз, — сказал дядя Сандро, думая о своем.

Кунта заскрипел дальше, поигрывая хворостиной и мурлыкая песню аробщика. Миха и дядя Сандро оглянулись на шелковицу. Там уже почти никого не было. Князь и один из офицеров сидели за столом друг против друга, расставляя фишки для нарда. Вокруг собралось несколько любопытных, а может, и желающих принять участие в игре.

Из усадьбы князя, которая примыкала к площади, три женщины вытащили корзины с закусками и вином. У опустевшей коновязи двое княжеских людей, хозяйственно переговариваясь, громоздили на лошадь престарелого Нахарбея.

— Что думаешь о сходке? — сказал Миха, когда они повернули к дому. Дядя Сандро долго не отвечал, и Миха терпеливо ждал, зная, что слово дяди Сандро чего-то стоит.

— Это не власть, — сказал дядя Сандро, шлепнув камчой по голенищу, и громко, как бы стараясь преодолеть его социальную тугоухость, повторил:

— Попомни мое слово, Миха, это не власть!

— Что же делать? — спросил Миха, прислушиваясь к своему загону, хотя до дому еще было далеко и ничего не было слышно.

— Надо попробовать с большевиками, — сказал дядя Сандро и выразительно посмотрел на Мihu, — но к ним с голыми руками не пойдешь...

— А как узнать? — пожал плечами Миха, все еще безуспешно продолжая прислушиваться к своему загону, — чтобы стражников купить, надо время, а завтра начнется...

— Я что-то придумал, — кивнул дядя Сандро в сторону за-секреченного сарая, — попробуем...

Судя по тому, что Миха на лету ухватил мысль дяди Сандро, можно заключить, что он быстро одолел свою социальную тугоухость. Не забудем, что он при этом прислушивался, правда, безуспешно, к своему загону. Впрочем, ему даже безуспешно прислушиваться к своему загону было гораздо приятней всего, что можно было успешно услышать на митингах и сходках тех дней.

Да и вообще, если подумать, была ли свойственна социальная тугоухость человеку, который первым из абхазцев не только сделал ставку на свиней, но и первым же догадался перегонять их осенью в каштановые и буковые урочища? Нет, сдается мне, что она ему не была свойственна!

Ведь даже сейчас, возвращаясь домой, он продолжал с каким-то сердитым недоумением прислушиваться к своему загону, словно всем своим видом хотел сказать: «Да войдем мы в конце концов в зону хрюканья или все еще будем болтаться черт знает где?!»

А может, не это хотел сказать, может, хотел сказать: «А не оглох ли я на сходке, слушая эту тарабарщину, чтой-то свиней своих не слышу?!»

Нет, нет, пока существует эта сама зона хрюканья (блеянья, ржанья, мычанья), ни о какой социальной тугоухости не может быть и речи. Это потом, гораздо позже она придет вместе с: — А-а-а, гори огнем! А-а-а, в задницу! — И наконец, спокойный и потому непобедимый возглас, тихо подхваченный

всей страной, как новая молитва, как буддийский призыв к самосозерцанию:

— Пе-ре-кур...

* * *

Через два часа в зарослях папоротника неподвижно лежал дядя Сандро и в цейсовский бинокль следил за тем, что делается у засекаченного сарая.

Он видел, как время от времени к нему подъезжает арба, как она останавливается, как с нее лениво спрыгивает аробщик, отходит в сторону под жидкую тень алычи, как один из солдат залезает на арбу, а другой в это время распахивает ворота, где виднеется...

О возможности заглянуть в сарай дядя Сандро догадался, когда оглядывал его еще на площади. Но, чтобы использовать промежуток в пять—десять минут, пока арба не пройдет в открытые ворота, надо было находиться прямо напротив них, то есть на выгоне, который хорошо просматривался со всех сторон.

В конце выгона, примерно в полукилометре от сарая, начинались заросли. Часовым никак не могло прийти в голову, что на таком расстоянии кто-то наблюдает за воротами. Да и кто мог подумать, что в этом селе окажется человек с великолепным биноклем, когда-то принадлежавшим принцу Ольденбургскому, а теперь ставшим собственностью неведомого меньшевикам, впрочем, как и большевикам, дяди Сандро?

Но что же он увидел? Он увидел деревянное сооружение, чуть выше человеческого роста, гигантский ящик, слегка приподнятый колесами над землей. Колеса были закреплены изнутри и едва высывались из-под боковой стены сооружения.

Дядя Сандро сразу же догадался, что это так сделано для того, чтобы защищать колеса от вражеских пуль, и удивился военной хитрости меньшевиков.

Продолжая наблюдать, дядя Сандро пришел к выводу, что боковые стены сооружения сдвоены, потому что на одной из них довольно свободно стоял солдат и что-то проделывал лопатой. Как только дядя Сандро догадался, что стены сдвоены и только потому солдат так свободно стоит на стене, он тут же сообразил, что солдат выравнивает и трамбует песок, насыпанный между стенами.

Тут дядя Сандро окончательно раскусил назначение этой крепости на колесах. Он понял, что меньшевики под ее прикрытием постараются переехать через мост. Вот тебе и меньшевики, подумал дядя Сандро, опуская бинокль, мы-то считали их простаками.

Он повернулся на спину, с трудом вытянул затекшую в неудобной позе ногу и стал смотреть на синее небо. По кустам прошелестел ветерок, и дядя Сандро почувствовал запах еще влажной земли, высохших прошлогодних стеблей папоротника, услышал высоко над собой пение жаворонков и вдруг подумал: «Зачем меньшевики, зачем большевики, зачем вообще я здесь лежу и выслеживаю это деревянное чудовище?»

Боясь шевельнуть затекшей ногой, он смотрел в небо и думал о бренности человеческих усилий. Да и стоит ли делать какие-то усилия, думал он, если оттуда, сверху, Главный Тамада следит в небесный бинокль за всеми людьми, чтобы каждый делал предписанное ему в согласии с Его великим замыслом?

Так думал дядя Сандро, чувствуя, что постепенно нога его отходит и начинает подчиняться ему. Дядя Сандро пошевелил ею и ощутил, как последние мурашки пробежали по ней и исчезли вместе с расслабляющими мыслями о бренности человеческих усилий.

Подобно тому, подумал дядя Сандро, как моя нога после некоторого застоя пришла в подчинение моему замыслу пошевеливать ею, так я и после некоторой слабости должен подчиниться Его замыслу, который скорее всего состоит в том, чтобы мне лежать в этих кустах и следить за приготовлениями меньшевиков. Иначе, с чего бы я здесь мог очутиться, решил дядя Сандро и, перевернувшись на живот, приподнял бинокль.

Теперь одно недоумение оставалось у него: какая сила будет тащить это огромное и тяжеловесное сооружение? Мотор? Но если это мотор от автомобилей, которые, фырча и воняя, сейчас бегают по приморскому шоссе, то почему его никто не слышал? А если это мотор от парохода, то где же труба? Без трубы ни один пароход не движется. Это дядя Сандро знал точно. Правда, некоторые говорили, что деревянный броневик может двигаться на буйволах, запряженных изнутри, но дядя Сандро сомневался в этом.

...Арбы все еще подъезжали к сараю. Ворота открывались и закрывались, но увидеть больше того, что он уже увидел, не удавалось. Потом один из солдат вышел из сарая и ушел куда-то, а через некоторое время к сараю подошли человек сорок солдат и все они вошли внутрь. Дядя Сандро догадался, что их привел солдат, что выходил из сарая.

Часовой, что стоял у ворот, сейчас вместе со всеми вошел в сарай и закрыл за собой ворота. Дядя Сандро даже заерзал от нетерпения, до того ему было любопытно узнать, чего это они там заперлись.

Подошла арба. Один из солдат вышел из сарая и, как обычно, ввел ее внутрь. Аробщик, как обычно, отошел и присел в тени алычи. Может быть, потому, что сейчас у ворот не было часового, их забыли закрыть за въехавшей в сарай арбой.

Дядя Сандро впился биноклем в открытые ворота. Даже аробщик, который сидел в холодке, на этот раз заметив, что за ним никто не следит, а ворота остаются распахнутыми, осторожно поднялся и перешел на такое место, откуда было видно, что делается внутри.

Дядя Сандро улыбнулся. Издали в бинокль было забавно подглядывать за подглядывающим. Он опять вспомнил про Главного Тамаду и подумал, что, может быть, Ему также забавно в свой небесный бинокль следить за мной, как мне за этим аробщиком? Так вот и живем, слеживая друг за другом, подумал дядя Сандро и, уже больше не отвлекаясь, следил за тем, что происходит в сарае.

А между прочим, друзья, некоторые наблюдения дяди Сандро представляются мне довольно любопытными. Нет, я имею в виду не то, что, мол, живем, послеживая друг за другом, хотя и это достаточно любопытно, а то, что издали в бинокль было забавно подглядывать за подглядывающим. Именно издали, не вблизи!

Вообще издали странно следить за человеком, который хитрит. Можно издали следить за человеком, когда он спит, ест, работает, целуется, и все это, друзья, не кажется чем-то особенным.

Но стоит издали увидеть, как человек хитрит, чего-то доказывает, изворачивается или, в крайнем случае, просто жульничает, как все это представляется чем-то странным, невероятным, даже как бы фантастическим. Да что тут невероятного, вправе вы у меня спросить? Что делает это обыкновенное зрелище из ряда вон выходящим видением?! Расстояние, даль — вот что, друзья мои! Оказывается, наше зрение так устроено, что чем дальше находится от нас наш наблюдаемый объект, тем приятней нам его видеть в общечеловеческих, так сказать, исторически оправданных проявлениях.

Наблюдая за человеком на расстоянии и догадываясь, что он хитрит или красноречив, или, в крайнем случае, просто ворует стакан из выемки автомата с газированной водой, мы с особой остротой чувствуем, что это совсем не те проявления человеческих свойств, которые мы считаем исторически оправданными. Но так как эти свойства, вопреки исторической оправданности, все-таки разворачиваются на на-

ших глазах, мы начинаем находить во всем этом мистический оттенок, я бы сказал, некоторую, хотя и вялую, связь с кознями дьявола.

А ведь те же проявления человеческих свойств в непосредственной близости представляются хотя и неприятными, но достаточно терпимыми. Вот что значит расстояние!

Кстати сказать, прямо напротив моего дома за высокой каменной стеной находится какое-то предприятие — не то мебельная фабрика, не то секретный завод. Днем там что-то визжит, а в проходной всегда стоит вахтер. Одним словом, не знаю, секретное это предприятие или полусекретное, одно знаю точно, что там днем в рабочее время пить не разрешается.

Я так думаю, потому что каждый день из окна вижу одну и ту же картину. Возвращаясь с перерыва, двое рабочих подходят к углу этой стены и один из них влезает на плечи другого. После этого оба, пошатываясь, выпрямляются, и получается довольно высокая, хотя конструктивно (морально тоже) и неустойчивая пирамида с бутылкой на вершине вытянутой руки.

Бутылка осторожно ставится на стену, после чего конструкция без всяких предосторожностей распадается и уже в виде двух отдельных, якобы независимых друг от друга рабочих исчезает в проходной.

Через некоторое время я вижу, как с той стороны стены появляется голова, из чего я заключаю, что с той стороны имеется земляной вал или еще какое-нибудь подобное сооружение.

Так вот, появляется голова человека, но нет чтобы сразу забрать бутылку и прыгнуть на землю или в объятия друзей (чего не знаю, того не знаю), так он, владелец этой головы, почему-то сначала смотрит по сторонам, словно любуется неожиданно открывшимся ландшафтом, а потом, как-то рассеянно скользя глазами по стене, обнаруживает бутылку и, приподняв ее, несколько мгновений оглядывает чахлый скверик, а также окна нашего дома, словно с некоторым осуждением спрашивает: «Кто сюда поставил бутылку?» И словно получив на свой молчаливый вопрос какой-то ответ, он, как бы не вполне удовлетворенный этим ответом, исчезает вместе с бутылкой.

Теперь представьте себе положение человека, который с какого-то космического расстояния следит за всем человечеством сразу и за каждым человеком в отдельности. Я имею в виду Главного Тамаду, как сказал бы дядя Сандро.

Каково ему все это видеть? Какое трагическое противоречие в его положении! С одной стороны, согласно нашей почти доказанной гипотезе, сама огромность расстояния между наблюдателем на небесах и землей создает в душе Главного Тамады неимоверную тоску по человеку, ласкающему взор благородством своих проявлений. А с другой стороны, беспощадная острота зрения, естественная для Всевидящего, не оставляет никаких иллюзий относительно характера подобных внеисторических проявлений.

Но довольно, довольно останавливать нескромный взгляд на этих чересчур интимных мелочах нашего существования.

Лучше вернемся к дяде Сандро, тем более что он явно чем-то взволнован.

Вот он переставил локти поудобней и замер, наблюдая. Что же случилось?

На глазах дяди Сандро сооружение сдвинулось с места и отошло в глубь сарая. Он увидел множество ног, примерно по шиколотку торчащих из-под боковой стены. Казалось, чудище ожило и поползло, передвигая множеством коротких лап.

Потом оно в раздумье остановилось, постояло и снова двинулось вперед. Потом опять отъехало назад и наконец остановилось прямо напротив ворот. Из чудища посыпались солдаты. Они влезали на боковые стены и прыгивали на землю. Один из них повел арбу к задней стене и вместе с несколькими товарищами стал лопатами сыпать в нее песок.

Теперь дяде Сандро было все ясно. Он понял, что солдаты сами же и будут изнутри толкать свою крепость. Ну и эндурцы, ну и хитрецы, думал дядя Сандро, потихоньку покидая свою засаду. А все же эндурец, он и есть эндурец: голову спрячет, а хвост торчит. Ноги-то виднеются, значит, по ногам и можно будет стрелять.

В это время солдаты стали выходить из сарая, аробщик быстро отошел к алыче, а следом за солдатами выехала из сарая пустая арба. Ворота закрылись, и возле них, как обычно, стал часовой.

Дурачок, подумал дядя Сандро, теперь-то уж мог бы и не стоять. Все-таки он чувствовал некоторую ревность к ароб-

щику, которому и без хитроумной выдумки дяди Сандро удалось узнать, что делается в сарае. Пробираясь в кустах кружным путем, он возвращался к дому своего друга.

Ночью, дождавшись луны, дядя Сандро выехал со двора своего друга и направился в сторону Кодора. Он решил отъехать на несколько километров выше моста, чтобы не встречаться с красными часовыми, и там перейти реку. Миха сопровождал его до реки.

— Пожалуй, здесь дно получше будет, — сказал Миха, останавливаясь возле заброшенных мостков. Видно, раньше здесь был паром, но сейчас его перенесли в другое место. От парома остался ржавый железный канат, переброшенный через реку, да столбы на обоих берегах.

В призрачном лунном свете неслись к морю воды Кодора. От весеннего таянья снегов река взбухла и помутнела. Слышался непрерывный гул воды, клацанье и глухие удары камней о камни, сносимые течением. Миха еще раз напомнил ему, как найти дом, где живет комиссар.

— Не забудь за меня словечко, — прокричал он сквозь шум воды, — с Богом!

Дядя Сандро кивнул ему и ударами камчи загнал упирающуюся лошадь в воду. Миха криками и свистом взбадривал ее сзади.

Дядя Сандро договорился с Михой о том, что в случае победы красных он постарается уверить комиссара в том, что

Миха всегда сочувствовал красным. Кроме того, если дела пойдут очень хорошо, они договорились, что дядя Сандро прямо оттуда, с левого берега, покажет комиссару на дом своего друга, благо он стоял на возвышенном месте и возле него росли два кипариса, с тем чтобы комиссар предупредил своих бойцов, чтобы во время завтрашнего боя они стреляли поосмотрительней, оберегая дом левеющего свиновода.

Осторожно перебирая ногами, вздрагивая и останавливаясь каждый раз, когда копыта соскальзывали с камней, лошадь шла вперед.

Вдруг дядя Сандро услышал сквозь гул реки голос Михи и обернулся. Миха показывал рукой куда-то вверх по течению и что-то кричал. Грохот воды не давал расслышать слов, но дядя Сандро почувствовал опасность и посмотрел вверх по течению. Огромная коряга, то высываясь из воды, то погружаясь, неслась вниз.

«Конец», — подумал он и в то же время сделал единственное, что мог. Он остановил лошадь и вытащил ноги из стремян. Лошадь, не понимая причины остановки, попыталась повернуть, но дядя Сандро натянул поводья и удержал ее.

Он перебросил камчу в левую руку, чтобы правая была совсем свободна. Дядя Сандро решил, что, если коряга налетит на них, он попытается оттолкнуться от нее рукой, если же она все-таки ударит лошадь и опрокинет ее, надо быть готовым к тому, чтобы бросить ее.

В эти несколько секунд решалась судьба лошади и всадника. Он навсегда запомнил эти мгновенья, когда черная коря-

га, мокрая и блестящая, погружаясь и выныривая, неслась на него, а рядом в мутной воде, бешено подпрыгивая, шатался блик луны, и лошадь мелко и беспрерывно дрожала под ним.

Метрах в десяти от них коряга погрузилась в воду, и дядя Сандро, замерев, сосредоточив всю свою волю, глядел в воду, чтобы успеть определить любую неожиданность. И все-таки он ничего не успел.

Она вынырнула перед самой лошадиной мордой, со страшной силой хлестнула лошадь и дядю Сандро мокрыми тонкими ветками, так что дядя Сандро на мгновение ослеп от боли и неожиданности. Лошадь мотнула головой, дядя Сандро еле-еле успел удержать поводья, а в следующее мгновение он увидел хвост коряги, вынырнувшей ниже по течению, и убедился, что это была не коряга, а целое дерево, подмытое водой. Если б оно напоролось на них, он, конечно, ничего бы не смог сделать.

— Чоу, аннассины! — крикнул он и погнал лошадь. Лошадь пошла, и он почувствовал первые ожоги ледяной воды, сначала в сапогах, а потом все выше и выше.

— Чоу, аннассины, чоу! — кричал дядя Сандро и гнал лошадь, чтобы она ни на миг не останавливалась. Теперь над водой торчали только головы лошади и всадника. Дядя Сандро чувствовал, как напрягается тело животного, скособоченное мощным течением, и все кричал на нее, чтобы перешибить властью страха перед человеческой волей власть страха перед стихией воды. И она шла вперед и вперед, у дяди Сандро уже покруживалась голова от этого тошнотворного обилия несущей

шихся вод и неотвязчивой пляски мутного блика луны на мутной поверхности реки.

Вдруг лошадь, екнув, погрузилась в воду, копыта потеряли дно, и дядя Сандро почувствовал, что их унесит течение. Ледовитая вода перекатилась через голову. За спиной мгновенно пузырем вздулась бурка, и этот пузырь приподнял его над лошадью и стал смывать с нее. Дядя Сандро до судороги в косях стиснул ногами лошадиный живот и в этот миг их снова вынесло над водой.

— Чоу, аннассыни! — крикнул он что было сил. Лошадь рванулась вперед в каком-то допотопном земноводном прыжке нащупала ногами дно и, кляца копытами о камни, все уверенней, все яростней, все победней, вынесла его на мелководье того берега. Дядя Сандро оглянулся назад, махнул рукой Михе и, еще разгоряченный смертельной опасностью, погнал лошадь вверх по отлогому берегу.

Примерно через час он подъехал к дому, где остановился комиссар. Хозяин дома был еще более редкий, чем Миха, для того времени абхазец, потому что он целиком жил торговлей, держал в деревне лавку, которая стояла прямо во дворе его дома.

Абхазец этот хорошо говорил по-русски, и дом его на высоких сваях выглядел, даже на взыскательный взгляд дяди Сандро, внушительно и красиво. Так что, учитывая, что дом стоял у самой дороги на Мухус, все удобства у комиссара оказывались под рукой: и толмач рядом, и дом зажиточный, и ближе всех к проезжей дороге.

Обо всем этом думал дядя Сандро, открывая себе ворота и удивляясь, что при этом чистом дворике с голубеющей от лунного света травой не видно собаки. И еще он успел подумать, распахнув ворота и въезжая во двор, что и большевики и меньшевики, хотя по-разному относятся к богатым и бедным крестьянам, все же предпочитают жить в хорошем, сытном доме. Дядя Сандро не только не осуждал их за это, но, наоборот, радовался, находя в этом подтверждение тому, что и у тех и у других за многими странными делами нередко затаен ясный и приятный для всех смысл.

Въехав во двор, он заметил в черной, густой тени лавровишни две русские лошади под кавалерийскими седлами. Еще раньше он заметил часового, сидевшего на крыльце, и, так как тот его не окликнул, дядя Сандро догадался, что он спит.

Дядя Сандро бесшумно соскочил с седла и привязал свою лошадь рядом с этими огромными и на его взгляд неудобными лошадьми. Одна из них потянулась укусить его лошадь, но дядя Сандро незаметно для часового, хотя и знал, что тот спит, огрел ее камчой.

Пощелкивая камчой о голенище, стараясь этим мирным, но и достаточно независимым звуком разбудить часового, он подошел к крыльцу. На полу веранды, загородив ногами верхнюю ступеньку крыльца, обняв руками винтовку и откинувшись головой на барьер, спал боец.

Дядя Сандро, подойдя к нему совсем близко, поразился его юности, его стриженной, вытянутой кубышкой голове и то-

ленькой, прямо-таки замученной шее, подогнувшейся под тяжестью этой маленькой головки.

Как бы не выстрелил спросонья, подумал дядя Сандро и притронулся камчой к его плечу.

— Эй, — позвал он и осторожно добавил новое слово, — товарищ...

Часовой не просыпался. Дядя Сандро оглядел веранду, заглянул в пустые темные окна комнат, обратил внимание, что над барьером веранды висит незнакомый предмет, как догадался дядя Сандро, бачок для умывания с торчащим из него стерженьком. Рядом на гвозде висело полотенце. Дядя Сандро уже видел в богатых домах большие мраморные умывальники, а такого маленького и удобного еще не видел. Он решил, что эту умывалку с собой привез комиссар.

Чего только не напридумают эти русские, с удивлением думал дядя Сандро, оглядывая умывалку. Ему захотелось поддеть стерженек концом камчи, чтобы полилась вода, но он не решился, боясь владельца.

Дядя Сандро снова притронулся камчой к плечу красноармейца. Тот что-то промычал во сне, горло у него заходило, словно он делал над собой усилия, чтобы проснуться. Он и в самом деле проснулся и хмуро, а главное бесстрашно, что неприятно удивило дядю Сандро, оглядел его.

— Комиссара хочу, — сказал дядя Сандро просто и выразительно, чтобы боец спросонья не усомнился в его миролюбии.

— Не велено будить, — хмуро ответил боец и, поуютней обхватив винтовку, снова уснул.

Дядя Сандро вдруг почувствовал, что непривычно тяжело давит ему на плечи мокрая бурка и едва подчиняется его воле окоченевшее тело. Он снова ткнул его камчой, теперь гораздо решительней.

— Сказано, не велено, значит, все, — сказал боец сердито и тут же закрыл глаза.

Вдруг дядя Сандро заметил, что на кухне зажегся свет, оттуда донеслось какое-то перешептывание. Он понял, что там хозяин. Он уже хотел было пройти туда, но отворилась дверь и из кухни вышел человек. Почему-то прикрыв глаза ладонью, он стал неуверенно приближаться к дяде Сандро, стараясь издали его узнать, даже как бы испытывая, поддается ли этот человек узнаванию.

— По обличью вижу, что ты наш, — сказал человек, слегка сожалея, что узнавание остановилось на самой общей этнографической стадии.

— Да, — сказал дядя Сандро, — я Сандро из Чегема.

— Добро пожаловать, — сказал хозяин, радуясь родной речи и удивляясь визиту, — но что тебя пригнало в такое время из Чегема?

— Я сейчас не из Чегема, а оттуда, — сказал дядя Сандро и кивнул головой в сторону Кодора. Он покосился на бойца, но тот безмятежно спал.

— Да ты, я вижу, весь мокрый, эй! — он оглянулся в сторону кухни. — Пораздвинь головешки, человеку погреться надо. Войдем, — повернулся он к дяде Сандро. Тайный жар любопытства придавал его голосу воркующие нотки.

— Мне комиссара надо увидеть, да этот паренек не пускает, — сказал дядя Сандро.

— Эти целый день готовятся к завтрашнему, — заметил хозяин и кивнул на часового, — вот этот мальчишка сегодня два раза скакал в Мухус. Если его лошадь выживет, значит, я ничего в жизни не понимаю.

— Да, такое время, — протянул дядя Сандро неопределенно.

В щелях дощатой кухонной стены посветлело, и дядя Сандро понял, что это занялся очаг. Он уже хотел было войти туда, но тут скрипнула дверь, и из комнаты на веранду вышел человек в нижней рубашке. Уверенно шлепая босыми ногами, он подошел к барьеру. Это был комиссар. Боец, как только скрипнула дверь, мгновенно вскочил и стал с винтовкой.

— Что случилось? — спросил комиссар, наклоняясь над барьером веранды и одновременно почесывая лохматую грудь.

— Я оттуда, — кивнул дядя Сандро в сторону Кодора.

— Ну и что? — спросил комиссар и, перестав чесаться, подтолкнул стерженок умывалки и провел мокрой ладонью по зашерстевшему щетиной лицу.

Дядя Сандро, ожидавший более достойного приема, обиженно молчал.

— Может, еще расскажешь про деревянный броневик? — спросил комиссар, не слишком торопясь и любуясь, как показалося дяде Сандро, его растерянностью. Комиссар еще раз подтолкнул ладонью стерженок, плеснул воду на лицо и посмотрел на дядю Сандро более осмысленно.

— Для этого приехал, — сказал дядя Сандро и, стараясь оставаться независимым (хоть и приехал), шлепнул камчой по сапогу.

— Вот люди, — усмехнулся комиссар, — шестой человек приезжает с этой чепухой да еще просит учесть его заслуги...

Дяде Сандро слышать это было очень неприятно. Мало того, что его опередили другие (чертов аробщик не только не стал держать про себя тайну, но, как выяснилось позднее, он даже слегка поторговывал ею в ту последнюю ночь), но особенно неприятно было то, что дядя Сандро в самом деле ждал от комиссара хотя бы скромного вознаграждения. Ну, скажем, хотя бы обещания оберегать во время боя дом его друга.

— ...Да передай ты своим, — тут комиссар запнулся, потому что дядя Сандро особенно независимо и ловко шелкнул камчой по голенищу сапога, — что нам не страшно никакое меньшевистское пугало, и пусть больше с этим никто не приезжает, — закончил он, уже с ненавистью глядя на руку дяди Сандро, сжимающую камчу.

Возможно, от раздражения он чересчур сильно ударил ладонью стерженок умывалки и выбил его в бачок. Струйка воды безостановочно полилась. Интересно, что он сейчас будет делать, подумал дядя Сандро.

Комиссар ничего не стал делать, а неожиданно подставил голову под эту струйку, тем самым, как показалось дяде Сандро, намекая ему, что для красных никаких неожиданностей не бывает и он, комиссар, эту безостановочную струйку предвидел так же, как и деревянный броневик меньшевиков.

Дядя Сандро мог поклясться, что за мгновение до удара по стерженьку комиссар ничего такого не предвидел, но доказать это было невозможно. Комиссар, сопя и потирая руками шею, держал голову под струей. Дядя Сандро ждал то ли конца струи, то ли когда комиссар, не дожидаясь конца, все-таки подымет голову.

— Он говорит, что они и так управятся, — пояснил хозяин по-абхазски, чтобы смягчить обстановку, и тихо добавил: — Не шелкай камчой... Эти этого не любят...

Дядя Сандро был оскорблен приемом, но все-таки считал, что дело надо довести до конца, тем более что он еще не изложил комиссару главного, а именно как надо бороться с этой движущейся крепостью. Все же в знак обиды за плохой прием он решил с комиссаром по-русски больше не говорить.

— Скажи ему, — обратился он к хозяину, все же, несмотря на опасность, похлестывая камчой по голенищу, — чтобы они пулеметы под самый мост поставили.

Хозяин переводил и, делая страшные глаза, косился на шелкающую камчу, но дядя Сандро предпочел не заметить намека.

В это время комиссар уже поднимал голову, а юный часовой, окунув руку в бачок, шарил в нем, стараясь просунуть стерженек на место. Наконец стерженек с лязгом затвора вышел в отверстие, а комиссар, подняв голову, стал утираться полотенцем. Часовой опять отошел к крыльцу.

Комиссар, слушая перевод, все пристальней вглядывался в дядю Сандро.

— Это почему же я должен огневые точки менять? — спросил он, не спуская глаз со шелкающей камчи.

— Скажи ему, что в крепость нужно стрелять сбоку и снизу, потому что у солдат ноги высовываются по щиколотку, — сказал дядя Сандро и опять же кончиком плети провел по сапогу, показывая, до какого места высовываются ноги у меньшевистских солдат из-под деревянного броневика.

— Да припрятал бы ты свою камчу подальше, — успел проговорить хозяин дома, но было уже поздно.

— Марш отсюда! — заревел комиссар страшным голосом, и дядя Сандро услышал, как рука его зашуршала в поисках кобуры.

Кажется, дядя Сандро никогда так не пугался. Он почувствовал, что тело его все туже стягивается кожей, словно сама плоть старалась уменьшить себя, перепеленать, перетянуть, дожать себя до размеров кокона и притаиться в нем.

И в то же время он краем глаза видел, как рука комиссара продолжает шарить на боку, он успел решить, что, как только она вытащит пистолет, надо прыгать под дом (дом стоял на высоких сваях), пробежать под ним, перемахнуть через изгородь и дальше рвать огородом. Краем глаза он успел заметить огромное корыто для выжимки винограда, стоящее под домом, старую соху, прислоненную к нему, подумал, как бы не споткнуться о нее, заметил собаку, вернее, догадался, что серое бесформенное пятно, лежащее у корыта, это собака, и вдруг на долю секунды вспомнил, что в детстве вечно его чувяки из сыромятной кожи таскала собака и вот так, забрав-

шись под дом, грызла им там часами. И вдруг это воспомина-
ние как-то зацепило другую, более важную догадку, что ко-
миссар без пояса и, значит, без пистолета, и сколько ни шарь
он у себя на боку, все же в этот миг он выстрелить не сможет,
а там видно будет.

— Товарищ комиссар, разрешите, я его сниму, — сказал
красноармеец и вскинул винтовку. Но тут очнулся хозяин
и, бросившись вперед, загородил дядю Сандро.

— Нельзя, мальчик! Гость! Гость! — крикнул он, глядя на
бойца и отчаянно махая перед лицом ладонью.

— Ладно тебе, — махнул комиссар своему часовому
и обернулся на хозяина, — а своему гостю скажи, чтоб не
вмешивался.

— Хорошо, дорогой, — сказал хозяин и потащил дядю
Сандро на кухню.

— Плеткой играют, — вздохнул красноармеец, жалея, что
не смог выразить свое возмущение более решительным спо-
собом.

В кухне у очага уже пылал большой огонь, и дядю Сандро
к нему посадили. Хозяин приказал достать водки, и через
мгновение жена его, быстрая и бесшумная, как летучая мышь,
принесла бутылку розовой чачи, две рюмки и тарелку нало-
манных чурчелин на закуску.

Только выпив подряд шесть-семь рюмок, дядя Сандро по-
чувствовал, что к нему возвращается жизнь. Хозяин предло-
жил ему дождаться мамалыги и поесть поплотней, но дядя
Сандро встал.

Хозяин вывел его со двора и проводил до самого конца усадьбы. Дядя Сандро опасно перешел двор. На веранде не было ни часового, ни комиссара, но в одном из окон горел свет.

Когда дядя Сандро сел на лошадь, он почувствовал, что хозяин как-то неловко замешкался.

— Сдается, хочешь что-то сказать? — спросил он у него.

— Ты не ошибся, — согласился хозяин и прибавил: — Сам видишь, что за время. Боюсь, что завтра здесь окажутся меньшевики... Как бы семья не пострадала за то, что у меня комиссар остановился...

Говоря это, хозяин так настойчиво заглядывал ему в глаза, что дядя Сандро понял, что тот имел в виду. А имел он в виду вот что: замолви у меньшевиков за меня словечко, а я, в свою очередь, прикушу язык, что ты сюда приезжал с военной тайной.

— С Богом, — сказал хозяин и отпустил поводья лошади, которую он придерживал, пока разговаривал с гостем.

Дядя Сандро вскинул камчу и заспешил на левый берег. Луны уже не было видно, серел рассвет. Дядя Сандро шел очень быстрой рысью, потому что на этот раз не хотел рисковать переходить Кодор вброд, а решил подняться вверх по течению до парома.

Впоследствии дядя Сандро, вспоминая об этой встрече с комиссаром и не скрывая, что здорово струхнул, находил для своего состояния такое объяснение: раньше, по его словам, между гневом властей и хватанием за пистолет гораздо

больше времени проходило и всегда можно было что-нибудь сообразить.

— А большевики, оказывается, с места в галоп берут, — говорил дядя Сандро, — а я тогда этого не знал и растерялся...

* * *

Следующий день выдался таким же ясным и погожим. С утра по всему селу перекликались коровы и телята, буйволицы и буйволята, овцы и ягнята, козы и козлята. И только ослы кричали сами по себе, и голос их был одинок, как голос пророка.

Многие очевидцы этого утра теперь утверждают, что скот села Анхара предчувствовал начало боя, хотя с достоверностью этого утверждения трудно согласиться, потому что он, то есть скот, по приказу командования и по собственному желанию крестьян, держался взаперти.

Если б его, как обычно, выпустили на выгон, может быть, он и не кричал бы. Но так как голодный скот, находясь взаперти, всегда дает о себе знать, теперь трудно установить, в самом деле он предчувствовал кровопролитие или нет. Тем более кровопролитие не своих братьев, а именно людей: то есть тех, кто перерезает им глотки, сушит их шкуры на распялках и варит их мясо в огромных котлах. Так что, с какой стати он, то есть скот, должен предчувствовать человеческое кровопролитие и тревожиться по этому поводу, непонятно.

Ссылка на то, что скот перестал кричать, как только началась перестрелка, тоже ни о чем не говорит. Во-первых, после такого шумового воздействия, как перестрелка двух армий, что ни говори, скотина могла испугаться и замолкнуть. А с другой стороны, не исключено, что скотина и не замолкла, но просто ее перестали слышать за грохотом битвы. В конце концов, скотина могла замолкнуть из здравого смысла, то есть поняв, что, пока люди что-то говорят друг другу своими хлопушками и трещотками, им, пожалуй, лучше помолчать, потому что все равно их никто не услышит.

По всему этому я думаю, что утверждения некоторых очевидцев, что скот села Анхара, проявляя массовое ясновиденье, предсказывал бой, не имеет под собой серьезной научной почвы.

Итак, ровно в восемь часов утра меньшевики открыли сильный пулеметный и ружейный огонь по позициям красных. Наши отвечали им тем же, хотя, по скорбному наблюдению очевидцев, на этот раз их огневая мощь уступала противнику.

Через полчаса на глазах всего села Анхара из сарая выползло деревянное чудовище и направилось в сторону моста. Сначала, проходя по селу, оно шло равномерно и грозно, но потом, на спуске возле моста, оно чересчур разогналось, ударилось о боковые перила и, выломав его, чуть не вывалилось в реку.

Внутри чудища, пока оно, потеряв управление, несло на перила, говорят, раздавались вопли людей. Так что, возмож-

но, оно, еще не успев поразить красных, покалечило кое-кого из меньшевистского отряда.

Когда чудище вышло к реке, стрельба с обеих сторон прекратилась. По-видимому, на красных произвели сильное впечатление размеры этого сооружения. Если красные перестали стрелять, изумившись этому первому и, может быть, последнему в мире деревянному танку, то меньшевики перестали стрелять, вероятно, для того, чтобы дать красным спокойно ужаснуться своему положению. Психологически это было верным шагом, во всяком случае, так находят знатоки военной тактики.

Но потом, когда танк (или чудище? или броневики? или крепость? дядя Сандро его все время называет по-разному), так вот, когда он раскатился и, проломив перила моста, чуть ли не на треть высунулся над рекой, а главное, когда послышались крики придавленных из своих же солдат, красные очнулись, и с того берега раздались довольно обидные для меньшевиков смех и улюлюканье. Для меньшевиков это было особенно обидно, потому что и то и другое было хорошо слышно жителям села Анхара.

Однако через некоторое время (переменчиво военное счастье) выяснилось, что смех и улюлюканье оказались преждевременными. Дело в том, что солдаты, находившиеся внутри крепости, сумели взять себя в руки, дать задний ход, выровнять свою машину и, помня издевательский смех и особенно улюлюканье, с удвоенной яростью ринулись на позиции красных. По словам дяди Сандро, меньшевики издеватель-

ский смех кое-как еще переносят, но улюлюканье приводит их в невероятную свирепость.

Конечно, красные встретили приближающийся танк пулеметным и ружейным огнем, но это было все равно, что по буйволу стрелять из рогатки. Наш каштан крепок, как железо. К тому же строительный материал, как мы знаем, был получен меньшевиками не по каким-то там казенным поставкам, а свеженьким, из рук в руки.

Надо сказать, что чудище не только приближалось, но и довольно густо поливало позиции красных ружейным огнем. Для этой цели между балок были проделаны смотровые щели. И когда оно стало подходить к той стороне моста, красные дрогнули, тем более что помнили свой издевательский смех и улюлюканье. Сначала побежали неопытные бойцы, по причине своей неопытности, а потом дрогнули и стыдливо побежали опытные бойцы, именно потому, что были опытны и никогда ничего такого не видели.

Правда, комиссару и командиру удалось остановить бойцов и создать новую линию обороны. Кто его знает, может, комиссар в эти минуты и жалел, что не послушался дядю Сандро, может, разговорись он с ним по-хорошему, дядя Сандро рассказал бы ему немало интересного о нравах эндурцев, в частности, дал бы ему знать, что улюлюканье в обращении с ними должно быть полностью исключено, хотя бы на время боя.

Может, теперь жалел обо всем этом комиссар, хотя, может, и не жалел, потому что в суматохе мог и не припомнить о предложении дяди Сандро, что в чудище надо было стре-

лять сбоку и снизу, потому что ноги солдат оставались по шиколотку открытыми.

Когда с левого берега заметили, что красные побежали, меньшевики ринулись за ними конными и пешими рядами. То ли порыв был так велик, то ли по мосту было двигаться все-таки опасно, но многие конники бросились в реку и стали переходить ее вброд, благо здесь она несколько шире и мелководней, чем там, где ее переходил дядя Сандро.

Тут кое-кого красные перебили, конечно, а кое-кого смыла вода, так что они сами захлебнулись. Все же большинство добралось до другого берега. Кстати: в самом конце моста деревянный танк одним задним колесом продавил настил и, осев, уже никак не хотел сдвинуться с места.

Именно эта заминка помогла красным укрепить новую линию обороны, но меньшевики были уже на том берегу.

Говорят, когда всадники вброд переходили Кодор, вдруг над всеми винтовочными выстрелами и трескотней пулеметов раздался страшный человеческий крик. Это кричала жена Кунты.

Сын Кунты сидел на белой лошади, и его все, кто из села следил за боем, видели. Видел его и дядя Сандро, который следил вместе с Михой за этим интересным сражением, стоя за одним из кипарисов, украшавших двор его друга. И так как дядя Сандро следил за происходящим в свой бинокль, он это видел лучше остальных.

Сын Кунты спустился вместе с остальными конниками к пойме Кодора и уже перешел на один из ее мелких рукавов,

как вдруг лошадь идущего впереди рванулась в сторону, сбросила своего всадника и помчалась назад.

Разгоряченный всадник вскочил и уцепился за хвост подвернувшейся ему белой лошади. Это был солдат, а не доброволец, потому что, по словам дяди Сандро, доброволец побежал бы за своей лошадейю, а не стал бы цепляться за хвост чужой.

В бинокль было видно, как сын Кунты обернулся к нему и стал спорить, а лошадь, разбрызгивая гальку, крутилась между основным руслом и рукавом. Видно, они пришли к согласию, потому что Кунта остановил лошадь, солдат животом вспрыгнул на нее, лошадь пошла вперед и уже в воде солдат сумел перебросить ногу и усесться за спиной всадника.

Они прошли самую стремнину, когда вдруг лошадь и оба всадника исчезли под водой. Село ахнуло в один голос, но тут над водой, уже гораздо ниже, появилась голова лошади и две человеческие головы. Через мгновение опять все исчезли, а потом появилась над водой одна человеческая голова. Было видно, как человек борется с течением, как его относит и относит вниз.

Он выплыл под самым мостом и, когда вылез на берег, по одежде все поняли, что уцелел солдат. Тогда-то и раздался страшный крик жены Кунты, видно, она до последнего мгновения надеялась, что выплывет ее сын.

В тот день сражение окончательно перекинулось на ту сторону, и, когда до вечера оставалось два-три часа, жители Анхары решили выпустить на выгон проголодавшийся скот.

С неделю поблизости от этих мест шли упорные бои. Так рассказывают об этом учебники истории, ссылаясь на очевидцев, а также подтверждают очевидцы, отчасти ссылаясь на учебники истории.

Потом оборона красных была окончательно сломлена, и меньшевики прокатились по всей Абхазии. Абхазский реввоенсовет был вынужден послать Ленину телеграмму о помощи, после чего бойцы славной десятой армии разбили и отбросили противника из пределов Абхазии.

Но до этого, к сожалению, еще было далеко, как в описании, так и на следующий день, когда дядя Сандро встретил Кунту на проселочной дороге.

Кунта шел с мокрым, разбухшим седлом за плечами. Увидев дядю Сандро, он молча остановился и уставился на него недоумевающим взглядом. Дядя Сандро и Миха, который его провожал, спешили и подошли к нему выразить соболезнование.

Кунта молчал. Дядя Сандро, глядя на его покрасневшие веки, на его большой, сейчас скорбный нос, на его жилистые кулаки, сжимавшие подпруги седла, с трудом удержался, чтобы не разрыдаться как женщина.

Оказывается, в нескольких километрах от села вынесло труп лошади. Кунта снял с него седло, чтоб не украли. Сейчас он нес его домой, откуда собирался выйти вместе с односельчанами на поиски тела сына. Он сказал, что как только схоронит сына, пойдет догонять меньшевиков, чтобы встретиться с тем парнем, что подсел к нему на лошадь.

— Зачем? — спросил дядя Сандро.

— Может, мальчик перед смертью ему что-то сказал, — проговорил Кунта и заплакал одними глазами. Слезы вместе с потом стекали по его лицу, и он время от времени утирал их кулаком, напряженно сжимавшим подпругу.

Что ему мог сказать дядя Сандро? Он молча обнял Кунту, и тот поплелся по дороге с мокрым старым седлом на плечах.

— Каким был вчера и какой сегодня! — вздохнул Миха, глядя ему вслед.

Дядя Сандро ничего не ответил, и они снова сели на лошадей.

Проводив дядю Сандро до выезда из села, Миха остановил лошадь и спросил у дяди Сандро:

— Что думаешь о красном комиссаре?

— Власть, — тихо сказал дядя Сандро и, подумав, добавил: — А другой не будет и не жди.

На этом друзья расстались. Дядя Сандро отправился к себе в Чегем, а Миха вернулся домой, удрученно думая о том, как, применяясь к новым условиям жизни, сохранить себя, свою семью и свою свиноферму.

6. чегемские сплетни

В жаркий июльский полдень дядя Сандро лежал у себя во дворе под яблоней и отдыхал, как положено отдыхать в такое время дня, даже если ты до этого ничего не делал. Тем более

сегодня дядя Сандро все утро мотыжил кукурузу, правда, не убивался, но все-таки сейчас он вкушал вдвойне приятный отдых.

Лежа на бычьей шкуре, положив голову на муртаку (особый валик, который в наших краях на ночь кладется под подушку, а днем, если захочется вздремнуть, употребляется вместо подушки), так вот, положив голову на муртаку, он глядел под крону яблони, где в зеленой листве проглядывали еще зеленые яблоки и с небрежной щедростью провисали то там, то здесь водопады незрелого, но уже слегка подсвеченного солнцем винограда.

Было очень жарко, и порывы ветерка, иногда долетавшего до подножия яблони, были, по разумению дяди Сандро, редки и сладки, как ласка капризной женщины. Разумение это было более чем уместно, учитывая, что в двух шагах от него на овечьей шкуре сидела его двухлетняя дочка Тали, а жена возилась в огороде, откуда время от времени доносился ее голос.

Конечно, дядя Сандро мог переместиться под более мощную тень грецкого ореха, стоявшего с более подветренной стороны, куда струи далекого бриза долетали еще чаще, но зато там было больше мух и пахивало навозом по причине близости козьего загона.

Вот и лежал дядя Сандро под яблоней, пользуясь более редкими, но зато чистыми дуновениями прохлады, поглядывая то на яблоневую крону, то на собственную дочь, то прислушиваясь к редкому шелесту ветерка в яблоне, то к го-

лосу жены с огорода, который, в отличие от скупых порывов ветерка, беспрерывно жужжал в воздухе. Жена его громко укоряла курицу, а курица, судя по ее кудахтанью, в свою очередь, укоряла свою хозяйку. Дело в том, что тетя Катя после долгих, тонких, по ее представлению, маневров выследила свою курицу, которая, оказывается, неслась за огородом, сделав себе гнездовье в кустах бузины, вместо того, чтобы (по-человечески, как говорила тетя Катя) нестись в отведенных для этого дела корзинах, куда несутся все порядочные курицы.

Только что наконец застукав ее на месте преступления, если можно назвать преступлением высиживание собственных яиц, пусть даже в кустах бузины, поймав ее за этим подпольным занятием, она согнала ее с яиц, переложила все четырнадцать в подол и сейчас через огород возвращалась во двор с этим трофеем.

Придерживая одной рукой подол, она шла, приглядывая за огородом: то вырвет мощный сорняк, вдруг нахально выросший среди грядок, то изменит пагубное направление роста тыквенных или огуречных плетей, при этом продолжая главную тему, то есть разоблачение неблагодарной курицы, она и сорняку успевала бросить ехидное замечание: «Как раз для тебя я унавозила и всполола эту грядку» — и тыквенной плети указать свое место: «Нечего тянуться куда тебя не просят...»

Все это время курица шла за нею, громко и столь же бесполезно требуя вернуть ей недосиженные яйца. Когда в ку-

дахтанье курицы появлялись особенно истерические ноты, тетя Катя прерывала свой монолог, чтобы бросить ей:

— Да... Да... Испугалась... Сейчас тебе выложу твои яйца...

Дядя Сандро, лежа под яблоней, прислушивался к ее медленно приближающемуся голосу, удивляясь неистощимой способности своей жены разговаривать с неодушевленными предметами — растениями, птицами, животными.

Сейчас по новому заходу она говорила о том, что если уж ты честная курица и не хочешь нестись так, как несутся остальные, то тогда хотя бы не беги впереди всех, когда твоя хозяйка сзывает кормить птиц, а питайся в лесу, как питаются другие дикие птицы, рискующие каждое мгновение попасть в лапы лисы, ястреба или еще кого-нибудь там. Тут она пошла по новому ответвлению темы и стала высказывать догадку, почему и каким это образом до сих пор лиса не слопала все эти яйца вместе с этой дурочкой, и пришла к выводу, что, по-видимому, лиса ждала, чтобы цыплята стали вылупляться.

Тут дядя Сандро не выдержал и, не дожидаясь еще какого-нибудь ответвления темы, прикрикнул на нее, чтобы она замолкла, а там, глядишь, и курица успокоится. Или еще лучше сходила бы к роднику за свежей водой да и увела бы эту крикунью, а там — и вы по дороге наговоритесь, и мы здесь без вас отдохнем.

Не успел он это договорить, как тетя Катя, как раз взобравшаяся на перелаз, чтобы сойти во двор, крикнула:

— Ша! Кто-то к нам идет от родника!

— Чего это ты там еще? — спросил дядя Сандро, слегка приподымая голову с валика-муртаки. Он оглядел верхнечегемскую дорогу в тех местах, где она виднелась в просветах между деревьями, но ничего там не увидел.

— Прямо от родника подымается кто-то чужой! — сказала тетя Катя, и уже сердясь на свою курицу, продолжавшую кудахтать про старое, не понимая, что хозяйка ее теперь занята совсем другим, прикрикнула на нее:

— Да замолкни ты, унеси тебя ястреб!

— Какой там еще чужой, — удивился дядя Сандро нелепости предположения, чтобы от родника подымался кто-нибудь чужой. Да такого и сроду не бывало! Чужой человек может появиться на верхнечегемской или нижнечегемской дороге, а так разве что из самой пещерки родника выскочит!

— Да ты хоть задницу подыми! — крикнула тетя Катя со своего перелаза, и тогда дядя Сандро в самом деле встал и увидел, что по тропе, идущей от родника, подымается какой-то человек.

— Кто б он ни был, с нехорошей совестью подымается, — сказала тетя Катя, все еще стоя на перелазе и придержививая одной рукой подол. Курица уже перелетела плетень и кудахтала, глядя на тетю Катю со двора.

— Никак это племянник Щашико! — наострившись, узнал путника дядя Сандро. — Только как он оказался у родника?!

— Ну, тогда все ясно, — сказала тетя Катя, все еще стоя на перелазе, — бедный Щашико, наконец-то его подстерegli и убили!

— Да откуда ж ты знаешь, что он горевестником идет, — сказал дядя Сандро, приглядываясь к мрачной фигуре племянника знаменитого абрека Щащико. В самом деле, не с доброй вестью приближался этот парень.

— Так и будем стоять с задранным подолом? — спросил дядя Сандро у своей жены, все еще стоявшей на перелазе.

Тетя Катя быстро слезла с перелазы и, увлекая за собой квочшую курицу, отправилась к тыльной стороне кухни, где рядом висели корзины, предназначенные яйценоксам, и выложила в одну из них подобранные в бузине яйца.

Курица еще сильнее закудаhtала, выражая нежелание взлетать в эту корзину.

— Взлетишь, — злоратно отвечала ей тетя Катя, — чтоб я твои крылья перебитыми увидела...

— Чтоб вас куриный мор, — отозвался дядя Сандро из-под своей яблони, голосом показывая, что не делает различия между курицей и ее хозяйкой, до того обе они ему надоели.

А между тем мрачный посланец Азраила уже проходил скотный двор, и дядя Сандро вышел ему навстречу, открыл ворота и, придав своему облику приличествующую моменту скорбь, впустил его во двор.

Тетя Катя, пересекая двор, тоже приближалась к предполагаемому горевестнику, издали репетиционно бубня обрывки надгробного плача с нарочито, по случаю полного отсутствия информации, затемненным смыслом, из которого высывались небольшие членораздельные куски: бедный

Щашико... Несчастливая его мать... Прикончили его бешеные собаки...

Дядя Сандро пригласил молодого человека в дом, но тот наотрез отказался, и тогда дядя Сандро понял, что тут что-то другое, и в качестве смягченного варианта гостеприимства пригласил его под тень яблони, и тот не весьма охотно последовал туда за дядей Сандро.

Дядя Сандро усадил его на бычью шкуру, а сам, присев рядом с дочкой на овечью шкурку, стал спокойно ждать, что скажет гость. Но, конечно, пока гость собирался с мыслями, тетя Катя не утерпела и спросила:

— Как же они убили нашего бедного Щашико?

— Щашико жив, — отвечал его племянник, — но я к вам по другому делу... Дай Бог, чтоб оно хорошо кончилось...

— Что за дело? — скупое, как и положено, спросил дядя Сандро, потому что слишком большой интерес к неизвестному еще делу может вызвать у вестника этого дела нежелательное впечатление излишней заинтересованности.

Так оно и оказалось. Парень этот скорбным голосом сообщил, что до Щашико дошли слухи, что дядя Сандро кому-то говорил, что собирается в один из дней, когда Щашико придет к ним в дом, предать его и сдать властям живым или мертвым. Не скрою, добавил парень, Щашико страшно разгневан, и, чтобы не пролилась кровь, дядя Сандро должен найти убедительные доказательства своей невинности.

— Что ж он, как бешеная собака, стал на своих кидаться?! — запрочитала тетя Катя, забыв, что за минуту до этого

образ бешеной собаки был использован ею в совершенно противоположном смысле.

— А он подумал, — добавил дядя Сандро спокойным голосом, — зачем мне надо было предавать моего родственника, самого смелого абрека Абхазии?

— Да, подумал, — ответил племянник, — ему сказали, что власти за это предательство простят вашему дому, что вы столько раз принимали у себя его и других абреков.

— Неплохо придумано, — согласился дядя Сандро, — но ни власти мне такого не предлагали, ни я им тем более...

— Вот это ты ему и скажи, — ответил племянник, стараясь быть доброжелательным к дяде Сандро и в то же время достойно представлять интересы своего знаменитого дяди.

— ...Он ждет тебя под орехом над родником, — добавил он после некоторой паузы.

— Хорошо, — сказал дядя Сандро, вставая, — иди, я вслед за тобой приду.

— Прости, Сандро, — ответил юноша, тоже вставая, — но дядя приказал нам прийти вместе.

— Ого, — сказал дядя Сандро, — выходит, он меня уже арестовал?

Племянник пожал плечами, что означало, мол, так оно и есть, но я не осмеливаюсь произнести эти слова.

— Хорошо, — согласился дядя Сандро и, показывая на свои босые ноги и слегка закатанные галифе, добавил, — сейчас переоденусь и выйду.

С этими словами он вошел в дом. Он переделал рубашку, сменил брюки и сунул в них свой старый смит-вессон, предварительно проверив курок.

— Эй, ты, — крикнул он своей жене, высунувшись в окно, — найди-ка мне мои новые брюки!

Жена по голосу поняла, что он хитрит, и поспешила к нему.

— Неужто пойдешь на заклятие к этому убийце, — шепотом запричитала она, войдя в комнату и чувствуя, что надо мужу чем-нибудь помочь.

Дядя Сандро кивком показал ей, что он одобряет ее причитанья, что сейчас они полезны и могут быть даже более звучны.

— Зайдешь в сарай, — сказал он при этом тихо, — скажешь брату, чтобы он брал свою винтовку и незаметно лесом вышел напротив родника, где я буду разговаривать с Щашико... Пусть все время держит его под прицелом, а если я не смогу уговорить его и он схватится за оружие, пусть брат стреляет... Только чтобы отец ничего не знал...

— Может, лучше сказать? — вставила жена и снова запричитала.

— Все испортишь, — ответил дядя Сандро, — надо сейчас сразу все решать.

Дядя Сандро понимал, что, если отец что-нибудь пронохает, он придет к роднику, выругает Щашико и, может быть, даже даст ему собственной винтовкой под зад, и тот ничего не посмеет ответить. Такова сила патриархального воспитания: уважение к старости. Но зато потом, когда

Щащико уйдет в лес, обида его будет накапливаться, и тогда в один прекрасный день он может убить его, и без предупреждения.

Дядя Сандро вышел на крыльцо, вымыл ноги, обулся и, спускаясь с крыльца, сделанного из трех больших каменных плит, каждую щербинку которого он помнил с детства, вдруг подумал: «Неужели я всего этого больше не увижу?»

Не может быть, сказал он себе, и, легко спрыгнув с крыльца, поймал дочурку, которая сейчас бежала по двору за бабочкой, подкинул ее, поцеловал, поставил на ноги и кивнул ждущему посланцу абрека:

— Пошли!

— Валико, прошу как брата, сделай что можешь, — причитала тетя Катя, провожая их до ворот.

Племянник на мгновенье размяк и, обернувшись, сказал:

— Не беспокойся, тетя Катя, Щащико очень сердит, но он разума не потерял.

Как только они скрылись за воротами, тетя Катя, по-видимому не очень рассчитывая на разум абрека, побежала в сарай, где старый Хабуг вместе с сыном Исой варили водку из диких груш. Старика в это время в сарае не было. Брат дяди Сандро, поклевывая носом, сидел у самогонного аппарата и следил, как по соломинке в бутылку стекает водка. Тетя Катя присела рядом с ним на корточки, тряхнула его и рассказала все, что просил ее муж передать брату.

— Чистый зверь идет, — сказал тот, выслушав тетю Катю и кивая на алкоголь, стекающий по соломинке в бутылку.

То ли от долгого дежурства у самогонного аппарата, то ли от бесконечных проб первача, брат дяди Сандро как-то отупел и, кажется, не очень понял, о чем говорит тетя Катя. Он даже нацедил в рюмку первача, чтобы дать ей попробовать.

— Да ты понял, о чем я тебе говорила?! — крикнула ему тетя Катя, отталкивая его руку с подношением.

— А что ж тут понимать, — отвечал ей Иса, — мне делишки твоего Сандро с детства надоели... Последи тут, чтобы змевики не перегревались...

Он выпил отвергнутую тетей Катей рюмку водки, встал на ноги и вышел из сарая. Ему надо было дойти до своего дома, расположенного на вершине холма, и леском спуститься до родника. Оттуда было примерно такое же расстояние до родника, как и от Большого Дома.

Пока с одной стороны дядя Сандро вместе с племянником Щащико двигаются к роднику, а брат дяди Сандро спешит к своему дому за ружьем, чтобы спуститься туда же под прикрытием леса, мы постараемся вкратце изложить историю знаменитого абрека Щащико.

Я долго думал, стоит ли рассказывать, как и почему Щащико стал абреком. Не потускнеет ли этот романтический образ, о котором я столько слышал с детства.

И все-таки после долгих раздумий и взвешиваний я решил — пусть потускнеет его образ, но мы останемся верными правде. Но в чем же дело, почему мне так дорога правда, тем более в нашем деле, где что-то сгущается, что-то сбрасывается, а что-то обобщается?

Да, можно обобщать, и сгущать, и пропускать, но только в том случае, если живое чувство подсказывает нам, что мы этим способствуем делу правды. Но если я чувствую, что солгал хотя бы посредством умолчания, я теряю всякую охоту писать и рассказывать. Но почему?

Каждый человек, которому дано, хотя бы на мгновение, высунуться из житейской суеты, сознает нешуточность данного ему судьбой дара жизни. Он не может не понимать, что дар этот ограничен во времени и надо использовать его наилучшим образом.

Между прочим, прожигатели жизни — это не люди, которые махнули рукой на дар жизни, а люди, которые так понимают ценность жизни и последовательно осуществляют накопление этой ценности.

И так, человек, осознавший нешуточность данного ему дара жизни, ее таинственную временность, во что бы то ни стало стремится уравновесить чашу весов с тяжестью этого страшного понимания, бросая на другую чашу весов серьезный жизненный замысел.

Жить — это попытка осуществить серьезный замысел. Чем тяжелее на одной чаше весов тяжесть страшного понимания временности нешуточного дара жизни, тем сильнее намеренье уравновесить эту чашу самым серьезным делом жизни. И так человеку от природы дано стремление уйти от праха, от уничтожения, от небытия через серьезное дело жизни.

Но если мы взяли рассказ о жизни сделать своим жизненным делом, то правдивость этого рассказа есть самый

безусловный и наглядный показатель этого намерения. Таким образом, правдивость рассказчика нужна самому рассказчику прежде всего, это форма его борьбы с собственным распадом, можно сказать, божественный эгоизм собственного бытия.

Это длинное рассуждение мне понадобилось только для того, чтобы сказать, что Щашико стал абреком, убив несчастного портного из села Джгерды, где он жил. Я сам об этом узнал гораздо позже, чем обо всех остальных его подвигах, и этот неприятный факт никак не хотел укладываться в его суровый романтический облик.

Но по причинам, которые я только что изложил, приходится говорить и об этом.

Итак, Щашико, будучи шестнадцатилетним юношей, правда уже тогда не по годам возмужавшим, высоким и красивым, заказал себе черкеску у местного портного в селе Джгерды.

Портной этот, как потом рассказывали, зная, что с деньгами у заказчика туговато, медлил с пошивкой черкески, и после трех или четырех невыполненных обещаний вспылчивый и самолюбивый юноша вернулся домой, взял отцовскую винтовку, пришел в дом портного и застрелил его.

С этого все началось. Он ушел в лес, где присоединился к старым опытным абрекам. Годы шли, и через несколько лет он сам превратился в опытного абрека. Несколько раз его пытались окружить полицейские наряды, но он всегда уходил от них, оставляя двух-трех раненых, а то и убитых.

От постоянной опасности и долгой жизни в дебрях лесов он одичал и сделался невероятно чутким ко всякого рода запахам и звукам. Говорят, в лесу он запах человека улавливал за двести—триста метров.

Однажды дядя Сандро вместе с ним, перевалив через Кавказский хребет, угнал большую отару овец у одного богатого адыгея. Уже на третий день, когда они выбрались в Абхазию и шли по каменистой горной тропе, Щашико вдруг остановился, к чему-то прислушался и с криком «ложись!» сам бросился на землю. Дядя Сандро шлепнулся вслед за ним и почти одновременно услышал, как несколько пуль цвиркнули над ними, и только после этого до них донесли выстрелы. Оказывается, преследователи их обогнали и вышли вперед. Тогда им едва удалось унести ноги и спасти часть угнанной отары.

Тот, кто думает, что человек, скрывающийся в лесу, превращается в пантеиста, глубоко ошибается. Нервное истощение, вызванное чувством постоянной опасности, пониманием, что тебя могут загнать и затравить, как зверя, развивает бешенство и беспощадность.

Однажды Щашико попал в засаду, когда тайком пришел ночью к себе домой, вымылся, переделся и сидел за домашним ужином.

Вдруг у ворот раздался голос полицейского офицера:

— Щашико, сдавайся, дом окружен!

Дом стоял таким образом, что один конец веранды нависал над обрывом, поросшим непроходимыми зарослями еже-

вики и терновника. Это была единственная свободная от засады сторона дома. На это Щащико и рассчитывал.

— Щащико, сдавайся! — снова раздался зычный голос полицейского офицера. Погасив лампу, Щащико уже стоял возле дверей, держа наготове свою боевую винтовку.

Когда второй раз раздался голос офицера, он одним ударом ноги распахнул дверь, выстрелил наугад, на голос в темноту, и, пригнувшись, побежал к концу веранды и с ходу бесстрашно спрыгнул в обрыв.

Как только Щащико, распахнув дверь, выстрелил, почти одновременно раздался выстрел офицера, который, видимо, был хорошим стрелком и дверь держал под прицелом.

Пуля офицера попала Щащико в большой палец правой руки, а Щащико, оказывается, убил его своим выстрелом. Как только раздался первый выстрел, град пуль обрушился на дом, и отец Щащико, решив, что сын его убит или ранен, вышел из комнаты и был убит новым залпом. А между тем Щащико, благополучно спрыгнув в обрыв, куда и днем никто не решался спускаться, выскочил из засады.

Преследователи, дождавшись утра, кружным путем спустились в обрыв, уверенные, что он там лежит изрешеченный пулями или, по крайней мере, со сломанной шеей.

Через некоторое время они напали на кровавый след и бодро пошли за ним, но довольно быстро приуныли, потому что след этот привел не к трупу абрека, а к его большому пальцу. Палец этот, перешибленный пулей и едва державшийся на

кисти, Щащико отсек ножом и, обмотав кровоточащую кисть башлыком, пошел дальше.

С этим странным трофеем, явно не равноценным трупу офицера, преследователи возвратились в Кенгурск. В полицейском участке палец был опущен в бутылку со спиртом то ли для всеобщего обозрения, чтобы полицейские, глядя на мертвый палец абрека, привыкали чувствовать над ним свое живое превосходство, то ли для отчетности перед высшим начальством, как доказательство того, что хотя бы этот телесный осколок удалось отбить от неуловимого абрека.

В тот же день к вечеру, шагая сквозь самые непроходимые заросли, Щащико прошел около сорока километров и добрался до дома того самого князя, где дядя Сандро когда-то любил и был любим княгиней. К этому времени, по словам дяди Сандро, любовь его перешла в мирную дружбу.

Принять раненого абрека в те времена считалось делом чести даже для княжеского дома.

Рана быстро зажила, а княгиня так же быстро, а может, еще быстрее, приспособила молодого абрека на место дяди Сандро.

Чтобы скрыть от окружающих подозрительное пребывание в доме почтенного князя уже не раненого, а вполне здорового абрека, она посватала за него свою юную родственницу, которая страстно влюбилась в него. Была сыграна полуподпольная свадьба, после чего молодые были оставлены в доме князя для проведения медового месяца.

Неизвестно, как долго и в какой дозировке делился этот мед, но наконец беременная жена молодого абрека переехала к себе домой, а сам абрек был задержан княгиней, которая вела себя еще более неистово и неосторожно, чем при дяде Сандро, забывая, что Щашико, в отличие от дяди Сандро, государственный преступник.

Но кто знает тайны женской страсти? Может, угроза убийства, висевшая над молодым абреком, вызывала в ней волны дополнительной нежности, желание поплотнее прикрыть его своим телом от полицейских пуль, сжать, защитить и упрятать его в свое любвеобильное женское лоно.

Князю стали нашептывать. В один прекрасный день он уехал в многодневный охотничий поход, но неожиданно, ни свет ни заря, вернулся на следующий день и застал Щашико у себя в спальне.

Позже Щашико говорил, что он почувствовал опасность и за час до прихода князя хотел улизнуть из дому в свое тайное убежище в лесу, откуда он время от времени появлялся в доме князя. Но проклятушая княгиня его не отпускала, и он вынужден был, сгорая от стыда, покинуть хлебосольный и, главное, безопасный дом князя навсегда.

К тому же родственники, а именно братья юной жены Щашико, до которых, конечно, докатился слух о случившемся, были оскорблены, и к многочисленным врагам абрека прибавились эти гордые и достаточно мстительные люди. Нет слов, чтобы передать стыд, боль, горе его юной, влюбленной в него жены. Как и всем чистым людям, не способным на коварство

и вероломство, ей и в голову не приходило, что эта женщина, почти в два раза старше ее мужа, могла совратить его, да еще женить на своей родственнице, чтобы скрыть свое преступление. Между прочим, князь, как это бывает с очень миролюбивыми людьми, наконец взорвался с неожиданной силой. Он прогнал княгиню из дому, и она вынуждена была переехать в Мухус к своей сестре.

Правда, после этого она еще два-три раза возвращалась в деревню и пыталась штурмом водвориться в собственный дом, но князь при поддержке своих уже достаточно взрослых сыновей умело отбивался от этих трагикомических атак, и княгиня, порядочно избитая, каждый раз вынуждена была возвращаться в город, где в конце концов окончательно притихла.

По рассказу моей матери, когда она выходила замуж и прибыла в город в сопровождении, как это у нас водится, нескольких мужчин и женщин из числа близких людей, на свадьбе в доме моего отца ее ждала княгиня, уверенная, что Щащико воспользуется этим случаем и обязательно приедет в город, чтобы увидеться с ней. По словам мамы, она прямо-таки погасла, увидев, что среди окружающих маму людей его нет.

Как же надо было любить, даже учитывая ее природное легкомыслие, чтобы ожидать появления абрека, которого ищут уже больше десяти лет, в самом центре Абхазии, в Мухусе?! Или она думала, что за пределами Кенгурийского района он уже личность неприкосновенная?

Бедная княгиня, простим ей ее грехи, ведь ради своей безумной любви она потеряла и покой, и доброе имя, и высокое в масштабах нашего края общественное положение. Впрочем, с добрым именем мы явно преувеличили, но остальное она потеряла точно.

Интересно, что дядя Сандро, вспоминая любовников княгини, в том числе и себя, всегда признавал, что Щашико она любила больше всех. Об этом он говорил с эпическим бесстрашием Гомера. Но дядя Сандро не был бы дядей Сандро, если бы тут же не вносил в свое утверждение долю сомнения. Так, отдавая должное ее бурному темпераменту, он не раз намекал, выражаясь современным языком, на ее некоторую сексуальную малограмотность. Так что в конце концов получалось: понимай все это как хочешь.

Теперь, дав некоторое представление о жизни молодого абрека, мы возвратимся к началу нашего рассказа, где он, растелив бурку, сидит над родником у подножия огромного ореха с рукой на прикладе боевой винтовки и в этой позе, не предвещающей ничего хорошего, ожидает дядю Сандро.

Дядя Сандро вместе с племянником абрека приближался к нему, но тот, хотя и слышал их шаги, не оборачивался, может быть лишний раз выражая этим презрение к дяде Сандро.

— Добром тебя, — сказал дядя Сандро, подходя к сидящему абреку и мысленно отмечая, где бы мог сидеть в засаде его брат, чтобы вовремя выстрелить оттуда.

Щашико сидел на зеленом холмике прямо над обрывистым склоном высотой метров пятнадцать, из-под которого

вытекал родник, огороженный плетнем, чтобы скот не пил воду там, где берут ее люди. Над ним до самого дома Исы возвышался зеленый косогор, слева переходящий в густой заколюченный лес. Там-то и мог притаиться остроглазый брат дяди Сандро.

— Добром тебя, — повторил дядя Сандро приветствие и, обойдя сидящего, остановился перед ним в достаточно почтительной, но, главное, никак не заслоняющей цель в случае необходимости выстрела из лесу, позе.

— Добром или худом встречаешь гостей — узнаем, — сказал абрек, слегка косясь в его сторону и не поворачивая головы. Дядя Сандро стоял чуть ниже и чуть левее абрека и понимал, как легко будет Щашико, если дело дойдет до этого, вскинуть винтовку и убить его. Надо выиграть время, думал дядя Сандро, чувствуя, что надежда на брата укрепляет его душевные силы.

— Неужели из-за этой княжеской суки ты хотел продать меня? — наконец спросил Щашико, поглядывая на дядю Сандро снизу вверх, но с таким чувством превосходства, что, казалось, он откуда-то сверху смотрит на дядю Сандро.

— Дела мои с княгиней закончились задолго до тебя, — отвечал дядя Сандро с достоинством, — и не надо княгиню оскорблять, тем более, она через тебя пострадала...

— Тогда как же ты посмел сказать то, что сказал? — спросил он, и в глазах его сверкнуло бешенство загнанного зверя.

— Я никогда такого не говорил, — отвечал дядя Сандро как можно спокойней, — тебя обманули...

— Ты говорил! — рыкнул Щащико. — Тот, кто передал мне это, не посмел бы солгать. Выходит, ты, сын Хабуга, человека, прославленного своим хлебосольством, впускал меня в свой дом, сажал меня за свой стол, чтобы потом убить меня, как убивают больную собаку, сначала накормив ее до отвала?!

— Успокойся, — собрав все свои силы, сказал дядя Сандро, — это клевета.

— Клевета?! — грозно повторил Щащико и кивнул своему безмолвному племяннику: — Поди приведи его!

Племянник молча спустился с обрывистого склона и пошел по тропинке, ведущей в лес. Интересно, кого они там припрятали, подумал дядя Сандро, глядя вслед уходящему племяннику.

Минут через двадцать на тропе снова появился племянник в сопровождении местного лесника Омара, человека вздорного и дурноязыкого.

Во время Первой Мировой войны Омар ушел добровольцем в «дикую дивизию», и, когда после войны приехал домой с Георгиевским крестом и умением кое-как говорить и читать по-русски, его здесь назначили лесничим.

Известен он еще был тем, что подживал с женой своего младшего брата, Кунты, глуповатого человека, у которого односельчане часто спрашивали для подначки:

— Чего это твой брат все не женится?

— На готовенькое привык, — отвечал тот охотно и громко, — с казенной службы, видать...

И вот теперь этот Омар идет в сопровождении племянника Щашико, подымается по обрывистому склону, и на нем лица нет, а дядя Сандро думает, что же будет, если Щашико поверит этому негодяю? А если он не поверит ему и захочет прикончить его? А если тот, на случай дурного исхода, вот так же, как и он, Сандро, предупредил своего брата, и тот сейчас прячется в лесу? Не перестреляют ли они все друг друга?

Омар тихо поднялся и, опустив повинную голову, остановился возле Щашико.

— Повтори, что он говорил, — попросил Щашико. Омар побелев, как ствол бука, опустил еще ниже голову.

— Ну?! — Щашико ерзул на бурке, приподнял свое ружье и снова бросил на бурку.

Омар тихо замотал головой.

— Онемел?! — рявкнул Щашико.

— Прости, Щашико, — тихо сказал Омар, — мне примерещилось.

— Примерещилось?! — переспросил Щашико бешеным шепотом.

— Примерещилось, что слышалось, — пояснил Омар, не подымая головы.

— Примерещилось, что слышалось?! — повторил Щашико и, не глядя, нащупал правой рукой винтовку, перекинул ствол в левую и стал подыматься. Медленно вставая, он распрямился перед маленьким лесником, воевавшим на многих фронтах мировой войны, а сейчас не имевшим сил шевельнуться перед огромным абреком с бешеными синими глазами

и с австрийской винтовкой в руке, на изъезженном шашелем ложе которой было четырнадцать полос, процарапанных острым краем гильзы.

— Так ты знаешь, что тебе за это будет?

— Знаю, — прошептал Омар, не подымая глаз.

— Что? — спросил Щащико и стал медленно подымать винтовку.

— Смерть, — тихо сказал Омар, не подымая глаз.

Ну, если брат у него в засаде, подумал дядя Сандро, сейчас начнет палить, да еще сдуру попадет в меня... Он незаметно сделал шаг в сторону, подальше от Щащико.

— Эй, вы! — вдруг раздался голос тети Маши. Дом ее был расположен прямо против родника на небольшой возвышенности.

Сейчас она стояла у плетня, огораживающего двор, и смотрела в сторону родника. Так как Щащико и участники этой сцены со стороны родника были прикрыты зарослями ольшаника, она их не видела, но до нее смутно доходили голоса говоривших. Щащико приходился ей довольно близким родственником, и она узнала его голос.

— Сдается, что слышу Щащико, если я не оглохла! — крикнула она, не дождавшись ответа на свой предыдущий оклик.

— Да, я! — неожиданно ответил Щащико и опустил винтовку.

— Совсем одичал в лесу, — заверещала тетя Маша, — в зверя превратился... Уж если ты вышел к нам на водопой, подумай, мы тебя угостим чем-нибудь покрепче воды.

— Сейчас подыдемся, — посмотрев на дядю Сандро, вдруг сказал Щашико, — тут покончить с одним дельцем надо.

— Кончайте и подымайтесь! — крикнула гостелюбивая тетька Маша и ушла в глубь двора.

— Повернись спиной, — приказал Щашико, и Омар повернулся.

— До конца дней благодари Машу за жизнь, — добавил он и неожиданно с такой силой пнул его ногой под зад, что Омар, пролетев в воздухе несколько метров, рухнул на крутой склон, крикнул, прокатился до его подножия, вскочил и, отряхнувшись, как собака, быстрыми шагами скрылся на лесной тропе.

— Однако живучий, — удивился абрек.

— Они все такие — псиный род, — пояснил дядя Сандро.

— Забыли обо всем? — повернулся к нему Щашико.

— А что помнить, — пожал плечами дядя Сандро, показывая, что не придает значения тому, что произошло между ними.

— Цып! Цып! Цып! Цып! Цып! — раздался со двора мирный и настраивающий на мир голос тети Маши, сзывающий кур, явно, чтобы поймать одну из них и зарезать по случаю приглашения Щашико.

Большой рыжий петух, поспешив из кукурузника на ее голос, вскочил на плетень, чтобы перелететь во двор и, кажется, уже взлетал, когда Щашико вдруг, вскинув винтовку, выстрелил. Тело петуха взметнулось и, брызнув фонтаном золотистых перьев, рухнуло на землю.

И сразу же бешено закудахтали куры, забулькали индюки, залаяла собака, запричитала тетя Маша, жалея петуха, а через несколько секунд раздался из Большого Дома тревожный голос тети Кати, спрашивающей, что это за выстрел и не убили ее мужа Щашико.

Тетя Маша в это время подобрала убитого петуха и посмотрела в сторону родника, где один за другим спускались по тропке дядя Сандро, Щашико и его племянник.

— Жив твой петух, жив, — крикнула тетя Маша, отгоняя собаку, приняюживавшуюся к убитой птице, — вот моего петуха прикончил, дуралей...

Дядя Сандро и Щашико, слышавшие крик тети Кати и ответ тети Маши, которая с петухом в руке прошла на кухню, посмеялись и стали спускаться вниз к роднику, чтобы оттуда подняться к ее дому.

Внезапно Щашико повернулся и, подмигивая дяде Сандро, кивнул своему племяннику в сторону леса:

— Скажи его брату, пусть вылезет оттуда и принесет нам хорошего первача.

— Откуда ты узнал, что он там? — смеясь, спросил дядя Сандро.

— С мое посидишь в лесу — страх уши промоет, — отвечал абрек.

Племянник повернулся и пошел к лесу, а дядя Сандро и Щашико поднялись к дому тети Маши. Две ее богатырские девочки, выскочившие из кухни, бросились им навстречу, и Щашико, наклонившись, поднял их, и одна из них уселась

на плечо, а другая, вцепившись крепкими ручонками в его волосы, так и висела на нем. Слегка искаженное гримасой лицо абрека выражало не столько боль, сколько сладострастное удовольствие, вызванное, как понимал дядя Сандро, тоской по дому, по своему домашнему очагу.

Видно, он сюда захаживал и без моего ведома, подумал дядя Сандро.

— Что ж ты зовешь мужиков в дом, когда мужа твоего нету дома! — шутливо крикнул Щашико, входя в кухню, и, наклонившись, осторожно стряхнул девочку, вцепившуюся ему в волосы, и ссадил вторую. Он скинул бурку и отбросил ее в угол, после чего снял винтовку и, осторожно прислонив ее к стене, сел у огня рядом с ней. Дети снова кинулись его терзать, а дядя Сандро подумал, что дети хорошо чувствуют изголодавшихся по ним людей.

— Ничего, — помедлив, отвечала тетя Маша и, вынув из чугунка с кипятком петуха, принялась ошипывать его, — братья мужа вокруг... защитники...

И то, что водку варим, знает, и то, что мужа Маши нету дома, знает, отметил про себя дядя Сандро, усаживаясь возле огня рядом с абреком. Ай да племянничек, подумал дядя Сандро, напустил на себя важность горевестника, а сам сначала обошел все дома нашего выселка и узнал, кто из мужчин дома и что он делает.

Вскоре тетя Маша поджарила петуха, сварила мамалыги, а тут и племянничек пришел, ведя за собой несколько смущенного брата дяди Сандро, державшего в руках по бутылке грушевой водки.

Сначала смущение его было понято, как естественное смущение человека, который сидел в засаде, ожидая удобного момента, чтобы выстрелить в человека, с которым теперь ему предстояло сидеть и пить. Однако во время застолья выяснилась более сложная причина его смущения, что на некоторое время даже как-то оскорбило дядю Сандро.

Оказывается, племянник Щащико, войдя в лес напротив родника, нашел там брата дяди Сандро, который, увы, мирно спал, положив под голову свое ружье.

Больше всего дядю Сандро взбесило то обстоятельство, что брата его не разбудил даже выстрел, убивший петуха. Этот выстрел, сложись обстоятельства похуже, мог убить и глупого лесничего, а сложись обстоятельства совсем плохо, и самого дядю Сандро.

Брат дяди Сандро в свое оправдание говорил, что сначала он осторожно следил за всем, что происходит, и все время держал на мушке (чего уж скрывать!) нашего именитого гостя, но потом, когда ушел племянник, он решил, что ничего страшного не будет, и уснул. К тому же он добавил, что сутки не смыкает глаз возле самогонного аппарата. По поводу незадачливого брата дяди Сандро долго смеялись, то так, то этак примеривая его мирный сон.

— Вот было бы смеху, — говорил Щащико, как абрек несколько раздвигая границы юмора, — если б я, убив вашего Сандро, подложил его труп рядом со спящим братом...

Дядя Сандро смеялся вместе со всеми, хотя, честно говоря, ему эта картина не казалась такой уж смешной. Не успели

они отсмеяться по поводу этой мрачной шутки Щащико, как в кухню вошла жена дяди Сандро и, послушав взрыв смеха (терпеливо, но и без всякой попытки присоединиться к нему), обратилась к мужу и сказала ему постным голосом:

— Домотыжил бы тот участок, раз уж он тебя не убил...

Эти ее слова придали новые юмористические силы шутке Щащико, и уже дядя Сандро с полной искренностью смеялся вместе со всеми, повторяя:

— Что я вам такого сделал, что все вы моей смерти возжаждали...

Словам тети Кати особенно долго смеялись, и особенно смешно было то, что она никак не могла понять, чему они смеются, и выражение лица ее все еще оставалось сдержанно-траурным, словно то выражение, которое было принято ее лицом сразу же после выстрела, все еще не сошло с него, и в то же время это траурное выражение в свете последнего восклицания дяди Сандро можно было истолковать как сожаление по поводу того, что выстрелом был убит не тот петух. Но окончательный комизм ее позы и ее слов заключался в неуверенной попытке через минувшую угрозу смерти вернуть дядю Сандро к трудовому долгу, тогда как по всем понятиям дяди Сандро, и это было известно всем, и ей в том числе, минувшая угроза смерти как раз и располагала его к долгу жизнерадостного застолья. Смех застольцев был веселым разоблачением ее наивного лукавства.

Одним словом, в тот день они славно попили грушевой водки, и Щащико еще не раз приходил в Большой Дом по-

есть, сменить белье, помыться, и ему там ничего не угрожало, кроме боязни столкнуться со старым Хабугом. Отец дяди Сандро и сам недолюбливал абреков, и много лет назад, дав на сходке старшине слово не пускать к себе в дом абреков, формально придерживался его. Смысл его молчаливого уговора с домашними был такой: делайте что хотите, но чтобы они мне на глаза не попадались.

Коротко говоря, знаменитый абрек больше дядю Сандро в вероломных замыслах не подозревал. А через два года власти объявили амнистию всем абрекам с дореволюционным стажем.

И вот Щашико после пятнадцатилетней жизни в лесах вернулся к себе домой, к матери и младшему брату, который к этому времени успел жениться и завести детей.

С полгода Щашико жил у себя дома, и, по словам соседей, видевших его, не было крестьянина, такого жадного до труда. Целыми днями он возился в огороде, окапывал и подрезал фруктовые деревья, мотыжил кукурузу, щепил в лесу дрань, перекрывал ветхую крышу отцовского дома, и все говорил, если приходилось к слову, что истинное счастье — это жить у себя дома, работать у себя в поле и спать в своей постели.

Однажды он пошел в село, где жила его бедная жена, с тем чтобы просить за все прощения и вернуть ее вместе с сыном домой. Но братья ее наотрез отказались иметь с ним дело, а сына тайно увезли в другое село, боясь, что отец попытается его выкрасть. Они знали, что он очень тоскует по сыну.

Щашико настоял на том, чтобы самому встретиться с женой, но, когда вошел во двор ее родительского дома, где она жила, на него напустили собак, и он ушел, молча вытерпев это унижение.

Кто знает, что чувствовала жена его, когда он вошел во двор и на него напустили собак, и он, страшно побледнев от оскорбления, пятясь, отходил к воротам?

Ведь следила она за ним откуда-то, может быть, из-за оконной занавески, ведь не может быть, чтоб не следила?

Кто знает, что она чувствовала? Утоление местию за оскорбленную любовь? Или желание броситься вслед своему все-таки, несмотря ни на что, любимому мужу и всепрощающей лаской оживить его одичавшее волчье сердце!

Но не суждено было Щашико мирно жить и умереть в своем доме. Через полгода после его возвращения домой был убит начальник кенгурийской милиции. Его убил один из абреков, все еще прятавшийся в лесу.

По поводу этого убийства многие бывшие абреки получили повестку явиться в кенгурийскую милицию. Щашико тоже получил такую повестку. Он сказал дома, что в милицию не явится, потому что, чует его сердце, живым оттуда не выйдет.

Целых два дня брат его уговаривал прийти в милицию и тем самым показать, что ему нечего бояться, что он никакого участия в этом убийстве не принимал. Брат его уверял, что власти этим призывом явиться в кенгурийскую милицию хотят установить, кто, испугавшись, не явился

и, значит, каким-то образом все еще связан с недавними-ся абреками.

Наконец Щащико неохотно согласился, когда брат его обещал поехать вместе с ним в милицию, откуда их обоих больше не выпустили.

На этот раз власти решили круто расправиться с наиболее знаменитыми абреками, чтобы запугать остальных. Из кенгурийской милиции, всего их было человек пятнадцать, их перевели в тюрьму, а из тюрьмы перевезли в Мухус, где их, видимо, судили очень скорым и скрытым судом и ночью, связав попарно, привезли к морю и расстреляли у обломка Великой Абхазской стены.

Интересно, что во все времена и во всех странах, где расстреливали приговоренных к смерти, их почему-то всегда старались расстрелять у стены. Казалось бы, какая разница, где расстрелять человека, не способного к сопротивлению?

Но видно, есть разница. Видно, расстреливать человека на открытом пространстве трудней. Открытое пространство связывает приговоренного к расстрелу с идеей воли и делает убийство человека слишком откровенно разбойничьим актом.

Но человек, стоящий у стены, как бы заранее приперт к тупику, палач подготовлен к безвыходности приговоренного. Он только довершает последним огненным штрихом уже до него разыгранную сцену конца с этой стеной, воздвигнутой до него и без его ведома, и с этим человеком, стоящим у сте-

ны и как бы добровольно согласившимся играть свою роль в картине конца.

Палачи тоже заботятся о своем душевном удобстве. Раз уж есть стена (в сущности, она главный виновник, но не мы ее строили), раз уж человек стоит у стены (не мы его приговаривали), почему бы его не расстрелять, ведь все равно ему некуда деться — стена, тупик, конец...

Человек стоит у стены, и палач поднимает винтовку почти автоматически, он подготовил себя так поднимать винтовку. Но притупив для себя гнев вины за нажатый курок, он для своей души ничего не изменил, он просто растянул убийство во времени, начав его с того мгновенья, когда стал искать оправдывающие обстоятельства.

А что стена для того, кого расстреливают? Не стоит рассуждать по этому поводу...

За что поплатился брат Щашико, остается неизвестным, хотя вполне возможно, что Щашико в какие-то дела его вовлекал. Точно так же не исключено, что власти решили избавиться и от второго брата, чтобы некому было мстить за Щашико. Если бы в доме оставался еще один брат, то тогда этого брата скорее всего отпустили бы, потому что убийство двух братьев слишком сильно увеличивало бы шансы на то, что третий брат возьмется за оружие.

Правосознание карающих от имени закона и мстящих по велению обычаев кровной мести мало чем отличалось друг от друга... В те времена, добавим мы, чтобы не было криво толков.

Когда из Кенгурска в Мухус в «воронке» везли арестованных абреков, моя мама на фаэтоне ехала из Мухуса в Анастасовку, чтобы оттуда подняться в Чегем. На приморском шоссе два этих экипажа встретились.

Щашико, видимо всосавшийся глазами в какую-то щелочку, открывавшую ему кусочек воли, увидел маму и был страшно обрадован. Мама состояла с Щашико примерно в таком же родстве, что и дядя Сандро. Потом через каких-то людей, сидевших в тюрьме вместе с ним, дошло до мамы, что он ее видел уезжающей в Чегем. Можно представить, как его тоскующее сердце потянулось вслед за этим фаэтоном.

Судьбе было угодно, чтобы тень Щашико еще раз соприкоснулась с нашей семьей уже через отца.

Рядом с нашим домом жил чекист, который каждое утро, когда отец уходил из дому, стоял на крыльце и чистил сапоги. Через день после того, как привезли абреков, он остановил отца и, разогнувшись, сказал:

— У тебя из кенгурийских родственников никто не сидит?

— Вроде бы нет, — сказал отец.

— Привезли вчера дюжину абреков, — продолжал добродушный чекист, — похоже — пустят в расход... Так что, если кто из близких среди них — действуй, пока не поздно...

— Вроде бы нет, — повторил отец, мысленно перебирая родственников, которые могли бы очутиться в этой компании. По его словам, он вспомнил о Щашико, и даже в первую очередь, но он был уверен, что если бы тому грозило что-нибудь подобное, его обязательно известили бы... Ведь

просили помощи и по гораздо более пустяковым делам. Но тут так получилось. Из кенгурийской тюрьмы их вывезли под большим секретом и никто не знал, что арестованные уже в Мухусе.

— Ну нет, так тем лучше, — сказал чекист и снова взялся за сапоги, а отец пошел своей дорогой, которая обычно приводила его в Кофейню.

Через два месяца после расстрела абреков, когда родственники Щашико точно узнали, что братья расстреляны, и узнали, что расстреляны они у обломков Великой Абхазской стены и там же закопаны, они с дядей Сандро верхом поехали в Мухус, прихватив пару лишних лошадей, чтобы перевезти домой трупы.

По абхазским обычаям мертвый должен быть предан земле на семейном кладбище. И если он убит или умер очень далеко от дома, его надо во что бы то ни стало перевезти домой. И если он убит властями и тело его охраняется ими, надо выкрасть или вырвать силой родной труп, даже рискуя жизнью. Таков закон гор, закон чести абхаза.

И сколько бы лет ни прошло с тех пор, как погиб или умер близкий человек, абхазец, узнав место его захоронения, даже если оно за тысячу километров, даже если ему для этого придется продать все свое имущество, должен перевезти останки своего родственника, ибо по абхазским понятиям кости абхаза в чужой земле ждут, их надо предать родной земле, только в ней они успокоятся и отпустят душу близких.

Обломок Великой Абхазской стены был расположен в нескольких километрах от города на берегу моря в тогда еще глухом, пустынном месте.

Днем они узнали, что место захоронения абреков охраняется четырьмя бойцами, к которым приставлен начальник. Все они живут в двух палатках тут же возле крепостной стены и попеременно охраняют место захоронения от родственников, пытающихся овладеть преступными трупами своих абреков.

План овладения трупами был такой. Ночью кавалькада родственников подъедет к окрестностям крепости, спешится, привяжет лошадей и заляжет метрах в ста от крепости. Один из родственников, джигитуя, крича и стреляя в воздух, берегом промчится мимо крепости, а залегшие невдалеке родственники будут стрелять по крепостной стене, чтобы охранники почувствовали близость пуль. По соображениям чегемцев, охранники, увидев такую массированную атаку, разбегутся, потому что, как выяснилось, они по национальности русские, а у русских не может быть слишком большого интереса рисковать жизнью, охраняя абхазских мертвецов.

Как решили, так и сделали. Но когда один из родственников Щашико, гикая, стреляя в воздух и разбрызгивая приморскую гальку, промчался мимо крепости, а залегшие в кустах остальные участники вылазки осыпали древнюю стену градом пуль, русские охранники вместо того, чтобы разбежаться, выскочили из палаток и, присоединясь к бдящему часовому, заняли круговую оборону возле Великой стены.

Охрана стойко защищала вверенные ей трупы. Произошла перестрелка, которая, к счастью, окончилась без кровопролития.

Часть родственников растерялась, почувствовав упорство охраны, а двое, наиболее пылкие, предложили идти на открытый штурм крепостной стены. Дядя Сандро это очень не понравилось. Он вспомнил, что, в сущности, Щашико ему даже не двоюродный брат, а гораздо более далекий родственник. Раньше, когда Щашико гремел по всей Абхазии как великий абрек, он свылся с мыслью, что Щашико его двоюродный брат. И хотя он продолжал уважать память великого абрека, он теперь с необыкновенной ясностью вспомнил, что, в сущности, родство с Щашико у него очень далекое и очень относительное. И ему пришел в голову совсем другой план. Он подумал, что — раз в этой стране все можно сделать за взятку, почему бы не выкупить трупы братьев?

На следующий день дядя Сандро отыскал нужного человека и через него быстро нашел общий язык с начальником охраны. Тела Щашико и его брата обошлись в пятьсот рублей денег и два хороших бурдюка вина. Договорились в следующую ночь явиться с ясаком прямо к стене, при этом было оговорено со всей строгостью, чтобы подходящие к стене заранее сдали оружие тому человеку, который останется при лошадях.

В тот же день один из родственников поскакал в Чегем за данью, и на следующую ночь дядя Сандро вместе с близкими Щашико подъехали к обломку Великой Абхазской стены.

Они спешили, сдали оружие одному из парней, оставшемуся с лошадьми, и во главе с дядей Сандро, державшим в каждой руке по бурдюку с вином, подошли к крепости.

При свете электрического фонарика, которым светил ему один из охранников, начальник пересчитал деньги и положил их в карман. После этого он стал открывать бурдюки с вином, и дядя Сандро вдруг заметил, что и сам он напоминает огромный бурдюк!

— Ежели с нами по-человечески, — сказал начальник, приподняв один бурдюк и смачно приникнув к отверстию, сделал долгий отхлеб, проверяя качество вина, оторвался, шевеля губами и прислушиваясь к действию живительной влаги на свой рот и глотку, шумно выдохнул воздух и, поставив бурдюк на землю, добавил, приподымая второй, — то и мы по-человечески... — Снова приникнул к отверстию бурдюка и снова сделал хороший отхлеб, шумно выдохнул и, поставив бурдюк на землю, закончил свою трехступенчатую, прослоенную винными паузами мысль: — А стрельбой нас не возьмешь, мы к стрельбе привыкли...

Разговорившись с начальником охраны, дядя Сандро узнал, что уже семь трупов абреков выкуплены родственниками. Начальник охраны, поняв, что дядя Сандро свойский человек, просил передать родственникам остающихся трупов, если он с ними встретится, что они могут вот так, по-мирному, выкупить своих мертвецов. Дядя Сандро обещал.

Охранник, что стоял рядом с ними, приподнял бурдюки и бережно перенес их к палаткам, где другой охранник прямо

на берегу расстилал брезент. Первый охранник, оставив оба бурдюка на брезенте, вернулся. Второй охранник притащил из палатки стаканы и расставил их на этой солдатской ска-терти. В лунном свете стаканы сверкали с тусклой аппетитно-стью. Потом он разложил на брезенте ломти холодного мяса, хачапури, зелень — остатки предыдущего ясака — подумал дядя Сандро.

И вдруг дядя Сандро почувствовал, что не прочь у этой зловещей стены на берегу вздыхающего прохладой волн моря провести поминальный ужин с этими добрыми мошенника-ми, столь храбро защищавшими свой странный потусторон-ний доход.

Но он тут же устыдился этого кощунственного жела-ния, смиренно погасил его (впрочем, оно еще некоторое время продолжало предательски дотлевать) и, наконец, успокоил себя мыслью о том, что он только подумал, а это в счет не идет.

Начальник охраны самолично подвел дядю Сандро и осталь-ных родственников к подножию стены и, показав место, где надо рыть, вручил дяде Сандро свой электрический фонарик. Дядя Сандро попытался отказаться, кивнув на ясную луну, но тот сунул ему фонарик.

— Пригодится, — сказал он, и дядя Сандро догадался, что трупы, по-видимому, уже сильно испорчены временем.

— Два, — четко напомнил начальник охраны остающемуся часовому и для полной убедительности выставил ему два пальца.

— Ясно, — ответил часовой, и начальник двинулся в сторону бурдюков с вином.

Дядя Сандро лишний раз убедился, что здесь установлен строгий контроль за трупами, и никому не удастся вместе с выкупленными трупами прихватить невыкупленные. Разумеется, ни дядя Сандро, ни другие родственники Щащико этого не собирались делать.

Часовой отошел к краю стены, обросшему кустами ежевики, и, нагнувшись, вытащил из кустов две упрятанные там лопаты. Он принес лопаты и молча бросил их к ногам пришельцев.

Дядя Сандро поинтересовался, не этими ли лопатами роют яму после расстрела людей у этой стены.

— Не, — сказал часовой, мотая головой, — они ж сами ликвидируют и сами закапывают... Мы ж с военного городка, мы ж с ими не связаны...

Дядя Сандро направил свет электрического фонарика на указанное начальником место, тем самым показывая, что за лопаты должны взяться другие, и родственники, то и дело меняясь и не переставая удивляться какой-то особой каменности, какой-то неприятной чужеродности, нечегемности грунта, его подозрительной эндуристости, отрыли довольно большую яму.

Обезображенный распадом труп Щащико узнали по кисти руки, лишенной большого пальца. Трупы братьев, их так и расстреляли привязанными друг к другу, вытащили из ямы и, перерезав веревки, отъединили друг от друга.

Яму с оставшимися трупами снова завалили землей, и, пока тела братьев, обернутые в бурки, приторачивали к лошадям, часовой тщательно разровнял землю, чтобы не оставлять следов, и так же тщательно упрятал лопаты в кусты ежевики.

Когда родственники Щащико, придерживая пугающихся лошадей, приторочили завернутые в бурки тела убитых братьев к седлам, дядя Сандро вернул фонарик часовому и сел на свою лошадь. Часовой быстро направился к палаткам, где его товарищи уже расселись за поздним ужином.

Придерживая накоротке лошадей с телами убитых (пока они не сосядут со своей необычной кладью), кавалькада осторожно выбралась на дорогу. В ту же ночь останки братьев довели до Кодора, где их тщательно промыли и на следующий день похоронили на семейном кладбище.

Жена Щащико, узнав, что его схватили, приехала в кенгурийскую тюрьму с передачей и сыном. Она надеялась на свидание, но свидания не разрешили, хотя передачу взяли.

В течение многих дней она приходила с сыном к воротам тюрьмы и терпеливо ждала, надеясь, что Щащико ее заметит из окошка. Некоторые заключенные перекликались со своими родственниками, вот так, как она, стоявшими за воротами тюрьмы.

Но Щащико не мог ни окликнуть, ни увидеть ее, потому что еще до ее приезда всех абреков переправили в Мухус.

Позже, узнав, что Щащико расстрелян, она не выдержала и повесилась. Сына ее взял на воспитание один из ее братьев,

как раз тот, что непреклоннее всех отвергал попытки Шашико примириться с семьей. Но можно ли его осуждать, оскорбленного за честь любимой сестры?

Да смягчит Господь наши души, да увлажнит сухие, вечно жаждущие возмездия глаза!

7. история молельного дерева

В начале тридцатых годов волна коллективизации дохлестнула до горного села Чегем, дохлестнула, смывая амбары и загоны и швыряя в общий котел все, что подворачивалось на пути, — буйвол, так буйвола, свинья, так свинью, овца, так овцу: хватай за курдюк и швыряй туда же — в большом хозяйстве все пригодится!

Отец дяди Сандро, старый Хабуг считался одним из самых зажиточных людей села. У него было около тысячи коз, десятков коров, несколько буйволиц, несколько верховых лошадей, четыре осла и пять мулов.

Четверо сыновей, не считая дядю Сандро, и сам старик держали в руках и вели это хлопотное и нелегко собранное хозяйство.

Как это бывает в горах во время грозы: кругом ливень, а тут, на взгорье, почему-то не задетом грозой, нет-нет да и выглянет солнце, — так и многие чегемцы надеялись, что и колхозное поветрие, дурь грамотеев в чесучовых кителях, авось как-нибудь пронесет.

Ведь пронесло коммунию, остались только воспоминания об общих обедах, похожих на ежедневные пиршества, да большие черные следы от костров во дворе сельсовета, где готовили еду, да всякие шутки по поводу этого короткого, но веселого времени. Вот и ждали чегемцы, гадали, переминались.

Но по всему было видно, что власти на этот раз шутить не собирались. Сначала в колхоз вошли самые бедные, потом стали откалываться и крепкие самостоятельные хозяйства.

Хабугу тоже предлагали, да он все отшучивался, отговаривался, делал вид, что у него на этот счет какие-то особые сведения, свои вести, свой хабар, который вот-вот подтвердится, и тогда все пойдет по-другому. Но хабар никак не подтверждался, и в конце концов председатель пригрозил, что лишит его права голоса.

— Ты бы лучше лишил голоса моего осла, а то он у меня слишком голосистый, — ответил ему Хабуг, не очень понимая, что означает это право голоса. Он решил, что председатель ему не даст говорить на сходках, да ведь на сходках каждый может говорить, лишь бы тебя крестьяне слушать хотели.

Всякие уполномоченные, которые приезжали из города и по давней традиции останавливались у него в доме, это-то и придавало ему смелости, тоже советовали входить в колхоз, потому что податься, говорили они, все равно будет некуда. Председатель колхоза особенно нажимал на Хабуга, потому

что он пользовался у чегемцев тем ненавязанным и потому устойчивым авторитетом, которым пользуются во всех областях жизни знатоки дела.

Тем более в таком открытом деле, как ведение хозяйства, где каждый кукурузный початок старается быть похожим на своего хозяина и каждый бараний курдюк шлепает по заднице барана с той силой тяжести, которую придает ему владелец барана.

И он, председатель, знал, что многие колеблющиеся перейдут на сторону колхоза, если Хабуг вступит в него.

Слухи о том, что некоторых богатых крестьян высылают в Сибирь, уже дошли до Чегема. Таких было в Абхазии очень мало, но все-таки были, и сам Хабуг об этом знал. Знал и раздумывал, потому что много было непонятно старику.

Так, было непонятно, где будет колхоз держать скотину, если ее соберут со всего села? Почему не строят заранее больших коровников и крытых загонов для овец и коз? Какая сила заставит крестьян хорошо работать на общем поле, когда иной и на своей усадьбе работает кое-как?

А главное, чего не выразить словом и чего никогда не поймут эти чесучовые писари, — кто же захочет работать, а может, и жить на земле, если осквернится сама Тайна любви тысячетняя, безотчетная, как тайна пола? Тайна любви крестьянина к своему полю, к своей яблоне, к своей корове, к своему улью, к своему шелесту на своем кукурузном поле, к своим виноградным гроздьям, раздавленным своими ногами в своей давилльне. И пусть это вино потом расхлещет и рас-

хлебают Сандро со своими прошельгами, да Тайна-то останется с ним, ее-то они никак не расхлещут и не расхлебают.

И если он выручает деньги за свой скот или табак, так тут дело не только в деньгах, которые тоже нужны в хозяйстве, а дело в том, что и на самих этих деньгах, чего никак не поймут все эти чесучовые грамотей, на самих этих деньгах лежит сладкое колдовство Тайны, и, может, тем они и хороши, что, щупая их, всегда можно прикоснуться к Тайне.

А то, что в колхозе обещают зажиточную жизнь, так это вполне может быть, если все же и коровники вовремя построить, и к ферме приставить знающих людей, и землю вовремя обработать... И все же все это будет не то и даже как бы ни к чему, потому что случится осквернение Тайны, точно так же, как если б по наряду бригадира тебе было определено, когда ложиться со своей женой и сколько с нею спать, да еще он, бригадир, в особую шелочку присматривал бы, как ты там усердствуешь, как они говорят, на благо отечества (доверяй, но проверяй), а потом выговаривал бы при всех или, что еще противней, благодарил бы тебя от имени трудящихся всех стран. И недаром поговаривают, мол, подождите, пока коз да коров обобщают, а там и жен наших обобщат, будете спать, говорят, всем селом в одной казарме под одним стометровым одеялом.

И хотя, наверное, это сказка, но крестьяне ее правильно поняли, потому что не в самой жене дело, а дело в живом хозяйстве, которое любишь и с которым, как с женой, связан Тайной.

И подобно тому, как никто не ложится с женой с заносчивой мыслью догнать и перегнать по населению другое село, а то и город, крестьянину, который выходит в поле, и в голову не приходит с кем-то состязаться, словно это скачки, или стрельбище, или еще какие-нибудь праздничные игры.

И тем более никому в голову не приходит, что он, выворачивая плугом землю, помогает каким-то там китайцам или африканцам. Да и как можно помогать чужим, незнакомым людям? Может, они-то как раз против тебя что-то задумали, а ты еще и помогаешь им. Ведь не влезешь к ним в голову, не узнаешь, чего они там задумали против тебя?!

А то, что в некоторых долинных колхозах молодежь в самом деле состязается, чтобы получить в награду патефончик или еще что-нибудь в этом роде, так это ни о чем не говорит.

Настоящего крестьянина такие ребяческие награды не могут заставить хорошо работать, потому что нельзя Тайну превратить в Игру. Игра связана с праздничным азартом и проходит вместе с ним, а Тайна связана с жизнью, и может, вместе с жизнью она покидает крестьянина, а то, может, он уносит ее с собой на тот свет, чтобы и там она его тешила, если вообще есть тот самый свет. Кумхоз идет! Кумхоз!

Среди новшеств новой власти одно нравилось старому Хабугу, это то, что в селе Чегем, как и во многих других горных селах, открыли школу. Пусть наши дети и внуки, думал он, учат грамоту, пусть среди этих чесучовых кителей будут наши люди, которые, может быть, в конце концов откроют

глаза этим горлопанам и втолкуют им самую суть крестьянского дела.

Ведь что бы ни говорили крестьяне на сходках, все же самого главного они не высказывали, потому что этого и не передать словами, потому что об этом ни с кем и не говорят, потому что своему это и так понятно, а чужому не скажешь, потому что Тайна, она потому и Тайна, что связана со стыдом.

И хотя понимал старый Хабуг, что и наши ребята, что сейчас учатся в школах, к тому времени, когда они понадобятся на чесучовых должностях, пожалуй, забудут о Тайне или делают вид, что ее не существует, может, эти самые чесучовые кители им выдадут в самый раз, как только определится, что они окончательно оторвались от своих. И все-таки...

И все-таки надеялся старый Хабуг, что хоть один из них не забудет отцовской печали, затаит ее в самой глубине своей души, притворится ничего не помнящим, и ему, по этому случаю, даже раньше, чем остальным, выдадут чесучовый китель...

И может быть, он прорвется до самых верхов и однажды окажется в кабинете самого Большеусого и тут-то выворотит ему всю правду, одновременно расстегивая и скидывая чесучовый китель. И тогда задумается Большеусый и скажет:

— Пожалуй, набедокурили мы тут с этим делом... Знаешь что, надевай этот китель и занимайся своими крестьянами от нашего имени. Пусть они живут как хотят, только пусть налоги платят исправно. А я займусь своими рабочими и не будем друг другу мешать...

Только бы сказал такое Большеусый, уж мы бы для этого постарались, уж мы бы его завалили нашим добром до самых усов. Да разве скажет?

Да, высоко заносила мечта старого Хабуга, но, очнувшись, он возвращался к своей зубной боли: «Что делать? Кумхоз идет! Кумхоз!»

В одно летнее утро старый Хабуг поймал у себя в стаде самого пушистого, самого белого козленка, связал ему ноги, взвалил на плечи и, заткнув за пояс топор, вышел со двора.

Он договорился с домашними, чтобы они не смотрели ему вслед, но чтобы все приходили к молельному дереву часа через два, когда все будет готово.

Молельное дерево, гигантский грецкий орех, росло в котловине Сабида рядом со скотопрогонной тропой.

Летом, когда перегоняли скот на альпийские пастбища, пастухи приносили дар божеству, то есть резали козла или барана, мясо варили и ели, а голову вешали на железные крючья, вбитые в ствол. Если крючья были заняты, то головы тоже варили и ели. Было замечено, что в последние годы, когда из долин стали пригонять колхозный скот, некоторые пастухи, принося жертву, съедали жертвенные головы, даже если крючья и не были заняты. Авось обойдется, рассуждали они, да еще неизвестно, как относится божество, охраняющее четвероногих, к колхозному стаду.

Этому грецкому ореху поклонялись с незапамятных времен. Был он огромен и наполовину высохший от прожженной его когда-то молнии. Часть веток высохла, но часть

еще зеленела и продолжала плодоносить. Толстая виноградная лоза обвивалась вокруг него и расплеталась у вершины по всем веткам. Виноград на высохших ветках, словно в утешение за этот удар молнии, бывал особенно обильным и сладким.

Ствол грецкого ореха был дуплист чуть ли не до самой вершины и при сильном ударе издавал вибрирующий звон, долго не затихавший. Он звенел и гудел, как гигантская струна, протянутая от земли к небу.

Кроме крючьев из ствола торчало несколько наконечников проржавевших стрел и лезвие грубого старинного топора, всаженного на такой высоте, на какой и всадник не мог бы достать. Может быть, из-за этого лезвия жители Чегема считали, что в этих местах когда-то обитали великаны.

Внизу, в дупле, хранился котел для варки мяса. Им пользовались те, кто приходили замолить божество, да и просто пастухи, которых ночь заставляла поблизости, потому что для привала место было удобное — и вода поблизости, и шатер уцелевших веток такой плотный, что дождь и в непогоду почти не просачивался сквозь него.

Старик подошел к стволу, осторожно снял с себя козленка, положил его к подножию дерева, пробормотал несколько дошедших до него слов-заклинаний и, вынув из-за пояса топор, по принятому обычаю со всей силы всадил его в упругий ствол. Странно-знакомый звук, вибрируя в пустом теле дерева, добрался до вершины и растаял в небе. Старый Хабуг, потрясенный догадкой, слушал, пока звук совсем не растаял

в небе. Тогда он одним сильным качком вытащил топор из ствола и снова его всадил в дерево.

— Кум-хоззз... — прозвенел ствол и, как легкий, смиренный выдох, замолк в бесконечном небе. Старик растерялся. Он ожидал более сложного, более загадочного ответа божества, которое надо было бы еще толковать и толковать, а это было слишком ясно и потому страшно. Старик вытащил топор и снова ударил по стволу.

— Кумм-хозззз, — прозвенело дерево печально и внятно.

— И ты туда же?! — взревел старый Хабуг и, вытащив топор, в ярости стал бить и бить по стволу обухом.

— Кум-хоз! Кум-хоз! Кум-хоз! — волнами прокатывалось по телу старого дерева.

Старик остановился, утер рукавом пот со лба, вонзил топор в ствол, последний раз прислушался к безнадежному звуку и взялся за козленка.

Он перерезал ему ножом глотку, дал стечь крови к подножию дерева, потом подвесил его за ножку к одному из вбитых в ствол крючьев. Освежевав тушку, он снял ее с крюка и воткнул туда головку козленка с открытыми перламутровыми глазами, с рожками, как два любопытных росточка приподнявшимися над белым пушком лба.

Старик вытащил из дупла котел, вложил в него небогатое мясо козленка и, спустившись к роднику, тщательно вымыл и котел и мясо. Потом он набрал в котел воды и снова поднялся наверх, подправил камни открытого очага, поставил на них котел, набрал сухих веток и разжег огонь.

Часа через два вся семья старого Хабуга сидела на расстеленных зеленых ветках папоротника и ела дымящееся мясо козленка, разложенное на этих же ветках.

Притихший дядя Сандро сидел рядом с отцом, как недоблудивший блудный сын, загнанный обстоятельствами в родной дом и вынужденный пребывать в застольном смирении.

На следующий день старик пришел в сельсовет и записался в колхоз. Он сдал колхозу половину своего четвероногого имущества.

Один из его сыновей, тот, что был приставлен к козам, привел все стадо во двор сельсовета и вместе с комсомольскими активистами пересчитал его и отделил пятьсот голов.

К этому времени в сельсовете собралось множество крестьян, чтобы посмотреть, как сам Хабуг будет вступать в колхоз. Старик вел себя с достоинством и ничем не выказывал своего отношения к происходящему.

Когда сын его, тот, что с отрочества был приставлен к козам, подошел к активистам, что вели учет сданному скоту, один из них зажал нос и отвернулся, потому что пастух за многие годы пастушества насквозь пропах козлом.

— Сдал бы всю скотину, Хабуг, — пошутил один из комсомольцев, — глядишь, к следующему году с твоего сына выветрится бы козлиный дух.

Многие посмеялись этой шутке, а старый Хабуг подумал и не спеша ответил:

— Придет время, будете искать, где бы понюхать козла...

Многие посмеялись его ответу, а иные и призадумались. Председателю слова Хабуга не понравились, но он промолчал.

Говорят, когда сын Хабуга выходил со двора со своим ополовиненным стадом, люди видели, как он концом башлыка утирает слезы. Так вот и удалялся, утирая слезы, что мне кажется плодом фантазии крестьянских миротворцев, как бы подготовляющих слушателя к тому, что случилось дальше.

Как только сын Хабуга со своим облегченным стадом вышел за ворота, оставшиеся козы с бляньем ринулись за ним. Несмотря на старания активистов удержать и загнать их назад, они прорвали эту оборону и стали перемахивать через ворота, а потом и ворота проломали. По словам очевидцев, козы не то чтобы влились в стадо, а прямо-таки старались впрятаться в него, втиснуться в самую середину. Говорят, вся эта сцена произвела на собравшихся крестьян тяжелое впечатление. Они решили, что скот не хочет идти в колхоз, потому что предчувствует свою гибель.

Особенно все это не понравилось председателю. Ему показалось, что случившееся было заранее продумано и разыграно старым Хабугом по договоренности с сыном, если не с самими козами.

— Ответишь за это, — сказал он, кивнул на ворота, куда устремились козы.

— Сначала пусть он ответит, — промолвил Хабуг, глядя, как его козы проламывают ворота сельсовета.

— Кто он? — спросил председатель, насторожившись.

— Он, — сказал Хабуг и, продолжая следить за своими козами, показал в небо. Все понимали, что Хабуг имеет в виду Большеусого, хотя доказать это было невозможно.

Сыну Хабуга пришлось снова загонять стадо во двор, снова пересчитывать и половинить его, и, может быть, в том была высшая справедливость — дать каждой выделенной козе еще один шанс остаться с хозяйской половиной, разумеется, за счет остальных собратьев. На этот раз сын Хабуга остался с той половиной, которую отдавали колхозу. Криками успокаивая взволнованное стадо, он стоял перед ним, пока один из комсомольцев не отогнал половину на порядочное расстояние.

* * *

Председатель колхоза, звали его Тимур Жванба, был человек из того всероссийского типа яростных недоучек, которых тогда обильно вытягивал из толпы магнит времени.

До приезда в Чегем он работал в кенгурийской школе преподавателем ботаники, хотя по темпераменту больше подходил к зоологии. Тем не менее он успешно выступал на собраниях и откровенно, на глазах у живого завуча, правда, до смешного похожего на дореволюционного интеллигента, метил на его место и был близок к цели.

Но цели не достиг, потому что однажды на уроке он неожиданно съездил по уху ученика, спутавшего лавр благородный с обыкновенной лавровишней, что, естественно, не по-

нравилось отцу этого мальчика, командиру погранзаставы. Последнее обстоятельство не давало возможности пренебречь ухом мальчика как классово чуждым, и над темпераментным ботаником стали сгущаться районные тучи.

Директор школы, воспользовавшись этим обстоятельством, с молчаливого согласия гороно сплавил его в Чегем как человека, близко знающего природу. Партийный актив Кенгурска, считая свой городок значительным очагом культуры, неохотно его покидал, тем более ради глухой, как они считали, горной деревушки Чегем. Так Тимур Жванба оказался председателем чегемского колхоза.

Сначала чегемцы отнеслись к нему благодушно, но потом оказалось, что он если и знает природу, то не ту, которая окружала чегемцев. А главное, выяснилось, что он страдает высотобоязнью. А выяснилось это тогда, когда он почему-то захотел спуститься на мельницу и вдруг остановился как вкопанный, когда тропа запетляла по обрывистому спуску, в глубине которого стояла мельница. Он так испугался, что уже не мог и наверх подняться, так что могучему мельнику Гераго пришлось подняться к нему, взвалить к себе на плечи и донести до того места, где уже не видно было меловых осыпей обрыва.

Говорят, первым его увидел на тропе Хабуг, спускавшийся на мельницу со своим мулом, навьюченным мешками с кукурузой. В то время председатель сидел на тропе, вцепившись руками в кизилловый куст.

— Ты чего здесь делаешь? — спросил удивленный Хабуг.

— Да так, осматриваюсь, — сказал председатель, продолжая изо всех сил сжимать кизилковый куст. По словам Хабуга, ему сразу же не понравилась поза председателя и то, что он держался за кизилковый куст, как за узду норовистого коня.

Но он, больше ни слова не сказав, прошел вниз на мельницу. Часа через четыре, возвращаясь с мельницы с уже смолотой кукурузой, он очень удивился, увидев, что председатель продолжает укрощать свой кизилковый куст. Тут Хабуг понял, что председатель сильно струхнул.

— Так и будем сидеть? — спросил он, останавливая рядом с ним своего мула.

— Проходи, — едва прошептал председатель, бледный, как меловые осыпи обрыва, с которых он не сводил глаз.

— Держись за хвост моего мула, он тебя вынесет, — предложил Хабуг, но тот в ответ только замотал головой, как бы отказываясь принимать помощь от одиноличника.

— Ну, так сиди, — сказал Хабуг и погнал вверх своего мула.

— А председатель-то порченный, — объявил он, въехав в село и рассказав о случившемся. Те, что были поблизости, побросали свои дела и пошли смотреть на председателя. Он все еще там сидел и ни на какие уговоры не поддавался, пока снизу не поднялся могучий Гераго и, взяв его в охапку, не вынес на безопасное место.

Узнав о тайной болезни председателя, чегемцы не на шутку обиделись, но не столько на него, сколько на кенгурийский райком. Они решили, что райком прислал им председателя, забракованного в других местах.

— И мы не хотим, — сказали они председателю сельсовета и велели передать свое мнение в райком.

Махты, так звали председателя сельсовета, зная таинственные оттенки упрямства чегемцев, ибо сам был чегемцем, понял, что надо ехать. Кстати, все это делалось втайне от Тимура Жванба, потому что чегемцы считали недопустимым нарушением законов гостеприимства так прямо в глаза ему и сказать, что они его не хотят.

Махты вынужден был поехать в райком и, в смягченной, правда, форме, все это там рассказать. Он все делал в смягченной форме, потому что от природы был мягким человеком и никому не хотел зла. У него была такая философия — пусть всем будет хорошо, ну, а если это невозможно, пусть хотя бы мне будет хорошо.

— Политически подкованный, но нехорошую болезнь имеет, — кротко сообщил он секретарю райкома, — народ волнуется.

— Какую болезнь? — удивился секретарь.

— Стыдно сказать, но в пропасти смотреть не может, — краснея, признался Махты, — голова кружится, как у беременной женщины.

Тут он вынужден был рассказать про случай на мельнице.

— Какого черта ему на мельнице надо было? — раздраженно удивился секретарь райкома.

— Так просто, решил ноги промять, — отвечал Махты, упирая на полную невиновность председателя в случившемся.

— Ты мне скажи, с крыльца сельсовета он может сходить? — спросил секретарь, начиная терять терпение.

— Запросто! — обрадовался Махты и объяснил, что председатель легко берет и более крутые спуски, если при этом в кругозор не попадают провалы, ущелья и обрывы, особенно с меловыми осыпями.

— Оказывается, эта болезнь белый камень не любит, — уточнил он, чем окончательно вывел из себя секретаря райкома.

— Хватит! — перебил тот его. — Скажи председателю, чтобы на мельнице не показывался, а чегемцам, чтоб не морочили голову, а получше работали.

— На мельнице он и так показаться не может, — продолжал Махты с кротким упрямством, — а чегемцам так говорить нельзя, надо найти форму.

— Вот и найди форму, — сказал секретарь, вставая и этим показывая, что разговор окончен, — для этого ты там и поставлен.

И Махты поехал назад, по дороге ища форму. И он ее нашел. Он сказал, что в райкоме попросили чегемцев подождать, пока они найдут подходящего человека, которого перед присылкой в Чегем как следует погоняют по самым козлиным тропам, чтобы проверить его нутро на пригодность к чегемским условиям.

— Хорошо, — сказали чегемцы, успокоившись, — пусть пока побудет этот бедолага.

Но председатель отнюдь не чувствовал себя бедолагой. Оказывается, он узнал о тайной жалобе чегемцев и на первом

же собрания обрушился на них, исполненный ехидства и раздражения.

— Ну, чья взяла, троцкисты? — обратился он к ним, яростно улыбаясь.

Чегемцы не только не стали оспаривать свою принадлежность к этому опасному политическому течению, о существовании которого, впрочем, они не подозревали, а просто не знали, куда деть себя со стыда.

В тот первый год чегемцы все еще воспринимали свое село как свой дом, поэтому им стало так неловко. Позже, когда они попривыкли друг к другу, а чегемцы перестали воспринимать свою землю как собственную землю, а следовательно, и председателя перестали воспринимать как гостя на этой земле, хотя и незваного, они, чегемцы, стали отвечать на его излюбленные политические ярлыки цветастыми проклятьями, где угроза кровопускания порой затейливо уравновешивается обвинением в кровосмесительстве.

Я уверен, что они и эти самые политические ярлыки воспринимали, как тот же мат, только высказанный по-образованному, и, может быть, из-за своей непонятности он казался им еще более похабным, чем их проклятья, выражением смутных чернильных извращений.

Кстати, председатель этот проработал в Чегеме около тридцати лет. За это время он, правда, несколько раз отстранялся на год, на два, но тут же, не выходя из сельсоветского двора, устраивался в школу, где преподавал кроме ботаники еще и военное дело. И тут точно так же, как колхозников, он

распекал учеников, заставляя их маршировать по сельсоветовскому двору, время от времени переходя на русский язык и обзывая учеников новым политическим термином — бухаринцы.

Уже в наше время Тимур Жванба благополучно ушел в отставку и даже получил малоизвестный титул Почетного Гражданина Села, но тут с ним случился необычайный казус, полностью исключавший не только ношение этого высокого, хотя и малоизвестного титула, но и обыкновенной гражданской одежды. Но все это случилось гораздо позже, и мы об этом расскажем в том месте, которое сочтем наиболее подходящим.

Весть о том, что молельный орех села Чегем при каждом ударе топора отвечает: «Кумхоз!» — и не только ударе топора, а при любом ударе, и тем отчетливей, чем увесистей удар, быстро разнеслась по окрестным селам.

Верхом и пешим ходом потянулись сомневающиеся, и каждый мог убедиться, что дерево честно отвечает на свербящий вопрос, хоть камнем огрей его, хоть головой бейся.

Дядя Сандро теперь целыми днями торчал возле ореха, потому что делать все равно было нечего, а в колхозе работать он все еще никак не решался. А тут крестьяне из окрестных сел стали привозить не только жертвенных козлят, но и вино в бурдюках. Жить становилось весело и любопытно.

Хотя в ответах молельного дерева трудно было усмотреть что-нибудь вредное для власти, все же председателю колхоза не нравилось это паломничество.

Он чувствовал какое-то беспокойство от этого роения возле молельного ореха, от этих приездов, отъездов, разговоров и слухов.

А тут еще старый охотник Тендел подсыпал пороху. Однажды он вернулся с охоты и рассказал, что видел, как на лесной лужайке лиса, причмокивая и дергая за сосцы, сосала корову из чегемского стада. А корова при этом не только не сопротивлялась, а, как бы не замечая ее, с какой-то странной яростью щипала траву. Тендел выстрелил, но, видно, только сбил ей хвост, потому что она убежала, волоча его по земле.

— Как увидите лису со сбитым хвостом, — говорил он, — убивайте ее на месте, это она, дьяволица.

— Да где же ее увидишь, — отвечали приунывшие чегемцы. Хотя обычно они верили Тенделу не больше, чем другим охотникам, но то, что он рассказывал на этот раз, показалось зловещим предзнаменованием.

— Выходит, мы теперь будем лис кормить, — говорили они.

Чтобы ослабить впечатление от рассказа Тендела, Махты стал напоминать чегемцам о его давнем приключении с медведем.

Однажды в юности, по словам Тендела, когда он отдыхал в лесу, привалившись спиной к стволу каштана, к нему тихонько подкрался медведь. Он осторожно высунулся из-за каштана, выхватил у него ружье и разбил его одним ударом о ствол каштана. Отбросив сломанное ружье, он схватил Тен-

дела лапой за нос и куда-то повел, а куда — Тендел не знал и спросить было не у кого.

Медведь только сопел и, время от времени поглядывал на Тендела, обдавая его зловонным дыханием. И только когда они прошли с полверсты, Тендел с ужасом догадался, что медведь ведет его к тому месту, где он два года назад убил медведицу.

По словам Тендела, он уже распрощался с жизнью, но тут медведь наткнулся на хорошие заросли лавровишни и стал, пригибая одной лапой ветки, совать в рот черные гроздья любимого лакомства. Постепенно он так увлекся, что бросил нос Тендела и даже поощрительно махнул лапой, мол, лакомься перед смертью, и стал сгребать кусты лавровишни и продвигаться вперед. Как только медведь отошел на несколько шагов, Тендел дал деру и бежал до самого Чегема, по дороге прихватив сломанное ружье.

Разумеется, этому рассказу мало кто верил. Единственное, что подтверждали и старожилы, это то, что однажды в юности Тендел ушел на охоту с целым носом, а возвратился со сломанным и носом и ружьем. С тех пор он так и остался кривоносом.

— Так что ж вы, — напоминал Махты, — тому рассказу его не верили, а этому верите?

— Так то когда было, а это когда, — отвечали чегемцы, никак не ободренные напоминоманием Махты.

В конце концов все это председателю надоело, и он запросил кенгурийский райком помочь ему принять меры против

рассказа охотника и молельного дерева. Кенгурийский райком отвечал, чтобы он показаниям престарелого охотника не придавал никакого значения, а насчет молельного дерева обещал прислать комиссию, чтобы на месте дать оценку ему как извращению линии, или, наоборот, случайному, но положительному явлению природы.

Через несколько дней в Чегем прибыла комиссия, состоящая из двух человек, и дядя Сандро лично ударами топора продемонстрировал единственное слово, которое из дерева можно было выбить. Больше всего сердца членов комиссии смягчило то обстоятельство, что дерево произносило чудотворное слово с чистейшим кенгурийским выговором.

— Бедняга, по-нашенски говорит, — прислушиваясь, говорили члены комиссии, радуясь, как истинные патриоты своего района.

Для членов комиссии дядя Сандро выбирал теперь одному ему известные, самые звонкие, самые, можно сказать, вкусные места. Он дал каждому из них возможность ударить по дереву самому, показал, что можно бить и обухом и в этом случае дерево все равно произносит то же слово, только несколько басовитей.

Для полноты проверки один из членов комиссии заглянул в дупло, зажег спичку и зачем-то прокричал: «Кумхоз!» — после чего спичка потухла, но это не вызвало у членов комиссии никакого подозрения.

— А что произносил орех до коллективизации? — спросил один из них.

— Бессмысленный звон, — ответил дядя Сандро.

— Очень хорошо, — сказали члены комиссии и, довольные, переглянулись.

Дядя Сандро повел их домой обедать, где за хорошо убранным столом он продемонстрировал уже собственные таланты.

Члены комиссии в самом хорошем настроении покидали дом старого Хабуга. Проезжая сельсовет, они встретились с председателем и посоветовали ему пока воздержаться от решительных мер, поскольку орех в общем и целом делает полезное дело.

— Приезжают тут всякие, — начал было председатель подкапываться под дядю Сандро, но члены комиссии не дали ему договорить.

Они посоветовали выделить политически грамотного человека, чтобы он приглядывал за тем, что происходит возле молельного ореха и одновременно разъяснял приезжим колхозную политику партии.

Кстати, сказали они, Сандро, сын Хабуга, как раз подходит для этого дела, тем более что он ближе всех остальных живет к молельному дереву.

— Я ему не доверяю, — сказал Тимур, едва сдерживая ярость.

Двое верховых членов комиссии удивленно переглянулись. Их покачивающиеся фигуры как бы излучали марево гостеприимства Большого Дома, как называли дом отца дяди Сандро.

— Комиссия кенгурийского райкома ему доверяет, — сказал один из членов комиссии.

— А кенгурийский райком доверяет своей комиссии, — добавил второй, и они тронули лошадей.

— Теперь они не скоро обсохнут, — сказал председателю бывший писарь, а ныне секретарь чегемского сельсовета. Писарь лучше него знал привычки и нравы кенгурийцев, и председателю ничего не оставалось, как покориться, еще глубже возненавидев Большой Дом и всех его обитателей. Он не только смирился с тем, что молевой орех будет продолжать свою странную агитацию, но оформил дядю Сандро как ночного сторожа при колхозной бахче, хотя работа его проходила только в дневное время, если это можно назвать работой.

Дядя Сандро ожил и почувствовал себя при деле. Он поставил рядом с молевым орехом довольно вместительный шалаш, чтобы плохая погода не смущала приезжих из дальних мест, запасся дровами, очистил от колючих зарослей место для коновязи и стал встречать гостей, сидя в тени грецкого ореха с видом скромного дрессировщика.

В плохую погоду он сидел в своем шалаше у костра и, только услышав стук копыт, выходил из шалаша и смотрел на тропу, стараясь издали определить, кто это — сомневающийся паломник или просто мимоезжий всадник.

Однажды из села Анхара послушать говорящее дерево приехал известный остролов по прозвищу Колчерукий.

Дядя Сандро в это время сидел в шалаше и беседовал с тремя паломниками из Цебельды. Услышав стук копыт, дядя Сандро отставил свой стакан и вышел из шалаша.

Поздоровались. Хотя Колчерукий ничего не привез, дядя Сандро старался быть с ним повежливей — от Колчерукого никогда не знаешь чего ожидать, пришепнет каким-нибудь словом, потом с кожей не отдерешь.

— Ехал мимо, думаю, взгляну, — сказал Колчерукий, оставив лошадь и оглядывая дерево.

— Спешься, — сказал дядя Сандро с намеком на легкое застолье в шалаше.

— Стережешь? — спросил Колчерукий, одним взглядом объединяя дядю Сандро, дерево и шалаш, и, как бы взвесив возможности этого походного гостеприимства и, по-видимому, невысоко их оценив, он отвернулся от шалаша и посмотрел на дядю Сандро.

— Не стерегу, а присматриваю, — мягко поправил его дядя Сандро, — всякие приезжают, чтоб лишнее не болтали.

— Так давай же! — нетерпеливо проговорил Колчерукий, словно он дяде Сандро делал услугу тем, что выслушивал его дерево. Да, в сущности, так оно и было, потому что слово Колчерукого могло усилить или заставить иссякнуть поток паломников.

— Чем хочешь — топором или колотушкой? — спросил дядя Сандро. К этому времени он приспособил для удара по дереву колотушку для молотбы кукурузы.

— Да по мне хоть ломом бей! — дернулся Колчерукий.

Дядя Сандро ударил несколько раз колотушкой по стволу и обернулся на Колчерукого. Тот слушал, по-кабаньи наклонив голову.

— Хорошо говорит, — согласился Колчерукий. — Вот если б еще при каждом ударе из дупла сыпалась кукуруза...

— Какая кукуруза? — не понял дядя Сандро.

— Обыкновенная, — оживился Колчерукий. — Если к дуплу изнутри подвесить мешок с кукурузой да сделать в нем дырочку, чтобы при каждом ударе: «Кумхоз!» — и горстка кукурузы падала...

— У меня без обмана, — сказал дядя Сандро, — комиссия из райкома смотрела...

— И сколько тебе дают за это? — перебил его Колчерукий.

— Полтрудодня, — сказал дядя Сандро.

— Да не колхоз — они! — кивнул Колчерукий вверх, в сторону всеобщего начальства.

— Они ничего не дают, — сказал дядя Сандро осторожно.

— А ты научи свое дерево говорить «заем», — начал Колчерукий, трогая лошадь, которая сразу же пошла нетерпеливой рысью, и теперь, уже давая волю собственной ярости и как бы находя для нее внешнее оправдание в увеличивающемся расстоянии, он кричал:

— Заем! Заем! То-то порадуется хозяин! Растак его усатую задницу под сенью твоего молельного дерева! Разэтак его...

Голос Колчерукого утонул в буковой роще, куда он заехал, продолжая извергать уже неразличимые ругательства. Дядя Сандро послушал затихающий голос его и стук копыт, време-

нами вспыхивающий на камнях, потом бросил колотушку возле шалаша и вошел в него.

— Кто это? — спросили удивленные гости.

— Да так, один, — сказал дядя Сандро, усаживаясь.

— Интересно, где он его имел в виду разэтак? — спросил один из гостей после некоторого раздумья.

— Думаю, что в дупле, — сказал дядя Сандро, берясь за свой стакан.

— Да, пожалуй, в дупле, — согласился второй паломник, берясь за свой стакан.

— Остается самая малость, — сказал третий паломник, берясь за стакан, — загнать его в дупло.

— Да уж его загонишь, — вздохнул первый паломник, — боюсь, что пока мы его словами, он нас на деле и растак и разэтак.

— А что поделаешь, если и дерево пишит про то же, — согласился третий, и они опорожнили свои стаканы.

Все лето дядя Сандро продолжал присматривать за модельным орехом. Люди все еще приходили, хотя их становилось все меньше и меньше. Председатель молчал, дожидаясь своего часа. И дождался.

В начале осени началась кампания по борьбе с религиозными предрассудками. В кенгурийской районной газете появилась статья под названием «Лишить попа трибуны», где предлагалось, в согласии с желанием большинства населения, закрыть уцелевшие церкви, что сделать было очень трудно и даже просто невозможно, поскольку

в кенгурийском районе вообще никогда никаких церквей не бывало.

* * *

Я помню, как у нас в Мухусе закрывали церковь. Она была расположена недалеко от нашего дома и называлась греческой. Я смутно помню печальный, как бы бесплодно кующий воздух звон ее колокола, помню ее уютный дворик, по праздникам заполненный толпами молящихся и зевак, с неизменными нищими, уютно расположившимися вдоль ограды и встречающими каждого входящего сдержанной мольбой и цепким взглядом.

Помню, как однажды на макушке ее купола сидел рабочий, обвязанный веревками, и методичными ударами тяжелого молота сбивал с купола массивный медный крест. Видно, крест не очень поддавался (старинная работа), потому что рабочий этот несколько дней возился с ним, а потом, когда креста на куполе не стало, на макушке купола можно было разглядеть выбоину, словно он его выкорчевал, вырвал с корнем, как дерево.

Церковь была занята под общежитие студентов индустриального техникума. А через год или два студенты общежития-церкви перешли в другое помещение, а церковь сдали под архивы НКВД, как, таинственно шепчась, говорили об этом жители нашей улицы.

К этому времени я уже пробегал в школу мимо нее и видел холмики папок, вернее, их вершины за стеклами витражей.

Надо полагать, что это были папки с делами врагов народа, и не вполне исключено, что сам Господь Бог, слетая из-под купола, где он был запечатлен, рылся в них по ночам, чтобы разобраться в их грехах. И не разобравшись, надо полагать (иначе он принял бы какие-то меры), осторожно взлетал и снова вмазывался, вплющивался в потолок, чтоб и его самого невозможно было как-нибудь зацепить и сдернуть на землю, а там уж привлечь по какой-нибудь подходящей статье.

А потом во время войны ее снова открыли и опять стали называть греческой церковью, да ее, собственно, никогда и не переставали называть греческой церковью, но не в собственном смысле слова, а просто как привычный ориентир:

— Где дают керосин?

— Возле греческой церкви!

В один прекрасный день я снова увидел на вершине купола рабочего, обвязанного веревками, возможно, это был тот же самый рабочий, но теперь он присобачивал крест к вершине купола. Но даже и ребенку было видно, насколько этот крест не соответствует архитектуре здания. Старый крест был массивный, толстый, блестящий, а этот, по сравнению с ним, был как хилый росточек того мощного дерева. Нет, не на той земле он вырос! Я даже думаю, что этот крест раздобыли на Михайловском кладбище, сняли с какой-нибудь зажиточной дореволюционной могилы.

Так или иначе, церковь снова заработала, и дворик снова превратился в биржу нищих, и снова длинноволосые попы деловитой походкой входили в церковный двор, отстраняясь

от богомолок, как чиновник райсовета, проходящий в свой кабинет, от хватающих его на ходу посетителей, и было одно непонятно, где их все это время держали и как они ухитрились маскировать свои длинные волосы.

А церковь по-прежнему называли греческой и продолжали называть даже после того, как в 1949 году всех греков, вместе со стариками и детьми, партийцами и беспартийными, сгребли в одну кучу и переселили в Казахстан. А потом, после Двадцатого съезда, когда им разрешили вернуться, вместе с чудом уцелевшими стариками и повзрослевшими детьми, вместе с бывшими партийцами, ставшими беспартийными, те, что вернулись, а вернулось ничтожное меньшинство, так вот, те, что вернулись, могли убедиться, что в нашем городе церковь по-прежнему называют греческой, если к этому времени они не потеряли интерес к церкви, как и ко всему на свете, что, надо полагать, тоже вполне вероятно.

* * *

Но вернемся к чегемцам. По принятому у нас обычаю всякую кампанию принято поддерживать и развивать на местах. Разумеется, для антирелигиозной кампании не могло быть никакого исключения. На этот раз трудность состояла в том, что абхазцы — и те, что причисляют себя к христианам, и те, что считают себя мусульманами — не посещают ни церквей, ни мечетей по причине почти полного отсутствия их в абхазских деревнях. В Кенгурийском районе никогда не было ни

одной мечети и ни одной церкви. Но так как кампанию надо было проводить, каждый делал, что мог.

Председатель чегемского колхоза, посоветовавшись со своим активом, решил сжечь моленный орех как религиозный предрассудок. Комсомольцы села с радостью исполнили это решение. В тот же день в дупло наложили сухостоя и подожгли.

И все-таки могучее дерево уцелело, хотя из его обломанной вершины несколько дней продолжал идти дым, как из жерла вулкана. Часть ствола со стороны дупла почернела и обуглилась на несколько метров вверх, но другая сторона ствола почти не обгорела, пламя так и не смогло обхватить ее и задушить.

Видно, главным для чегемских комсомольцев было символическое предание огню моленного дерева, а не полное его уничтожение. Так или иначе, дерево уцелело, даже виноградная лоза оказалась нетронутой.

— Кого не убил небесный огонь, того земным не возьмешь, — изрек на следующий день один из чегемцев по имени Сико. Он стоял у подножия моленного дерева и оглядывал его вместе с собравшимися земляками. Они пришли сюда с ближайшего поля, где мотыжили кукурузу.

Кунта, выгребая мотыгой золу из дупла, обнаружил в ней осколки чугунного котла, в котором пастухи варили мясо. Видно, котел не выдержал огня и лопнул.

Через некоторое время, к великому удивлению собравшихся, тот, что орудовал мотыгой, выгреб из дупла еще один

котел совершенно непонятного происхождения. Этого котла никто здесь никогда не видел. Котел был покрыт толстым слоем копоти, слегка помят, но совершенно цел. Было непонятно, во-первых, как он здесь очутился, а во-вторых, как он уцелел, будучи медным, тогда как чугунный не выдержал и лопнул.

Только успели найти более или менее толковое объяснение этому чуду — было решено, что божество четвероногих подбросило этот котел, чтобы крестьяне не расстраивались и продолжали верить в защиту молельного ореха от всякой напасти. Вот оно и подбросило котел, хотя и не новый, но вполне пригодный для варки мяса.

Только успели подивиться этому достаточно пристойному чуду, как произошло нечто и вовсе не объяснимое. Неутомимый выгребальщик выгреб из дупла какие-то слегка обгорелые кости непонятного происхождения, после чего выкатил явно человеческий череп, хотя и объяснявший происхождение костей, но не объяснявший собственного происхождения.

— Откуда этот бедняга взялся? — только и повторяли чегемцы, передавая из рук в руки череп, кроме своих собственных отверстий имевший еще дополнительную дырку в самой черепной коробке. Одни из них старались проглянуть через эту дырку в глазницу, другие, наоборот, проглядывали через глазницу в эту дырку, но ни те, ни другие никак не могли объяснить происхождение этого черепа и костей.

Наконец кто-то догадался стукнуть по стволу топором, и, к еще большему недоумению собравшихся, дерево не толь-

ко не ответило: «Кумхоззз!» — а издало какой-то нехороший, утробный звук. И сколько его ни били, никакого звона не получалось, а получался этот неприятный и даже как бы угрожающий звук.

— За что? — приуныли чегемцы.

— Как за что? — отвечал самый старший из них по имени Сико. — Вы его палить, а оно вам плясать?!

— Так то ж не мы!

— Надо было не пускать их сюда, — отвечал Сико, оглядывая кости и огромное выжженное дупло.

— Тогда почему оно подбросило котел? — недоумевали чегемцы. На этот вопрос даже Сико ничего им не мог ответить.

— Осторожно вложи все обратно, — кивнул он на череп и кости, — прикрой как следует золой, чтобы зверье не растащило...

Только Кунта закопал в золу таинственные останки, как из глубины котловины Сабида раздался выстрел. Всем стало не по себе.

— Неужто абреки пошаливают? — сказал кто-то.

— Я же сказал, что это просто так не кончится, — напомнил Сико, хотя он этого не говорил, а только подумал.

— Ша! Кажется, кто-то кричит, — сказал Кунта, и все прислушались. В самом деле, из глубины котловины Сабида раздавался почти непрерывный человеческий крик. Звук как будто приближался. Наконец из зарослей появилась фигура человека.

Беспрерывно крича: «Чудо! Чудо! Светопреставление!» — человек поднимался вверх к молебному ореху. Это был знаменитый охотник Тендел. Продолжая кричать, он быстро поднимался по зеленому косогору. В руке у него телепался легкий пламень лисьей тушки.

— Да что же случилось? — спросили у него, когда он подошел к дереву.

— Чудо! — выдохнул он и, бросив к подножию ореха лисью тушку, рассказал, что случилось.

Оказывается, он увидел ее на лесной лужайке. Вытянувшись во всю длину, она лежала под камнем и следила за пасущимися поблизости лошадьми. Тенделу показалось странным, что лиса так внимательно следит за лошадьми. Тут он обратил внимание, что среди лошадей была кобылица с жеребенком. Странная догадка мелькнула в его голове. Он подумал, что это та самая лиса-дьяволица, которая когда-то сосала вымя коровы. И вот теперь она подбирается к кобылице.

Тщательно прицелившись, он выстрелил. Лиса, как лежала неподвижно, так и осталась лежать. Наповал, подумал он и подошел к добыче. Приподняв тушку, он удивился, что на ней не оказалось следов крови. А потом еще более удивился, не найдя на ее теле ни одного отверстия пули. Тут он окончательно убедился, что это та самая дьяволица, которая когда-то на его глазах сосала коровье вымя, нагло причмокивая и нетерпеливо дергая за сосцы.

Услышав такое, собравшиеся, в свою очередь, рассказали ему о том, что нашли в молебном дереве, одновременно шу-

пая и осматривая лисью тушку с целью найти в ней входное или выходное отверстие пули.

— А может, она мертвая была? — сказал кто-то.

— Как бы не так, — отвечал Тендел, — она и сейчас еще теплая.

В самом деле, тушка была еще совсем свежая.

— Куда же делась пуля? — недоумевали чегемцы.

— Вошла в рот и вышла из задницы! — уверял Тендел. — Другого пути у нее не было.

— А может, внутри осталась? — спрашивали крестьяне, приподымая тушку и встряхивая ее вниз головой в надежде, что пуля выкатится.

— В том-то и дело, что не осталась! — кричал взволнованный Тендел. — Я же нашел место, где она вошла в землю. Кунта, бери мотыгу, сейчас откопаем ее.

Почему-то всем казалось естественным, что черновую работу, необходимую даже для показа чуда, должен выполнять именно Кунта. Кунта перекинул мотыгу через плечо, и все спустились вниз. Через час они возвратились с откопанной пулей Тендела.

Удивление и даже отчасти ужас охватили вернувшихся, когда они обнаружили, что тушка лисы, оставленная у подножия молельного дерева, куда-то исчезла. Тендел так и застыл со своей откопанной пулей в руке. Тут кто-то заметил, что котел, стоявший в дупле в нормальном положении, оказался перевернутым вверх дном.

— Клянусь божеством четвероногих, — воскликнул Тендел, — она его опрокинула на себя!

Он велел Кунте осторожно приподнять котел, а сам стал на изготовку, чтобы стрелять, как только она выскочит из-под котла. Но стрелять не пришлось, потому что под котлом ничего не оказалось. Тогда снова разгребли золу, чтобы посмотреть, на месте ли останки неизвестного. Нет, они оказались на месте, а тушка исчезла. Теперь все окончательно уверились, что это была та самая дьяволица, которая сосала у коровы молоко, причмокивая и дергая за сосцы, как телок.

— Дураки мы, дураки! — сказал Сико и ударил себя по голове в знак допущенной глупости. — Видно, пулю нельзя было откапывать. Она-то ее и прижимала к земле, делала мертвой.

Тут всем стало совершенно ясно, что пулю никак нельзя было откапывать, и все, в том числе и Тендел, с укором посмотрели на Кунту, который орудовал своей мотыгой.

Кунта смутился и предложил всем вернуться на кукурузник и домотыжить тот участок, на котором они работали с утра.

— Ты что, совсем спятил! — воскликнул Сико. — Тихонько, по одному расходитесь по домам!

Перекинув мотыги через плечо, чегемцы поднялись в деревню и с выражением оскорбленности потусторонними силами (не дают спокойно работать) разбрелись по домам.

Весть о случившемся мгновенно облетела Чегем, а через день и окрестные села. Больше всего чегемцев потрясло, что дерево перестало говорить «Кумхоз!», и история с лисой. Появление неизвестного котла и человеческого скелета тоже поразило чегемцев, но не так сильно.

Правда, на следующий день к вечеру выяснилось, что тушку забрал Хабуг, как раз в это время проходивший мимо мольного ореха. Он возвращался из лесу, где проверял свои капканы. Может, окажется что-нибудь в его капканах, говорили чегемцы миролюбиво, он бы не взял эту лису, а так не удержался и прихватил.

Тендел прибежал к нему за своей лисой, но Хабуг ему не отдал ее, утверждая, что лису убил не Тендел, а его, Хабуга, мул. Он даже показал на не замеченную никем трещинку на черепе лисы. Тендел с ним спорил, что, имея в руках мертвую лису, Хабуг мог и вовсе расплющить ей голову.

Хабуг основывал свои доказательства на том, что мулы, как животные, не способные к воспроизводству потомства, питают самую нежную привязанность к жеребяткам. Если появляется где-то поблизости жеребенок, то мул старается ни на минуту от него не отходить и с неслыханным бешенством защищает его от мнимой или настоящей опасности.

— В прошлом году двух зайцев уложил, — говорил Хабуг про своего мула, — в этом году лису.

— Тогда почему ты сразу не сказал, что это твой мул убил лису? — пытался поймать его Тендел.

— Хотел послушать, кто какие глупости будет говорить, — отвечал Хабуг.

— Проверим следы, — пригрозил Тендел.

— Проверяйте, — ответил Хабуг. Он настолько был уверен, что лиса попала под разъяренное копыто мула, что и спуститься не стал к тому месту, где была убита лиса, чтобы най-

ти след от копыт своего мула. Спустились другие люди и в самом деле подтвердили, что возле камня есть следы мула. Тут чегемцы настолько разочаровались в Тенделе, что не только перестали верить в причмокивающую под коровьим выменем лису, не только в медведя, водившего его за нос, в это они и раньше не слишком верили, а перестали верить даже в то, что он однажды ушел в лес с целым носом, а возвратился со сломанным.

— Сдается мне, что он всегда был кривоносым, — первым отрекся от него Сико, как один из пожилых людей, который мог помнить лучше других о юности Тендела.

Тут сам Тендел и весь охотничий клан почувствовали как бы генетическую обиду за эту унижительную версию и потребовали от Сико пользоваться впредь более приличными формулировками.

— Обижаются?! — воскликнул Сико, услышав об этом. — Пусть посмотрят на свои носы!

Дело в том, что Сико, как очевидец истории с лисой и один из первых ее рассказчиков, сам попал впросак после того, как победила более правдоподобная версия смерти лисы под копытом мула. Этого он охотнику не мог простить, тем более что род Тендела и в самом деле отличался носатостью. На эту его дерзкую выходку родственники охотника утверждали, что можно оказаться кривоносым и не будучи носатым от природы, что они в самое ближайшее время и постараются доказать.

На эту угрозу Сико после суточного раздумья отвечал, что, судя по стрельбе лучшего охотника их клана, пули их

имеют свойство влетать в рот и вылетать из задницы, так что он уже договорился с Кунтой: тот будет ходить за ним с мотыгой и откапывать их из земли.

Тут родственники Тендела замолкли, и это было настолько плохим признаком, что в дело вмешался сам Хабуг. Он во всеуслышанье заявил, как один из самых старших жителей села, что прекрасно помнит Тендела еще в те времена, когда тот имел вполне приличный (для своего рода), ничем не поврежденный нос. Что же насчет лисы, добавил он, то и лису, если как следует вытянуть, можно прострелить хоть в том направлении, хоть в обратном, особенно если она лежит на склоне, а перед этим убита копытом какого-нибудь ревнивого мула.

Вмешательство Хабуга как будто несколько смягчило родственников охотника, хотя они были не вполне довольны некоторыми его определениями.

Пока чегемцы думали и гадали, что бы значили чудеса в дупле молельного дерева и чем окончится спор Сико с охотничьим кланом, из села Анхара, где жил Колчерукий, стали доходить слухи о таинственном исчезновении колхозного бухгалтера.

Оказывается, этот бухгалтер ехал с колхозными деньгами из райцентра к себе в село, но до села не доехал, а в райцентр не вернулся. Впрочем, в райцентр ему и незачем было возвращаться.

Может, председатель и не догадался бы сопоставить некоторые странные факты, если бы секретарь сельсовета не шеп-

нул ему кое-что. А шепнул он ему, что за день до сожжения моленного дерева люди видели, как Сандро у себя в шалаше принимал какого-то странного человека. Людям этот человек показался странным, потому что сам он был лысым, а лошадь его, привязанная у коновязи, наоборот, была чересчур гриваста, прямо, лев какой-то.

— Никому ни слова, — оживился председатель и послал его в село Анхара уточнить внешность лошади и самого бухгалтера, а заодно узнать, не брал ли он с собой из дому медный котел.

— И лошадь была гривастая, и сам он был лыс, как ладонь, — рассказал секретарь, вернувшись, — а насчет котла ничего не знают, потому что все котлы и чугунки на месте.

— Сандро нарочно подбросил этот котел, чтобы нас запутать, — сказал председатель и тут же послал его в Кенгурск за милицией.

Версия у него была такая: Сандро убил бухгалтера с целью грабежа, подвесил труп изнутри дупла, чтобы, выбрав удобный момент, вывезти его в лес и закопать. Но тут неожиданно для него на следующий день нагрянули комсомольцы и сожгли труп вместе с деревом.

В ту же ночь он приказал сторожу сельмага притаиться в зарослях ежевики возле дома Сандро и следить за тем, чтобы из дома ничего не вынесли. Он решил, что Сандро, убив бухгалтера, увел лошадь куда-то в лес и держит ее там, а седло, скорее всего, припрятал дома. А теперь, когда пошли слухи об исчезнувшем бухгалтере, он, боясь обыска, вынесет сед-

ло из дому и перепрячет его в другом месте. Рано утром, вспугнутый выстрелом Хабуга, сторож сельмага вернулся в правление колхоза. Оказывается, старик, громко крича, что проклятые зайцы ему всю фасоль потравили, дал из своего дробовика два выстрела с балкона. Видно, сторожа почуяли собаки.

— Выносили что-нибудь ночью? — спросил председатель.

— Нет, — ответил сторож и соврал, потому что жена Хабуга ночью принесла ему кусок курицы и чурек. Она умоляла его сидеть в своей засаде как можно тише, а то, не дай Бог, если ее старик узнает, что за домом следят, всех переколошатит.

— Можно, я усну? — спросил сторож.

— Лучшего не придумаешь, — ответила она, и сторож тут же уснул, подчиняясь многолетней привычке спать в самых неприхотливых условиях.

В этот день почти одновременно с двух сторон к правлению колхоза подъехал кенгурийский милиционер и двое родственников бухгалтера во главе с Колчеруким. Один из родственников, пожилой крестьянин, был в бурке и в башлыке. Другой, что говорится, в расцвете сил, а одежда его намекала на принадлежность к партийной администрации, хотя он к ней никакого отношения не имел. Одет он был в чесучовый китель и в широкие галифе с сапогами. Так что, если судить по одежде, можно было сказать, что, начиная от головы и до пояса, он как бы представлял законодательную власть, а от пояса до сапог — исполнительную.

Председатель колхоза и председатель сельсовета, увидев гостей, вышли из правления и после некоторых колебаний, разделившись, подошли к прибывшим. Первый подошел к милиционеру, а второй — к родственникам бухгалтера.

— Бухгалтера спалили, так хоть бы лошадь назад отослали! — крикнул Колчерукий вместо приветствия и, быстро спешившись, привязал свою лошадь у коновязи.

— Подожди, Колчерукий, — заметил старший родственник, отдавая поводья председателю сельсовета.

— Не в лошади дело, — важно сказал председатель, подходя к ним и пожимая всем руки. Он это сказал скорбным голосом и при этом покачал головой с политическим намеком. Милиционер тоже качнул головой, как бы поддерживая знакомую правильность направления мыслей.

— Как это не в лошади! — удивился Колчерукий. — Что ж он ее спалил вместе с нашим бухгалтером?

— Да нет! — поморщился Тимур оттого, что Колчерукий путал высокое с низким. — Орех сожгли наши комсомольцы по решению актива...

Тут он изложил версию преступления Сандро так, как сам ее представлял себе или хотел представить другим. Он сказал, что Сандро, по-видимому, убил бухгалтера и спрятал в дупле, чтобы потом, выбрав удобное время, закопать его где-нибудь подальше, где деревенские собаки и окрестные шакалы не могли бы его откопать. А тут на следующий день комсомольцы предали огню молельный орех, и преступление обнаружилось.

— А где лошадь? — перебил его Колчерукий.

— Лошадь, я думаю, он держит где-нибудь в лесу, — сказал председатель.

— Мы так думаем, — поправил его Махты. Ему уже приходилось напоминать, что он тоже власть, но в Чегеме, как и по всей стране, это забывалось...

— Надо допросить Сандро и осмотреть место, где найдены кости бухгалтера, — подытожил милиционер.

— Поедем к ореху, а там и до Сандро рукой подать, — сказал Махты.

Председатель попрощался со всеми и ушел в правление.

Махты оседлал свою лошадь, которая паслась во дворе сельсовета, и все пятеро выехали в сторону молельного ореха.

— Об одном прошу, — сказал старший родственник, подъезжая поближе к милиционеру, — не оскверните кости нашего родственника — не надо их щупать там, мерить, лапать...

Тут милиционер опешил и остановил лошадь.

— Но я собираюсь, — сказал он, — забрать кости вместе с Сандро...

— Ты из России приехал или из Кенгурска? — спросил старший родственник и тоже остановил лошадь. К нему подъехал младший родственник и остановился рядом. Теперь все остановили лошадей.

— Из Кенгурска, — сказал милиционер, краем глаза послезывая за правой рукой младшего родственника. Тот перебрósил поводья в левую руку.

— И ты не знаешь, что абхазец не разбрасывается костями родственника!

— Знаю, но закон требует кости, чтоб установить труп.

— Значит, хотите дважды нас опозорить? — спросил старший родственник.

— Трижды! — поправил его младший. — Убили — раз. Сожгли — два. Кости увозите — три.

— Да, трижды, — согласился старший родственник, выслушав младшего и посмотрев на милиционера.

— Не считая лошади, — добавил Колчерукий, оглянувшись. Он был впереди.

— Не считая, — терпеливо согласился старший.

— Суд, — сказал милиционер и развел руками.

— Да, — как бы сочувствуя родственникам, добавил Махты, — у них такой обычай, кости адвокатам показывать.

Он тронул лошадь и все поехали.

— Неужели вы думаете, — после глубокого раздумья сказал старший родственник, — что мы допустим это?

— Что это? — спросил милиционер.

— Что ты, гремя костями нашего родственника, поедешь в район?

— Если туго завязать... — начал было милиционер.

— Ни слова! — перебил его младший родственник, слегка наезжая на него лошадью.

— И неужели вы думаете, мы допустим, — продолжал старший, — чтобы его государство судило, а не мы?

— А почему? — миролюбиво отозвался Махты. — Сейчас государство хорошо судит.

— Не спорю, — согласился старший родственник, — государство судит неплохо. Но он у нас убил родственника, а не у государства.

Они выехали из буковой рощи, и, когда тропа пошла по кособогу, далеко внизу открылось рыжее кукурузное поле. Отсюда, с тропы, были видны фигурки крестьян, ломающих кукурузу.

— Э-гей, гей, Кун-таа! — крикнул Махты, остановив лошадь и страшно раздув шею.

Было видно, как запаздывает звук: люди на кукурузном поле замерли уже после того, как Махты докричал.

— Эге-гей, чего тебе! — наконец отозвался один из них. Махты снова напрягнулся и, раздувая шею, закричал:

— Приходи к Большому ореху! Большому! Большо-муу!

— Зачем он нам? — спросил милиционер.

— Он разгребал дупло, — пояснил Махты.

Они стояли на тропе и смотрели, как далеко внизу фигурки остановились, видно, о чем-то переговаривались. Потом разом все стали подниматься к тропе. Те, что работали, скинув рубахи, на ходу одевались и затягивали пояса.

— Тьфу ты! — сплюнул Махты. — Так я и знал, что все попрут.

Он почистил глотку и снова стал кричать, чтобы подымался только Кунта. Остальные после некоторого раздумья неохотно повернули обратно.

— Тронули, сам придет, — сказал Махты, и они поехали дальше.

Через час пятеро всадников подъехали к молельному ореху. Они спешили у коновязи, а Колчерукий, взяв свою лошадь под узды, спустился к роднику.

— Моя лошадь пить хочет, — пояснил он с нескрываемым эгоцентризмом старого лошаdnика.

— Вот здесь лежат его кости, — протянул Махты руку с камчой, указывая на пещеру дупла.

Оба родственника, скорбно приосанившись, тихо подошли к дуплу. Старший, молча сняв башлык с потной головы и нанося по лбу символические и потому тихие удары ладонью, репетировал будущий ритуал оплакивания. Ударяя по лбу ладонью, он пропел тихим речитативом слова скорби, отчасти прозвучавшие как обещание возмездия.

Через минуту младший родственник, стоявший за ним, слегка повернул его за плечи и отвел в сторону, где тот, отвернувшись от остальных, утер якобы повлажневшие глаза и неожиданно громко, с видимым облегчением высморкался. После этого он решительно надел на голову башлык в знак перехода из мира скорби в мир действия.

— Сейчас подойдет свидетель и покажет, как все было, — миролюбиво сказал Махты, как бы притормаживая его решительность.

— До него мы не имеем права трогать ни одной косточки, — пояснил милиционер, неустанно удивляясь сам и призывая удивляться других таинственному ритуалу следствия.

— Не пора ли мне пойти за Сандро? — спросил Махты.

— Нет, — сказал старший родственник, — мы сначала должны посоветоваться... — Он повернулся к Колчерукому: — Ты приехал лошадь поить или дело делать?

— Сейчас, — отозвался Колчерукий и, подняв лошадь к коновязи, закинул уздечку за сучок.

— А что вы хотите с ним делать? — спросил милиционер.

— Вот мы и решим, — сказал младший родственник.

— Учтите, я за него отвечаю, — сказал милиционер.

— Кровь взывает, — сказал младший родственник, пожимая плечами.

Оба родственника вместе с Колчеруким отошли шагов на двадцать и стали разговаривать, а потом спорить, время от времени поглядывая на милиционера. Видно было, что младший родственник настроен все еще воинственно. Милиционер взволнованно похаживал возле дерева, время от времени поглядывая на них.

— Клянусь Аллахом, они наделают глупостей, — бормотал он, — и меня и себя загубят.

— Может, не наделают, — успокаивал его Махты.

Спорящие вошли в азарт, и Колчерукий, уже не обращая внимания на то, что их слышат, громко шлепал здоровой рукой по бедру и кричал:

— Нельзя! Тем более на глазах у милиционера!

— Клянусь Нестором Лакобой, — волновался милиционер, слушая эти разговоры, — эти люди меня загубят!

— Да, но кровь взывает! — не унимался младший родственник.

В конце концов Колчерукий сумел успокоить его, дав понять, что убить никогда не поздно, если окажется, что Сандро виноват.

— Арестуют — потом иди ищи, — сказал младший.

— Ладно, иди приведи его, — согласился старший, обращаясь к Махты.

— Я быстро, — ответил тот и заторопился вниз по тропе. Все-таки он боялся, что родственники передумают.

Через минуту он скрылся за поворотом тропы, а Колчерукий с обоими родственниками и милиционером уселись на траву у подножия ореха.

— Одно меня смущает в его пользу, — сказал старший родственник, выходя из задумчивости, — если он убил, почему не скрылся?

— Вот именно, — сказал милиционер, — возьмем в Кенгурск и все выясним.

— Его или кости? — спросил старший.

— И его и кости, — ответил милиционер.

— На кости мы не согласны, — сказал старший, подумав.

— И Сандро вам и кости — не многовато ли? — добавил младший.

— Опять двадцать пять! — хлопнул милиционер себя по колену. — Вы мне даете Сандро увезти в живом виде, почему?

— Потому, что не уверены, что он убил, — сказал старший.

— Если вы не уверены, что убил Сандро, почему вы уверены, что это кости вашего бухгалтера?

— Тоже верно, — согласился старший.

— А если ваш бухгалтер сбежал куда-то с деньгами?

— Конечно, дай Бог, — сказал старший.

— Эх, дуралей, — вздохнул Колчерукий, — говорил я ему — продай лошадь.

— Зачем каркаешь, Колчерукий, — сказал младший, — может, он и в самом деле сбежал.

— Тогда нам лошади никогда не увидеть, — вздохнул Колчерукий, — но если его убил Сандро, лошадь где-то поблизости.

— Нет, — снова заупрямился старший, — и Сандро и кости отдавать вам будет многовато.

— Опять двадцать пять! — хлопнул милиционер себя по колену. — Мы же договорились?

— А вдруг он убил?

— Вот там и выяснят — сказал милиционер, — в городе сейчас такие доктора есть — посмотрят на любую кость человека и сразу говорят имя и фамилию ее бывшего владельца.

— Знаю, слышал, — согласился старший, — но боюсь, осквернят.

— Ничего не делается с костями твоего бухгалтера, — сказал милиционер.

— Значит, ты думаешь, все-таки это он? — встрепенулся старший.

— О, Аллах, — вздохнул милиционер, — я ничего не думаю.

На тропе появились люди. Впереди шел Кунта с мотыгой на плече, за ним шел дядя Сандро, похлёстывая камчой, а за ним — председатель сельсовета.

— Я их на дороге застал, — сказал он, стараясь угадать, как будут вести себя родственники бухгалтера.

Увидев Сандро, они оба встали в позу, выражающую воинственную непреклонность.

— А я решил, — сказал Кунта, добродушно улыбаясь, — все равно вам Сандро понадобится, вот и зашел.

— Остановись, Сандро, между нами — кровь! — сказал старший, а младший засунул руку в карман галифе.

— Клянусь хлебом-солью моего отца, — торжественно сказал дядя Сандро, — а хлеб-соль моего отца, как вы знаете, чего-то стоит...

— Ему цены нет, — подтвердил старший.

— ...Так вот, клянусь хлебом-солью, что между нами крови нет.

Стало тихо. Все ждали, что скажет старший родственник.

— Пока верим, — сказал он. Младший вынул руку из кармана.

— Вот и хорошо, — обрадовался милиционер, — вот это по-нашему, по-советски, а ты, — обратился он к Кунте, — расскажи, как было.

Кунта, помаргивая своими птичьими ресницами над бледными голубыми глазами, все смотрел на Колчерукого.

— Сдается мне, что Кунта собирается менять свой горб на мою колчерукую, — сказал Колчерукий.

— Это от Бога, это не меняют, — серьезно ответил Кунта, — но я тебя сначала не признал.

— Так я теперь кумхозник! — закричал Колчерукий. — Говорят у меня в кумхозе рука расцветет, как ты думаешь, Кунта?

— Они говорят, к лучшему, посмотрим, — все так же серьезно ответил Кунта и снял мотыгу с плеча.

— Да ты дело рассказывай! — перебил его председатель сельсовета.

— Мы пришли сюда, — начал Кунта, положив руку на мотыгу, как на посох, — хотели посмотреть, что стало с нашим великаном. Приходим, а он еще дымит. Тут Датико садится и говорит: «Кунта, разгреби-ка золу, посмотрим, что стало с котлом: расплавился или лопнул». А Сико уселся, вот где Колчерукий сейчас стоит, и стал сигарку крутить, приговаривая: «Что мне в этом кумхозе нравится, так это перекур».

— Да ты дело говори, — снова перебил его Махты.

Продолжая рассказывать, Кунта стал мотыгой разгребать в дупле золу и выгребать попадающиеся кости. Милиционер наклонился и осторожно стал складывать из этих костей скелет, громко объясняя свои действия и иногда меняя расположение костей. Кунта осторожно выкатил черепную коробку и милиционер приладил ее к месту.

— Похоже? — спросил он, приподымаясь и почему-то заглядывая в глаза дяде Сандро. Дядя Сандро выдержал его взгляд и пожал плечами. Родственники тоже пожалы плечами.

— Не знаю, не знаю, — сказал старший, брезгливо выпятив губу в знак чужеродности скелета и в то же время, на всякий случай, скорбя глазами. Колчерукий наклонился и приподнял череп.

— Осторожно, не доломай, — сказал старший родственник.

— Куда уж доламывать, — ответил Колчерукий, вглядываясь в череп буравчиками глаз, — клянусь Аллахом, кроме лысости, ничего общего с нашим бухгалтером.

— Дай Бог, — сказал старший родственник.

Тут дядя Сандро рассказал по просьбе милиционера все, что он знал о бухгалтере, и всех пригласил в дом. Старший родственник заартачился было, но Колчерукий опять его переупрямил.

— Мы в дом не войдем, — сказал он, садясь на лошадь, — во дворе примем хлеб-соль и поедем дальше.

— А если кровь воззовет? — спросил старший.

— Если воззовет, услышим, — отвечал ему Колчерукий, выезжая на тропу, — не глухие, слава Богу.

Теперь все подымались по тропе. Впереди Колчерукий, сзади дядя Сандро с милиционером, державшим коня под уздцы, следом остальные. Шестивие замыкал Кунта. В одной руке он держал свою мотыгу, в другой плащ милиционера с вложенными в него костями неизвестного.

Милиционер для очистки совести по дороге пытался запутать дядю Сандро, но дядя Сандро не давался. На все вопросы он отвечал, спокойно пощелкивая камчой по голенищу сапога.

— Не обижайся, Сандро, — сказал ему милиционер, — я должен отвезти тебя в райцентр... Председатель тебя подозревает...

— С удовольствием поеду, — отвечал дядя Сандро, — тем более что я его тоже подозреваю.

— В чем? — спросил милиционер.

— Думаю, что это он сам или через своих комсомольцев подкинул кости.

— Сандро, — откликнулся Махты, — зачем ты мне говоришь такое о председателе? В какое положение ты меня ставишь?

— Я и при нем скажу, — отвечал дядя Сандро и, ускорив шаги, открыл ворота во двор своего дома. Все столпились у ворот, решая, кому въехать первым. Наконец первым въехал старший родственник, потом Колчерукий, потом остальные. Председатель сельсовета было заупрямился, но потом слабость взяла верх, и он согласился. Он почувствовал, что с классовой точки зрения сейчас некрасиво принимать угощение в доме дяди Сандро, но он так за это время проголодался, а в этом доме умели угостить, и он въехал. Ничего, подумал он, в крайнем случае скажу председателю, что я хотел до конца выяснить все их планы.

Колчерукий, въехав в двор, разогнал лошадь и от избытка чувств поставил ее на дыбы. Старший родственник, глядя на него, скорбно покачал головой, давая знать, что он слишком забывает о траурно-карательном замысле, если не смысле их маленькой экспедиции.

В знак того, что трапеза принимается на ходу, стол накрыли на дворе, стульев не выносили — ели и пили стоя.

Говорят, не бойся гостя сидящего, а бойся гостя стоящего. Тем более пьющего стоя, ибо желудок такого гостя, как хорошо расправленный бурдюк, делается значительно вместительней.

Солнце уже садилось за гору, когда гости отвалились от стола.

Мать Сандро выдала милиционеру хурджин, куда он выложил кости неизвестного, обмотав каждую их них клочьями сена. По предложению старшего родственника, череп не только обмотали сеном, но и плотно набили его изнутри для прочности.

— Не означает ли это, — сказал Колчерукий, имея в виду способ упаковки черепа, — что вы оскорбляете нашего бухгалтера?

— Не означает, — отвечал старший родственник, не склонный предаваться шуткам на эту тему.

Мать, сестры, двое младших братьев провожали гостей до развилки тропы, где милиционер и дядя Сандро направились по тропе, ведущей в Кенгурск, а остальные — к себе в село Анхара.

— Сандро, не забудь вернуть хурджин, когда будешь ехать обратно, — сказала мать на прощанье.

— На рысь не переходите, прошу вас! — крикнул старший родственник, поворачивая коня.

— Не бойся, — ответил милиционер, похлопав хурджин, притороченный к седлу. Они уже было отъехали, когда обернулся Колчерукий.

— Сандро, — крикнул он, — по дороге, как увидишь дуплистое дерево, так стучи в него, авось что-нибудь выстучишь для начальства.

Посмеялись и разъехались в разные стороны. Стройная высокая фигура дяди Сандро, затянутая в черкеску, рядом с маленьким милиционером — это никак не выражало их истинных социальных отношений. Скорее всего, он был похож на кавалерийского офицера, может быть, из «дикой дивизии», едущего рядом со своим денщиком.

* * *

В райцентре, несмотря на устные протесты, дядю Сандро посадили в местную тюрьму, созданную на базе местной крепости. Следователь милиции несколько раз вызывал дядю Сандро на допрос, но тот ничего толком по поводу убийства бухгалтера не мог сообщить. Он упирал на то, что председатель колхоза нарушил решение райкомовской комиссии и сжег молебельный орех. Вероятно, говорил он, после незаконного сожжения дерева, ночью он, сам или через своих комсомольцев, подбросил эти кости в дупло.

— Тогда скажи, где бухгалтер? — ловил его следователь.

— Не знаю, — отвечал дядя Сандро, — он посидел со мной часок и уехал.

— Тогда скажи, о чем он говорил? — настаивал следователь.

— Он говорил, — отвечал дядя Сандро, — что облысел на учебе, а счастья не видит.

Так следователь несколько раз допрашивал дядю Сандро и, записав все его ответы, снова отправлял его в тюрьму. Поняв, что ответы его приносят пользу только следователю, а ему самому никакой пользы не приносят, дядя Сандро замолчал.

На отказ дяди Сандро говорить с ним следователь не обиделся.

— Ну, тогда просто так посиди, — сказал ему следователь, — а я потихоньку буду собирать на тебя материал.

— А побыстрее нельзя? — спросил дядя Сандро.

— А куда спешить? — ответил следователь.

— Я-то не спешу, — сказал дядя Сандро — но перед родственниками неудобно.

— Почему? — удивился следователь.

— Я же у них свою лошадь оставил, — разъяснил дядя Сандро, — вот они и не знают, то ли ждать меня, то ли отправлять лошадь назад.

— Хорошо, — хитрил следователь, — про бухгалтера не спрашиваю... Скажи, где его лошадь, а я скажу, как быть с твоей лошадью.

— Не знаю, — отвечал дядя Сандро, не давая себя поймать.

— Тогда посиди еще, — заключил следователь.

В те годы, по словам очевидцев, в кенгурийской районной тюрьме сиделось совсем неплохо. Правда, через несколько лет порядки в ней резко изменились, но тогда еще жить можно было.

Например, с родственниками можно было запросто переговариваться через бойницы. Близо не подпускали, а так,

метров за двадцать, за тридцать, пожалуйста, говори сколько хочешь — если, конечно, твой родственник не тугоух. Да тугоухие и сами не приходили, потому что знали об этом, а если им не терпелось поговорить со своим арестантом, они приводили с собой какого-нибудь родственника поушастей и переговаривались через него.

Передачи можно было получать, когда захочешь, потому что все надзиратели имели свою хорошую долю с этих передач. Так что передачи поощрялись. А если попадался хороший дежурный, то и вино можно было получить, но только не в бутылках, а в бурдючках. В бутылке даже молоко нельзя было получить, потому что бутылки запрещались как острые предметы.

Вообще-то, вино, конечно, запрещалось. Но начальник тюрьмы запретил его выдавать только не умеющим пить буянам. Одно время под влиянием доноса, написанного одним из буянов, он совсем запретил выдавать вино, но тогда родственники, приносившие передачи, тоже перестали приносить вино, что сильно не понравилось дежурным надзирателям, переставшим получать свою долю. Тогда начальник тюрьмы махнул на это рукой и только велел всех завистливых буянов пересадить в одну камеру, чтобы они не растревляли себя бессмысленной завистью.

Одним словом, жить тогда в тюрьме можно было. Во всяком случае, в кенгурийской тюрьме. Но все-таки через месяц дядя Сандро здорово заскучал, потому что тюрьма, хоть и с кенгурийскими удобствами, она все-таки тюрьма. К тому

же товарищи по камере, в которой он сидел, стали по второму разу рассказывать случаи из своей небогатой жизни, и дядя Сандро понял, что надо что-то делать.

Но он так и не придумал, что делать, потому что в один из этих дней, когда он особенно скучал, в камеру вошел надзиратель и рассказал новость. Он рассказал, что лошадь бухгалтера вернулась домой и сейчас стоит у его родителей на привязи, и они с нее глаз не спускают.

Весть эта сильно взволновала дядю Сандро, и он потребовал свидания со своим следователем.

— Да, да, — согласился следователь, — мы об этом уже знаем, но ведь тебя обвиняют в убийстве бухгалтера, а не его лошади.

— Раз нашлась лошадь, найдется и бухгалтер, — уверенно ответил дядя Сандро.

— Найдется, тогда посмотрим, — уклончиво обнадежил его следователь.

Дядю Сандро снова увели в камеру. На следующий день тот же надзиратель принес еще более радостную весть. Оказывается, через двое суток после прихода лошади по ее следам в деревню пришел пастух-адыгеец и стал требовать лошадь. Его заманили в правление колхоза и там разоружили и заперли, после чего он сознался, что лошадь эту он купил у лысого человека — по всем признакам, колхозного бухгалтера.

— Тогда куда делся наш бухгалтер? — спросили у него.

— Спустился в Россию, — ответил он.

Дядя Сандро опять заволновался и потребовал, чтобы его отвели к следователю. Но следователь принять его отказался, хотя велел ему передать через дежурного, что все это он уже знает.

Через неделю тот же неугомонный надзиратель, которого правильнее было бы назвать глашатаем, принес еще более значительную весть. Оказывается, бухгалтера накрыли в ставропольском привокзальном ресторане с неизвестной женщиной, которая после допроса созналась, что она коридорная краснодарского Дома колхозников.

— Обоих везут сюда, — сказал надзиратель, — теперь твоя судьба решена.

Дядя Сандро снова затребовал встречи со следователем, но ему опять отказали в законной просьбе. Тогда он решил действовать народным средством. Он передал на волю, чтобы кто-нибудь из стоящих людей как следует пуганул следователя.

Выбор пал на Колчерукого. То ли потому, что он в самом деле был уважаемым человеком, пользующимся общественным доверием, то ли потому, что он принимал участие в судьбе дяди Сандро, теперь уже неизвестно. Скорее всего, и то и другое.

В один прекрасный день он появился в райцентре на лошади бухгалтера и при встрече со знакомыми людьми говорил, что ему поручено приискать нового следователя.

— А что же старый? — спрашивали у него.

— Начинает пованивать, — отвечал он, косясь на солнце, — нам бы посвежее кого.

Сначала следователь, когда ему первый раз сказали, что Колчерукий появился в райцентре и говорит такие странные слова, махнул рукой, мол, пусть болтает. Но когда ему еще несколько человек об этом же сказали, да еще прибавили, что Колчерукий приехал не на своей лошади, а на лошади арестованного бухгалтера, следователь занервничал, он понял, что это намек, и притом опасный.

— А в райкоме что говорят? — спросил он у человека, последним встречавшего Колчерукого.

— Кажется, пока еще не знают, — отвечал тот.

— А сейчас где Колчерукий? — спросил следователь, все еще надеясь, что беду пронесет.

— В сторону тюрьмы поехал, — отвечал тот. Тюрьма находилась у выезда из Кенгурска, и следователь не знал, радоваться ему или надо что-то предпринимать: то ли Колчерукий, угонившись, выехал из Кенгурска, то ли еще что-нибудь надумал.

Тут ему позвонил начальник милиции, и следователь, взяв трубку, побледнел. Оказывается, начальнику милиции позвонил начальник тюрьмы и сказал, что Колчерукий только что проехал мимо тюрьмы и, крикнув своим громовым голосом: «Крепитесь, ребята!» — ускакал в сторону своей деревни. Начальник тюрьмы советовал начальнику милиции послать вдогон ему наряд верховых милиционеров с тем, чтобы задержать его и выяснить, что он хотел этим сказать. Начальник милиции отклонил предложение начальника тюрьмы, но, зная о том, что Колчерукий приехал на лошади бухгалтера,

дал следователю нагоняй за нечеткое ведение дела. Следователь немедленно вызвал дядю Сандро на допрос.

— Только не говори, что не ты послал Колчерукого! — в сильнейшем волнении произнес он, увидев его.

— Я пока ничего не говорю, — отвечал дядя Сандро спокойно. То ли Колчерукий его успокоил своим бодрящим лозунгом, то ли он, увидев взволнованного следователя, понял, что правда побеждает.

— Что он этим хотел сказать? — стал допытываться следователь, но дядя Сандро был спокоен и непреклонен.

— «Не падайте духом» — вот что хотел сказать, — отвечал дядя Сандро.

— А если это проходит как призыв к сопротивлению властям? — сказал следователь, удивляясь твердости и спокойствию дяди Сандро.

— Не проходит, — сухо отвечал ему дядя Сандро, и следователь понял, что надо переходить на более сговорчивый тон.

Интересно, что через множество лет, во время войны, когда Колчерукого привлекли (читай главу «Колчерукий», где, впрочем, об этом ничего не говорится) к ответственности за то, что он пересадил тунговое дерево с колхозного поля на свою фиктивную могилу, ему напомнили об этом случае, но Колчерукий сделал вид, что ничего не помнит.

— Я знаю, что ты не убивал бухгалтера, — говорил следователь дяде Сандро, перейдя на более миролюбивый тон, — но войди и ты в мое положение.

— Ты меня посадил, и я должен входить в твое положение?

- Но ведь все-таки кости нашли в твоем дупле?
- Председатель подбросил, — твердо держался дядя Сандро взятой линии, — или сам или через своих комсомольцев.
- Это еще надо доказать, — сказал следователь.
- Отпусти — докажу, — обещал дядя Сандро.
- В том-то и дело, что не могу, — вздохнул следователь, — я бы тебя отпустил, но в газете уже написали об этом... Приходил тут один из «Кенгурийской нови». Он написал, что ты убил бухгалтера, как несмирившийся сын смирившегося кулака.
- Но ведь бухгалтер жив? — удивился дядя Сандро.
- Это верно, — вздохнул следователь, — и мы его осудим как растратчика. Но если тебя сейчас отпустить, получится, что газета ошиблась.
- Как ни лукав был дядя Сандро, а все-таки такие хитрости не понимал.
- Сколько штук этой газеты выходит? — спросил он.
- Десять тысяч, — ответил следователь.
- И во всех так написано? (Позже, рассказывая об этом случае, дядя Сандро говорил, что он придурялся; сейчас трудно сказать, правда ли это, во всяком случае, усердным читателем газет он и сейчас не выглядит).
- Во всех, — отвечал следователь.
- Сколько стоит одна газета? — спросил дядя Сандро.
- Две копейки.
- Мой отец заплатит пять копеек за каждую штуку! Мы их все соберем и сожжем! — сказал дядя Сандро с большим подъемом.

— Газету сжигать нельзя, — покачал головой следователь.

— А молельный орех можно? — спросил дядя Сандро.

На это следователь ничего не ответил. Некоторое время они оба молчали, и признак истины витал между ними. Но тут скрипнула дверь, и призрак истины исчез. Дежурный милиционер всунул голову в кабинет и, таким образом напомнив о себе, снова закрыл дверь. Это было его третье напоминание в течение допроса. Дело в том, что по принятому у нас обычаю человек, которого милиционер водит на допрос, на обратном пути должен зайти куда-нибудь и угостить его. Вот он и напоминал о себе.

— Сандро, — сказал следователь после некоторого раздумья, — ты уйми Колчерукого, а я сделаю для тебя все, что могу, как только улягутся разговоры вокруг этого дела.

— Унять, конечно, можно, — отвечал дядя Сандро, — если и ты с нами по-хорошему, почему бы не унять.

С этими словами он вышел из кабинета в коридор, где сопровождавший его милиционер встретил его протяжным вздохом.

— Сам мучаюсь и тебя замучил, — ответил ему дядя Сандро на вздох.

— Не в этом дело — закрыть могут, — скромно ответил ему милиционер, и они двинулись к выходу.

* * *

Неизвестно, чем бы все это кончилось и скоро ли вышел бы дядя Сандро из гостеприимных стен кенгурийской тюрьмы.

мы, если б не помог случай, а вернее, неуголимая любознательность Нестора Лакоба.

В этот день Нестор Аполлонович, приехав в райцентр, просматривал списки зажиточных крестьян, вступивших в колхоз в этом районе. В списках был и отец дяди Сандро. Он-то и привлек внимание Нестора Аполлоновича. По данным этого списка получалось, что Хабуг вместе со всяким другим добром сдал в колхоз четырех верблюдов. Нестор Аполлонович пытался уточнить у местного руководства, откуда у этого жителя горной Абхазии оказались верблюды. Районные руководители не могли ничего вразумительного ответить по этому поводу. Они сказали, что сами верблюдов не видели, потому что не было указания заинтересоваться ими, но чегемские списки заверены председателем колхоза и сельсовета.

Нестор Аполлонович не любил всякие неясности и велел сейчас же снарядить человека в Чегем, чтобы тот выяснил, откуда там появились верблюды, и, если можно, пригнать их в Кенгурск с тем, чтобы потом перегнать их в Мухус как необычное в наших краях животное.

Снова снарядили верхового милиционера, того, что привез дядю Сандро. Милиционер уже выехал из Кенгурска, когда его догнал родственник дяди Сандро верхом на его лошади.

— Прошу как брата, отгони мне эту лошадь, — сказал родственник, подъезжая к нему.

Милиционеру страшно неохота было отгонять лошадь дяди Сандро. Он вообще не собирался туда заезжать. Он соби-

рался заехать в сельсовет, узнать насчет верблюдов и вернуться. А тут получалось как-то не вполне красиво — увез всадника, привез лошадь. Ему до того неохота было выполнять это поручение, что он сразу же сообразил, что делать.

— А я вообще туда не еду, — сказал он родственнику и вернулся в милицию.

Он вернулся к начальнику милиции и сказал, что раз Сандро сидит в тюрьме, можно вообще не ехать в Чегем, а спросить у него насчет верблюдов.

Начальник милиции связался с райкомом, а товарищи из райкома передали Нестору Аполлоновичу, что в местной тюрьме находится сын Хабуга, обвиненный в убийстве бухгалтера, который впоследствии оказался живым растратчиком и сейчас находится под стражей.

— Так давайте его сюда! — сказал Нестор Аполлонович.

Дядю Сандро срочно привезли к начальнику милиции, выдали гражданскую одежду и объявили, что его хочет видеть сам Нестор Аполлонович. Зачем хочет видеть — не сказали, чтобы он не успел ничего придумать, если захочет соврать.

— Пока не вымою голову, не побреюсь, не приведу в порядок костюма — не явлюсь! — решительно предъявил дядя Сандро верноподданный ультиматум.

— Правильно, — согласился начальник милиции и обернулся к своему помощнику, — обслужите его.

И его обслужили. Пока дядя Сандро мыл голову под умывальником самого начальника милиции, а помощник поливал

ему горячую воду, был срочно вызван лучший районный парикмахер, который брил и стриг на дому живых начальников и знатных покойников.

Через час дядя Сандро, затянутый в черкеску, в сверкающих сапогах предстал перед глазами Нестора Аполлоновича, исполненный сдержанной почтительности.

Нестор Аполлонович в это время вместе с друзьями и сподвижниками обедал в единственном кабинете единственного ресторана этого, тогда еще незначительного, райцентра. Говорят, вид дяди Сандро ему очень понравился.

— Настоящий абхазец и в тюрьме держится соколом, — сказал Нестор Аполлонович, глядя на него.

— Тем более когда невинно посажен, — вставил дядя Сандро.

Нестор Аполлонович вопросительно посмотрел на начальника милиции, и тот, быстро наклонившись, зашептал ему что-то на ухо.

Газета... газета... — только и мог уловить дядя Сандро. Судя по выражению лица Нестора Аполлоновича и его благосклонным кивкам, ничего плохого его не ожидало.

— Я думаю, — сказал Нестор Аполлонович, отстраняясь от начальника милиции и глядя на дядю Сандро, — мы тебе поможем, если ты скажешь, откуда у тебя верблюды?

— Какие верблюды? — спросил дядя Сандро, стараясь понять, о чем идет речь.

Лакоба нахмурился. Вся эта история начинала ему не нравиться.

— Записано, что твой отец сдал в колхоз пятьсот голов мелкого рогатого скота, пять коров и четыре верблюда.

— Четыре мула! — радостно догадался дядя Сандро. — У нас было пять мулов... Отец одного оставил, потому что привык на нем ездить.

— Почему же записаны верблюды? — удивился Нестор Аполлонович.

— Наверное, — сказал дядя Сандро, — комсомолец, который записывал, не знал, как по-русски пишется «мул» и записал их как верблюдов.

— А-а, — сказал Нестор Аполлонович, — передай своему председателю, что он сам верблюд, а сейчас садись к нам обедать.

— Обязательно передам, — радостно согласился дядя Сандро и прибавил на всякий случай: — Лучше бы списки проверял, чем кости подбрасывать.

Но Нестор Аполлонович не обратил внимания на его слова, а может, и недослышал. А может, чегемские дела ему поднадоели, и он, пользуясь своей глуховатостью, сделал вид, что недослышал.

В этот вечер было порядочно выпито, было немало спето народных и партизанских песен, и, когда начались пляски, судьба дяди Сандро была решена, потому что его пригласили танцевать.

За родную Советскую, за Нестора Аполлоновича, за всех дорогих гостей плясал дядя Сандро. И как плясал!

— Не мы одни, а весь народ должен наслаждаться таким талантом, — сказал Нестор Аполлонович и велел ему ехать

домой, немного отдохнуть, а потом приезжать в Мухус и прямо заходить к нему. Он обещал устроить его в абхазский ансамбль песни и пляски.

На следующий день дядя Сандро оседлал своего застоявшегося коня и, подъехав к зданию милиции, постучал камчой в окно начальника. Тот выскочил на балкон, где уже стояло несколько милиционеров, и пригласил дядю Сандро спешиться.

— Спасибо, — сказал дядя Сандро, — но я заехал за хурджином.

— Вынесите, — зычно приказал начальник милиции и добавил, обращаясь к нему: — Я вообще был против твоего ареста.

— Я тоже, — сдержанно согласился дядя Сандро. Один из милиционеров вынес хурджин и хотел передать его хозяину, но начальник его остановил.

— Приторочь сам, — приказал он ему и добавил, снова обращаясь к дяде Сандро: — Извини, что возвращаю пустой.

— Ничего, — сказал дядя Сандро, — не у тестя гостил.

По абхазским обычаям считается хорошим тоном, возвращая хозяину посуду, корзину, мешок, одним словом, тару, вложить в нее какое-нибудь угощение, а если нечего вложить, то извиниться за это. Можно назвать этот обычай благодарностью за тару или, наоборот, извинением за ненаполненную емкость. Обычай этот был принят между соседями, и начальник милиции, стараясь быть приятным, явно переборщил.

— А кости куда дели? — поинтересовался дядя Сандро, трогая лошадь.

— Пока в несгораемом шкафу, — ответил начальник милиции.

— Это хорошо, что в несгораемом, — согласился дядя Сандро, — а то второго пожара они не выдержат.

С этими словами он тронул коня и легкой рысью пошел в сторону Чегема. Через неделю дядя Сандро был уже в Мухусе, где был принят в абхазский ансамбль песни и пляски под управлением Платона Панцулая, да еще по совместительству подрабатывал в качестве коменданта местного Цика. Нестор Аполлонович умел привлечь и обогреть одаренных людей, способных украсить нашу маленькую республику. Разумеется, что именно может украсить нашу республику, решал он сам и его ближайшие сподвижники.

* * *

В ту же осень в Чегеме случилось вот что. В один прекрасный день Хабуг нашел в лесу дерево, в котором гнездились дикие пчелы. Он обрадовался этому даровому меду и решил забрать его домой, но у него не было посуды. Ему неохота было возвращаться домой за посудой, и он вспомнил, что гораздо ближе подняться к молевальному ореху и вытащить там из дупла медный котел, авось божество четвероногих не обидится на него.

И вот, когда он поднялся к молевальному ореху и вытащил из дупла медный котел, он, по его словам, что-то припомнил, но, что именно, никак не мог определить. Он спустился к роднику и стал отмывать внутренние стенки котла, и, когда отмыл, ему еще сильнее показалось, что он должен что-то вспомнить, но он все еще никак не мог понять, что именно. Он подумал, что, если бы еще песком поскрести котел, он бы ясней припомнил то, что ему хотелось вспомнить, но ему надоело отмывать котел, и он, выплеснув из котла воду, вернулся к медоносному дереву. Хабуг развел у его подножия костер, набросал в огонь побольше гнилушек, чтобы гуще дымило, приладил к поясу котел и топор и полез на каштан.

И вот, когда он прорубил отверстие в дупле и стал ножом выскрести оттуда большие, нежные ломти свежего меда, а пчелы, выкуренные и оттиснутые дымом, с яростным гулом кружились над ним, он вспомнил то, что отец Кунты, таинственно исчезнувший двадцать лет тому назад, исчез в лето, названное чегемцами годом войны Диких Пчел со Стервятниками. В то лето чегемцы видели, как рой диких пчел, гнездившийся в самом верхнем отверстии дупла, стал воевать с неожиданно налетевшими на молевальное дерево стервятниками.

Несколько трупов стервятников свалилось возле дерева, но рой не выдержал и навсегда покинул молевальное дерево. Именно с тех пор пастухи стали разводить огонь в самом дупле, если их застигала здесь слишком ветреная и холодная по-

года: поужинают, поворошат головешки, сунут ноги в теплую золу и спят.

Теперь Хабуг был уверен, что отец Кунты пытался добраться до меда через нижнюю расщелину дупла и, по-видимому, до смерти искусанный пчелами, так и застрял там навсегда. Из всех чегемцев только он, по мнению Хабуга, как человек нечистых кровей (эндурская примесь) и мог решиться на такое святотатство. Потому-то он и исчез бесследно, что и дома никому ничего не сказал о своем преступном замысле.

И вот через множество лет его высохшие кости Сандро расшатал своей колотушкой, комсомольцы подогрели своим нечестивым огнем, и они посыпались вниз, как переспелые орехи.

В тот же день ближе к вечеру он рассказал обо всем этом Кунте, сидя у себя на кухне и топя к очажному огню свои огромные, искусанные пчелами руки. С привычной покорностью Кунта выслушал его рассказ, время от времени поглядывая на стоящий у очага медный котел, сейчас продраенный и промытый женой Хабуга. Она тоже сидела сейчас на кухне и лушила в подол кукурузу, откуда по мере наполнения сыпала ее в таз.

— Знай я в тот день, что это кости отца, отнес бы их домой, — вздохнул Кунта, выслушав рассказ Хабуга.

— Ну, да, — кивнул ему Хабуг на котел, — сложил бы туда и отнес... А мой Сандро сидел бы дома вместо того, чтобы, как цыган, танцами зарабатывать себе на жизнь.

— При чем тут Сандро? — спросил Кунта, не понимая ход мысли Хабуга.

— При том, что через эти кости его арестовали, а там он увиделся с Лакобой, и тот его выманил в город.

— Верно, — кивнул головой Кунта в знак согласия.

Жена Хабуга, соскучившаяся по сыну, вздохнула. Помолчали. В тишине раздавался только хруст вылушиваемых зерен и хлюпанье фасолевого похлебки в глиняном горшочке, стоявшем у огня.

— Как подумаю, — сказал Кунта, глядя на огонь, — что кости моего отца двадцать лет провисели в этом треклятом дупле, чудно становится...

— Что ж чудного? — усмехнулся Хабуг.

— Я же там чуть не каждый день хожу... Божество могло бы как-нибудь намекнуть...

— Вы же его осквернили и оно же вам подсказывать?

— Тоже верно, — согласился Кунта, — а если это не отец?

— Он, — уверенно подтвердил Хабуг и кивнул на котел, — котел-то признал?

— Котел наш, — поспешно согласился Кунта.

— Может, что из одежды наверху застряло, — предположил Хабуг, но, подумав, сам отверг свою версию: — Пожалуй, нет... Птицы бы расташили...

— Да, столько времени, — вздохнул Кунта. Опять помолчали. Жена Хабуга со звоном высыпала зерна из подола в таз. Встала, отряхнула подол и, подхватив горсть кукурузных кочерыжек, сунула их в огонь. Помешала деревянной ложкой

фасолевую похлебку, вынула ложку, дунула, лизнула и, положив ее сверху на горшок, села на место.

— Если на нем было какое железо... Там пуговицы, крючки... Можно в золе отыскать... — сказал Хабуг.

— Так там зола по колено, — пожал печами Кунта и посмотрел на Хабуга своими слабыми выцветшими глазами. Жена Хабуга перестала лущить кукурузу.

— Можно через сито просеять, — сказала она.

— Тоже верно, — согласился Хабуг, — но ты сначала поезжай в Кенгурск и отбери у них кости. Надо похоронить — стыдно перед людьми.

— Говоришь, в милиции? — справился Кунта.

— В милиции... В несгорающем сундуке, если верить моему бездельнику.

— Тебя послушать, так все бездельники, кроме тебя, — вставила жена и, сердито хрустнув початком, сразу вылушила целую горсть.

Хабуг оставил ее слова без внимания.

— Дадут? — с надеждой спросил Кунта.

— Думаю, дадут, — сказал Хабуг и добавил: — На всякий случай возьми пару индюшек и мешок орехов. Но прямо не вноси. Эти — прямо не любят. Через наших родственников передай.

— Хорошо, — сказал Кунта, вставая, — котел сейчас взять?

— Конечно, бери, — ответил Хабуг и тоже встал.

— Подожди, — сказала жена Хабуга и, отбросив кукурузную кочерыжку, со звоном высыпала зерно из подола в таз.

Она вложила ему в котел (чтобы не извиняться за ненаполненную емкость) несколько хороших ломтей свежих сот.

— Да стоит ли, — поломался Кунта.

— Стоит, — мрачно пошутил Хабуг, — может, это потомки тех пчел, которые твоего отца закусали...

— Чего не бывает, — сказал Кунта и, приподняв котел, заковылял через двор.

Хабуг, стоя в дверях, долго смотрел ему вслед.

— Говорят, ему теперь вся власть, — кивнул он в сторону уходящего Кунты, — так я и поверил...

— Кому это вся власть? — повернулась от огня жена Хабуга. Раздвинув головешки, она разгребла жар поближе к горшку с фасолевым похлебкой.

— Да про Кунту я, — сказал Хабуг, все еще стоя в дверях и глядя ему вслед.

— Он как был, бедняга, при своем горбе, так и остался, — вздохнула она и снова уселась лущить кукурузу. Хабуг все еще стоял в дверях.

— Чем торчать тут, — сказала жена, с хрустом соскребывая вылущенной кочерыжкой зерна с плотного початка, — поймал бы своего мула и поехал бы сына проведать...

— Нечего мне делать больше, как плясуна твоего проведывать, — сказал Хабуг и добавил: — Я на мельницу поеду, перекусить приготовить...

— Я бы Кунту послала на мельницу, а ты бы к сыну поехал, — снова повторила жена, но уже без всякой увереннос-

ти. Она снова встала и сняла зацепленный ножками за чердачную балку кухонный столик.

— Кунта теперь сам кого хочешь пошлет на мельницу, — усмехнулся Хабуг, усаживаясь за столик, — хозяин...

* * *

А между прочим, если бы старый Хабуг послушался свою жену и вправду, поймав своего мула, оседлал бы его и поехал бы проведать сына, может, ему удалось бы сказать свое слово в самом начале большой дискуссии, которая развернулась на страницах «Красных субтропиков» по поводу таинственных костей неизвестного, найденных в дупле молельного ореха.

Первая корреспонденция, на которую я наткнулся, просматривая подшивки тех лет, называлась «Конец молельного дерева». В ней рассказывалось о том, что молодежь села Чегем весело, с песнями (так и было написано) предала сожжению знаменитый молельный орех села Чегем. Теперь пастухи, подымаясь с колхозными стадами на альпийские луга, говорилось в ней, не будут останавливаться возле этого дерева, чтобы под видом языческого обычая прирезать козла и попировать, а будут целенаправленно двигаться к своим летним стоянкам. В конце заметки указывалось, что молельное дерево обладает уникальным дуплом, которое тянется до вершины и имеет несколько выходов. Ширина дупла у подножия дерева дает возможность двум всадникам въехать в него и, не мешая друг другу, выехать. (Кстати, я заметил,

что везде, где говорится об уникальных дуплах, указывается на то, что всадник, по крайней мере, один, может в него въехать, не спешиваясь. Можно подумать, что это самая пламенная мечта всякого всадника, начиная с Дон Кихота, — найти дупло, в которое можно въехать не спешиваясь, постоять там немного, может, сделать что-нибудь, не спешиваясь, и выехать обратно.)

В самом конце заметки глухо указывалось, что в дупле был найден скелет дореволюционного происхождения. (Я подозреваю, что эта фраза, скрыто полемизируя со статьей в «Кенгурийской нови», тайно рекомендовала следственным органам Кенгурийского района оставить дядю Сандро в покое.)

Вот последняя фраза этой статьи, переписанная мной в блокнот: «По-видимому, мы никогда не узнаем, какому бедному пахарю или бесправному пастуху принадлежит этот скелет, но мы уверены, что это еще одно преступление местных дореволюционных феодалов».

Через некоторое время, примерно через неделю, на страницах «Красных субтропиков» выступил ученый кавказовед из Москвы, который как раз в это время находился в Абхазии с археологической экспедицией. Он вел раскопки в двенадцати километрах от Мухуса в селе Эшеры. Газета дала его выступление под холодноватым, как мне кажется, нейтральным названием «Мнение ученого».

Он выдвинул гипотезу, что, возможно, найденный скелет — не результат убийства, а один из интереснейших древ-

них обычаев воздушного погребения покойников, о котором с таким живым интересом рассказывал Аполлоний Родосский во втором веке до нашей эры. Оказывается, предки нынешних абхазцев считали святотатством хоронить мужчин в земле. Оказывается, их заворачивали в бычьи шкуры и вздымали на деревья при помощи виноградной лозы, чего нельзя сказать про женщин, которых предавали земле.

По-видимому, в районе Чегема было древнее поселение предков нынешних абхазцев, и следовало бы тщательно изучить наиболее многолетние экземпляры деревьев в этой местности.

Почему-то эта заметка вызвала гневную отповедь на страницах «Красных субтропиков». Ответ на статью знаменитого археолога назывался «Ученый копуша».

Когда я наткнулся на эту отповедь в пожелтевших подшивках «Красных субтропиков», я почувствовал, что на глаза мои наворачиваются слезы умиления. Я уловил в ней, пусть только для себя, но все-таки уловил истоки того стиля, который так прочно закрепился в последующие годы.

Автор ее начал свое выступление с того, что назвал предположение ученого неуклюжей и, по крайней мере, странной попыткой выгородить дореволюционного убийцу. После этого бойкое перо автора вонзилось в самого Аполлония Родосского и оказавшегося у него в плену нашего ученого.

Прочитав фразу про плен, я опять умилился и подумал, что, видимо, именно тогда ученые и другие общественные деятели стали попадать в плен.

Помнится, в самые ранние школьные годы это выражение было в ходу, и я довольно картинно представлял себе этих самых ученых, попавших в плен к буржуям. Я их почему-то представлял бородатыми дядьками, с завязанными назад руками, уныло бредущими под конвоем в буржуазную сторону. Я только не понимал тогда, почему вместо того, чтобы только ругать попавших в плен наших людей, не постараться неожиданным партизанским налетом отбить их от конвоиров и пустить их в нашу сторону.

Одним словом, статья эта, отвергнув Аполлония Родосского, защищала традицию общепринятого у абхазцев и многих других народов захоронения мертвецов. Особенно, как недопустимая вольность, отмечалось предположение, что трупы мужчин поднимали на деревья, тогда как женщин унижительно зарывали в землю.

Абхазцы, отмечал автор, всегда отличались рыцарским отношением к женщине, тем более сейчас, при Советской власти, когда равноправные мужчины и женщины бок о бок работают на стройках и на колхозных полях.

«Пока жив Нестор Аполлонович, никакому Аполлонию Родосскому не удастся оклеветать наши народные обычаи!» — с таким несколько неожиданным пафосом заканчивал статью тогда еще молодой журналист, подписывавший свои статьи псевдонимом Леван Гольба.

Кстати, как только погиб Лакоба и абхазцев стали искусственно грузинизировать, он стал выступать в печати под псевдонимом Леван Гольбидзе, иногда разнообразя его псев-

донимом Леван Гольбия, а именно тогда, когда представители мингрельцев в грузинском правительстве становились наиболее сильной группировкой. Ради справедливости надо сказать, что, меняя псевдонимы фамилий, он всегда твердо оставлял за собой псевдоним первоначального имени.

Неудивительно, что именно он, столько раз перепсевдонимившийся сам, оказался в 1948 году крупнейшим мастером по расшифровке чужих псевдонимов. Правда, в начале 1953 года он написал статью под названием «Лжегорцы Кавказа» и дал маху. Статья была набрана, но он ее не успел напечатать, потому что в это время умер отец всех народов, кроме высланных в Сибирь и в Казахстан. На некоторое время он впал в немилость и даже вынужден был перейти работать в промкооперацию. В настоящее время возвращен в прессу и пока работает под первоначальным псевдонимом.

Кстати, возвратимся к временам его первоначального псевдонима. Надо отдать должное молодым тогда еще абхазским ученым, они дали отпор этой проработочной статье. Как видим, даже в те времена в отдельных случаях здравый смысл нет-нет да и прорывался на свет Божий.

Так, один наш ученый, имени которого я сейчас не могу назвать, писал в тех же «Красных субтропиках», что ни московский ученый, ни, тем более, Аполлоний Родосский, живший во втором веке до нашей эры, не собирались клеветать на наши народные обычаи и нашу сегодняшнюю действительность.

Что касается обычая воздушного захоронения у колхов, предков нынешних абхазцев, то, действительно, указания на этот обычай имеются не только у Аполлония Родосского, но и у Николая Элиане, который уже в нашей эре писал, что «колхи хоронят покойников в кожах: зашивают их и вешают на деревья». (Я не нахожу ничего плохого в том, что молодой ученый, как это можно заметить даже в моем пересказе, слегка кокетничает эрудицией. Позже ученые стали кокетничать безграмотностью и дошли в этом деле до подозрительной естественности.)

Что характерно для всех этих источников, продолжал молодой ученый, это то, что все они прямо указывают на то, что речь идет о воздушном захоронении мужчин, а не женщин. Поэтому здесь нет никакой клеветы, а есть горькая научная истина.

Но, с другой стороны, добавлял он, указания античных и других источников пока не подтверждаются ни этнографическими, ни археологическими данными, если не считать более чем сомнительный чегемский случай.

Во всяком случае, неожиданно добавлял он в конце, независимо от проблемы воздушного захоронения колхов, раскопки, которые ведутся московской экспедицией в районе села Эшеры и от которых наша научная общественность так много ожидает, никакого отношения к вышеуказанной проблеме не имеют.

При чем тут раскопки? В статье Левана Гольбы о раскопках вообще ничего не говорится. Остается предположить, что

после его выступления были предприняты какие-то административные попытки приостановить раскопки.

К сожалению, спросить об этом у нашего историка оказалось не так-то просто. Дело в том, что он сейчас живет в Москве, работает в Институте истории и в наших краях теперь сам бывает только с археологическими экспедициями.

В конце концов в один из приездов в Москву мне удалось увидеться с ним в его институте. Встретил он меня с истинно абхазским радушием, мы покалякали с полчаса у него в кабине и, как всегда в таких случаях, разговор не обошелся без того, чтобы не вспомнить про Вахтанга Бочуа. Разговор этот привел нас в хорошее настроение, и тут я нашел уместным напомнить ему о его давней статье.

— Да, да, — просиял он, — тогда нам удалось отстоять раскопки... А не собираешься ли ты писать об этом? — Он как-то сразу потускнел.

— Нет, — сказал я, — а что?

— Не стоит, — посоветовал он и с некоторой вопросительной озабоченностью посмотрел на телефон. — Конечно, перегибы... Далекого прошлого...

Мне показалось, что последнюю фразу он сказал не столько мне, сколько телефону. Поймав мой взгляд, вернее поняв по моему взгляду, что я понял смысл его взгляда, направленный на телефон, он решил не скрывать своих опасений и, ткнув рукой на аппарат, сделал отрицательный жест, усилив его брезгливой мимикой. Жест этот не только не оставлял сомнений, что аппарат не пользуется

у него никаким доверием, но и всячески призывал меня с оттенком далеко идущего дружелюбия разделить его скептицизм.

— Неужели и вас? — спросил я, кивнув на телефон. Тут он развел руками в том смысле, что вокруг этого вопроса сложилась обстановка удручающей неясности.

— Ну, а вообще, что слышно? — спросил я, каким-то образом чувствуя, что телефон втягивает меня в сферу своих интересов. Тут как-то само собой получается, что хочется поиграть с Великим Немым, хочется подразнить его.

— Да как сказать, — протянул он неопределенно и снова посмотрел на телефон.

— Левана вернули в газету, — сказал я.

— Неважный признак, — сказал он и как-то весь оживился. Казалось, эта маленькая, но точная информация мгновенно привела в движение хорошо налаженную, но застоявшуюся ввиду отсутствия фактов машину исторического прогноза.

Он сделал свирепое выражение лица и подкрутил обеими руками несуществующие усы. После этого он сделал этими же руками жест вверх, похожий на тот жест, которым показывают крановщику, что груз можно поднимать.

— Но ведь Левана вернули в газету под первоначальным псевдонимом, — напомнил я.

— Вообще это неплохой признак, — сказал он и замолк. Казалось, машина прогноза сделала обратное движение и осеклась на том месте, с которого она двинулась вначале.

— Кроме шуток, — спросил я, снова возвращаясь к его статье, — что вам это выступление тридцатилетней давности? Вы — профессор, да и живете в Москве?

— А раскопки? — возразил он. — Мы готовимся к интереснейшей экспедиции в районе Цебельды. Испортить ее на месте ничего не стоит... Разве что найдется молодой чудак, который выступит в мою защиту?

Мы посмеялись и, слегка растроганные взаимным либерализмом, расстались.

На это я прерываю историю молельного дерева, шадящим движением останавливаю себя с тем, чтобы, набравшись мужества и спокойствия, вернуться к нему, и тогда не обижайтесь, друзья, ибо печален будет мой рассказ.

8. пиры валтасара

Хорошей жизнью зажил дядя Сандро после того, как Нестор Аполлонович Лакоба взял его в город, сделал комендантом Цика и определил в знаменитый абхазский ансамбль песни и пляски под руководством Платона Панцулая. Там он быстро выдвинулся и стал одним из самых лучших танцоров, способным соперничать с самим Патой Патарая.

Тридцать рублей в месяц как комендант Цика и столько же как участник ансамбля — неплохие деньги по тем временам, прямо-таки хорошие деньги, черт подери!

Как комендант Цика, дядя Сандро следил за работой технического персонала, получал время от времени на почте слуховые аппараты из Германии для Нестора Аполлоновича да еще распоряжался гаражом, в том числе и личным «бьюиком» Лакобы, который он называл «бик» для простоты заграничного произношения.

Разумеется, личный «бьюик» Лакобы находился в его распоряжении, когда тот уезжал в Москву или еще куда-нибудь на совещание.

В такие времена, бывало, наркомы и другие ответственные лица просили у дяди Сандро этот самый «бьюик» для того, чтобы съездить в деревню на похороны родственника, отпраздновать рождение, или свадьбу, или, в крайнем случае, собственный приезд.

Прикатить в родную деревню на личной машине Лакобы, которую все знали, было вдвойне приятно, то есть политически приятно и приятно просто так. Все понимали, что раз человек приехал на машине Нестора Аполлоновича, значит, он идет вверх, может, даже Нестор Аполлонович его приблизил к себе и знай похлопывает его по плечу или даже, дружески облапив, вталкивает в свою машину, мол, поезжай, подлец, куда тебе надо, да только не блюй на сиденье на обратном пути.

Были, конечно, и неприятности. Так, один не такой уж ответственный, но все же руководящий товарищ поехал на этом «бьюике» в свою деревню. Там он (уже за столом) на чей-то вопрос насчет «бьюика» с коварной уклончивостью ответил,

что, хотя его еще и не посадили на место Лакобы, мол, вопрос этот еще решается в верхах, но одно он может сказать точно, что машину ему уже передали.

Не успел он выйти из-за этого пиршественного стола, а точнее сказать, досиделся он за ним до того, что из соседней деревни приехало трое не то племянников, не то однофамильцев Лакобы. Они осторожно, чтобы не побеспокоить остальных, вытащили его из-за стола и во дворе измолотили как следует.

Вдобавок ко всему они его привязали к багажнику «бьюнка», чтобы в таком виде провезти его по всей деревне. Правда, провезти не удалось, потому что сами управлять машиной они не могли, а шофер сбежал в кукурузник.

В сущности говоря, много и не следовало ожидать. Своими вздорными разговорами он оскорбил не только самого Нестора Лакобу, но и весь его род. А оскорбление рода редко в те времена оставалось безнаказанным.

После этого случая приличные люди долго удивлялись, как этот товарищ осмелился столь открыто заниматься святотатством, и при этом лживым святотатством!

Сам он говорил, что на него нашло затмение на почве выпивки, а хозяин дома, в котором он сидел, клялся всеми предками, что из-за стола никто не вставал, так что ему до сих пор непонятно, кто побежал доносить в соседнее село.

К счастью, вся эта история не дошла до ушей Нестора Аполлоновича, а то бы всем этим племянникам или однофамильцам, да и самому дяде Сандро, а уж заодно и по-

страдавшему святотатцу по второму заходу крепко бы досталось.

Дяде Сандро, конечно, кое-что перепало за эти небольшие вольности с «бьюнком». Не то чтобы какие-нибудь грубые услуги, нет, но нужно устроить родственника в хорошую больницу, быстро получить нужную справку, пересмотреть дело близкого человека, который, думая, что все еще продолжаются николаевские времена, крадет чужих лошадей да еще на суде, вместо того, чтобы отпираться, рассказывает все, как было, горделиво оглядывая публику...

Много хорошего сделал дядя Сандро в те золотые времена для своих близких, да не все оплатили добром за добро, многие впоследствии оказались неблагодарными.

Бывало, дядя Сандро выйдет на балкон Цика, посмотрит вниз вдоль улицы, а там в самом конце море виднеется, а если в порту стоит пароход, то с балкона можно разглядеть его трубы и мачты. Дяде Сандро бывало весело смотреть в сторону порта, приятно было думать, что можно сесть на пароход и уплыть в Батум или в Одессу. И, хотя дядя Сандро никуда не собирался уплывать, потому что от добра добра не ищут, все же ему было приятно думать, что можно сесть на пароход и куда-нибудь уплыть.

А если, стоя на балконе, смотреть в противоположную сторону, то там, кроме гор и лесов, ничего не видно, так что и смотреть туда, можно сказать, нечего.

Только изредка, когда подкатывала тоска по родным местам, дядя Сандро смотрел на горы и украдкой вздыхал.

Он вздыхал украдкой, потому что считал неприличным громко вздыхать, находясь на почетной работе при власти. Потому что, если человек вздыхает, находясь при власти, получается, что находиться при власти ему не нравится, что было бы неблагодарно и глупо. Нет, нравилось дяде Сандро находиться при власти и он, естественно, хотел как можно дольше находиться при ней.

До чего же приятно было дяде Сандро в ясный день стоять на балконе Цика и просто глядеть вниз на проходящее население, среди которого было немало знакомых людей и красивых женщин.

Те, что раньше знали дядю Сандро и продолжали его любить, подымали головы и здоровались с ним, приветливым взглядом показывая, что радуются его возвышению. Те, что раньше знали дядю Сандро, но теперь завидовали, проходили, делая вид, что не замечают его. Но дядя Сандро на них не обижался, пусть себе идут, всем не угодишь своим возвышением.

А те, что раньше его не знали, а теперь видели на балконе Цика, думали, что он ответственный работник, который вышел на балкон подышать. Дядя Сандро вежливым кивком отвечал на их приветствия не для того, чтобы содействовать невольному обману, а просто потому, что умел прощать людям маленькие человеческие слабости.

Иногда знакомые люди останавливались под балконом и знаками спрашивали, мол, как там Лакоба? Дядя Сандро сжимал кулак и, слегка потрясая им, показывал, что

Нестор Аполлонович крепко держится. В ответ знакомые радостно кивали и шагали дальше с некоторой дополнительной бодростью.

Иногда эти знакомые, зная, что Лакоба куда-то уехал, знаками спрашивали, мол, куда? В ответ дядя Сандро рукой показывал на восток, что означало — в Тбилиси, или более значительным жестом на север, что означало — в Москву.

Иногда они спрашивали, опять же чаще всего знаками, мол, не приехал еще Лакоба? В таких случаях дядя Сандро утвердительно кивал или отрицательно мотал головой. В обоих случаях знакомые удовлетворенно кивали и, радуясь, что мимоходом приобщились к делам государственным, шли дальше.

Цокая каблуками, проходили мухусские модницы, и дядя Сандро, встречаясь с ними глазами, подкручивал ус, намекая на веселые помыслы. Многие свои хитроумные романы он начинал с этого балкона, хотя со сцены театра или клубной эстрады, где, бывало, выступал ансамбль, тоже нередко завязывались знакомства.

Некоторые женщины посмеивались над его заигрываниями с балкона. Дядя Сандро на них не обижался, просто он к ним быстро охладевал:

— Ах, я вам не нравлюсь, так и вы мне не нравитесь...

Гораздо больше ему нравились те женщины, что краснели, встречаясь с ним глазами, и, опустив голову, быстро проходили мимо. Дядя Сандро считал, что стыд — это самое нарядное платье из всех, которые украшают женщину. (Иногда он гово-

рил, что стыд — это самое дразнящее платье, но, в сущности, это одно и то же.)

Порой, стоя на балконе Цика, дядя Сандро видел своего бывшего кунака Колю Зархиди. Он всегда с ним сердечно здоровался, показывая, что нисколько не зазнался, что узнает и по-прежнему любит старых друзей. По глазам Коли он видел, что тот не испытывает к нему ни злобы, ни зависти за то, что дядя Сандро хозяйствует в отобранном у него особняке или стоит себе на балконе, как в мирные времена.

— Ты попробуй на лошади туда подымись, — кивал ему Коля, напоминая о его давнем подвиге.

— Что ты, Коля, — отвечал ему дядя Сандро с улыбкой, — сейчас это нельзя, сейчас другое время.

— Э-э, — говорил Коля и, словно услышав печальное подтверждение правильности своего образа жизни, шел дальше в кофейню.

Дядя Сандро смотрел ему вслед, немного жалея его и немного завидуя, потому что сидеть в кофейне за рюмкой коньяку и турецким кофе было приятно и при Советской власти, может быть, даже еще приятней, чем раньше.

Абхазский ансамбль песен и плясок уже гремел по всему Закавказью, а позже прогремел в Москве, и даже, говорят, выступал в Лондоне, хотя неизвестно, прогремел он там или нет.

В описываемые времена он уже набирал скорость своей славы, которую в первую очередь ему создали Платон Панцулая, Пата Патарая и дядя Сандро. В дни революционных праздников после торжественной части ансамбль выступал на

сцене областного театра. Кроме того, он выступал на партконференциях, на слетах передовиков промышленности и сельского хозяйства, не ленился выезжать в районы республики, а также обслуживал крупнейшие санатории и дома отдыха закавказского побережья.

После выступления на более или менее значительном мероприятии участников ансамбля приглашали на банкет, где они продолжали петь и плясать в доступной близости к банкетному столу и руководящим товарищам.

Дядя Сандро, как я уже говорил, шел почти наравне с лучшим танцором ансамбля Патой Патарая. Во всяком случае, он был единственным человеком ансамбля, который усвоил знаменитый номер Паты Патарая: разгон за сценой, падение на колени и скольжение, скольжение через всю сцену, раскинув руки в парящем жесте.

Так вот, это знаменитое па он так хорошо усвоил, что многие говорили, что не могут отличить одного исполнителя от другого.

Однажды один участник ансамбля, танцор и запевала по имени Махаз, сказал, что если нахлобучить башлык на лицо исполнителя этого номера, то и вовсе не поймешь, кто скользит через всю сцену: знаменитый Пата Патарая или новая звезда Сандро Чегемский.

Возможно, Махаз, как земляк дяди Сандро по району, хотел ему слегка польстить, потому что отличить все-таки можно было, особенно опытному глазу танцора, но главное не это. Главное то, что своими случайными словами он заронил в го-

лову дяди Сандро идею великого усовершенствования и без того достаточно сложного номера.

На следующий же день дядя Сандро приступил к тайным тренировкам. Пользуясь своим служебным положением, он их проводил в конференц-зале Цика при закрытых дверях, чтобы уборщица не подсматривала.

Кстати, это был именно тот зал, где когда-то дядя Сандро скакал на своем незабвенном рябом скакуне, чем спас своего друга и заставил разориться эндурского скотопромышленника.

Около трех месяцев тренировался дядя Сандро и вот наступил день, когда он решил показать свой номер. Сам он считал, что номер недостаточно отшлифован, но обстоятельства вынудили его рискнуть и бросить на сцену свой тайный козырь.

Накануне лучшая часть ансамбля в составе двадцати человек уехала в Гагры. Ансамбль должен был выступить в одном из крупных санаториев, где в эти дни проводилось совещание секретарей райкомов Западной Грузии. Совещание, по слухам, проводил сам Сталин, отдохавший в это время в Гаграх.

По-видимому, мысль собрать секретарей райкомов возникла у него здесь во время отдыха. Но почему он созвал совещание секретарей райкомов только Западной Грузии, дядя Сандро так и не понял.

По-видимому, секретари райкомов Восточной Грузии в чем-то провинились, а может, он им хотел дать почувствовать, что они еще не доросли до этого высокого совещания,

чтобы в будущем работали лучше, соперничая с секретарями райкомов Западной Грузии.

Так думал дядя Сандро, напрягая свой любознательный ум, хотя это, собственно говоря, не входило в его обязанности коменданта Цика или тем более участника ансамбля.

И вот лучшая часть ансамбля выехала, а дядя Сандро остался. Дело в том, что у дяди Сандро в это время тяжело болела дочь. Все об этом знали. Перед самым отъездом группы дядя Сандро попросил Панцулаю оставить его ввиду болезни дочери. Он был уверен, что Панцулая всполошится, будет упрашивать его поехать вместе с группой, и тогда, поломавшись, он даст свое грустное согласие.

Так было бы прилично по отношению к родственникам, мол, не сам кинулся плясать, а был вынужден, и, кроме того, участники ансамбля еще раз почувствовали бы, что без Сандро танцевать можно, да танец будет не тот.

И вдруг руководитель ансамбля сразу дает согласие, и дяде Сандро ничего не остается, как повернуться и уйти. В тот же день управляющий Циком делает ему оскорбительное замечание.

— По-моему, у нас крадут дрова, — сказал он, указывая на огромный штабель дров, распиленный и сложенный во дворе Цика еще в начале лета.

— Садятся, — небрежно ответил ему дядя Сандро, чувствуя скуку из-за своего артистического одиночества.

— Я что-то не слышал, чтобы дрова садились, — сказал управляющий с намеком, как показалось дяде Сандро.

— А ты не слышал, что вокруг Чегема леса сгорели? — вкрадчиво спросил дядя Сандро.

Это был знаменитый чегемский сарказм, к которому далеко не всякий мог приспособиться.

— При чем тут Чегем и его леса? — спросил управляющий.

— Вот я и вожу в горы циковские дрова, — ответил дядя Сандро и отошел от управляющего. Тот только развел руками.

Эшеры уже проехали, думал дядя Сандро, подымаясь по лестнице особняка, наверное, сейчас приближаются к Афону. Сквозняк, тронувший его лицо прохладой, показался ему дуновением опалы. Видно, управляющий что-то знает, видно, Лакоба от меня отступился, думал дядя Сандро, сопоставляя оскорбительный тон управляющего с еще более оскорбительной легкостью, с какой Платон Панцулая согласился на его просьбу.

Особенно было обидно, что на банкете, как предполагали, будет сам товарищ Сталин. Правда, точно никто не знал. Да это и не полагалось точно знать, даже было как-то сладостней, что точно никто ничего не знал.

На следующий день дядя Сандро сидел у постели своей дочки, тупо глядя, как жена его время от времени меняет на ее головке мокрое полотенце.

Девочка заболела воспалением легких. Ее лечил один из лучших врачей города. Он уже сомневался в благоприятном исходе, хотя и надеялся, как он говорил, на ее крепкую чегемскую природу.

Четверо чегемцев, дальних родственников дяди Сандро, тут же сидели в комнате, осторожно положив руки на стол. В последние годы они стали все чаще и чаще выезжать в город и, надо сказать, слегка поднадоели дяде Сандро.

Чегемцы проходили ускоренный курс исторического развития. Делали они это с некоторой патриархальной неуклюжестью. С одной стороны, у себя дома в полном согласии с ходом истории и решениями вышестоящих органов (в сущности, сам ход истории тогда был predetermined решениями вышестоящих органов), они строили социализм, то есть вели колхозное хозяйство. С другой стороны, выезжая в город торговать, они впервые приобщились к товарно-денежным капиталистическим отношениям.

Такая двойная нагрузка не могла пройти бесследно. Некоторые из них, удивленные, что за такие простые продукты, как сыр, кукуруза, фасоль, можно получать деньги, впадали в обратную крайность и, заламывая невероятные цены, по нескольку дней замкнуто простаивали возле своих некупленных продуктов. Иногда, уязвленные пренебрежением покупателей, чегемцы увозили назад свои продукты, говоря: ничего, сами съедим. Впрочем, таких гордецов оставалось все меньше и меньше, деспотия рынка делала свое дело.

К одному никак не могли привыкнуть чегемцы — это к тому, что в городских домах нет очажного огня. Без живого огня дом казался чегемцу нежилым, вроде канцелярии. Беседовать в таком доме было трудно, потому что непонятно было, куда при этом смотреть. Чегемец привык, разговаривая, смо-

треть на огонь, или, по крайней мере, если приходилось смотреть на собеседника, огонь можно было чувствовать растопыренными пальцами рук.

Вот почему четверо чегемцев молчали, осторожно положив руки на стол, чем вызывали у дяди Сандро дополнительное раздражение.

Сегодня, думал дядя Сандро, наши, может быть, будут танцевать перед самим Сталиным, а я должен сидеть здесь и слушать молчание чегемцев. Оказывается, на базаре им предложили остаться в Доме колхозника, но они с возмущением отвергли этот совет, ссылаясь на то, что здесь в городе живет дядя Сандро и он может обидеться, как родственник. Нельзя сказать, что такая верность родственным узам взволновала дядю Сандро. Пожалуй, он ничуть не обиделся бы.

— Слава Богу, наш Сандро выбился в присматривающие, — сказал один из чегемцев, с трудом преодолевая отсутствие в доме живого огня.

— Железные колени сейчас властями ценятся, как никогда, — после продолжительного раздумья объяснил второй чегемец причину успеха дяди Сандро.

— Князь Татырхан, помнится, тоже ценил хороших танцоров, — провел историческую параллель третий чегемец.

— Все же не настолько, — после долгого молчания добавил четвертый чегемец. Он долго думал, потому что хотел сказать что-нибудь свое, но, не найдя ничего своего, решил подправить сказанное другим.

Скучно переговаривались чегемцы. Жена, сидя возле больной девочки, обмахивала ее опахалом. Муха жужжала и билась о стекло. Дядя Сандро терпел.

И вдруг распахнулась дверь, а в ней — управляющий. Дядя Сандро вскочил, чувствуя, что остановившийся мотор времени снова заработал. Что-то случилось, иначе управляющий не пришел бы сюда.

Управляющий поздоровался со всеми, подошел к постели больной девочки и сказал несколько слов сочувствия, прежде чем приступить к делу. Дядя Сандро рассеянно выслушал его слова, нетерпеливо ожидая, что тот скажет о причине своего визита.

— Что легко пришло, то легко уходит, — ответил дядя Сандро на его сочувственные слова, не вполне уместно употребляя эту турецкую поговорку.

— Не хотел тебя беспокоить, — сказал управляющий и, вздохнув, вынул из кармана бумажку, — тебе телеграмма.

— От кого?! — выхватил Сандро свернутый бланк.

— От Лакобы, — сказал управляющий с уважительным удивлением.

«Приезжай если можешь Нестор», — прочел дядя Сандро расплывающиеся от счастья буквы.

— «Если можешь»?! — воскликнул дядя Сандро и сочно поцеловал телеграмму. — Да есть ли что-нибудь, чего бы я не сделал для нашего Нестора! Где «бик»? — уже властно обратился он к управляющему.

— На улице ждет, — ответил управляющий. — Не забудь захватить паспорт, там с этим сейчас очень строго.

— Знаю, — кивнул дядя Сандро и бросил жене: — Приготовь черкеску.

Минут через двадцать, уже стоя в дверях с артистическим чемоданом в руке, дядя Сандро обернулся к остающимся и сказал с пророческой уверенностью:

— Клянусь Нестором, девочка выздоровеет!

— Откуда знаешь? — оживились чегемцы. Жена ничего не сказала, а только, продолжая обмахивать ребенка, презрительно посмотрела на мужа.

— Чувствую, — сказал дядя Сандро и закрыл за собой дверь.

— Именем Нестора не всякому разрешают клясться, — услышал дядя Сандро из-за дверей.

— Таких в Абхазии раз-два и обчелся, — уточнил другой земляк дяди Сандро, но этого, припустив к машине, он уже не слышал.

Кстати, забегая вперед, можно сказать, что пророчество дяди Сандро, ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд, не основанное, сбылось. На следующее утро девочка впервые за время болезни попросила есть.

...Через три часа бешеной гонки «бьюик» остановился в Старых Гаграх перед воротами санатория на одной из тихих и зеленых улочек.

Вечерело. Дядя Сандро нервничал, чувствуя, что может опоздать. Он забежал в помещение проходной, подошел к освещенному окошечку, за которым сидела женщина.

— Пропуск, — сказал он, протягивая паспорт в длинный туннель оконной ниши.

Женщина посмотрела в паспорт, сверила его с каким-то списком, потом несколько раз придирчиво взглянула на дядю Сандро, стараясь выявить в его облике чуждые черты.

Каждый раз, когда она взглядывала, дядя Сандро замирал, не давая чуждым чертам проявиться и стараясь сохранить на лице выражение непринужденного сходства с собой. Женщина выписала пропуск. Дядя Сандро все больше и больше волновался, чувствуя, что за этой строгой проверкой скрывается тревожный праздник встречи с вождем.

С пропуском и паспортом в одной руке, с чемоданом — в другой он быстро перешел пустой дворик санатория и остановился у входа, где его встретил дежурный милиционер. Тот почему-то долго и недоверчиво смотрел на его пропуск, сверяя его с паспортом.

— Абхазский ансамбль, — намекнул дядя Сандро на мирный характер своего визита.

Тот на это ничего не сказал, но, продолжая держать в руке паспорт, перевел взгляд на чемодан.

Дядя Сандро в ответ ему радостно закивал, показывая полное понимание ответственности момента. Он быстро раскрыл чемодан и, поставив у ног, стал вынимать из него черкеску, азиатские сапоги, галифе, кавказский пояс с кинжалом. Дядя Сандро, вынимая каждую вещь, честно встряхивал ее, давая возможность выскочить любому злоумышленному предмету, который мог бы там оказаться.

Когда дело дошло до пояса с кинжалом, дядя Сандро, улыбаясь, слегка выдвинул его из ножен, как бы отдаленно намекая на полную его непригодность в царевубийственном смысле, даже если бы такая безумная идея и возникла бы в какой-нибудь безумной голове.

Милиционер внимательно проследил за его жестом и коротко кивнул, как бы признавая сам факт непригодности и отсекая всякую возможность рассуждений по этому поводу. Дядя Сандро заложил все вещи в чемодан, закрыл его и уже протянул было руку за паспортом и пропуском, но милиционер опять остановил его.

— Вы Сандро Чегемба? — спросил он.

— Да, — сказал дядя Сандро и вдруг догадался: — Но для афиши я прохожу как Сандро Чегемский!

— Афиши меня не интересуют, — сказал милиционер и, не предлагая дяде Сандро пройти, снял со стены новенький телефон и стал куда-то звонить.

Дядя Сандро пришел в отчаянье. Он вспомнил о телеграмме, как о последнем спасительном документе, и стал рыться в карманах.

— «Бик», Цик, Лакоба, — словами-символами заговорил он от волнения, безуспешно роясь в карманах.

И вдруг дядя Сандро заметил, что сверху по широкой лестнице, устланной ковром, спускается участник ансамбля Махаз. Дядя Сандро почувствовал, что сама судьба посылает ему земляка по району. Он отчаянно зажестикублировал, подзывая его, хотя тот и так спускался к ним, слегка обгоняя отсвечивающиеся полы черкески.

— Его спросите, — сказал дядя Сандро, когда Махаз, топыря грудь и невольно раздуваясь, остановил себя возле них. Милиционер, не обращая внимания на Махаза, продолжал слушать трубку. Шея Махаза стала наливаться кровью.

Между тем, если бы дядя Сандро прислушался к телефонному разговору, ему не пришлось бы так волноваться, а земляку по району не пришлось бы утруждать грудные силы, необходимые для предстоящего пения.

Дело в том, что дежурная в проходной по ошибке вместо Чегемба сначала на пропуске написала Чегенба, а потом исправила букву. Вот это исправление буквы, по-видимому неположенное в таких местах, и вызвало подозрение милиционера. Сейчас по телефону, уточняя это недоразумение, он убедился, что исправила букву она сама, а не кто-нибудь со стороны.

Хотя телефон был новенький, может быть только сегодня поставленный, было плохо слышно, и милиционеру приходилось то и дело переспрашивать.

— Участник ансамбля известный Сандро Чегемский, — заявил Махаз, выставив вперед перетопыренную грудь, когда милиционер положил трубку.

— Знаю, — просто сказал милиционер, — проходите.

Дядя Сандро и Махаз подымались по лестнице, усталой красным ковром. Оказывается, руководитель ансамбля уже несколько раз посылал Махаза встречать его.

Дядя Сандро теперь не испытывал к милиционеру никакой враждебности. Наоборот, он чувствовал, что в этой стро-

гости прохождения в санаторий залог грандиозности предстоящей встречи. Дядя Сандро, пожалуй, согласился бы и на новые препятствия, только бы знать, что в конце концов он их одолеет.

— Он будет? — спросил дядя Сандро тихо, когда они поднялись на третий этаж и пошли по коридору.

— Почему будет, когда есть, — сказал Махаз уверенно. Он уже чувствовал себя здесь как дома. Махаз открыл одну из дверей в коридоре и остановился, пропуская вперед дядю Сандро. Дядя Сандро услышал родной закулисный гул и, очень возбужденный, вошел в большую светлую комнату.

Участники ансамбля, уже переодетые, разминаясь, похаживали по комнате. Некоторые, сидя на мягких стульях, отдыхали, вытянув длинные, расслабленные ноги.

— Сандро приехал! — раздалось несколько радостных голосов.

Дядя Сандро, обнимаясь и целуясь с товарищами, показывал им найденную телеграмму Лакобы.

— Управляющий принес, — говорил он, размахивая телеграммой.

— Быстро переодевайся! — крикнул Панцулая. Дядя Сандро отошел в угол, где на стульях были развешаны вещи участников ансамбля, и стал переодеваться, прислушиваясь к последним наставлениям руководителя хора.

— Главное, — говорил он, — когда пригласят, не набрасывайтесь на закуски и вино. Ведите себя скромно, но девочку строить тоже не надо. Если кто-нибудь из вождей предлагает

тебе выпить — выпей и отойди к товарищам. Не стой рядом с вождем, тем более жуя, как будто ты с ним Зимний дворец штурмовал.

Танцоры, слушая Панцулая, похаживали по комнате, переминались, перетягивали пояса. Некоторые становились на носки и вдруг, приподняв ногу, затянутую в мягкий, как перчатка, азиатский сапог — скок, скок, скок! — делали несколько прыжков на одной ноге, одновременно прислушиваясь к ровному, успокаивающему голосу руководителя.

Пата Патарая несколько раз разгонялся, готовясь к своему знаменитому номеру, но не падал на колени, а просто скользил, чтобы как следует почувствовать пол. Проскользив он останавливался, осторожно поворачивался и, прикладывая пятачку одной ноги к носку другой, измерял пройденный путь.

Дядя Сандро занялся тем же самым. Теперь он мог соразмерить силу разгона с расстоянием скольжения с точностью до длины своей ступни. Правда, Пата Патарая это делал с точностью до ширины ладони, но у дяди Сандро был в запасе секретный номер и это сейчас опаляло его душу тревожным ликованием: «Получится ли?»

— Помните, что сцены никакой не будет, — говорил Панцулая, в своей белой черкеске похаживая среди питомцев, — танцевать будете прямо на полу, пол там такой же. Главное, не волнуйтесь! Вожди такие же люди, как мы, только гораздо лучше...

Но вот открылась дверь, и в ней показался пожилой человек в чесучовом кителе. Это был директор санатория.

Он грозно и вместе с тем как бы испуганно за возможный провал кивнул Панцулае.

— За мной, по одному, — тихо сказал Панцулая и мягко выскользнул за дверь вслед за чесучовым кителем.

За руководителем двинулся Пата Патарая, за Патой — дядя Сандро, а там и остальные, рефлексивно уступая дорогу лучшим.

Бесшумными шагами дворцовых заговорщиков они прошли по коридору и стали входить в комнату, в дверях которой стоял штатский человек.

Директор санатория кивнул ему, тот кивнул в ответ и стал всех пропускать в дверь, всматриваясь в каждого и считая глазами. Комната эта оказалась совершенно пустой, и только в дальнем ее конце у окна сидело два человека в таких же штатских костюмах, как и тот, что стоял у дверей. Они курили, о чем-то уютно переговариваясь. Заметив участников ансамбля, один из них, не вставая, кивнул, дав знать, что можно проходить.

Директор открыл следующую дверь, и сразу же оттуда донесся гул застольных голосов. Не входя внутрь, он остановился возле дверей и молча, отчаянным движением руки: давай! давай! давай! — как бы вмел всех в банкетный зал.

В несколько секунд участники ансамбля впорхнули в зал и выстроились в два ряда, оглушенные ярким светом, обильным столом и огромным количеством людей.

Банкет был в разгаре. Все произошло так быстро, что в зале их не сразу заметили. Сначала одинокие хлопки, а потом

радостный шквал рукоплесканий приветствовал двадцать кипарисовых рыцарей, как бы выросших из-под земли во главе с Платоном Панцулая.

Чувствовалось, что аплодирующие хорошо поели и выпили и теперь с удовольствием продолжают веселье через искусство, чтобы, может быть, потом снова возвратиться к посвежевшему веселью застолья.

Участники ансамбля, придя в себя, стали искать глазами товарища Сталина, но не сразу его обнаружили, потому что они смотрели в глубину зала, а товарищ Сталин сидел совсем близко, у самого края стола. Он сидел, слегка отвернувшись к соседу, который оказался всесоюзным старостой Калининым.

Аплодисменты продолжались, а Панцулая, склонив голову, стоял перед кипарисовым строем как мраморное изваяние благодарности. Но вот, почувствовав, что рукоплескания не иссякают и потому дальнейшее молчание ансамбля становится нескромным, он приподнял голову и, покосившись на участников ансамбля, ударил в ладони. Так всадник, приподняв камчу, прежде чем огреть скакуна, слегка оглядывается на его спину.

Участники ансамбля стали рукоплескать, прорываясь шумом своей любви к самому источнику любви сквозь встречный шум правительственной симпатии. Неожиданно поднялся Сталин, и за ним с грохотом вскочил весь зал, стараясь догнать его до того, как он распрямился.

С минуту длилась эта бескровная борьба взаимной привязанности, как бы дружеская возня приятелей, похлопываю-

ших друг друга по спине, дурашливая схватка влюбленных, где побежденный благодарил победителя и тут же любовно побеждал его, новой шумной волной опрокидывая его шумовую волну.

Танцоры по привычке, продолжая рукоплескать, переговаривались, не поворачиваясь друг к другу.

— Вон товарищ Сталин!

— Где, где?

— С Калининым говорит!

— Оказывается, Ворошилов тоже маленький!

— А это кто? — Жена Берии!

— Вообще вожди маленького роста — Сталин, Ворошилов, Берия, Лакоба...

— Интересно почему?

— Ленин был маленький — так и пошло...

— Маленькие, они вообще более устойчивые...

— Тебе бы, Сандро, за таким столом тамадой...

— Тамада наш Нестор!

— А может, Берия?

— Нет, видишь, Нестор во главе стола сидит.

— Сталин его всегда выбирает... Он его любимчик...

Постепенно взаимные рукоплескания слились и выровнялись, найдя общий эпицентр любви, его смысловую точку. И этой смысловой точкой опоры стал товарищ Сталин. Теперь и секретари райкомов, как бы не выдержав очарования эпицентра любви, повернули свои аплодисменты на Сталина. Все били в ладоши, глядя на него и приподняв

руки, как бы стараясь добросить до него свою личную звуковую волну. И он, понимая это, улыбался отеческой улыбкой и аплодировал, как бы слегка извиняясь за предательство соратников, которые аплодируют не с ним, а ему, что потому он один бессилён с такой мощью ответить на их волну рукоплесканий.

Появление этих стройных танцоров, затянутых в чёрные черкески, обрадовало его. В такие часы он любил все, что несло в себе очевидную и безотносительную к надоедавшей порой политике ценность. Вернее, как бы безотносительную, потому что он незримо соединял эту очевидную ценность и законченность с тем громоздким и расползающимся, во что превращается всякая политическая акция, и воспринимал её как пусть маленькое, но вещественное доказательство его правоты.

Так двадцать стройных танцоров превращались в цветущих делегатов его национальной политики, точно так же, как дети, бегущие к Мавзолею, где он стоял по праздникам, превращались в гонцов будущего, в его розовые поцелуи. И он умел это ценить, как никто другой, поражая окружающих своей неслыханной широтой — от демонической беспощадности до умиления этими маленькими, в сущности, радостями. Замечая, что он поражает окружающих этой неслыханной широтой, он дополнительно ценил в себе это умение ценить маленькие внеисторические радости жизни.

Так или иначе, один из ликующих делегатов его национальной политики, а именно дядя Сандро, посмотревшись на

вождей, продолжая аплодировать, перевел взгляд на стол. Стол, вернее, столы пересекали банкетный зал и в конце раздваивались на две ломящиеся плодами ветки. На прохладной белизне белых скатертей блюда выделялись с приятной четкостью.

Горбились индюшки в коричневой ореховой подливке, жареные куры с некоторой аппетитной непристойностью представляли голые гузки. Цвели вазы с фруктами, конфетами, печеньем, пирожными. Треснувшие гранаты, как бы опаленные внутренним жаром, приоткрывали свои преступные пещеры, набитые драгоценностями.

Сверкали клумбы зелени, словно только что политые дождем. Юные ягнята, сваренные в молоке по древнему абхазскому обычаю, кротко напоминали об утраченной нежности, тогда как жареные поросята, напротив, с каким-то бесовским весельем сжимали в оскаленных зубах пунцовые редиски.

Возле каждой бутылки с вином стояли, как бдительные санитары, бутылочки с боржомом. Бутылки с вином были без этикеток, видно, из местных подвалов. Дядя Сандро по запаху определил, что это «изабелла» из села Лыхны.

Большая часть закусок еще оставалась нетронутой. Некоторые давно остыли — так жареные перепелки запеклись в собственном жиру. Сталин не любил, чтобы за столом сновали официанты и другие лишние люди. Подавалось все сразу, навалом, хотя кухня продолжала бодрствовать на случай внезапных пожеланий.

За столом каждый ел, что хотел и как хотел, но, не дай Бог сжульничать и пропустить положенный бокал. Этого вождь не любил. Таким образом, за столом демократия закусок уравновешивалась деспотией выпивки.

Во главе стола сидел Нестор Лакоба. Большой темный рог со светлой подпалиной лежал рядом с ним, как жезл застольной власти.

Направо от него сидел Сталин, дальше Калинин. Налево от Лакобы сидела жена его, смуглянка Сарья, рядом с ней красавица Нина, жена Берии, а дальше сидел ее муж, энергично посверкивая стеклами пенсне. За Берией сидел Ворошилов, выделяясь своей белоснежной гимнастеркой, портупеей и наганом на поясе. За Ворошиловым и за Калининным по обе стороны стола сидели второстепенные вожди, неизвестные дяде Сандро по портретам.

Все остальное пространство заполняли секретари райкомов Западной Грузии с бровями, так и застывшими в удивленной приподнятости. Между ними кое-где были рассыпаны товарищи из охраны. Дядя Сандро их сразу узнал, потому что они, в отличие от секретарей райкомов, ничему не удивлялись и тем более не подымали бровей.

Нестор Лакоба, сидевший во главе стола, сейчас, круто обернувшись, смотрел на ансамбль и, как хозяин, соблюдая приличия, аплодировал гораздо сдержанней остальных.

Когда Сталин опустил руки и сел, аплодисменты замолкли. Но не сразу, потому что те, что сидели подальше, этого не

заметили. Они замолкли, как замолкает ветерок, прошелестев в листве большого дерева.

— Любимый вождь и дорогие гости, — начал Панцулая, — наш скромный абхазский ансамбль, организованный по личной инициативе Нестора Аполлоновича Лакобы...

Дядя Сандро заметил, что в это мгновение Сталин посмотрел на Лакобу и плутовато улыбнулся в усы, на что тот ответил ему застенчивым пожатием плеч.

— ...Исполнит перед вами несколько абхазских песен и плясок, а также песни и пляски дружной семьи кавказских народов.

Панцулая низко наклонил голову, как бы заранее извиняясь, что ему придется сейчас повернуться спиной к высоким гостям. Не подымая головы, плавным движением, стараясь избежать хотя бы оскорбительной неожиданности предстоящей позы (раз уж, так или иначе, она необходима), одновременно скорбя лицом за то, что поворачивается спиной, он довершил свой многозначительный поворот, приподнял голову, взмахнул руками, окрыленными рукавами белой черкески, и замер на взмахе.

— О-райда, сиуа-райда, эй, — как бы из глубины узкого ущелья вытянул Махаз.

И вот уже хор по взмаху окрыленных рукавов подхватывает древнюю песню. Не все вернутся с набега, без слов рассказывает она... Не всем суждено увидеть пламя родного очага... И когда поперек седла мертвый юноша въедет во двор отцовского дома, от крика матери вздрогнет конь и шевельнется мертвец.

Но не вскрикнет отец и не заплачет брат, потому что, только отомстив, мужчина получает право на слезы.

*Такова воля судьбы и судьба мужчины.
Женщина зреет, чтобы родить мужчину.
Мужчина зреет, чтобы родить мужество.
Виноград зреет, чтобы родить вино.
Вино зреет, чтобы напомнить о мужестве.
А песня зреет, чтобы пляской напомнить поход.*

Постепенно мелодия переходит в энергию ритма. Песня сжимается, она отбрасывает лишние одежды, как борец отбрасывает их перед тем, как приступить к схватке.

Дядя Сандро чувствует подступающее опьянение, чувствует, как песня переливается в его кровь и теперь хочет стать пляской, выполнением клятвы, заложенной в ней.

Участники хора уже бьют в ладони, хотя все еще продолжают напевать сжатый до предела мотив. Вся энергия теперь в ритме хлопающих ладоней, но пляска должна созреть, прийти и поэтому ее продолжают подогрывать на маленьком огне мелодии.

— О-райда, сиуа-райда! — повторяет хор.

Тащ-туш! Тащ-туш! — хлопают в ладони, продолжая вытягивать пляску из песни.

Кто-то из зрителей не выдерживает и тоже начинает бить в ладони, стараясь ускорить явление пляски. Весь зал вместе с товарищем Сталиным хлопает в ладони.

Таш-туш! Таш-туш! И тут вырывается Пата Патарая! Безумный бег коня, сорвавшегося с привязи, и вдруг замер! ...Вытягивается, выстунивается на носках, показывая готовность взмыть, как стрела, врезаться во вражеские ряды, но в последний миг меняет решение и в бешеном вращении утоляет ненасытную жажду воина куда-то прорваться и во что-то врезаться.

В круг вбрасывается Сандро Чегемский! И вот уже все танцоры взвились черными вихрями черкесок, показывая древнюю готовность мужчины стать воином, а воину — врезаться, взмыть, прорваться... Но в последний миг выясняется, что приказа врезаться, взмыть, прорваться все еще нет.

«Ах, так?!» — словно говорят танцоры и, грозно топнув ногой, кружатся. «Ах, так? Ах, все еще?» — И снова: «Ах, так? Ах, так? Ах, так?»

Кружась, они тончают, расслаиваются и в конце концов делаются полупрозрачными, как пропеллеры. Оказывается, вращаясь вокруг себя, можно утолить ненасытную жажду боя.

— О-райда-сиуа-райда! Таш-туш! Таш-туш!

Танцоры, умело и вовремя заменяя друг друга, влетают в круг, и уже кажется, что карусель танца движется сама по себе, по древнему замыслу, суть которого отчасти заключается в желании ошеломить невидимого врага (в далекие времена, когда князья приглашали друг друга на пиршества, враг был видимым), так вот ошеломить его неистощимостью своей свирепой энергии.

С короткими перерывами для песен ансамбль танцует абхазские, грузинские, мингрельские и аджарские танцы.

И вот коронный, свадебный танец. Наступает долгожданный миг. Внезапно вскрикнув, Пата Патарая разлетается и, еще в прыжке подогнув ноги, шлепается на колени и, раскинув руки, скользит и замирает у ног товарища Сталина.

Для гостей это случилось так неожиданно, что некоторые, особенно те, что сидели далеко, вскочили на ноги, не понимая, что случилось. Берия вскочил раньше всех и, сверкнув стеклами пенсне, воинственно замер над столом.

Но не было злого умысла, и товарищ Сталин улыбнулся. И в тот же миг грянул шквал рукоплесканий, а Пата Патарая, словно подброшенный этим шквалом, разогнулся и влетел в круг танцующих.

Теперь была очередь за дядей Сандро. Уловив необходимое ему музыкальное мгновенье, он гикнул и, выскочив из-за спин хлопавших в ладони, повторил знаменитый номер Паты Патария, но остановился гораздо ближе, у самых ног товарища Сталина. Дядя Сандро провел глаза от хорошо начищенных сверкающих сапог к его лицу и поразился сходству маслянистого блеска сапог с лучезарным маслянистым блеском его темных глаз.

Снова рукоплескания.

— Они состязаются! — крикнул Лакоба Сталину, стараясь перекричать шум и собственную глухоту. Сталин кивнул головой и улыбнулся в знак одобрения.

И снова Пата Патарая, вскрикнув как ужаленный, шмякается на колени, скользит и, раскинув руки, замирает у самых ног товарища Сталина в позе дерзновенной преданности.

— Чересчур, — покачал головой Берия.

— А по-моему, здорово! — воскликнул Калинин, всматриваясь из-за плеча товарища Сталина.

Шквал рукоплесканий, и Пата Патарая пятится в вихрь танцующих. То, что ему удалось остановиться примерно на расстоянии ладони от ног дождя, почти предreshало его победу.

Но не таков чегемец, чтобы сдаваться без боя! Сейчас должна решиться судьба лучшего танцора, и он кое-что приберет на этот случай. Зорко всматриваясь в пространство от ноги товарища Сталина до того места, где он стоял, стараясь почувствовать миг, когда Сталин и Лакоба не будут менять позы, он движением рыцаря, прикрывающего лицо забралом, сдернул башлык на глаза, гикнул по-чегемски и ринулся в сторону товарища Сталина.

Этого даже танцоры не ожидали. Хор внезапно перестал бить в ладони, и все танцоры, за исключением одного танцевавшего с противоположного края, остановились. Бесплодно простучав несколько раз, ноги танцора испуганно притихли.

И в этой тишине, с лицом, прикрытым башлыком, с распахнутыми руками, дядя Сандро стремительно прошуршал на коленях танцевальное пространство и замер у ног товарища Сталина.

Сталин от неожиданности нахмурился. Он даже слегка взмахнул сжатой в кулак трубкой, но сама поза дяди Сандро,

выражающая дерзостную преданность, и эта трогательная беззащитность раскинутых рук и слепота гордо закинутой головы и в то же время тайное упрямство во всей фигуре, как бы внушающее вождю, не встану, пока не благословишь, заставили его улыбнуться.

В самом деле, положив трубку на стол и продолжая улыбаться, он с выражением маскарадного любопытства стал развязывать башлык на его голове.

И когда повязка башлыка соскользнула с лица дяди Сандро и все увидели это лицо, как бы озаренное благословением вождя, раздался ураган неслыханных рукоплесканий, а секретари райкомов Западной Грузии еще более удивленно приподняли брови, хотя казалось до этого, что и приподымать их дальше некуда.

Сталин, продолжая держать в одной руке башлык дяди Сандро, с улыбкой показывал его всем, как бы давая убедиться, что номер был проделан чисто, без всякого трюкачества. Он жестом пригласил дядю Сандро встать. Дядя Сандро встал, а Калинин в это время взял из рук Сталина башлык и стал его рассматривать. Неожиданно Ворошилов ловко перегнулся через стол и вырвал из рук Калинина башлык. Под смех окружающих, он приложил его к глазам, показывая, что в самом деле сквозь башлык ничего не видно.

— Кто ты, абрек? — спросил Сталин и взглянул на дядю Сандро своими лучистыми глазами.

— Я Сандро из Чегема, — ответил дядя Сандро и опустил глаза. Взгляд вождя был слишком лучезарным. Но не только

это. Какая-то беспокойная тень мелькнула в этом взгляде и тревогой отдалась в душе дяди Сандро.

— Чегем... — задумчиво повторил вождь и сунул в руку дяде Сандро башлык. Дядя Сандро отошел.

— Какая точность, — услышал он голос Калинина. Поглаживая бородку, Калинин ласково кивнул в сторону дяди Сандро.

— Солнце видно и сквозь башлык, — важно заметил Ворошилов, отрезая ухо жареного поросенка. Покамест он возился над ухом, поросенок выпустил изо рта зажатую в нем редиску, и она покатилась по столу, что очень удивило Ворошилова. Он настолько удивился, что, оставив вилку в недорезанном ухе поросенка, стал искать закатившуюся между блюдами и бутылками редиску.

Тут только дядя Сандро обратил внимание на то, что сидящие за столом уже порядочно выпили. Теперь он присмотрелся к ним своим наметанным глазом и определил, что выпито уже по двенадцать-тринадцать фужеров.

Дядя Сандро говаривал, что умеет определить по внешности застольцев, сколько они выпили с точностью до одного стакана. При этом он пояснял, что чем больше людей за столом и чем больше они пьют, тем точнее он мог это определить. Но это еще не все. Оказывается, точность определения повышается с выпитым вином не беспрдельно. После трех литров, говаривал дядя Сандро, точность определения снова падает.

...Платон Панцулая стоял перед сдвоенным кипарисовым строем своих питомцев. Сейчас они должны были спеть пес-

ню о красных партизанах «Кераз». Все шло как нельзя лучше, поэтому Панцулая не спешил, давая танцорам отдышаться.

— Тебе хорошо, — говорил дяде Сандро земляк по району, — теперь ты обеспечен на всю жизнь...

— Да брось ты, Махаз, — скромничал дядя Сандро.

— Да ты что? — не глядя на него, распаялся Махаз. — Подкатить к самому Сталину, да еще прикрыв лицо башлыком! Да такое и немец не придумает!

Да, дядя Сандро прекрасно понимал, что этот блестящий номер не только выдвигает его на первое место в ансамбле, но и окончательно укрепляет его комендантские полномочия. Теперь-то управляющий, конечно, не посмеет лезть к нему с дурацкими расспросами насчет дров.

Когда начали петь партизанскую песню «Кераз», дядя Сандро только делал вид, что поет, слегка открывая и закрывая рот по ходу мелодии. Это была первая, маленькая, дань за его подвиг. Пока они пели, Лакоба, наклонившись к Сталину, что-то ему рассказывал и, судя по тому, что он и Сталин несколько раз бросали взгляд в его сторону, дядя Сандро, сладко замирая, почувствовал, что говорят о нем.

А когда Нестор Аполлонович сжал кулак и взмахом руки что-то показал, дядя Сандро догадался, что он рассказывает ему о моленном дереве и жест его означает, что по дереву надо было ударить чем-нибудь, чтобы оно прозвенело: «Кумхоз...» Во всяком случае, Сталин в этом месте рассказа откинулся и стал хохотать, за что Калинин его слегка толкнул, показывая, что он мешает ансамблю. Тогда Сталин перестал

смеяться и, наклонившись к Калинин, стал ему, как догадался дядя Сандро, пересказывать эту же историю. Дойдя до места, где надо было показать, что дерево ударили, он несколько раз рукой, сжимающей трубку, сделал энергичное движение. Тут Калинин не выдержал и, тряся бородкой, зашелся в хохоте, после чего уже Сталин пригрозил ему, показывая, что он своим хохотом мешает ансамблю.

Взяв в одну руку рог, а в другую бутылку с вином, Сталин встал и пошел к танцорам.

Нестор Аполлонович что-то шепнул жене, и она, подхватив со стола блюдо с жареной курицей, поспешила за Сталиным. Не успел Сталин подойти к танцорам, как тут же очутился директор санатория. Он попытался помочь Сталину, но тот отстранил его плечом и сам, налив полный рог вина, подал его Махазу.

Тот приложил одну руку к сердцу, другой принял рог и осторожно поднес его к губам. И пока он пил, приложившись к рогу, Сталин с удовольствием следил за ним и методично говорил ему, рубя маленькой пухлой ладонью воздух:

— Пей, пей, пей...

Это был литровый рог. Директор, приняв у Сталина пустую бутылку, поставил ее на стол и прибежал с новой. Он взял у Сарьи блюдо с курицей, чтобы придержать его, пока она будет резать курицу. То ли от смущенья, то ли от того, что блюдо покачивалось в руках у директора, Сарья неловко орудовала вилкой и ножом. На смуглых щеках Сарьи проступил румянец, директор начал задыхаться.

Между тем Махаз опорожнил рог, перевернул его, чтобы показать свою добросовестность, передал дяде Сандро. Сталин, заметив, что закуска запаздывает, махнул рукой и, решительно, обеими руками взяв курицу за ножки, с наслаждением, как заметил дядя Сандро, разорвал ее на две части. Потом каждую из них разорвал еще раз. Жир стекал по его пальцам, но он на это не обращал внимания...

Дяде Сандро показалось, что левая рука вождя двигается не совсем ловко. Уж не сухорук ли, подумал дядя Сандро и, осторожно присматриваясь, решил: да, немного есть... Вот бы его свести с Колчеруким, подумал он без всякой видимой причины. Вообще дядя Сандро почувствовал, что эта небольшая инвалидность как-то снизила образ вождя. Чуть-чуть, но все-таки.

Взяв мокрой рукой куриную ножку, Сталин подал ее Махазу. Тот опять склонился, принимая ножку и пристойно надкусывая ее.

Директор попытался было налить в рог, но Сталин опять отобрал у него бутылку и, обхватив ее скользящими от жира пальцами, наполнил рог и отдал пустую бутылку директору. Тот побежал за новой.

— Пей, пей, пей, — услышал дядя Сандро над собой, как только поднял рог. Дядя Сандро пил, плавно запрокидывая рог с той артистической бесчувственностью, с какой должен пить настоящий тамада — не пьет, а переливает драгоценную жидкость из сосуда в сосуд.

— Пьешь, как танцуешь, — сказал Сталин и, подавая ему куриную ножку, посмотрел ему в глаза своим лучезарным женским взглядом, — где-то я тебя видел, абрек?

Рука Сталина, подававшая куриную ножку, вдруг остановилась и в глазах у него появилось выражение грозной насто-роженности. Дядя Сандро почувствовал смертельную трево-гу, хотя никак не мог понять, чем она вызвана. Он понимал, что Сталин ошибается, что он-то, Сандро, запомнил бы, если бы видел его где-нибудь.

Ансамбль, и без того молчавший, окаменел. Дядя Сандро услышал, как челюсти Махаза, жующие курицу, остано-вились. Надо было отвечать. Но нельзя было отрицать, что Ста-лин его видел, и в то же время еще страшнее было согласить-ся с тем, что он его видел не только потому, что дядя Сандро этого не помнил, но главным образом потому, что Сталин приглашал его принять участие в каких-то неприятных вос-поминаниях. Это он сразу почувствовал.

Могучий аппарат самосохранения, отработанный на многих опасностях, повернул за одну—две секунды все возможные ответы и выбросил на поверхность наиболее безопасный.

— Нас в кино снимали, — неожиданно для себя сказал дя-дя Сандро, — там могли видеть, товарищ Сталин.

— А-а, кино, — протянул вождь, и глаза его погасли. Он подал куриную ножку: — Держи. Заслужил.

Снова забулькало вино, переливаясь в рог.

— Пей, пей, пей, — раздалось рядом.

Дядя Сандро надкусил куриную ножку и слегка зашевелил шей, чувствуя, что она омертвела, и по этому омертвлению шеи узнавая, какая тяжесть с него свалилась. Ну и ну, думал дядя Сандро, как это я вспомнил, что нас снимали в кино? Ай да Сандро, думал дядя Сандро, хмелея от радости и гордясь собой. Нет, чегемца не так легко укусить! Неужели мы с ним где-то встречались? Видно, с кем-то спутал. Не хотел бы я быть на месте того, с кем он меня спутал, думал дядя Сандро, радуясь, что он — Сандро Чегемский, а не тот человек, с кем его спутал вождь.

Сталин уже подавал рог последнему танцору в первом ряду, когда к нему подошел Нестор Аполлонович.

— Может, пригласим их за стол? — спросил он.

— Как скажешь, дорогой Нестор, я только гость, — ответил Сталин и, приняв у Сарьи салфетку, стал медленно и значительно, как механик, закончивший работу, вытирать руки. Бросив салфетку в опустошенное блюдо, он пошел рядом с Лакобой к столу упругой, легко несущей свои силы походкой.

Участников ансамбля рассадили за банкетным столом. Тех, что получше, рядом с вождями, тех, что попроще, рядом с секретарями райкомов Западной Грузии. Над банкетным столом уже подымался довольно значительный шум. Островки разнородных разговоров начинали жить самостоятельной жизнью.

Вдруг товарищ Сталин встал с поднятым фужером. Грянула тишина, и через миг воздух очистился от мусора звуков.

— Я подымаю этот бокал, — начал он тихим внушительным голосом, — за эту орденоносную республику и ее бессменного руководителя...

Он замер на долгое мгновение, словно в последний раз стараясь взвесить те высокие качества руководителя, за которые он однажды его удостоил сделать бессменным. И хотя все понимали, что он никого, кроме Лакобы, сейчас не может назвать, все-таки эта длинная пауза порождала азарт тревожного любопытства: а вдруг?

— ...моего лучшего друга Нестора Лакобу, — закончил Сталин фразу, и рука его сделала утверждающий жест, несколько укороченный тяжестью фужера.

— Лучшего сказал, лучшего, — прошелестели секретари райкомов, мысленно взвешивая, как эти слова отразятся на тбилисском руководстве партией, а уж оттуда возможным рикошетом на каждом из них. При этом брови у каждого из них продолжали оставаться удивленно приподнятыми.

— ...В республике умеют работать и умеют веселиться...

— Да здравствует товарищ Сталин! — неожиданно вскрикнул один из секретарей райкомов и вскочил на ноги.

Сталин быстро повернулся к нему с выражением грозного презрения, после чего этот высокий и грузный человек стал медленно оседать. Словно уверившись в надежности его оползания, Сталин отвел глаза.

— Некоторые товарищи... — продолжал он медленно, и в голосе его послышались отдаленные раскаты раздраже-

ния. Все поняли, что он сердится на этого секретаря райкома за его неуместное прославление Сталина.

Берия заерзал и, на мгновение сняв пенсне, бросил на него свой знаменитый мутно-зеленый взгляд, от которого секретарь райкома откачнулся, как от удара.

Сидевшие рядом с ним секретари райкомов как-то незаметно расступились, образовав между ним и собой просвет с идеологическим оттенком. Все секретари райкомов смотрели на него, удивленно приподняв брови, как бы силясь узнать, кто он такой и откуда он вообще взялся.

Тот продолжал, опираясь руками о стол, глядя на Берию, медленно оседать, стараясь незаметно войти в застолье и в то же время сдерживая себя на тот случай, если ему будет приказано удалиться.

— ...некоторые грамотеи там, в Москве... — продолжал Сталин после еще более длительной паузы, и в голосе его еще более отчетливо прозвучали нотки угрозы и раздражения. И сразу же всем стало ясно, что он решает про себя что-то очень важное, а про этого неловкого секретаря райкома давным-давно забыл.

Берия отвел от него взгляд, и тот словно обвалился под собственным обломанным костяком, радостно рухнул — пронесло!

— ...Бухарина... — услышал дядя Сандро шепот одного из второстепенных вождей, незнакомых ему по портретам.

— ...Бухарина, Бухарина, Бухарина... — прошелестело дальше по рядам секретарей райкомов.

В самом деле, в партийных кругах было известно, что Сталин так называет Бухарина. В дни дружбы: «Наш грамотей». Теперь: «Этот грамотей».

— ...думают, что руководить по-ленински, — продолжал Сталин, — это устраивать бесконечные дискуссии, трусливо обходя решительных мер...

Сталин опять задумался. Казалось, он с посторонним интересом прислушивался к этому шелесту и доволен им. Он любил такого рода смутные намеки. Фантазия слушателей неизменно придавала им расширительный смысл неясными очертаниями границ зараженной местности. В таких случаях каждый отшатывался с запасом, а отшатнувшихся с запасом можно было потом для политической акции обвинить в шараханье.

— ...но руководить по-ленински — это значит, во-первых, не бояться решительных мер, а во-вторых, находить кадры и умело расставлять их, куда надо... Небольшой пример.

Вдруг Сталин посмотрел на дядю Сандро, и тот почувствовал, как душа его плавно опустилась вниз, при этом сам он, не мигая, продолжал смотреть на вождя.

— ...Нестор нашел этого абрека в далеком горном селе и сделал его талант всеобщим достоянием, — продолжал Сталин. — Раньше он танцевал для узкого круга, а теперь танцует на радость всей республики и на нашу с вами радость, товарищи.

...Так выпьем за моего дорогого друга, хозяина этого стола Нестора Лакобу, — закончил товарищ Сталин и, стоя выпив бокал, добавил: — Аллаверди Лаврентию...

Он прекрасно знал, что Берия и Лакоба не любят друг друга, и сейчас забавлялся, заставляя Берию первым выпить за Лакобу.

Поддев ножом, он достал из солонки шматок аджики, переложил его к себе в тарелку и, густо обмазав пурпурной приправой кусок ягнятины, отправил его себе в рот, хрустнув молочным хрящом.

— Не слишком дерет? — спросил Калинин, опасливо проследив, как Сталин мазал мясо аджикой.

— Нет, — сказал Сталин, мотнув головой, — думаю, что эта абхазская аджика имеет большое будущее.

Многие из тех, кто слышал слова Сталина, потянулись к аджике. Впоследствии это предсказание вождя, в отличие от многих других, в самом деле подтвердилось — аджика распространилась далеко за пределы Абхазии.

Между тем Берия произнес тост и, ничем не выдавая своих чувств, выпил за Лакобу. Лакоба, который тост вождя слушал со слуховым аппаратом, сейчас снял аппарат и слушал Берию, приставив ладонь к уху. Он тоже ничем не выдавал своих чувств, время от времени кивая головой в знак благодарности и того, что расслышал слова.

После Берии слово взял Калинин и, выпивая за Лакобу, сказал несколько слов о грамотеях, давно оторвавшихся от народа. Сталину тост его понравился, и он потянулся, чтобы поцеловать его. Калинин неожиданно отстранился от поцелуя.

Сталин нахмурился. Дядя Сандро опять удивился, как быстро меняется у него настроение. Только что лучезарно си-

ял глазами Калининну и вдруг потускнел, съезжился. Берия оживленно сверкнул пенсне, а секретари райкомов с удивленно приподнятыми бровями уставились на Калининна.

«Значит, он с ними, а не со мной, — испуганно подумал Сталин, — как же я его проморгал?..» Он испугался не самой измены Калининна, раздавить его ничего не стоит, а того, что чутье на опасность, которому он верил, ему изменило, и это было страшно.

— А что с тобой, конопатым, целоваться, — сказал Калинин, с дерзкой улыбкой глядя на Сталина, — вот если б ты был шестнадцатилетней девочкой (он собрал пальцы правой руки в острожную горстку, слегка потряс ими, словно прислушиваясь к колокольцу нежной юности), тогда другое дело...

Лицо Сталина озарилось, и вздох облегчения прошелестел по залу. «Нет, не изменило чутье», — подумал Сталин.

— Ах ты, мой всесоюзный козел, — сказал он, обнимая и целуя Калининна, в сущности обнимая и целуя собственное чутье.

— Ха! Ха! Ха! Ха! — рассмеялись секретари райкомов, радуясь взаимной шутке вождей. С некоторым опозданием к ним присоединился Лакоба, которому дядя Сандро, он теперь сидел рядом с ним, пояснил недослышанную шутку. Запоздалый смех Лакобы прозвучал несколько странно, и Берия, не удержавшись, двусмысленно хохотнул, хотя его хохоток можно было принять и за отголосок еще того смеха.

Но Сталин почувствовал издевательский смысл его смеха. Этот смех ему сейчас был неприятен, и он сказал, посмотрев на Берию:

— Лаврентий, попроси жену, пусть потанцует...

— Конечно, товарищ Сталин, — сказал Берия и посмотрел на жену.

— Но я не умею, товарищ Сталин, — сказала она, краснея. Сталин знал, что она не умеет танцевать.

— Вождь просит, — грозно шепнул Берия.

— Зачем вождь, мы все просим, — сказал Сталин и, собирая глазами участников ансамбля, добавил: — Давайте, ребята.

На ходу хлопая в ладоши и подпевая, участники ансамбля образовали полукруг, открытой стороной обращенный к основанию стола.

— Я не ломаюсь, я в самом деле не умею, — говорила жена Берии, стараясь перекричать шум рукоплесканий. Но теперь ее просили все. Подталкиваемая мужем, она, робко упираясь, шла в круг. На мгновение, когда Берия повернулся спиной к столу, дядя Сандро заметил, что его искривленные губы шепчут жене непечатные слова.

Раскинув руки, она сделала два неловких круга и остановилась, не зная, что делать дальше. Ясно было, что она в самом деле не умеет танцевать.

— Молодец, — сказал Сталин, улыбаясь, и похлопал ей. Все похлопали жене Берии.

— Сарью, просим Сарью! — раздались голоса. Сейчас Сарья сидела между дядей Сандро и Лакобой. Сверкнув темными глазами, она посмотрела на мужа.

— Иди же, — сказал Лакоба по-абхазски. Она взглянула на Сталина. Тот ласково ей улыбался. Все шло, как он хотел.

Сарья вошла в круг. Смуглянка, с головой, слегка запрокинутой тяжелым узлом волос, сделала несколько плавных кругов и вдруг остановилась возле Паты Пата-раи, вызывая его на танец. Сдержанно улыбаясь, Пата проплыл рядом с ней.

Берия сидел за столом, не глядя на танцующих, тяжело опершись головой на руку. Жена его, растерянная, стояла возле участников ансамбля, видимо не решаясь сесть на место.

— Лаврентий, — тихо сказал Сталин. Тот, выпрямившись, посмотрел на вождя. — Оказывается, Глухой не только в кадрах лучше разбирается...

Берия развел руками, мол, ничего не поделаешь — судьба. Дяде Сандро стало неприятно, он почувствовал, что здесь таится опасность для Лакобы. Ох, не надо бы вождю так расстревать его, подумал дядя Сандро.

В это время Сарья выскочила из круга и, обняв жену Берии, поцеловала ее в глаза. Все почувствовали в этом ее порыве тайное благородство, желание смягчить ее неудачу, обратиться все в шутку. Все радостно захлопали, и женщины, обнявшись, прошли к столу.

— Потом скажешь, что они говорили, — шепнул дяде Сандро Лакоба, когда раздался последний взрыв рукоплесканий, и все посмотрели на Сарью, обнявшую жену Берии. Лакоба заметил, что Сталин что-то сказал Берии, и тот развел руками. Видимо, он почувствовал, что речь идет о нем.

Почти одновременно со словами Лакобы раздалась три пи-стоletных выстрела. Дядя Сандро вскочил на ноги. Вороши-

лов вкладывал в кобуру дымящийся пистолет. Растроганный танцем Сарьи и особенно ее благородным порывом, он не удержался от маленького салюта. Все радостно зашумели и стали смотреть на потолок, где возле люстры чернели три маленькие дырочки, соединенные между собой молнией трещины.

Штукатурка, осыпавшаяся вниз после выстрелов, покрыла белым налетом стынувшую индейку. Сталин посмотрел на слегка припудренную индейку, подняв голову, посмотрел на черные дырочки в потолке, потом перевел взгляд на Ворошилова и сказал:

— Попал пальцем в небо.

Ворошилов густо покраснел и опустил голову.

— Среди нас, — сказал Сталин, — находится настоящий народный снайпер, попросим его.

Он посмотрел на Лакобу и, положив трубку на стол, начал аплодировать. Все дружно зааплодировали, присоединяясь к вождю, хотя почти никто толком не знал в чем дело.

Лакоба понял, о чем его просят, и, склонив голову, смущенно пожал плечами.

— Может, не стоит? — сказал он, взглянув на Сталина. Тот подносил к трубке огонь.

— Стоит! Стоит! — закричали вокруг. Сталин, прикуривая, остановился и кивнул на крики: мол, глас народа, ничего не поделаешь.

Смущаясь от предстоящего удовольствия, Нестор Аполлонович развел руками. Он стал искать глазами директора санатория, но тот уже быстрой рысцой бежал к нему.

- Позови, — кивнул Лакоба склонившемуся директору.
- Переодеть? — спросил директор, все еще склоненный.
- Зачем? — сморщился Лакоба. — Проще, проще...

Нестор Аполлонович налил себе фужер вина и знаком показал, чтобы всем налили. Все наполнили свои бокалы.

— Я хочу поднять этот бокал, — начал он своим дребезжащим голосом, — не за вождя, но за скромность вождя.

Нестор Аполлонович рассказал по этому поводу такой случай. Оказывается, в прошлом году он получил записку от товарища Сталина, в которой тот его просил выслать ему мандарины, строго наказав сопроводить посылку счетом, который вождь оплатит с первой же получки.

Сталин задумчиво покуривал трубку, слушая рассказ Нестора. Все это правда, думал он, Глухой не льстит. И деньги выслал с получки... Хороший урок всем этим секретарям, которые только и знают, что весь вечер задирают брови.

Ему было приятно, что все, о чем говорит Нестор, правда, но, заглядывая в себя глубже, он находил еще один источник более скрытой, но и более тонкой радости. Источник этой радости заключался в том, что и тогда, когда он писал записку, он помнил — рано или поздно она вот так вот выплывет и сыграет свою маленькую историческую роль... Так кто умеет заглядывать в будущее, он или эти грамотей?

— ...Кажется, неужели наша республика обеднеет, если мы пошлем товарищу Сталину эти несчастные мандарины? — продолжал Нестор Лакоба.

— Не мы с тобой сажали эти мандарины, дорогой Нестор, — ткнул Сталин трубкой в его сторону, — народ сажал...

— Народ сажал, — прошелестело по рядам.

Народ сажал, повторил Сталин про себя, еще смутно нащупывая взрывчатую игру слов, заключенную в это невинное выражение. Впоследствии, когда отшлифовывалась его великолепная формула «враг народа», некоторые пытались приписать ее происхождение Великой французской революции. Может, у французов и было что-нибудь подобное, но он-то знал, что здесь, в России, он ее вынырчил и пустил в жизнь.

(Подобно поэту, для которого во внезапном сочетании слов вспыхивает контур будущего стихотворения, так и для него эти случайные слова стали зародышем будущей формулы.

Ужасно подумать, что механизм кристаллизации идеи один и тот же у палача и поэта, подобно тому, как желудок людоеда и нормального человека принимает еду с одинаковой добросовестностью. Но если вдуматься, то, что кажется равнодушием природы человека, может быть следствием высочайшей мудрости его нравственной природы.

Человеку дано стать палачом, так же, как и дано не становиться им. В конечном итоге выбор за нами.

И если бы желудок людоеда просто не принимал человечины, это был бы упрощенный и опасный путь очеловечивания людоеда. Неизвестно, куда обратилась бы эта его склонность.

Нет человечности без преодоления подлости и нет подлости без преодоления человечности. Каждый раз выбор за нами и ответственность за выбор тоже. И если мы говорим, что у нас нет выбора, то это значит, что выбор уже сделан. Да мы и говорим о том, что нет выбора, потому что почувствовали гнет вины за сделанный выбор. Если бы выбора и в самом деле не было, мы бы не чувствовали гнета вины...)

...Под гром рукоплесканий Лакоба выпил свой бокал. И не успел замолкнуть этот гром во славу скромности вождя, как в дверях появился повар в белом халате, а за ним директор санатория с тарелкой в руке.

Услышав рукоплескания, повар сделал попытку шархануться, но директор слегка подтолкнул его и отвел от двери.

Это был среднего роста пожилой полнеющий мужчина с нездоровым цветом лица, какой часто бывает у поваров, с тяжелой шапкой курчавых волос на голове.

Жестом приказав ему стоять, директор, стараясь неподвижно держать тарелку, подошел к Лакобе.

— Нестор Аполлонович, повар здесь, — сказал он, склонившись над ним и показывая содержимое тарелки. В тарелке, слегка перекатываясь, лежало с полдюжины яиц.

— Хорошо, — сказал Лакоба и хмуро посмотрел в тарелку.

Тут только дядя Сандро догадался, что Нестор Аполлонович будет стрелять по яйцам. Этого он еще не видел.

— Индюшкины яйца? — вдруг спросил Берия и, протянув руку, вытащил из тарелки яйцо.

— Куриные, Лаврентий Павлович, — подсказал директор, поближе подсовывая ему тарелку.

— Тогда почему такие большие? — спросил Берия, с любопытством рассматривая яйцо. Яйца и в самом деле были довольно крупные.

— Сам выбирал, — хихикнул директор, кивнув головой в сторону повара, стараясь обратить внимание Берии на тайный комизм этого обстоятельства. Но Берия, не обращая внимания на тайный комизм этого обстоятельства, продолжал рассматривать яйцо. Директор встревожился.

— Может, заменить, Лаврентий Павлович? — спросил он.

— Нет, я просто так говорю, — опомнился Берия и быстро положил яйцо в тарелку.

— Ревнует к Глухому, — шепнул Сталин Калинин и беззвучно рассмеялся в усы. Калинин в ответ затряс бородкой.

— В этом углу, по-моему, лучше, — сказал Лакоба, оглядывая люстру и кивая в противоположный тому, где стоял повар, угол. Так фотограф перед началом съемки старается найти лучший эффект освещения.

— Совершенно верно, — подтвердил директор.

— Волнуется? — кивнул Лакоба на повара.

— Неможко, — сказал директор, низко склонившись к уху Лакобы.

— Успокой его, — сказал Нестор Аполлонович, слегка отстраняясь от директора, поза которого слишком назойливо подчеркивала его глухоту.

Повар все еще стоял у дверей с безучастным неподпытным выражением на лице. Дядя Сандро только сейчас заметил, что он в одной руке сжимает колпак. Пальцы этой руки все время шевелились.

Директор подошел к повару, что-то шепнул ему, и они оба направились к противоположному углу. Директор важно нес впереди себя тарелку с яйцами.

Стало тихо. Смысл предстоящего теперь был всем ясен. Прохрустев накрахмаленным халатом, повар остановился в углу, повернувшись лицом к залу.

— Если б ты только знала, как я ненавижу это, — шепнула Сарья, поворачиваясь к Нине. Та ничего не ответила. Широко раскрытыми глазами она смотрела в угол. Сарья больше ни разу не посмотрела туда, куда смотрели все.

Повар стоял, плотно прислонившись к стене. Директор ему беспрерывно что-то говорил, а повар кивал головой. Лицо его приняло мучной цвет. Директор выбрал из тарелки яйцо, и повар, теперь не шевеля головой, а только скосив на него белые, как бы отдельно от лица плавающие глаза, следил за его движениями. Директор стал ставить ему на голову яйцо, но то ли сам волновался, то ли яйцо попало неустойчивое, оно никак не хотело становиться на попа.

Нестор Аполлонович нахмурился. Вдруг повар, продолжая неподвижно стоять, приподнял руку, нащупал яйцо, прищурился своими белыми, отдельно плавающими глазами, поймал точку равновесия и плавно опустил руку.

Яйцо стояло на голове. Теперь он, вытянувшись, замер в углу и, если б не выражение глаз, он был бы похож на призывника, которому меряют рост.

Директор быстро посмотрел вокруг, не находя, куда поставить тарелку с яйцами, и вдруг, словно испугавшись, что стрельба начнется до того, как он отойдет от повара, сунул ему в руку тарелку и быстро отошел к дверям.

Лакоба вытащил из кобуры пистолет и, осторожно опустив дуло, взвел курок. Он оглянулся на Сталина и Калинина, стараясь стоять так, чтоб им все было видно. Дяде Сандро пришлось сойти с места. Он встал за стулом Сарры, ухватившись руками за спинку. Дядя Сандро очень волновался.

Лакоба вытащил руку с приподнятым пистолетом и стал медленно опускать кисть. Рука оставалась неподвижной, и вдруг дядя Сандро заметил, как бледное лицо Лакобы превращается в кусок камня.

Повар внезапно побелел, и в тишине стало отчетливо слышно, как яйца позвякивают в тарелке, которую он держал в одной руке. Вдруг дядя Сандро заметил, как по лицу повара брызнуло что-то желтое и только потом услышал выстрел.

— Браво, Нестор! — закричал Сталин и забил в ладони. Гром рукоплесканий прозвучал, как разряд облегчения. Директор подбежал к повару, выхватил у него из рук колпак, вытер щеку повара, облитую желтком, и сунул колпак в карман его халата.

Он оглянулся на Лакобу, как оглядываются на стрельбище, чтобы показать, куда попал стрелявший, или спросить, надо ли подготовить мишень к очередному выстрелу.

— Давай, — кивнул Лакоба.

Директор на этот раз быстро поставил яйцо на голову повара и, хрустнув скорлупой разбитого яйца, отошел к дверям. И снова лицо Лакобы превратилось в кусок камня, вытянутая рука окаменела, и только кисть, как часовой механизм с тупой стрелкой ствола, медленно опускалась вниз.

И опять на этот раз дядя Сандро заметил сначала, как желтый фонтанчик яйца выплеснул вверх и только потом раздался выстрел.

— Bravo! — и взрывы рукоплесканий сотрясли банкетный зал. Улыбаясь бледной счастливой улыбкой, Лакоба прятал пистолет. Повар все еще стоял в углу, медленно оживая.

— Посади его за стол, — бросил Лакоба жене по-абхазски.

Сарья схватила салфетку и подбежала к повару. Вслед за нею подбежал и директор, которому повар теперь сердито сунул тарелку с яйцами. Сарья стояла перед ним и, вытирая ему лицо салфеткой, что-то говорила. Повар с достоинством кивал. Директор, присев на корточки и поставив рядом с собой тарелку с яйцами, подбирал скорлупу разбитых яиц.

Сарья стала уводить повара, но тот вдруг остановился и, сбросив халат, кинул его директору. По-видимому, случившееся на некоторое время давало ему такие права, и он явно показывал окружающим, что он недаром рискует, а имеет за это немало выгоды.

Когда директор с халатом, перекинутым через плечо, и с тарелкой в руке быстро проходил к дверям, дядя Сандро с удивлением подумал, что повар и директор могли бы заменить друг друга, потому что многое в этой жизни решает случай.

Сарья посадила повара между последним из второстепенных вождей, незнакомых дяде Сандро по портретам, и первым из секретарей райкомов.

Сарья налила повару фужер коньяку, придвинула тарелку, плеснула в нее ореховой подливы и положила кусок индюшатины. Повар сразу же выпил и сейчас, оглядывая стол, важно кивал на какие-то слова, которые ему говорила Сарья.

Бедная Сарья, думал дядя Сандро, она сейчас пытается замолить грех за эту стрельбу, которую она так не любила и которая, кстати, однажды закончилась неприятностью.

Дело происходило в одной абхазской деревне. После большого застолья началась стрельба по мишени. Может, именно потому, что стреляли по мишени и Лакоба был не очень внимателен или еще по какой-нибудь причине, но он ранил деревенского парня, который то и дело бегал смотреть на мишень. Рана оказалась неопасная, и парня тут же на «бьюике» Лакобы отправили в районную больницу.

Лакоба обратно ехал вместе с другими членами правительства на второй машине. И вот тут-то, на обратном пути, один из членов правительства сильно повздорил с Лакобой и даже ссадил его с машины посреди дороги.

— Мне надоели твои партизанские радости, — говорят, сказал он ему тогда. Трудно сейчас установить, почему Ла-

коба согласился сойти с машины. Возможно, он сам был так подавлен случившимся, что не нашел возможным сопротивляться такой оскорбительной мере. Я думаю, скорее всего, человек, который его ругал, был старше его по возрасту. И если тот ему сказал что-нибудь вроде того, что или ты сейчас сойдешь с машины, или я сойду, то Лакоба как истый абхазец, этого допустить никак не мог и, вероятно, сам сошел с машины.

...Когда Нестор Аполлонович спрятал пистолет и повернулся к столу, Сталин стоял на ногах, раскрыв объятия. Нестор Аполлонович, смущенно улыбаясь, подошел к нему. Сталин обнял его и поцеловал в лоб.

— Мой Вилгелм Телл, — сказал он и, неожиданно что-то вспомнив, обернулся к Ворошилову: — А ты кто такой?

— Я — Ворошилов, — сказал Ворошилов довольно твердо.

— Я спрашиваю, кто из вас ворошиловский стрелок? — спросил Сталин, и дядя Сандро опять почувствовал неловкость. Ох, не надо бы, подумал он, растравлять Ворошилова против нашего Лакобы.

— Конечно, он лучше стреляет, — сказал Ворошилов примирительно.

— Тогда почему ты выпячиваешься, как ворошиловский стрелок? — спросил Сталин и сел, предвкушая удовольствие долгого казуистического издевательства.

Секретари райкомов, с трудом подымая отяжелевшие брови, начинали удивленно прислушиваться. Лакоба потихоньку отошел и сел на место.

— Ну, хватит, Иосиф, — сказал Ворошилов, покрываясь пунцовыми пятнами и глядя на Сталина умоляющими глазами.

— Хватит, Иосиф, — сказал Сталин, укоризненно глядя на Ворошилова, — говорят оппортунисты всего мира. Ты тоже начинаешь?

Ворошилов, опустив голову, краснел и надувался.

— Скажи, чтоб начали его любимую, — шепнул Нестор жене.

Сарья тихо встала и прошла к середине стола, где сидел Махаз. Лакоба знал, что это один из способов остановить внезапные и мрачные капризы вождя.

Махаз затянул старинную грузинскую застольную «Гапринди шаво мерцхало» («Лети, черная ласточка»). В это время Ворошилов, подняв голову, попытался что-то сказать Сталину. Но тот вдруг поднял руки в умоляющем жесте: мол, оставьте меня в покое, дайте послушать песню.

Сталин сидел, тяжело опершись головой на одну руку и сжимая в другой потухшую трубку.

Нет, ни власть, ни кровь врага, ни вино никогда не давали ему такого наслаждения. Всерастворяющей нежностью, мужеством всепокорности, которого он в жизни никогда не испытывал, песня эта, как всегда, освобождала его душу от гнета вечной настороженности. Но не так освобождала, как освобождал азарт страсти и борьбы, потому что как только азарт страсти кончался гибелью врага, начиналось похмелье, и тогда победа источала трупный яд побежденных.

Нет, песня по-другому освобождала его душу. Она окрашивала всю его жизнь в какой-то фантастический свет судьбы, в котором его личные дела превращались в дело Судьбы, где нет ни палачей, ни жертв, но есть движение Судьбы, История и траурная необходимость занимать в этой процессии свое место. И что с того, что ему предназначено занимать в этой процессии самое страшное и потому самое величественное место.

Лети, черная ласточка, лети...

Но вот постепенно эта траурная процессия Судьбы уходит куда-то, становится далеким фоном сказочной картины...

Ему видится теплый осенний день, день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом. Он везет виноград домой, в давальню. Поскрипывает арба, пригревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей.

На деревенской улице у плетня остановился всадник, которого он впервые видит, но почему-то признает в нем гостя из Кахетии. Всадник пьет воду из кружки, которую протягивает ему через плетень местный крестьянин. У самого плетня колодец, потому-то и остановился здесь этот всадник.

Проезжая мимо всадника и односельчанина, он сердечного кивает им, мимолетно улыбается всаднику, который, взглядываясь в него, за скромным обликом виноградаря правильно угадывает его великую сущность. Именно этой

догадке и улыбается он мимоходом, показывая всаднику, что он сам не придает большого значения своей великой сущности.

Он проезжает и чувствует, что всадник из Кахетии все еще глядит ему вслед. Он даже слышит разговор, который возникает между односельчанином и гостем из Кахетии.

— Слушай, кто этот человек? — говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину.

— Это тот самый Джугашвили, — радостно говорит хозяин.

— Неужели тот самый? — удивляется гость из Кахетии. — Я думаю, вроде похож, но не может быть...

— Да, — подтверждает хозяин, — тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталин.

— Интересно, почему не захотел? — удивляется гость из Кахетии.

—хлопот, говорит, много, — объясняет хозяин, — и крови, говорит, много придется пролить.

— Хо-хо-хо, — прицокивает гость из Кахетии, — я от одного виноградного корня не могу отказаться, а он от России отказался.

— А зачем ему Россия, — поясняет хозяин, — у него прекрасное хозяйство, прекрасная семья, прекрасные дети...

— Что за человек! — продолжает прицокивать гость из Кахетии, глядя вслед арбе, которая теперь сворачивает к дому, — от целой страны отказался...

— Да, отказался, — подтверждает хозяин, — потому что, говорит, крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе, пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина...

— Дай Бог ему здоровья! — восклицает всадник, — но откуда он знает, что будет с крестьянами?

— Такой человек все предвидит, — говорит хозяин.

— Дай Бог ему здоровья, — цокает гость из Кахетии... — Дай Бог...

Иосиф Джугашвили, не захотевший стать Сталиным, едет себе на арбе, мурлычет песенку о черной ласточке. Солнце пригревает лицо, поскрипывает арба, он с тихой улыбкой дослушивает наивный, но, в сущности, правдивый рассказ односельчанина.

И вот он въезжает в раскрытые ворота своего двора, где в тени яблони дожидается его какой-то крестьянин, видимо приехавший к нему за советом. Крестьянин встает и почтительно кланяется ему. Что ж, придется побеседовать с ним, дать ему дельный совет. Много их к нему приезжают... Может, все-таки лучше было бы взять власть в свои руки, чтобы сразу всем помогать советами?

Куры, пьяные от виноградных отжимок, ходят по двору, прислушиваясь к своему странному состоянию, крестьянин, дожидаясь его, почтительно кланяется, мать, услышав скрип арбы, выглядывает из кухни и улыбается сыну. Добрая, старая мать с морщинистым лицом. Хоть в старости почет и достаток пришли наконец... Добрая... Будь ты проклята!!!

Тут, как всегда, видение обрывалось. Он никогда не мог провести его дальше, всегда спотыкался на этом месте, потому что кровь давней обиды ударяла в голову. Нет ей прощения даже за то, что она каждый раз портила этот сон наяву, этот милый вариант судьбы, который сладко было себе позволить во хмелю, слушая любимую песню. Нет ей прощения, нет. Как он помертвел однажды, как помертвел, когда, играя с мальчиками на зеленой лужайке, вдруг услышал (срыть лужайку!), как двое взрослых мужчин, похабно похохатывая, стали говорить о ней.

Они сидели в десяти шагах от него в тени алычи (срыть алычу, чтоб она высохла) и говорили о ней. А потом один из них вдруг остановился и, кивнув в его сторону, сказал другому, чтобы потише говорил, потому что, кажется, ее мальчик тут крутится.

Они заговорили тише, а он, раздавленный унижением, должен был продолжать игру, чтобы товарищи его ничего не заметили и ни о чем не догадались. Как он ненавидел их тогда, как мечтал отомстить, особенно почему-то этому, второму, который сказал, чтобы первый говорил потише. Нет ей прощения за самую ее позорную нищету и за все остальное...

Лети, черная ласточка, лети...

Он поднял голову и, оглядывая теперь поющих секретарей райкомов, постепенно успокоился. С каждым накатом мелодии песни смывала с их лиц эти жалкие маски с удивлен-

но приподнятыми бровями, под которыми все отчетливей, все самостоятельней проступали (ничего, пока поют, можно) лица виноградарей, охотников, пастухов.

Лети, черная ласточка, лети...

Они думают, власть — это мед, размышлял Сталин. Нет, власть — это невозможность никого любить, вот что такое власть. Человек может прожить свою жизнь, никого не любя, но он делается несчастным, если знает, что ему нельзя никого любить.

Вот я уже полюбил Глухого, и я знаю, что Берня его сожрет, но я не могу ему ничем помочь, потому что он мне нравится. Власть — это когда нельзя никого любить. Потому что не успеешь полюбить человека, как сразу же начинаешь ему доверять, но, раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину.

Да, да, я это знаю. И меня любили, и получали за это рано или поздно. Проклятая жизнь, проклятая природа человека! Если б можно было любить и не доверять одновременно. Но это невозможно.

Но если приходится убивать тех, кого любишь, сама справедливость требует расправляться с теми, кого не любишь, с врагами дела.

Да, Дела, подумал он. Конечно, Дела. Все делается ради Дела, думал он, удивленно вслушиваясь в полый, пустой звук этой мысли. Это от песни, подумал он. Вообще, надо бы за-

претить эту песню, она опасна, потому что я ее слишком люблю. Глупость, подумал он, она была бы опасна, если бы другие ее могли так же глубоко чувствовать, как я... Но так ее никто не может чувствовать...

Продолжая слушать песню, он налил себе фужер вина и молча, ни на кого не глядя, выпил. Поставив фужер, он взял со стола давно потухшую трубку и несколько раз безуспешно попытался затянуться. Заметив, что трубка потухла, он уже нарочно тянул, словно продолжая оставаться в глубокой задумчивости. Спички лежали рядом, но он ждал — кто-нибудь догадается или нет подать ему огня.

Вот так, будешь умирать — стакан воды не подадут, подумал он, жалея себя, но тут Калинин зажег спичку и поднес ее к трубке. Оставаясь в глубокой задумчивости, он ждал, пока пламя спички доберется до пальцев Калинина, и только тогда потянулся к огню и, прикуривая, наблюдал, как легкое пламя касается дрожащих пальцев Калинина. Ничего, думал он, не одному мне мучиться.

Он с удовольствием затянулся и откинулся на стуле. Взгляд его упал на Ворошилова. Тот все еще сидел за столом, опустив голову и насупившись, с выражением обиженного ребенка. И вдруг острая жалость к нему пронзила Сталина. Он тоже загубил душу, подумал Сталин.

— Клим, — сказал он глухим от волнения голосом, — где Царицын, где мы, Клим?

— За что обидел, Иосиф? — поднял голову Ворошилов и посмотрел на Сталина горьким преданным взглядом.

— Прости, Клим, если обидел, — сказал Сталин, раскаиваясь и любуясь своим раскаяньем, — но они нас с тобой еще хуже обижают...

— Ничего, Иосиф! — воскликнул Ворошилов, потрясенный тем, что вождь не только понимает его обиды, но и ставит их рядом со своими. — Ты им еще покажешь, где раки зимуют...

— Думаю, что покажу, — сказал Сталин скромно и пыхнул трубкой. Песня кончилась, и рой смутных, нетвердых мыслей схлынул из его отрезвевшей головы.

Да разве на него можно обижаться, думал Ворошилов, веселя и незаметно оглядывая вождей, чтобы убедиться в том, что они слышали, как его только что возвысил Сталин. И как он точно понимает, думал Ворошилов восторженно, что мои враги в руководстве армией — это продолжение враждебной Сталину линии в руководстве государственным аппаратом.

— Товарищ Сталин, что делать с этим Цулукидзе? — спросил Берия, внимательно прислушивавшийся к словам Сталина. Он давно хотел спросить об этом и решил, что сейчас самое подходящее время.

Дело в том, что этот старый большевик, еще ленинской гвардии, хотя давно уже был отстранен от всяких практических дел, продолжал язвить и ворчать по всякому поводу. В свое время это он бросил подхваченную грузинскими коммунистами реплику, что Берия с маузером в руке рвется к партийному руководству Закавказья. («А что, сволочи, с Эрфурт-

ской программой я должен был рваться к руководству? Разве вы с ней в говне не очутились?»)

Другого человека за такие слова (теперь, когда уже провалился к руководству) он давно бы подвесил за язык, но этого тронуть опасался. Не было полной ясности в этом вопросе. Многих старых большевиков Сталин сам уничтожал, но некоторых почему-то придерживал и награждал орденами.

— А что он сделал? — спросил Сталин и в упор посмотрел на Берию.

— Болтает лишнее, выжил из ума, — сказал Берия, стараясь догадаться, что думает Сталин по этому поводу, раньше, чем он выскажется.

— Лаврентий, — сказал Сталин, мрачней, потому что он не находил сейчас нужного решения, — я приехал использовать законный отпуск, почему ты мне задаешь такие вопросы?

— Нет, товарищ Сталин, я просто посоветоваться хотел, — быстро ответил Берия, стараясь обогнать помрачение Сталина, голосом показывая, что извиняется и сам не придает большого значения вопросу. Хорошо, что не ликвидировал, с радостным испугом мелькнуло у него в голове.

— ...Болтунов Ленин тоже ненавидел, — сказал Сталин задумчиво.

— Может, выгнать его из партии к чертовой матери? — спросил Берия, оживляясь. Ему показалось, что Сталин все-таки не прочь как-то наказать этого сукиного сына.

— Из партии не можем, — сказал Сталин и вразумляюще добавил: — Не мы принимали, Ленин принимал...

— А что делать? — спросил Берия, окончательно сбитый с толку.

— У него, по-моему, был брат, — сказал Сталин, — интересно, где он сейчас?

— Жив, товарищ Сталин, — сказал Берия, покрываясь холодным потом, — работает в Батуме директором лимонадного завода.

Сталин задумался. Берия покрылся холодным потом, потому что раньше не знал о существовании брата Цулукидзе и только в прошлом году, собирая материал против видного в прошлом большевика, узнал о его брате. Материалы о брате, запрошенные из Батума, ничего полезного в себе не заключали, он даже ни разу не проворовался на своем лимонадном заводе. Но то, что он знал о его существовании, знал, что он делает и как он живет, сейчас работало на него. Сталин это любил.

— Как работает? — спросил Сталин строго.

— Хорошо, — сказал Берия твердо, показывая, что свою неприязнь к болтуну никак не распространяет на его родственников, а знание деловых качеств директора лимонадного завода — простое следствие знания кадров со стороны партийного руководителя.

— Пусть этот болтун, — ткнул Сталин трубкой в невидимого болтуна, — всю жизнь жалеет, что загубил брата.

— Гениально! — воскликнул Берия.

— У вас на Кавказе еще слишком сильны родственные связи, — объяснил Сталин ход своей мысли, — пусть другим болтунам послужит уроком диалектика наказания.

Почувствовав, что Сталин своими словами отделил себя от Кавказа, некоторые секретари райкома стали смотреть на него с грустным упреком, словно спрашивая: «За что осиротил?»

— Век живи, век учись, — сказал Берия и развел руками.

— Но только не за счет моего отпуска, Лаврентий, — строго пошутил Сталин, чем обрадовал Лакобу. Он считал нетактичным, что Берия здесь, за пиршественным столом в Абхазии, выклянчивал у Сталина санкцию на расправу со своими врагами. Вечно этот Берия лезет вперед, и сам же я виноват, что познакомил его со Сталиным, думал Лакоба. Сейчас самое время поднять тост за старшего брата, за великий русский народ. Недаром Сталин сказал: мол, у вас на Кавказе... Значит, он уже чувствует себя русским...

Он знаками показал на тот конец стола, чтобы всем разлили.

— Я хочу поднять этот тост, — сказал он, вставая со своего места, бледный, упрямо не поддающийся хмелю на исходе ночи, — за нашего старшего брата...

Пиршественная ночь набирала второе дыханье. Снова пили, ели, плясали и уже даже у дяди Сандро, величайшего тамады всех времен и народов, покруживалась голова. Увидеть за одну ночь столько грозного и прекрасного даже для него было многовато.

Лакоба приспустил поводья тамады, чувствуя, что вождю строгий порядок кавказского застолья начинает надоедать.

— Прекрасную Сарью, просим, просим! — кричал Калинин, хлопая в ладони и любовно склоняя бородатую голову.

— «Мравалджамие»... «Мравалджамие»! — просили на том конце стола и затягивали ее.

— «Многие лета»! — кричали другие и затягивали абхазскую застольную.

— Теперь ты на коне, — кричал с того конца стола Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро, — благодать снизошла на тебя, благодать!

— У меня волос курчавый, как папоротник, — рассказывал повар одному из секретарей райкома, давая ему пощупать свои волосы, — янчко, как в гнездышке, лежит.

— Все же риск, — сказал секретарь, угрюмо щупая волосы повара.

— У людей жены, — бормотал Берия, тяжело опустив голову на руки.

— Но, Лаврик, пойми... Мне было стыдно, и он совсем не рассердился.

— Дома поговорим...

— Но, Лаврик...

— Я для тебя больше не Лаврик...

— Но, Лаврик...

— У людей жены...

— Какой же риск, мил-человек, у меня один волос на три пальца возвышается, — радостно разуверял повар недоверчиво косящегося на его голову секретаря райкома.

— А в голову не попадал?

— Конечно, нет, — радуясь его наивности, говорил повар, — риску тут мало, страху много.

— Все же риск, человек выпивший, — угрюмо придерживался своей версии секретарь райкома.

— Говорит «у вас на Кавказе», — качал головой другой секретарь, — а что мы ему сделали?

— Шота, прошу, как брата, не обижайся на вождя, — утешал его товарищ.

— Я за него жизнь готов отдать, но у меня душа болит, — отвечал тот, бросая осиротевший взгляд на тот конец стола.

— Шота, прошу, как брата, не обижайся на вождя...

— Везунчик! Везунчик! — кричал захмелевший Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро. — Теперь вся Абхазия у тебя в кармане!

Дядя Сандро укоризненно качал головой, намекая на непристойность таких криков, тем более направленных в самую гущу правительства. Но Махаз не понимал его знаков.

— Не притворяйся, что не в кармане! — кричал он. — Не притворяйся, везунчик!

— Что это он все кричит? — даже Лакоба обратил внимание на Махаза.

— Глупости, — сказал дядя Сандро и подумал: «Хорошо, хоть по-абхазски кричит, а не по-русски».

— Это что! — пытался повар развлечь угрюмистого секретаря. — Я еще во времена принца Ольденбургского здесь, в Гаграх, учеником повара начинал. Принц, как Петр, с палкой ходил. Обед для рабочих сами пробовали. Случалось, поваров палкой бивали, но всегда за дело.

— Все же риск, — угрюмо качал головой секретарь. Он чувствовал себя перебранным, и мысль его застряла на стрельбе по яйцам.

— Это что! — пытался отвлечь его повар удивительными воспоминаниями. — Сюда приезжали государь император...

— Зачем выдумываешь? — неохотно отвлекся секретарь.

— Крестом клянусь, на крейсере! Сам крейсер остановился на рейде... Государь на катере причалили, а государыня не желала причалить, чем обидели принца, — рассказывал повар.

— Придворные интриги, — угрюмо перебил его секретарь.

...Рано утром, когда по велению Лакобы директор санатория раздвинул тяжелые занавески и нежно-розовый августовский рассвет заглянул в банкетный зал, он (нежно-розовый рассвет) увидел многих секретарей райкомов спящими за столами — кто откинувшись на стуле, а кто прямо лицом на столе.

Одному из них, спавшему, откинувшись на стуле, друзья сунули в рот редиску, что могло вызвать у нежно-розового рассвета только недоразумение, потому что поросят, держащих в оскаленных зубах по редисинке, на столе не оставалось, и шутливая аналогия была понятна лишь посвященным.

Участники ансамбля один за другим подходили к Сталину. Сталин сгребал со стола конфеты, печенье, куски мяса, жареных кур, хачапури и другую снедь. Приподняв полу черкески или подставив башлыки, они принимали подарки и, поблагодарив, отходили от вождя.

— Марш, — говорил Сталин, накидав очередному танцору гостинцев. Он старался всем раздавать поровну, приглядывался к кускам мяса, к жареным курам и если в чем-то одном недодавал, то старался побольше наложить другого. Так деревенский патриарх, Старший в Доме, после большого пиршества раздает гостям дорожные и соседские пан.

— Все равно все на Сталина спишут, — шутил вождь, накладывая снедь в растопыренные полы черкески, — все равно скажут — Сталин все скушал...

Некоторые участники ансамбля, раз такое дело, перемигнувшись, прихватывали с собой бутылки с вином.

* * *

На трех переполненных легковых машинах ансамбль возвращался в Мухус. Когда садились в машины, произошло любопытное замешательство. Рядом с шофером первой машины сел, конечно, руководитель ансамбля Платон Панцулая. Рядом с шофером второй машины должен был сесть, как обычно, Пата Патарая. Он уже занёс было голову в открытую дверцу, но потом вытащил ее оттуда и предложил сесть дяде Сандро, случайно (будем думать) оказавшемуся рядом.

Дядя Сандро стал отказываться, но после вежливых пререканий ему все-таки пришлось уступить настояниям Паты Патарая и сесть рядом с шофером во вторую машину.

Было решено доехать до реки Гумисты, выбрать там место живописней и устроить завтрак на траве. Ехали весело,

с песнями. Нередко по дороге попадались ребятишки и тогда им из машины бросали конфеты и печенье. Дети кидались собирать Божий дар.

— Знали бы, с какого стола, — устало улыбались танцоры.

За Эшерами, там, где дорога проходила между зарослями папоротников, ежевики и дикого ореха, внезапно машинам преградило путь небольшое стадо коз. Машины притормозили, а козы, тряся бородами и пофыркивая, переходили дорогу. Пастушка не было видно, но голос его доносился из зарослей, откуда он выгонял отставшую козу.

— Хейт! Хейт! — кричал мальчишеский голос, волнуя дядю Сандро какой-то странной тревогой. Время от времени мальчик кидал камни, и они, хрястнув по густому сплетению, глухо, с промежутками падали на землю. И когда камень мальчика попал в невидимую козу, дяде Сандро показалось, что он за миг до этого угадал, что именно этот камень в нее попадет. И, когда коза, крикнув, выбежала из-за кустов и вслед на ней появился подросток и, увидев легковые машины, смущенно замер, дядя Сандро, холодея от волнения, все припомнил.

Да, да, почти так это и было тогда. Мальчик перегонял коз в котловину Сабида. И тогда вот так же одна коза застряла в кустах, и он так же кидал камни и кричал. Вот так же, как сейчас, когда он попал в нее камнем, она крикнула и выскочила из кустов, и следом за ней выскочил мальчик и замер от неожиданности.

В нескольких шагах от него по тропе проходил человек и гнал перед собой навьюченных лошадей. Услышав треск ку-

стов, человек дернулся и посмотрел на голубоглазого отрока с такой злостью, с какой на него никогда никто не смотрел.

В первое мгновение показалось, что ярость человека вызвана неожиданностью встречи, но и успев разглядеть, что перед ним только мальчик и козы, человек еще раз бросил на него взгляд, словно какую-то долю секунды раздумывал, что с ним делать: убить или оставить. Так и не решив, он пошел дальше и только дернул плечом, закидывая карабин, сползавший с покатога плеча.

Человек шел с необыкновенной быстротой, и мальчику почувствовалось, что он оставил его в живых, чтобы не потерять скорость. В руках у человека не было ни палки, ни камчи, и мальчику показалось странным, что лошади без всякого по-нуканья движутся с такой быстротой.

Через несколько секунд тропа вошла в рощу, и человек вместе со своими лошадьми исчез. Но в самое последнее мгновение, еще шаг — и скроется за кустом, он опять вскинул карабин, сползавший с покатога плеча, и, оглянувшись, поймал мальчика глазами. Мальчику почудился отчетливый шепот в самое ухо:

— Скажешь — вернусь и убью...

Стадо уже было далеко внизу, и мальчик побежал по зеленому откосу, подгоняя козу. Он знал, что роща, в которую вошел человек со своими лошадьми, скоро кончится, и тропа их выведет на открытый склон по ту сторону котловины Сабиды.

Когда он добежал до стада и посмотрел вверх, то увидел, как там, на зеленом склоне, одна за другой стали появляться навьюченные лошади. Восемь лошадей и человек, отчетли-

вые на зеленом фоне травянистого склона, быстро прошли открытое пространство и исчезли в лесу. Даже сейчас, на расстоянии примерно километра, было заметно, что лошади и человек идут очень быстро. И тут мальчик догадался, что этому человеку и не надо никакой палки или камчи, что он из тех, кого лошади и безо всякого понукания боятся.

Перед тем как исчезнуть в лесу, человек снова оглянулся и, тряхнув покатым плечом, поправил сползающий карабин. Хотя лица его теперь нельзя было разглядеть, мальчик был уверен, что он оглянулся очень сердито.

Через день до Чегема дошли слухи, что какие-то люди ограбили пароход, шедший из Поти в Одессу. Грабители действовали точно и безжалостно. Мало того, что их возле Кенгурска ждал человек с заранее купленными лошадьми, они сумели склонить к участию четырех матросов. Ночью они связали и заперли в капитанской каюте самого капитана, рулевого и нескольких матросов. Спустили шлюпки, на которые погрузили награбленное, и отплыли к берегу.

К вечеру следующего дня трупы четырех матросов нашли в болоте возле местечка Тамыш. Через день нашли еще два трупа, до полной неузнаваемости изъеденные шакалами. Было решено, что грабители поссорились между собой, и двое, оставшихся в живых, увезли груз неизвестно куда или даже погибли в болотах. И все-таки еще через несколько дней, уже совсем недалеко от Чегема, нашли труп еще одного человека, убитого выстрелом в спину и сброшенного с обрывистой атарской дороги чуть ли не на головы жителей села Наа,

упрямо расположившегося под этими обрывистыми склонами. Труп сохранился, и в нем признали человека, месяц назад покупавшего лошадей в селе Джгерды.

Чегемцы довольно спокойно отнеслись ко всей этой истории, потому что дела долинные — это чужие дела, тем более дела пароходные. И только мальчик с ужасом догадывался, что он видел того человека в котловине Сабиды.

Дней через десять после той встречи к их дому подъехал всадник в абхазской бурке, но в казенной фуражке, издали показывающей, что он, как нужный человек, содержится властями.

Всадник, не спешиваясь, остановился возле плетня, поджидая, пока к нему подойдет отец мальчика. Потом, вытащив ногу из стремени и поставив ее на плетень, всадник разговаривал с отцом мальчика. Отгоняя собак, мальчик вертелся возле плетня, прислушиваясь к тому, что говорили взрослые.

— Не видел кто из ваших, — спросил всадник у отца, — чтобы кто-нибудь с навьюченными лошадьми проходил по верхнечегемской дороге?

— Про дело слышал, — ответил отец, — а человека не видел.

— Да не по верхней, а по нижней! — чуть не крикнул мальчик, да вовремя прикусил язык.

Человек, продолжая разговаривать, нашел ногой стремя и поехал дальше.

— Кто это, па? — спросил мальчик у отца.

— Старшина, — ответил отец и молча вошел в дом.

И только глубокой осенью, когда они с отцом, нагрузив ослика мешками с каштанами, подымались из котловины

Сабида, а потом присели отдохнуть на той самой нижнече-
гемской тропе, чуть ли не на том же месте, он не удержался
и все рассказал отцу.

— Так вот почему ты перестал сюда коз гонять? — усмех-
нулся отец.

— Вот и неправда! — вспыхнул мальчик: отец попал в са-
мую точку.

— Что ж ты молчал до сих пор? — спросил отец.

— Ты бы только видел, как он посмотрел, — сознался маль-
чик, — я все думаю, как бы он не вернулся...

— Теперь его сюда на веревке не затащишь, — сказал отец,
вставая и погоняя ослика хворостинной, — но если бы ты сра-
зу сказал, его еще можно было поймать.

— Откуда ты знаешь, па? — спросил мальчик, стараясь не
отставать от отца. С тех пор как он встретился с этим челове-
ком, он не любил эти места, не доверял им.

— Человек с навьюченными лошадьми дальше одного дня
пути никуда не уйдет, — сказал отец и взмахнул хворостинкой:
ослик то и дело норовил остановиться, подъем был крутой.

— А ты знаешь, как он быстро шел! — сказал мальчик.

— Но никак не быстрее своих лошадей, — возразил отец
и, подумав, добавил: — Да он и убил этого последнего, потому
что знал — один переход остался.

— Почему, па? — спросил мальчик, все еще стараясь не от-
стать от отца.

— Вернее, потому и оставил его в живых, — продолжал
отец размышлять вслух, — чтобы тот помог ему навью-

чить лошадей для последнего перехода, а потом уже прихлопнул.

— Откуда ты знаешь это все? — спросил мальчик, уже не стараясь догнать отца, потому что они вышли на взгорье, откуда был виден их дом.

— Знаю я их гяурские обычаи, — сказал отец, — им лишь бы не работать, да я о них и думать не хочу.

— Я тоже не хочу, — сказал мальчик, — но почему-то все время вспоминаю про того.

— Это пройдет, — сказал отец.

И в самом деле это прошло и с годами настолько далеко отодвинулось, что дядя Сандро, иногда вспоминая, сомневался — случилось ли все это на самом деле или же ему, мальчишке, все это привиделось уже после того, как пошли разговоры об ограблении возле Кенгурска парохода.

Но тогда, после знаменитого на всю жизнь банкета, который произошел в одну из августовских ночей 1935 или годом раньше, но никак не позже, все это увиделось ему с необыкновенной ясностью, и он, суеверно удивляясь его грозной памяти, благодарил Бога за свою находчивость.

Об этой пиршественной ночи дядя Сандро неоднократно рассказывал друзьям, а после Двадцатого съезда и просто знакомым, добавляя к рассказу свои отроческие не то виденья, не то воспоминанья.

— Как сейчас вижу, — говаривал дядя Сандро, — все соскальзывает с плеча его карабин, а он все его зашвыривает на ходу, все подтягивает не глядя. Очень уж у того покатое плечо было....

При этом дядя Сандро глядел на собеседника своими большими глазами с мистическим оттенком. По взгляду его можно было понять, что, скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по нижнечегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае не нижнечегемским путем.

И все-таки по взгляду его нельзя было точно определить, то ли он жалеет о своем давнем молчании, то ли ждет награды от не слишком благодарных потомков. Скорее всего по взгляду его можно было сказать, что он, жалея, что не сказал, не прочь получить награду.

Впрочем, эта некоторая двойственность его взгляда заключала в себе дозу демонической иронии, как бы отражающей неясность и колебания земных судей в его оценке.

Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, меня лично наталкивает на религиозную мысль, что Бог затребовал папку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью.

9. рассказ мула старого хабуга

В то утро я ел траву в котловине Сабида, когда на гребне холма, разделяющего котловину на две части, появился мой старик. Рядом со мной паслось несколько лошадей и ослов, поодаль паслись коровы. Лошадь одного из наших соседей,

вздорного и глупого лесника Омара, была с жеребенком, и я, конечно, старался держаться поближе к нему. Мы, мулы, вообще обожаем жеребят, а я в особенности. Тем более этого жеребенка я дней сорок тому назад спас от волков. Но об этом я расскажу как-нибудь потом, хотя на случай, если потом рассказать забуду, кое-что расскажу и сейчас.

В тот раз мы так же паслись в котловине Сабида, только были гораздо ниже, в ложине. Я, как всегда, старался держаться возле жеребенка, потому что я от нежности схожу с ума, когда слышу запах жеребенка или вижу его длинноногую неуклюжую фигуру.

Два волка неожиданно выскочили из ольшаника, и все лошади и ослы бросились наутек. Я, конечно, тоже бросился бежать, но все-таки, несмотря на страх, я о жеребенке не забывал. И, когда на подъеме он начал отставать, я сам сбавил ход. Я понял, что оба волка стараются отрезать жеребенка от остальных лошадей и ослов. Ну, нет, решил я, пока я жив, вам не перегрызть его тонкую шею.

И вот все лошади и ослы уже впереди, а волки с обеих сторон настигают жеребенка. А я бегу рядом, и один волк уже между нами. Шерсть на шее вздыбилась, пасть оскалена, чувствую, выбирает мгновение, чтобы изловчиться и прыгнуть на шею жеребенка.

А на меня, между прочим, совсем не обращает внимания. Этим я и воспользовался. Как только он изловчился для прыжка, я примерился к нему, слегка развернулся и лягнул его правым задним копытом. После такого удара можно не ог-

лядиваться. Я с наслаждением почувствовал, как череп волка хрустнул под моим копытом.

Да, скажу я вам, это был толковый удар. Как потом оказалось, волк замертво свалился, и его в тот же день подобрал пастух Харлампо. Ударив этого волка, я, не оглядываясь, припустил за вторым. Я снова догнал жеребенка и обошел его с той стороны, где был второй волк. Но он, то ли заметив, что я сделал с его товарищем, то ли испугавшись, с какой неимоверной яростью я мчался на него, затрусил в сторону и скрылся в зелени рододендрона.

А между прочим, все остальные лошади и ослы, в том числе и кобыла этого жеребенка, были далеко впереди на гребне холма. Я бы тоже сейчас там мог быть, но ведь жеребенок сильно отстал на подъеме, не мог же я его оставить волкам. Правильно люди говорят: не та мать, которая родила, а та, которая воспитала.

Мы, мулы, вообще тем отличаемся, что очень любим жеребят. Ну, то, что мы умнее всех остальных животных, это всем давно известно. Но не все знают, что мы обожаем жеребят. И надо же, что именно мы их не можем иметь. Очень уж это несправедливо. Правда, до меня доходили слухи, что иногда мулицы рожают. Но сам я такого не видел. И потом непонятно, от кого они рожают, от мулов или от жеребцов.

Лично я даже среди мулов отличаюсь особенной любовью к жеребяткам. Ослята и человеческие дети мне тоже нравятся, ну, конечно, все-таки с жеребятками их не сравнить.

Так вот, если я чувствую, что жеребенку что-то угрожает, я прихожу в неслыханную свирепость. За свою жизнь, спасая жеребят, я убил двух волков, четыре лисы и затоптал восемь змей. Зайцев я даже не считаю. Могут мне сказать, что лиса не нападает на жеребенка. Правильно, в спокойном состоянии я сам это понимаю. Но когда я пасусь рядом с милым, беззащитным жеребенком, и вдруг между нами пробегает лиса, я теряю голову от бешенства. Если я пасусь рядом с жеребенком — не подходи и все! Что тебе, места мало, что ли?!

Больших, злых собак я тоже лягаю, когда они нападают на меня. Но людей — никогда. Правда, один раз я лягнул одного дурака, но за что? Я стоял себе привязанный к мельнице, а он подошел сзади и ни с того ни с сего поднял мой хвост. Одно дело, когда мой старик моет меня в ручье и подымает мой хвост, чтобы, плеснув туда воду, отодрать проклятых мух. Другое дело, когда к тебе подходит незнакомый человек и ни с того ни с сего задирает тебе хвост. Среди людей, между прочим, очень много глупцов попадается.

Вообще, по моим долгим наблюдениям, ум среднего мула гораздо выше ума среднего человека. И это понятно — почему. Человек, как хищное животное, в основном из мяса делает свое мясо. А мул из травы делает мясо. Из мяса сделать мясо каждый дурак сможет. А вот ты попробуй из травы сделать мясо — это, братец, куда сложнее.

Вот как дело обстоит. Но надо быть до конца справедливым. И эта справедливость велит мне признаться в том, что,

хотя ум среднего мула гораздо выше ума среднего человека, все-таки ум самых умных людей выше ума самых умных мулов. Это я вижу, когда честно сравниваю свой ум с умом моего хозяина. Да, мой старик в основном умнее меня, хотя и он иногда делает глупости.

И в том-то обида, что я редко могу поправить моего старика, когда он делает или говорит глупости. Понимать-то я прекрасно понимаю абхазскую речь, но сказать ничего не могу, потому что мул бессловесное животное.

Некоторые недалекие люди могут сказать, якобы поймав меня на слове:

— Как же ты все это рассказываешь, если ты бессловесное животное?

Поясняю для недалеких людей, как это происходит. Дело в том, что все, что я говорю, я мысленно рассказываю ангелам, а они все это заставят увидеть и услышать во сне одного из наших парней. А он уже, в свою очередь, расскажет об этом остальным людям. Ничего, ничего, не беспокойтесь, он это сделает как надо. Это уж точно, что он пограмотнее ваших писарей в чесучовых кителях.

Теперь, когда всем ясно, что и как получается, сразу же перехожу к рассуждению о собаках, чтобы потом не забыть. Дело в том, что у многих людей существует глупейшее заблуждение, что собака самое умное животное.

Просто людям приятно думать, что их имущество охраняет очень умное животное. Им так спокойней. Я об этом говорю не потому, что собаки часто бросаются на нас, хотя это то-

же кое-что говорит об их недалеком уме. Я же, например, не оспариваю, что собаки преданы своим хозяевам. Да, это и в самом деле так. Но то, что эту преданность они все время тычут в глаза, забывая о собственном достоинстве, тоже не признак ума.

Но главное не это. Если спокойно обдумать и взвесить все причины, по которым собака лает в течение одного дня, то невольно приходишь к мысли: а в порядке ли вообще у нее мозги?

Если, допустим, собака лаяла в день сто раз, хотя они обычно лают гораздо больше, так вот, если разобрать причины, по которым она лаяла сто раз, то окажется — только в одном случае ей надо было в самом деле лаять. А в остальных случаях ей вообще надо было спокойно сидеть или спать. А теперь представьте мула, который сто раз пошел на мельницу, чтобы один раз принести мешки с мукой, и сразу станет ясно, чего стоит ум собаки. Я думаю, теперь этот вопрос всем ясен, и дальше об этом говорить было бы все равно, что подражать бессмысленному собачьему лаю.

Так вот, мой старик появился на склоне котловины Сабиды, где я ел траву с другими лошадьми и ослами, и стал спускаться ко мне, громко крича:

— Арапка, Арапка!

Так он меня называет, хотя я не такой уж черный. Но я не обижаюсь, само по себе имя еще ни о чем не говорит. Между прочим, своего осла он тоже называет Арапкой. Но одно дело Арапка я — мул, и другое дело Арапка он — осел. Одно и то же имя, а звучит совсем по-разному.

Так вот, значит, мой старик приближался ко мне, громко зовя меня по имени, чтобы я обратил на него внимание. Но я сначала сделал вид, что не слышу его. Я всегда сначала так делаю, потому что раз уж он меня ищет, все равно мимо не пройдет.

Наконец я поднял голову и посмотрел на него. В одной руке он держал горсть соли, чтобы приманить меня, а в другой уздечку. Я понял, что предстоит дальняя дорога. Я это понял по тому, что его лицо было очищено от щетины. Всегда, когда предстоит дальняя дорога, он очищает свое лицо от щетины таким острым особым ножичком. Когда надо поехать в сельсовет, или на мельницу, или куда-нибудь к близким соседям, он лицо свое не очищает от щетины. А когда предстоит дорога в другое село или в город, он всегда очищает лицо. Так я понял, что предстоит дальняя дорога.

Мой старик осторожно подошел ко мне, словно я могу от него убежать куда-нибудь. Да куда я от тебя убегу, чужак. Не убегу я от тебя никуда, потому что ты мой хозяин, и я не хочу иметь никакого другого хозяина.

Он подошел ко мне, и я, подняв голову, но и не проявляя излишней жадности, ждал, когда он протянет мне ладонь с горстью крупной соли. И он протянул мне ладонь, и я выбрал оттуда вкуснейшую в мире соль, и, когда все прожевал и проглотил, он сунул мне в рот удила, перекинул уздечку над холкой и влез мне на спину.

Мы пошли к дому. Я в последний раз оглянулся на жеребенка, и, когда мы тронулись, он поднял голову и посмо-

трел мне вслед. О, если б я почувствовал в его глазах сожаление, что я покидаю его. Но нет, милый длинный рыжик равнодушно опустил голову и стал спокойно щипать траву. Неблагодарный, я же тебя спас от смерти, я же готов за тебя жизнь отдать, а ты ничего этого не понимаешь. Но кто его знает, может, он все-таки любит меня и только внешне не может это показать. Ведь разрешил он мне дважды подходить к нему и положить голову на гривку его трепещущей шеи. Что это были за сладчайшие минуты! Я шеей чувствовал, как под нежной шкуркой его шеи струится теплая кровь. Эта теплота передавалась моему телу, и я ощутил, как по нему растекается неслыханное блаженство. Правда, все это длилось не очень долго. Глупышка внезапно прервал то, что я считал нашим общим блаженством, и, фыркнув, отбежал от меня.

А второй раз, когда мы так стояли, он не прерывал блаженство, я думаю, все-таки почувствовал сладость нашей близости, но тут подошла его мать и отогнала меня. Я не стал сопротивляться, чтобы не обижать жеребенка, а то бы мог ее так укусить, что она взвыла бы на всю котловину Сабида. Взревновала, старая дура! Если ты так любишь своего жеребенка, почему ты оставила его позади и первая удирала от волков!

Мы подошли к дому моего старика. Он, наклонившись, толкнул калитку, и мы вошли во двор. Возле кухни мой старик спешился, вытащил удила из моего рта и привязал меня к перилам веранды. Я стал сильно волноваться. Дело в том,

что обычно перед большой дорогой мне выносят в тазу кукурузные початки, чтобы я подкрепился.

Но иногда не выносят, потому что просто забывают. И именно это ужасно обидно. Если бы они не выносили початки, потому что им жалко, было бы не так обидно. Но оттого, что они просто иногда забывают это сделать, бывает очень обидно.

Мой старик зашел в кухню и стал разговаривать со своей старухой. Из их разговора я понял, что мы идем к его сыну в город, где тот сейчас живет. Этот сын его Сандро живет в городе и зарабатывает на пропитание танцами. В жизни не слышал, чтобы за танцы человека кормили, поили и держали бы его под крышей. Никак этого понять не могу. Так каждому захочется танцевать, и тогда кто же будет пахать, сеять, собирать урожай?

Из разговоров моего старика со старухой я понял, что Сандро собирается покупать дом, но хочет, прежде чем купить его, посоветоваться со своим отцом. Вот старик и собрался в город. Старуха все время уговаривала моего старика склонить своего сына вернуться в Чегем, потому что в городе сейчас страшные дела происходят.

Я об этом слышал много раз: и когда был привязан возле сельсовета, и когда мы ездили на поминки в соседнее село, и на мельнице об этом же говорили, и я все расслышал, не смотря на шум мельничного жернова.

Там, в городе, одни люди хватают других людей и отправляют в холодный край, название которого я забыл. А иногда

просто убивают. А за что — никто не знает. Вроде бы думают, что они колодцы отравляют. Но что-то мне не верится. Мы со своим стариком много раз бывали в дальних дорогах и по пути нередко пили из колодцев и ни разу не отравились.

Я одного не пойму, почему все эти люди, прежде чем их схватят, никуда не бегут. Да что они, стреножены, что ли? Раз такое дело — бегите в горы, в леса, кто вас там отыщет?! Я и то в свое время сбежал от злого хозяина и пришел к своему старику. И ничего — обошлось.

Так вот, значит, старуха стала нудить моего старика, чтобы он уговорил сына вернуться в Чегем, а старик стал уверять, что такой бездельник, как Сандро, никогда не захочет менять свою дармовую городскую жизнь на сельскую. Тут они сильно повздорили, и я затосковал, решив, что теперь-то, конечно, забудут дать мне кукурузу.

— Хватит, — наконец гаркнул мой старик, — собери мне в дорогу поесть и дай моему мулу кукурузу.

Ай да мой старик, и тут про меня не забыл. Старуха, продолжая ругаться, что через него может погибнуть ее сын, вынесла мне целый тазик кукурузных початков. Штук десять, не меньше. Я стал отгрызать от кочерыжек вкусные золотистые зерна. Тут, как всегда, куры и петухи приблизились ко мне, ожидая, когда от початков будут отскакивать отдельные зерна. Я, конечно старался так аккуратно отгрызать зерна, чтобы от початков ничего не отскакивало. Да разве за всем уследишь. Все равно зерна иногда нет-нет и отскочат в сторону, и эти пустоголовые куры и петухи тут же склевывали их.

Я поел всю кукурузу, так что одни голые кочерыжки остались в тазу, а старик мой тоже поел и, выйдя на веранду, вымыл руки и рот. Он почему-то после еды всегда полоскает рот, чтобы отмыть его от остатков пищи. Странная привычка. Мне, наоборот, приятно, когда после вкусной еды во рту остаются кусочки пищи, тогда дольше помнишь ее приятность. Но мой старик всегда так делает. Видно, ему нравится забывать то, что он ел. А мне, наоборот, нравится помнить то, что я ел. Например, как сейчас кукурузу.

Вымыв руки и сполоснув рот, мой старик оседлал меня. Когда он начал натягивать подпруги, я, как всегда, раздул живот, и он, как всегда, ткнул меня кулаком, чтобы я выпустил воздух, а он как следует затянул подпруги. И что интересно — ни я никогда не забываю раздуть живот, ни он никогда не забывает ткнуть меня кулаком. Я все жду, забудет ли он когда-нибудь, что я раздул живот, но пока что не получается. Он все замечает.

Оседлав меня, мой старик в последний раз оглядел двор, чтобы убедиться, все ли на местах, не надо ли чего подправить или дать какой-нибудь наказ домашним. Убедившись, что здесь все как надо, он посмотрел на взгорье, где стоял дом его сына охотника Исы. Оглядев дом Исы и его двор и не найдя там никаких признаков бесхозяйственности, он посмотрел вниз, где недалеко от родника стоит дом его сына пастуха Махаза. И тут он обнаружил непорядок.

Дело в том, что мой старик терпеть не может, когда в его собственном доме или в домах его сыновей закрыта кухонная дверь. Он считает, что, по абхазским обычаям, ес-

ли хозяева дома, дверь кухни должна быть целый день распахнута.

Распахнутая дверь кухни означает, что хозяева всегда готовы принять мимоезжего всадника или прохожего, если ему захотелось выпить или поесть. А закрытая дверь кухни, особенно если над крышей подымается дым, означает, что тут живут скупые хозяева, которые боятся случайного гостя.

И вот старик мой, если он находится дома, без устали подслеживает за кухнями своих сыновей, чтобы они были все время распахнуты, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не подумал, что у него негостеприимные сыновья.

Но мало ли чего не бывает. То ли хозяйка за водой пошла, то ли на огород за зеленью или прополоть овощи, так она прикрывает дверь на кухню, чтобы туда куры или собаки не вошли. А мой старик, как увидит закрытую кухонную дверь, так и начинает кричать.

И сейчас он заметил, что у Маши, жены его сына Махаза, дверь на кухню закрыта.

— Эй, вы там у Маши, — закричал он вниз, — от кого это вы заперлись на кухне!

— Мама купается, дедушка, — закричала в ответ одна из дочерей тети Маши, — потому она закрылась!

— Чтоб ее водяной употребил, — пробормотал мой старик, — слыхано ль, чтобы женщина целыми днями плескалась.

Нет, конечно, Маша не имеет привычки целыми днями купаться. Просто старик терпеть не может, чтобы дверь какой-нибудь кухни была закрыта.

Наконец он взгромоздился на меня, и мы пошли.

— Верни моего сына! — крикнула ему вслед старуха.

— Чтоб язык твой отсох, — бормотнул мой старик и, наклонившись, открыл калитку, и мы вышли со двора.

Перед крутым склоном, выходящим к реке Кодор, мой старик остановил меня у дома своего дружка. Тот мотыжил кукурузу на своем приусадебном участке. Звали его Даур. Этот Даур оказался еще упрямей моего старика. На весь Чегем он единственный, кто еще не вступил в колхоз. Мой старик ревниво к нему приглядывается, все не может понять, правильно ли он сделал, что вступил в колхоз, или лучше бы держался, как этот Даур.

— Хороших тебе трудов! — крикнул мой старик.

— Добро тебе, Хабуг, — ответил Даур и, бросив мотыгу, пошел в нашу сторону. Он перелез через плетень и, подойдя к нам, поздоровался с моим стариком за руку.

— Спешься, выпьем по рюмке, — сказал Даур.

— Нет, нет, — ответил мой старик, — я так, мимоездом.

— Куда путь держишь? — спросил Даур.

— К сыну в город еду, — ответил мой старик.

— Все на своем муле, — вдруг сказал Даур, — я уж думал, тебя на лошадь пересадят, раз уж ты кумхозником стал.

И далась им эта лошадь. Вот люди, кто ни встретит, удивляются, почему мой старик ездит на мне, а не на лошади. Никак, болваны, не поймут, что потому-то он на мне и ездит, что я удобней и приятней лошади во всех отношениях.

— Я уж так на своем муле до смерти проезжу, — сказал мой старик и, вздохнув, добавил: — А кумхоз, что поделаешь, время заставило.

— Да, время, — вздохнул Даур в ответ.

— Ну, а что тебя, не теребят? — спросил мой старик.

— Опять вызывали в сельсовет, — сказал Даур, — сдается — новый налог придумали.

— Нет уж, от тебя не отстанут, — сказал мой старик.

— Эй, ты! — крикнул Даур в сторону дома. — Вынеси нам чего-нибудь горло промочить!

Я понял, что теперь они будут долго разговаривать, и стал потихоньку пощипывать траву возле приусадебного плетня.

— Ну, а что у вас в кумхозе? — спросил Даур.

— Эти болваны, — сказал мой старик, — придумали дурость под названием план. Табак еще не дошел, а по плану они его приказывают ломать. Сколько я им ни говорил — не слушаются. Попомни мое слово — гиблая это затея. Весной я им говорил: не надо спешить засеять низинку, надо дать земле просохнуть. Опять не послушались. Теперь там кукуруза не больше моей ладони.

— Я-то пока, слава Богу, хозяин на своей земле, — угрюмо сказал Даур.

Тут его старуха принесла графинчик чачи, две рюмки и очищенных орехов в тарелке. Они выпили и закусили. Старик мой, выпив рюмку и наглядно запрокинув ее, сказал свою обычную присказку:

— Чтобы этот кумхоз опрокинулся, как эта рюмка.

— Да прислушается Аллах к словам твоим, — поддержал его Даур.

Они выпили по три рюмки, и хозяин упрашивал моего старика выпить еще, но мой старик наотрез отказался, говоря, что он и так задерживается в дороге.

В самом деле, солнце уже поднялось на высоту дерева, а мы только до конца своего села дошли. Мне самому не терпелось идти, потому что траву возле забора я всю общипал, а когда попробовал прихватить кукурузный листик, высунувшийся между прутьями плетня, так этот одиноличник стукнул меня рукой по голове. Не очень больно, но обидно. Что ему этот листик кукурузы? Жадные они все-таки, одиноличники.

Честно скажу, в этом отношении колхоз мне больше нравится. Возьмем такой пример. Однажды соседский буйвол прорвал изгородь одного крестьянина, и мы за этим буйволом вошли в поле. Нас было три коровы, два осла и я. Мы совсем недолго лакомились кукурузными стеблями. Мы объели участок поля совсем небольшой, ну не больший, чем занимает обычный крестьянский дом. И вдруг нас обнаружил хозяин. Что тут было! Он чуть не убил нас! Он такой дубиной колошматил нас, что я чуть разум не потерял. Главное, всех бил, кого попало, хотя легко было догадаться, что только буйвол мог прорвать эту изгородь.

А в другой раз мы славно потравили колхозное поле. Между прочим, тот же буйвол прорвал забор. У его была такая привычка, если уж он подымает голову и в глаза ему попадают сочные кукурузные стебли, он так и прет на них,

и уже его никакая ограда не удержит. Ну, так вот, мы там славно попиروвали, может быть час, может быть больше. И только тогда нас заметил один колхозник. Правда, прогнать прогнал, а бить не бил. Так, только комья земли бросал в нашу сторону, чтобы мы ушли. Так где же после этого, я спрашиваю, более доброе, более сердечное отношение к животному? Конечно, в колхозном поле, а не на приусадебном участке. Вообще-то, честно говоря, в колхозе много глупостей делается, и мой старик прав. Но у них есть и хорошие стороны, и надо быть к ним справедливым.

Мой старик распрощался с Дауром, и мы стали спускаться по крутому склону вниз к Кодору. Я очень осторожно переступал ногами, чтобы не споткнуться самому или, не дай Бог, не сбросить вниз моего старика. Мелкие камушки так и сыпались из-под ног, и надо было следить в оба, чтобы каждый раз ставить ногу в надежное место.

Справа и слева от этого очень крутого спуска шли крестьянские дома, и оттуда беспрерывно нас облаивали большие и малые собаки. Хотя я на них совсем не обращал внимания, все-таки меня раздражал этот почти беспрерывный злобный лай. Хоть бы он имел какой-нибудь смысл! Мы ведь к вам во двор не заворачиваем, безмозглые твари, мы ведь только мимо, мимо проезжаем! Ведь можно же было понять, живя возле такой дороги, что здесь много народу проходит и всадников проезжает! Так нет, они каждый раз делают вид перед своими хозяевами, что им с большим трудом удалось отогнать грабителей от своего дома.

Несмотря на трудную дорогу и этот раздражающий лай, я все-таки успевал оглядеть дворы, надеясь увидеть, не мелькнет ли где-нибудь жеребенок. Но так и не заметил ни одного жеребенка. Такое пренебрежение жеребятами, я думаю, не только преступно, но и глупо. Скажем, вы не любите жеребят, но ведь из них вырастают лошади, об этом вы подумали? На чем вы будете ездить через несколько лет, если такое отношение к жеребьям продлится?

На середине спуска к реке Кодор нам повстречался странствующий еврей по имени Самуил. Он ехал на ослике сам и впереди погонял ослика с поклажей. Этот странствующий еврей из Мухуса привозит в Чегем разные городские товары и меняет их на деньги или деревенские продукты.

Поравнявшись с Самуилом, мой старик остановился. Тот тоже остановил своего ослика.

— Добром тебе, — сказал мой старик.

— Добром тебе тоже, Хабуг, — приветливо ответил Самуил.

— Что везешь к нам? — спросил мой старик.

— Ткани для женских платьев и мужских рубашек, — сказал Самуил, — галоши с загнутыми носками, какие обожают абхазцы, стекла для ламп, иголки для швейных машин, нитки, пуговицы, чуму, холеру и другую всякую всячину.

— Зайди к нашим, может, что-нибудь возьмут, — сказал мой старик, подумав.

— Обязательно зайду, — сказал Самуил.

— А что слышно в городе, куда я еду? — спросил мой старик.

— Лучше не спрашивай, Хабуг, — всплеснул руками Самуил, — в городе, куда ты едешь, людей берут каждую ночь, а иногда даже днем.

— Какую нацию сейчас больше всех берут, Самуил? — спросил мой старик.

— Что ты говоришь, Хабуг, — снова всплеснул руками Самуил, — разве сейчас есть такая нация, какую меньше берут?! Если была бы такая нация, я бы купил документ и вступил в эту нацию. А сейчас я хотел бы со своей семьей скрыться в Чегеме.

— Плохи дела, — сказал мой старик, — если ты, Самуил, торгующий человек, хочешь скрыться в Чегеме.

— Дела даже хуже, чем мы с тобой думаем, Хабуг, — сказал Самуил.

— Как ты думаешь, — спросил мой старик, — чего добивается Большеусый?

— Ни один человек в мире не знает, — ответил Самуил, — чего он этим добивается. Ученые люди голову ломают, чтобы понять это, но никто понять не может.

— Ученые люди не знают, — сказал мой старик, — зато я знаю, чего он добивается.

— Я знаю, что ты скажешь, — воскликнул Самуил, — есть люди, которые говорят, что он сошел с ума. Это не я так говорю, это люди так говорят.

— Нет, — твердо сказал мой старик, — он не сошел с ума.

— Я знаю, что ты думаешь, Хабуг, — воскликнул Самуил, — но умоляю, не говори об этом никому! Особенно в горо-

де, куда ты едешь! Сейчас никому нельзя доверять. Даже собственному мулу не доверяй своих мыслей!

Ну уж такой глупости я от Самуила никак не ожидал. Я не то чтобы предать своего хозяина, я жизнь готов за него отдать. Да если ты хочешь знать правду — животные вообще никого не предают. Предают только люди.

— Знаю, — спокойно сказал мой старик, — не то что в городе, я даже за Кодором не могу так сказать, потому что среди долинных абхазцев уже появились доносчики.

Так они поговорили еще немного и разъехались. Самуил — вверх, мы — вниз. Меня очень встревожил этот Самуил. Я даже стал опасаться за своего старика. После Кодора он обычно держит язык за зубами, но очень уж он уверен, что доносчики на эту сторону Кодора не перебрались.

Этот странствующий еврей Самуил впервые появился в Чегеме пять лет назад. До этого в Чегеме не было ни одного еврея, и многие чегемцы даже не подозревали о существовании такой нации. И они стали приходить в Большой Дом, чтобы поглазеть на Самуила, поговорить с ним, подивиться его знанию абхазского языка.

И только вздорный человек, лесник Омар, не ходил смотреть на Самуила и пытался отговорить остальных, чтобы они не ходили смотреть на него. Во время николаевской войны с Германией Омар служил в «дикой дивизии» и любил рассказывать о том, как они там в этой «дикой дивизии» рубили людей от плеча до седла. Но чегемцам давно надоели его рассказы, и никто не хотел его слушать. И теперь ему было обид-

но, что все бегут в Большой Дом послушать Самуила и посмотреть на него.

— Куда прете, куда, куда! — кричал он чегемцам с веранды своего дома, когда они шли знакомиться с Самуилом. — Вы здесь козий помет месили, когда я уже видел евреев!

— В Польше! В Польше! — надрывался он. — Страна такая! Там я видел их! Ничего особенного! Вроде армян! В Польше! В Польше!

Но чегемцы, не желая связываться со вздорным лесничим, молча проходили мимо его дома. И только один обернулся и спросил:

— А эндурцев ты там не видел?

— Эндурцев не видел, — ответил ему Омар, — врать не буду.

— Хорошо им там без эндурцев, — сказал этот чегемец и пошел дальше.

К эндурцам у абхазцев очень сложное отношение. Главное, никто не знает точно, как они появились в Абхазии. Сначала выдвигалось предположение, что их турки насылают на абхазцев. Считалось, что турки по ночам на своих фелюгах подплывают к берегу, высаживают их и говорят:

— А теперь идите!

— Куда идти? — как будто бы спрашивают эндурцы.

— Вон туда, — вроде бы говорят им турки и машут рукой в сторону Абхазии.

И вроде бы с тех пор эндурцы идут в Абхазию и идут, и конца и края им не видно. Но некоторые абхазцы оспарива-

ют такую версию. Они ссылаются на то, что эндурцы не знают турецкого языка, а если бы они были из Турции, то даже при всей своей дьявольской хитрости хоть один из них проговорился бы.

И чегемцы выдвинули другую версию. Они выдвинули такую версию, что эндурцы где-то в самых дремучих лесах между Грузией и Абхазией самозародились из древесной плесени. Вроде в царские времена это было возможно. А потом выросли до целого племени, размножаясь гораздо быстрее, чем хотелось бы абхазцам. А некоторые самые старые чегемцы говорят, что помнят времена, когда эндурцы в Абхазии не жили, а только иногда появлялись маленькими стайками, занимаясь к абхазцам то дом построить, то поле промотыжить.

— Вот тогда они и приглядывались, где, что и как у нас, — отвечали им более молодые чегемцы, — а вы думали — поле промотыжить...

Честно говоря, сам я не знаю, кто прав, но мне кажется, во всем этом есть некоторое преувеличение. Но я отвлекся от странствующего Самуила. Больше всего он поразил чегемцев тем, что говорил по-абхазски.

— Ты абхазский еврей, — спрашивали у него чегемцы, — или ты еврейский абхаз?

— Нет, — отвечал им Самуил, — я еврейский еврей.

— Тогда откуда ты знаешь наш язык? — удивлялись чегемцы.

— Я двадцать лет торговал в абхазских долинных селах, — сказал Самуил, — но мне там сейчас запретили тор-

говать. Потому что большевики там открыли магазины и хотят, чтобы люди покупали в этих магазинах то, чего люди не хотят покупать. А того, что они хотят покупать, в магазинах нету.

— Это мы знаем, — сказали чегемцы, — но ты нам объясни, Самуил, где находится родина вашего народа?

— Наша родина там, где мы живем, — отвечал Самуил. Этот ответ Самуила показался чегемцам чересчур простоватым, и они решили его поправить.

— Уважаемый Самуил, — сказали ему чегемцы, — ты наш гость, но мы должны поправить твою ошибку. Родина не может быть в любом месте, где человек живет. Родина — это такое место, по нашим понятиям, где люди племени твоего сидят на земле и добывают свой хлеб через землю.

— У-у-у, — промолвил тогда Самуил (так рассказывает чегемцы) и закачался, сидя на стуле, — такая родина у нас была, но у нас ее отняли.

— Кто отнял, — спросили чегемцы, — русские или турки?

— Нет, — отвечал Самуил, — не русские и не турки. Совсем другая нация. Это было в незапамятные времена. И это все описано в нашей священной книге Талмуд. В этой книге описано все, что было на земле, и все, что будет.

Чегемцы никогда не думали, что есть такая книга. И они сильно заволновались, узнав об этом. И они сразу же решили узнать у Самуила о своей будущей судьбе.

— Тогда не мучь нас, Самуил, — взмолились чегемцы, — скажи нам, что написано в этой книге про эндурцев.

— Я не читал, — сказал Самуил, — я торгующий еврей, но есть евреи ученые, у них надо спросить.

Тут чегемцы слегка приуныли, понимая, что ученый еврей навряд ли до них когда-нибудь доберется. И они стали задавать Самуилу разные вопросы.

— Ответь нам на такой вопрос, Самуил, — спросили чегемцы, — еврей, который рождается среди чужеродцев, сам от рождения знает, что он еврей, или он узнает об этом от окружающих наций?

— В основном от окружающих наций, — сказал Самуил и добавил, удивленно оглядывая чегемцев: — Да вы совсем не такие простые, как я думал.

— Да, — закивали чегемцы, — мы не такие простые. Это эндурцы думают, что мы простаки.

Чегемцы задавали Самуилу множество разных вопросов, и он наконец устал. И он им сказал:

— Может, вы у меня что-нибудь купите или будете все время задавать вопросы?

— Мы у тебя все купим, раз ты к нам поднялся, — отвечали чегемцы, — по нашим обычаям было бы позорно ничего у тебя не купить.

И они у него все купили, и Самуил был вполне доволен чегемцами. Но на обратном пути у него получилась осечка. Оказывается, Самуил, большой знаток торговых дел, ничего не знал о том, как распределяются блага чегемских гор и лесов. И этим воспользовался Сандро, который провожал его из села.

Была осень, и Самуил сказал, что хотел бы заготавливать чегемские каштаны и продавать их в городе.

— Пожалуйста, — сказал ему Сандро и показал на каштановую рощу в котловине Сабида, — вот эта роща до самой речки в глубине лощины моя, а за речкой уже чужая. Я тебе свою рощу продам, а ты найми греков в селе Анастасовка, и они приедут со своими ослами, соберут тебе каштаны и доведут до самой машины, идущей в город.

И тогда они стали торговаться, но Сандро его и тут перехитрил.

— Что ты со мной торгуешься, — сказал он Самуилу, — я тебе за эти же деньги не только продам рощу, но буду и сторожить ее до твоего приезда. А то сейчас самый сезон. Того и гляди налетят греки и армяне, и от твоих каштанов ничего не останется.

— Тогда согласен, — сказал Самуил, — сторожи мои каштаны, а я дней через десять приеду.

— Будь спокоен, — отвечал Сандро, — я даже ни одного дикого кабана не подпущу к твоей роще.

— Не подпускай, — сказал Самуил, — а я найму греков с их ослами и приеду.

— Только ни одному человеку не говори, что я тебе продал каштановую рощу, — попросил его Сандро, — потому что у нас ужасно не любят, когда чужакам продают каштановые рощи.

— Кому ты это говоришь, Сандро, — удивился Самуил, — торговый человек умеет хранить секреты.

Через десять дней Самуил приехал с греками, и они стали ему собирать каштаны, и он им платил за каждый мешок. И когда они, обобрав всю рощу, спустились до речки, Самуил спросил у них, не знают ли они, где сейчас находится хозяин каштанов, растущих по ту сторону речки.

Греки, услышав слова насчет хозяина каштанов, бросили свои мешки и стали смеяться над Самуилом. И Самуилу это очень не понравилось.

— Мне удивительно слышать ваш смех, — сказал Самуил, — интересно, вы меня наняли работать или я вас?

— Хозяин, — сказали греки, наконец перестав смеяться, — конечно, ты нас нанял работать и платишь нам за это деньги. Но нам смешно слышать, что каштаны по ту сторону речки кому-то принадлежат. По местным обычаям это считается лес, лес! А то, что человек собрал в лесу, оно ему и принадлежит.

— А по эту сторону речки, — встревожился Самуил, — каштаны тоже никому не принадлежат?

— Да, — радостно подтвердили греки, — и по эту сторону речки каштаны никому не принадлежат, и сама речка никому не принадлежит... Хочешь, ставь на ней мельницу...

— Мельницу мне незачем ставить, тем более в таком месте, — сказал Самуил задумчиво, — но я считал, что каштаны кому-то принадлежат, раз их продают на базаре.

Так Сандро его обманул когда-то, но Самуил ему простил этот обман, потому что все равно выручил за каштаны хорошие деньги, да и привык во время приездов в Чегем останавливаться в доме моего старика.

...Одним словом, расставшись с Самуилом, мы продолжили свой спуск к реке Кодор. Наконец, когда этот крутой склон мне здорово надоел, мы выбрались на ровное место, где уже хорошо был слышен шум реки. Но тут мы подошли к дому одного грузина, тоже дружка моего старика. Мой старик оставил меня и заглянул во двор. Я тоже заглянул во двор в надежде увидеть жеребенка, но никакого жеребенка во дворе не оказалось. Двор был полон индюками и поросятами.

Под тенью лавровишни на коровьей шкуре лежал дружок моего старика. Увидев нас, он встал и, громко поздоровавшись, стал приближаться к нам. Я понял, что опять начнутся разговоры, и, не теряя времени, стал есть траву на обочине дороги. Хозяин вышел из калитки и, подойдя к моему старику, поздоровался с ним за руку. После этого он довольно насмешливо оглядел меня, и я понял, что он сейчас что-нибудь про меня скажет. Так оно и оказалось.

— Мир перевернулся, — сказал, улыбаясь, хозяин дома, — а ты, Хабуг, как сидел на своем муле, так и сидишь.

— Как сидел, так и буду сидеть, — отвечал мой старик твердым голосом.

Молодец мой старик. Что мне в нем нравится, так это то, что никто его не может сбить с толку. Если уж он что-то сам решил, так пусть хоть всем селом наваливаются на него, но все равно будет делать по-своему. И главное, все знают, что он самый умный в Чегеме старик, все знают, что он своими руками нажил самое большое хозяйство, все знают, что у него была дюжина лошадей, но он выбрал меня.

Так неужели вам не ясно, что если человек во всем умнее вас, так, значит, и в том, что он мула предпочел лошади, проявился его ум. Этим болванам кажется, что, если абхазец сидит на муле, а не на лошади, он себя унижает. Но мой старик лучше всех знает цену любимому животному. Другой бы на его месте, если б ему столько говорили против мула, послушался людей и, расставшись со мной, отбивал себе печенку на тряской лошади.

Ну, так вот. Дружок моего старика предложил ему спешиться и посидеть у него в доме за столом. Мой старик опять отказался, сказав, что он торопился в город. Тогда хозяин окликнул свою хозяйку и та принесла чайник вина, два стакана и чурчхели на закуску.

И они, конечно, стали пить и закусывать. Честно говоря, в моем старике тоже немало смешных странностей. И тут и там он наотрез отказался зайти в дом, ссылаясь на спешку, а сам пьет и закусывает, сидя верхом на мне. Это называется — он спешит. Раз уж ты решил перекусить, так сойди с меня, дай и мне передохнуть.

— Как дела в вашем кумхозе? — спросил мой старик.

— Да вот все эвкалипты сажаем, — отвечал хозяин.

— Что это еще за эвкалипты? — удивился мой старик.

— Это заморское дерево такое, — отвечал хозяин, — на дрова не годится, а плодов от него не больше, чем приплода от твоего мула.

Опять меня задел.

— Так зачем же вы его сажаете? — спросил мой старик.

— Велят, — отвечал хозяин, — они говорят, что эвкалипт будет комаров отпугивать.

— Да зачем же их отпугивать? — спросил мой старик.

— Они так считают, что от укусов комаров человек малярией болеет.

— Вот бараньи головы, — удивился мой старик, — что ж они не знают, что малярию гнилой туман нагоняет?

— Не знают, — сказал хозяин, разливая вино по стаканам, — да ведь против них не попрешь: власть...

— Да, не попрешь, — согласился мой старик и, выпив вино, наглядно опрокинул стакан.

— Чтoб этот кумхоз опрокинулся так, как я опрокинул этот стакан, — сказал мой старик.

— Дай тебе Бог, — согласился хозяин и снова налил вино в стаканы.

Ладно, думаю, отведи душу, поговори, пока мы не доехали до Кодора, если уж ты уверен, что доносчики все никак не решаются переправиться через Кодор. Но страшно подумать, если доносчики уже на этой стороне Кодора, а мой старик все еще мелет, что ни придет на язык.

На той стороне Кодора он ведет себя потише. Нет, он и там запрокидывает стакан, но говорит при этом не прямо, а намеком. Но я-то знаю, что он то же самое имеет в виду.

Они выпили еще по два стакана, и хозяин спросил у моего старика, как идут дела в их колхозе. Тут мой старик, чтобы быть понятней ему, перешел на грузинский язык, который я почти не понимаю. Но мне и так ясно было, про что он будет говорить.

Между прочим, мой старик кроме абхазского языка знает еще грузинский, турецкий, греческий. С армянами он разговаривает на турецком языке. Он только не знает русского языка, потому что русские живут в городе, а мы там редко бываем. По-русски он знает только одно слово: дуррак. По-абхазски это слово означает — никчемный, жалкий человечешко. Иногда, когда мой старик злится на кого-нибудь, он вставляет это слово, и люди, которые спорят с ним, теряются, не зная, что ему ответить.

Наконец они попрощались, и мы пошли дальше.

— Эвкалипт, — бормотал мой старик, вспоминая это чудное слово, — они думают, лучше Бога знают, где какому дереву расти положено.

От возмущения мой старик сплюнул и даже выпустил задом лишний воздух. Интересно, что, когда я выпускаю лишний воздух, он всегда недовольно ворчит, а когда он это делает, я совсем не обижаюсь. Я никак не пойму, что тут обидного для него. Зачем я лишний воздух должен держать при себе, он же мне мешает дышать? Смешных странностей у моего старика до черта.

Мы стали подходить к реке. Шум ее с каждым мгновением усиливался, и я почувствовал, что начинаю волноваться. Дело в том, что я терпеть не могу переходить через всякие там мостки, стоять на досках паррома, когда знаешь, что под этими досками проносится бешеная вода.

Если бы мне дали выбор: проходить по мосту или вброд через ледяную воду, то я бы выбрал брод, если, конечно, вода

не слишком большая. Насколько я знаю, лошади и ослы тоже так устроены. Мы любим всегда под ногами чувствовать твердую землю. А когда нет под ногами твердой земли, у меня какое-то неприятное чувство. Душа обмирает, а тело сопротивляется, оно не доверяет вещам, которые стоят на воде или висят в воздухе.

Когда мы подошли к реке, там уже стояли какой-то крестьянин с нагруженным ослом и еще два человека. Одним из них был охотник с собакой. Но эта собака меня не тревожила, потому что охотничьи собаки довольно разумные существа, они почти не лают и совсем не кусаются.

Меня немного успокоило, что на берегу стоял ослик с поклажей. Все же как-то легче, когда ты не один должен взбираться на паром. От волнения у меня пересохло в горле, и я потянулся к воде, чтобы напиться. Мой старик отпустил поводья, и я нарочно отошел подальше от этих людей, которые ждали паром. Я боялся, что старик мой воспользуется последней возможностью почесать язык на этом берегу и заговорит с кем-нибудь из них о колхозе. А вдруг кто-нибудь из них доносчик с того берега, а только делает вид, что собирается переправляться туда? Чтобы подольше отвлекать моего старика, я долго-долго пил холодную мутную воду Кодора. Ослик, увидев, что я пью воду, тоже вспомнил, что ему хочется пить и потянулся к воде. Но хозяин его не пустил. Я-то понимал, что ослик волнуется, как и я, но его глупый хозяин этого не понимал.

А между тем с той стороны реки паром уже приближался. К слову сказать, сколько я ни напрягал свой ум, а у меня, сла-

ва Богу, есть что напрягать, я никак не мог понять, какая сила движет паром поперек реки. Ведь вода его толкает по течению, а он прет против течения. По-моему, это самая удивительная загадка. Я так думаю, что люди тоже не понимают, почему паром движется против течения, но делают вид, что это им давно известно. И что я еще заметил — в середине реки, где течение сильнее всего толкает его вперед, он именно там быстрее всего движется против течения.

Паром все приближался и приближался, и я чувствовал волнение не только оттого, что предстояло перейти в него. Меня еще волновало, кто первый взойдет на паром, я или ослик. Мне, конечно, не хотелось идти первому. По справедливости, раз ослик сюда пришел первым, он первым и должен взойти на паром.

Я чего боялся больше всего — это выдержат ли мостки, ведущие от берега к парому. Я, конечно, тяжелее ослика. Но ослик с поклажей пудов на шесть будет потяжелее меня. И я решил, что если мостки выдержат ослика с поклажей, то они выдержат и меня.

Меня беспокоило еще вот что. Я заметил, что одна доска на мостках треснула как раз там, где был вбит гвоздь в перекладину. Так что гвоздь этот с одной стороны ее совсем не держал. При переходе на паром эта доска вполне могла соскользнуть с перекладки, и тогда ослик или я обязательно сломали бы ногу. И главное, столько мужчин стоит тут в ожидании парома, и ни один из них не обратил на это внимания. И конечно, в конце концов только мой остроглазый

старик, как всегда, заметил непорядок. Мой старик слез с меня, взял хороший камень, отодвинул треснутую доску, вытащил из перекладины гвоздь, выпрямил его, поставил доску на место и там, где она была целой, вбил гвоздь по самую шляпку.

Но вот послышался скребущий звук железной веревки, на особом колесике скользящей по перекинутой через реку другой железной веревке, и паром боком уперся в мостки. Там было человек восемь людей и ни одного животного, так что непонятно было, выдержат меня мостки или нет.

Как я надеялся, первым пустили ослика. Но хозяин ослика перепутал все мои расчеты. Он сначала снял с ослика оба мешка и перетащил их на паром. Мостки под ним слегка прогибались, но выдержали. К сожалению, он перетаскивал мешки по одному. Если бы он сразу перетащил оба мешка, я бы меньше волновался. Ведь такой солидный упитанный мул, как я, весит гораздо больше человека с одним мешком.

Перетащив мешки, человек взял под уздцы своего ослика и стал тянуть его на мостки. Ослик стал изо всех сил упираться, очень уж он не хотел идти. Но ведь все равно идти надо, никуда не денешься. Хозяин его упрямо тянул, а тут еще охотник несколько раз огрел ослика прикладом своего ружья. Наконец бедняга осторожно взошел на мостки, а потом спрыгнул на паром.

Теперь была очередь за мной. Я собрал все свое мужество, и, когда мой старик, взойдя на мостки, слегка натянул пово-

дья, я поставил ногу на доску и, не ждя, чтобы какой-нибудь бродячий охотник бил меня сзади прикладом, взошел на мостки и тихонько спрыгнул на паром. Все стали хвалить меня за ум и смелость. Мне, конечно, приятно было это слышать. Ну, ум мне дала сама природа, тут особой моей личной заслуги нет, а вот чтобы мужественно держать себя, пришлось напрячь всю свою волю.

Паромщик оттолкнулся багром, и наша посудина медленно, а потом все быстрее и быстрее пошла на тот берег. Я стоял на дне парома, стараясь не шевелиться и не переступить ногами, чтобы доски днища не обломились подо мной. Старик мой расплатился с паромщиком, мы кое-как вышли на берег и пошли дальше.

Мы пришли в село Анастасовка. Там у сельсовета стояла железная арба под названием машина. На ней многие люди ездят в город и обратно. Я раньше никак не мог понять, на какой силе двигаются эти машины. Но потом догадался. Однажды мы с моим стариком проходили через село Джгерды. И там я увидел одну машину, стоявшую на улице у ручья. Хозяин ее набрал из ручья полное ведро воды и влил в машину. Потом сел в нее и поехал. Я понял, что эти машины двигаются на водяной силе, как мельничные жернова.

Когда мы проходили мимо машины, старик мой взглянул на нее и сказал:

— Железа-то у вас будет много, а вот откуда вы мясо возьмете, хотел бы я знать...

Это большое место моего старика. Дело в том, что он был лучший скотовод Чегема. Сейчас у нас тоже кое-что есть, но раньше было очень много скота. В лучшие времена, говорят чегемцы, у моего старика было столько коз и овец, что, когда их перегоняли на летние пастбища, бывало, головные уже за три километра на чегемском хребте, а задние еще топчутся в загоне. Вот сколько у него было скота.

А ведь начинал он с одной-единственной козы. В Чегеме тогда еще никто не жил. Он первым приехал в Чегем, попробовал местную воду, и она ему так понравилась, что он решил здесь поселиться.

Он тогда только вернулся из Турции, куда многих абхазцев загнали, кого силком, кого обманом. И у него ничего не было. Только юная жена, один ребенок и эта коза. Ее одолжил ему какой-то родственник, чтобы ребенка можно было поить молоком.

В первый же год он на жирной чегемской земле собрал такой урожай кукурузы, что купил на нее небольшое стадо овец и коз. А через двадцать лет упорных трудов мой старик уже имел все — и детей, и хозяйство, и огромный закон для скота. И дом его был полная чаша, и гостей, бывало, полон двор, так что жена его и пять дочерей едва успевали их обслуживать. А молока было столько, что его обрабатывать на сыр не успевали и сливали собакам.

Да, да, держал пастухов! Ну и что? За три года работы пастух получал тридцать коз, после чего мог уйти и заводить собственное хозяйство. А у вас колхозник за три года и трех коз не заработает. Вот как!

Иногда я вижу своего старика совсем молоденьким, только-только испившим ледяную чашу чегемского родника, утирающимся рукой и решающим: здесь буду жить! Так и стоит он передо мной: небольшого роста, широкоплечий, горбоносый, упорный, с могучей неукротимой мечтой в глазах.

А теперь что? А теперь всем колхозом они не имеют столько скота, сколько он один тогда имел. Пустомели, все по ветру пустили! То-то же моему старику и обидно. И теперь иногда на лице моего старика бывает такая горечь, что у меня душа разрывается от жалости к нему. Эта горечь на лице его означает: кончилось крестьянское дело. Но иногда он все же надеется, что эти безумцы образумятся и снова каждый крестьянин заживет сам по себе.

Мы продолжали идти по дороге. Я поглядывал по сторонам, где виднелись зеленые дворики, в надежде увидеть какого-нибудь жеребенка. Во дворах паслись телята, свиньи, куры, индюшки, а жеребят не было видно.

Попомните мое слово. Если с жеребятами дальше так пойдет дело, Абхазия останется без лошадей. Или они думают готовых лошадей привозить из России? Не верится что-то. Да и не годятся громоздкие русские лошади для наших гор.

Все же я надеюсь, что на такой длинной дороге нам где-нибудь встретится жеребеночек.

Вдруг из одной проселочной дороги выехал на улицу всадник. Остановив свою лошадь, он из-под руки оглядел

нас, как бы силясь узнать, кто мы, хотя я могу поклясться всеми жеребятами, которых я любил в своей жизни, что он сразу нас узнал. Это был известный лошажник из села Анхара по прозвищу Колчерукий.

Старик мой поравнялся с ним, они поздоровались и поехали рядом. От Колчерукого я ничего хорошего не ожидал. Так оно и получилось.

— До чего ж тебя кумхоз довел, — закричал Колчерукий, хотя мы от него были в двух шагах и мой старик, слава Богу, прекрасно слышит, — что ты на муле стал разъезжать.

Нарочно так говорит, хотя прекрасно знает, что старик мой всегда ездит на муле.

— Я, — спокойно ответил ему мой старик, — и до кумхоза сидел на муле, и, Бог даст, после кумхоза буду сидеть на муле.

— Знаю, знаю, — засмеялся Колчерукий, — просто так, к слову сказал.

— Хороша под тобой лошадка, — вдруг ни с того ни с сего брякнул мой старик.

— Да уж, — отвечал Колчерукий хвастливо, — еще не настолько мне задурили голову, чтобы я в лошадях перестал разбираться.

Я как услышал слова моего старика насчет этой лошадки, так сразу почувствовал, что у меня горло перехватило. Да что хорошего в ней, я спрашиваю? Все крутит головой, все норовит куда-то в сторону зарыситься, якобы от избытка сил и не-

терпения. Да это же сплошное притворство и обман! Пусть она, как я, пройдет от Чегема до Мухуса, простоит там голодная всю ночь, а на следующий день вернется обратно. Вот тогда бы вы посмотрели, рысит она в сторону от нетерпения или шатается, как чучело под ветром!

Горько все-таки. Если ты ведешь себя как солидный мудрый мул и не беспокоишь хозяина дерганьем и кривляньем, так они считают, что в тебе лихости мало. Но ничего не поделаешь, так устроен этот мир — мудрость всегда обречена на неблагодарность окружающих.

— Ну, а как дела у вас в кумхозе, — спросил мой старик, — эвкалипты еще не сажают?

— Нет, — сказал Колчерукий, — что это еще за эвкалипты?

— Это такое заморское дерево, — ответил мой старик, — сейчас его всюду сажают, чтобы комаров отпугивать.

— А чего это комаров отпугивать, — удивился Колчерукий, — уж лучше пусть они мух отпугивают, а то совсем мою лошадь заели.

— Они так считают, что комары плодят малярию, — сказал мой старик, — хотя каждый знает, что малярию плодит гнилой туман. В низинных селах, где бывает гнилой туман, там и болеют малярией. А комаров и у нас в горах полно, а малярией никто не болеет. Такой простой вещи уразуметь не могут, а берутся перевернуть всю нашу жизнь.

— Это и ребенка ясно, — согласился Колчерукий, — нет, у нас эвкалипты не сажают. У нас с ума сошли на чае. Чай повсюду разводят.

— Чай? — удивился мой старик. — Наши отцы и деды отродясь чай не пили. Чай пьют русские. Вот пускай они его и разводят себе.

— Говорят, у русских для чая земля не годится, — отвечал Колчерукий, — вот они и решили приспособить нашу землю для чая.

— А где же они его брали раньше? — спросил мой старик. — Ведь русские без чая и дня прожить не могут.

— А разве ты не знаешь? — ответил Колчерукий. — Они его у китайцев покупали.

— Так что ж, китайцы теперь перемерли, что ли? — спросил мой старик.

— Нет, китайцы не перемерли, — отвечал Колчерукий, — но это целая история. Но я тебе, так и быть, расскажу, потому что ты преданный нашему народу человек, хоть и сидишь верхом на муле.

Опять Колчерукий попытался меня задеть. Но мой старик ничуть не смутился.

— Еще бы, — сказал мой старик, — рассказывай, а мы, слушающая тебя, глядишь, скоротаем дорогу.

— Так вот, — повторил Колчерукий, — китайцы не перемерли. Скорее весь мир перемрет, чем китайцы перемрут, до того они живучие. Но китайский царь передал нашему Большуусому, что больше не будет русских поить чаем, потому что они убили царя Николая вместе с женой и детьми.

— Что ж китайский царь, — удивился мой старик, — только опомнился? Русского царя вон когда еще убили.

— Ты что ж, не знаешь шайтанскую хитрость Большеусого? Он же китайского царя все время обманывал. Он говорил ему, что русский царь вместе со своей семьей живет у него в Кремле и получает наркомовскую пенсию. То в Кремле живет, то на курорте. А больше нигде не живет.

Но тут вмешались англичане. Они сказали китайскому царю: «Ты что, не видишь, что Сталин тебя обманывает. Ты пошли в Россию доверенного человека, и, если русский царь жив, пусть они покажут ему».

И тогда китайский царь написал Большеусому, что он посылает к нему доверенного человека. И если этот человек увидит живого царя Николая, тогда он, китайский царь, снова будет посылать русским чай — пусть пьют, пока не лопнут.

«Хорошо, — отвечал Большеусый китайскому царю, — присылайте человека, хотя мне обидно, что вы мне не верите».

И вот приезжает доверенный китаец и его приводят в Кремль, где как будто рядом с домом Большеусого стоит дом царя Николая. И как будто Николай ему рассказывает, как прежняя власть управляла людьми, а Большеусый ему рассказывает, как теперешняя власть управляет людьми. И как будто они так сдружились между собой, что их дети целыми днями вместе играют и бегают внутри Кремля. И вроде бы они уже сами путают, где чей ребенок. Вроде дело до того дошло, что Большеусый, когда у него хорошее настроение, подзывает к себе своего ребенка, чтобы дать ему конфету. А тот оборачивается и оказывается сыном царя Николая. Но он все равно дает ему конфету.

«Да подойди ты, — говорит ему Большеусый, — не бойся, она не отравленная».

Вот до чего как будто бы они сроднились. Вводят, значит, этого китайца в кремлевский дом и показывают на какого-то человека, точка в точку похожего на царя Николая. А рядом с ним вроде сидят жена и дети.

Китаец долго на них смотрит, а они на него. А помощники Большеусого ждут, что скажет китаец.

«Ты царь Николай?» — спрашивает китаец у этого человека.

«Да, я царь Николай», — довольно бодро отвечает этот человек.

«А это твоя жена?» — спрашивает китаец, показывая на женщину.

«Да, — так же бодро отвечает этот человек, — она и есть моя жена».

«А это твои дети?» — спрашивает китаец и почему-то пристально оглядывает детей.

«Да, — уверенно отвечает этот человек, — это мои дети».

«Ты точно знаешь, что это твои дети?» — снова спрашивает китаец и снова пристально смотрит на детей.

«Что я, не знаю своих детей, что ли?» — вроде бы обижается этот человек, точка в точку похожий на царя Николая.

Тогда китаец, глядя на помощников Большеусого, говорит: «То, что царь Николай за пятнадцать лет не постарел, вы можете объяснить тем, что Сталин ему устроил хорошую жизнь. Но чем вы объясните, что за пятнадцать лет дети царя не выросли?»

Тут помощники Большеусого растерялись, покраснели, побледнели, не знали, что сказать. Тут-то они докумекали, что второпях дали маху, забыли, что дети растут, но было уже поздно. Тык-мык, а сказать нечего.

«Сами удивляемся, — говорят они, — мы их кормим, поим, а они почему-то не растут?»

«Выходит, царские дети, — говорит китаец, — при Советской власти не растут?»

«Выходит», — соглашаются помощники Большеусого.

«Выходит, они превратились в лилипутов?»

«Выходит», — подтверждают помощники Большеусого.

«Нет, — говорит китаец, — не выходит. Вы — плохие. Вы — мошенники. Вы убили царя Николая и его детей».

«Как же так, — возмущаются помощники Большеусого, — мы ничего не понимаем. Тогда объясни нам, кто этот человек и эти дети?»

«Это не царь, — говорит китаец, — это переодетый чекист. А это не царские дети, это дети чекистов».

Тогда помощники Большеусого говорят китайцу: «Ну, хорошо. Возможно, получилась ошибка. Ты посиди пока в другой комнате, а мы между собой посоветуемся, как быть».

Китайца отвели в другую комнату, а эти начали между собой советоваться. И вот что они решили. Они решили дать китайцу тысячу золотых николаевских десятков, чтобы он своему царю сказал, что видел настоящего царя Николая. И они вошли в комнату, где сидел китаец, и сказали ему об этом.

«Вы дураки, — ответил им китаец, — вы даже до сих пор не знаете, что китайцы взяток не берут».

Тут Колчерукого перебил мой старик:

— Неужто не берут?

— Да, — говорит Колчерукий, — оказывается, китайцы взяток не берут.

— Как же они свои дела устранивают? — удивился мой старик.

— Никто понять не может, — отвечает Колчерукий, — вот такие они, китайцы! Упрямые!

— Ну, а дальше что было? — спрашивает мой старик.

— А дальше было вот что. Помощники Большесого опять вышли и стали между собой советоваться. Правда, я не знаю, звонили они Большесому или сами между собой решили. Тот, кто рассказывал эту историю, сам об этом не знает, а я ничего прибавлять не хочу. И так они, значит, снова входят к китайцу в комнату и говорят:

«Если ты не скажешь китайскому царю, что видел настоящего русского царя, мы тебя уьем. А к твоему царю пошлем нашего советского китайца, и он ему скажет все, как мы хотим. И китайский царь ему поверит, потом что все вы, китайцы, на одно лицо».

«Ничего не выйдет, — отвечает им китаец с улыбкой, — потому что мой мудрый китайский царь все предвидел. И когда он посылал меня к вам, он сказал мне тайное слово, которое я должен повторить, когда приеду к нему во дворец. И это слово вы никакими пытками меня не заставите сказать. Поэтому мой царь изобличит вашего фальшивого китайца».

Тут помощники Большеусого совсем приуныли и пришлось им обо всем рассказать хозяину. Большеусый пришел в неслыханную свирепость, а сделать ничего не может. Потому что убить доверенного китайца нельзя — придется воевать с Китаем. А воевать нельзя, потому что китайцев, оказывается, даже больше, чем русских.

— Неужто больше, чем русских? — подивился мой старик.

— Да, — уверенно сказал Колчерукий, — сами русские это признают.

— Чем только они кормятся? — проговорил мой старик.

— А у них все в ход идет, — сказал Колчерукий, — жучки, паучки, червячки. Они все едят, а потом все это чаем запивают, и ничего.

— Так чем же кончилась эта история с китайцем? — спросил мой старик.

— А вот чем кончилась, — отвечал Колчерукий. — Большеусый вызвал этого доверенного китайца и говорит ему: «Страна у меня большая, и не всегда знаешь на одном конце ее, что делается на другом. А помощники у меня глупые, что им ни скажешь, все перепутают. Я им сказал: „Берегите царя и его семью“, а они все перепутали и расстреляли их».

«Они мне фальшивого царя показали», — сказал китаец.

«Насчет фальшивого царя не беспокойтесь, — отвечал ему Большеусый, — я прикажу его расстрелять вместе с его фальшивой женой. Можешь так и передать своему царю».

«Это хорошо, — сказал китаец, — но мой царь больше не будет пить русских чаем, потому что он будет горевать за русского царя и его семью».

С тем, значит, доверенный китаец и уехал. Вот с тех пор и решил Большеусый разводить чай на нашей земле, чтобы от китайцев больше не зависеть.

— Это все политика, — сказал мой старик.

— Да, да, политика, — согласился Колчерукий. Тут Колчерукий стал заворачивать на проселочную дорогу и очень удивился, что мы туда не заворачиваем.

— Ты что, разве не туда едешь? — спросил Колчерукий.

— Я еду в город, — отвечал мой старик, — а ты куда едешь?

— Я еду на оплакивание Карамана, — ответил Колчерукий, — я думал, и ты туда едешь.

— Как, злозодый Караман умер? — удивился мой старик. Похотливых людей наши абхазцы называют злозодыми.

— Да, умер, — отвечал Колчерукий, — и умер через свою злую задницу.

— В последний раз он вроде бы привел какую-то русскую в дом? — сказал мой старик.

— Точно, — ответил Колчерукий, — прямо на ней и умер.

— Да откуда ты знаешь, — удивился мой старик, — неужто она сказала?

— Нет, — ответил Колчерукий, — она только ночью прибежала к сыновьям и сказала, что отец их умер. А сыновья рядом живут. Они пришли в дом и увидели, что отец их ничком

лежит на постели в таком виде, что стало ясно, чем он занимался в свои последние минуты.

— Тьфу! — сплюнул мой старик. — Умереть ничком, как бешеная собака, убитая выстрелом?! Может, у других народов и принято умирать ничком, но только не у нас. Настоящий абхазский старик лежа ничком никогда не умирает. Настоящий абхазский старик умирает лежа на спине, в чистой рубашке, окруженный близкими. А этот жил, как кобель, и умер, как кобель. Что ж меня горевестники не известили?

— Видно, не успели, — ответил Колчерукий, — его только послезавтра хоронят.

— Все же я его оплачу, — решил мой старик, — хоть и порченным он был человеком.

Тут мой старик повернул меня на проселочную дорогу, и мы пошли к дому этого Карамана. Мне это дело очень не понравилось. Если мой старик так будет останавливаться всю дорогу, мы никогда до города не доедем.

— Я тебе скажу, Колчерукий, — продолжал мой старик, — мужчина после семидесяти лет должен забыть про женщину. А самые мудрые еще раньше забывают. Мужчина после семидесяти лет считается по нашим обычаям стариком. А старик должен блюсти чистоту. Он не должен грязнить свою постель женщиной. Дело старика следить за честью семьи, честью рода, честью села и честью племени своего. Тем более в наше время, когда бесчестие нависло над нашим домом и грозит очумить нас позором. Говорят, среди долинных абхазцев уже

появились доносчики, которые рассказывают властям то, о чем мы говорим в нашем доме, на нашем поле, на нашей сходке. Куда подевались абхазские мужчины, я спрашиваю, почему по нашему славному древнему обычаю доносчикам не отрезают уши и языки?!

— Ого-го, — сказал Колчерукий, — слишком многие остались бы без языка и ушей. Но вот ты, Хабуг, говоришь, что после семидесяти мужчина грязнит постель женщиной. Так ведь все от природы зависит. Иной как раз в старости делается особенно злопадым. Что ж такому делать, если ему невтерпеж?

— Чушь! — сказал мой старик и опять сплюнул. — Пусть в руки возьмет топор или мотыгу, и быстро забудет про женщину. У некоторых стариков протухают мозги, кровь плохо движется в теле и застревает в паху, а он, дурак, думает, что у него молодость наступила.

И потом — это грех. Грех вливать в женщину прокисшее стариковское семя, грех против будущего ребенка. Если от дурного зерна на поле вырастет хилый стебелек кукурузы, ты его срежешь мотыгой. А ведь ребенка не убьешь. К слову, выродили они чего-нибудь или нет?

— Сын, говорят, — отвечал Колчерукий, — но сам я его не видел. Он эту молодку подобрал пять лет назад, когда начался голод на Кубани, и оттуда хлынули люди, чтобы спастись от голода. Вот тогда он ее и приманил в свой дом за пару помидоров и кусок чурека. А потом, откормившись, отмывшись, она ему так приглянулась, что он ее сделал своей же-

ной. Сыновья пытались стыдить и отговаривать его от женитьбы. Они даже пугали его, говорили, что это женщина без роду, без племени, может отравить его, чтобы прибрать к рукам хозяйство. Да разве злозадного Карамана кто остановит! «Молчите, — отвечал он им, — выблядки! Я трех жен затоптал и эту затопчу!»

Да не тут-то было. Эта русская молодка, как только отъелась, оказалась до того злозадой, что сама затоптала его. Вот он и вытянул ноги, кое-как продержавшись пять лет.

— Жил, как скотина, и умер, как скотина, — сказал мой старик.

И вот что удивительно. Мой старик презирает этого Карамана, а все-таки едет на его оплакивание. Так уж он устроен. Очень уважает обычаи. Но, слава Богу, дом этого Карамана оказался недалеко. Вскоре мы к нему подошли. Ворота были распахнуты, а во дворе толпилось множество народу. Гроб с покойником стоял возле дома под небольшим навесом. С той стороны гроба выглядывали ближайшие родственницы и плакальщицы. Справа возвышалось помещение, крытое огромной плащ-палаткой. В нем устраивают поминальное застолье для приехавших оплакивать покойника.

Нас встретил молодой парень, по-видимому, один из сыновей этого Карамана. Он провел нас к коновязи. Мой старик и Колчерукий спешили. Парень этот хотел взять у моего старика поводья, но мой старик их не дал ему и, вынув изо рта у меня удила и прикрепив поводья к седлу, сказал:

— Пусть мой мул попасется... У меня дальняя дорога...

— Хорошо, — сказал этот парень и, привязав лошадь Колчерукого, повел его вместе с моим стариком на оплакивание.

Недалеко от гроба стоял столик, на котором оставляют шапки, папахи и башлыки. Мой старик и Колчерукий положили свои шапки на столик и, стоя возле него, ждали своей очереди. У наших такой обычай, что в шапке нельзя оплакивать покойника, как будто бы покойнику не все равно, в шапке ты или не в шапке. Но таков обычай, и все блюдут его.

Дождавшись, когда оплакивающий у гроба был отведен в сторону, мой старик, ударяя себя руками по голове, двинулся к покойнику. Сзади его слегка придерживал за бока особый человек, приставленный для этого дела. Вообще, как я понимаю, смысл такого сопровождения заключается в том, чтобы удерживать оплакивающего от слишком буйных и опасных для его жизни проявлений горя. Ну, например, чтобы он не бился головой о гроб. И это, конечно, понятно, когда умирает хороший человек и оплакивают его близкие люди. Но дело в том, что ко всякому покойнику всякого оплакивающего сопровождает такой человек. В том числе и к такому несолидному покойнику, как этот Караман. И вот, зная все, что мой старик говорил о нем, не смешно ли думать, что мой старик может покалечить себя в приступе отчаянья при виде трупа Карамана?

— Ох! Ох! Ох! — стонал мой старик, продолжая бить себя по голове и стоя у гроба. — Зачем ты нас покинул, Караман?

Женщины, родственницы покойного, торчавшие из-за гроба, отвечали на слова моего старика дружным рыданьем, я думаю, таким же искренним, как и рыдания моего старика. Нет, мой старик не обманщик. То, что он думал о Карамане, он уже сказал, а теперь он просто выполняет обряд оплакивания. Такой уж он — чтит обычаи.

— Ты видишь, Караман, — рыдая, говорили плакальщицы, — старый Хабуг пришел проститься с тобой, даже не дождавшись горевестника...

— Ох! Ох! Ох! Бедный Караман, — довольно глупо повторял мой старик, видно, ничего больше из себя не мог выдать, — отчего ты покинул нас?

А то ты не знаешь, отчего он вас покинул? Что ж ты забыл, что он через свою злозлость и вытянул ноги?!

Так мой старик, не слишком убиваясь, поплакал с минуту, а потом был отведен приставленным к нему человеком к своей шапке, а оттуда, уже нахлобучив ее на голову, он бодро отправился в поминальное помещение выпить свои несколько стаканов и закусить.

Я чего боюсь. Как бы он там не начал опрокидывать свой стакан и показывать, что будет с колхозом, забыв, что мы уже по эту сторону Кодора.

Я, конечно, пользуясь тем, что меня не привязали, ел траву. Десяток лошадей, стоящих у коновязи, косились на меня и умирали от зависти. Еще бы! Ведь ни одной из них не позволили вольно попасть в этом углу двора. Мой старик мне доверяет, и недаром. Я ведь, в отличие от некоторых глупых

лошадей, не стану бродить между людьми и не выйду за ворота. Я буду здесь пастись, объедая каждый клочок травы, пока за мной не придет мой старик.

Пока я ел траву, рядом со мной прошла большая хозяйская собака, но я не стал за ней следить, потому что собаки, когда во дворе собирается много людей и животных, падают духом и не решаются ни лаять, ни кусаться. А меня, между прочим, обилие людей никогда не смущает. Но, с другой стороны, у меня вообще нет такой глупой привязанности, как обланывать живые существа. Слава Богу, мои обязанности значительно сложнее и почетней.

Возле меня появился белоголовый мальчик лет четырех с большим куском хачапури в руке. Я догадался, что это сын Карамана от русской. Абхазские дети такими белоголовыми не бывают. Видно, кровь у этой русской оказалась посильней, чем у этого Карамана, потому что мальчик пошел в нее. За этим мальчиком присматривала девочка лет двенадцати, явно из наших. Я понял, что это, скорее всего, внучка Карамана присматривает за его сыном. Ну разве это не смешно? Получается, что внучка в три раза старше сына. Ни одно животное, скажу я вам, не способно так запутать законы природы, как человек. Этот мальчонка долго и внимательно наблюдал за тем, как я ем траву. Видно, впервые видел мула. Ну что ты любишься мулом, белоголовый русачок, подумал я, ты ведь сам муленок. Ты ведь сын старого абхазского осла и молодой русской кобылицы. Вот и получается, что ты сам муленок.

Малыш продолжал молча смотреть на меня. А потом, — видно, я ему очень понравился — подошел ко мне и протянул мне свой кусок хачапури. Я не стал ломаться и, осторожно взяв у него из руки этот кусок, съел его. Хачапури оказался очень вкусным, и я был от всей души благодарен мальчику. До этого я несколько раз видел хачапури, но никогда не пробовал. Надо же, чтобы я впервые попробовал хачапури во дворе этого злозадного Карамана из рук русского мальчика. Как говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Между прочим, после этого я внимательно пригляделся к мальчику и не заметил в нем никакой худосочности или уродства. Мальчик как мальчик, только головенка беленькая. Или мой старик погорячился насчет прокисшего старческого семени, или это скажется потом. Будем надеяться, что мой старик ошибся на этот раз. Надо сказать, что мать этого мальчика я нигде не углядел. Сдается мне, что сыновья Карамана, стыдясь людей из-за ее молодости, припрятали ее куда-нибудь на время оплакивания и похорон.

Наконец мой старик, довольно хорошо взбодрившись поминальными стаканами, подошел ко мне, освободил поводя и взгромоздился на меня. Мы вышли за ворота. Люди продолжали подходить, а из поминального помещения доносился гул возбужденных голосов, доходящих по нашим понятиям до неприличия. Не знаю, может, у других народов на поминках принято петь и плясать, но только не у наших. У наших принято пить поминальные стаканы

в тишине, слушая мудрую речь того, кому предоставлено говорить. А эти разгуделись. Но, с другой стороны, если подумать, разве этот старей похотливец заслужил почтенные поминки?

Мы прошли проселочную дорогу, вышли на улицу и двинулись дальше. Мы долго шли по улице, и несколько раз навстречу нам ехали машины, а некоторые из них, обдавая нас клубами пыли, обгоняли нас. Я все время озирался по сторонам, стараясь разглядеть на улице или где-нибудь во дворе жеребенка. Но жеребята не попадались. Вдоль улицы паслись ослы, свиньи в большом количестве, иногда коровы и буйволы, а жеребята не попадались.

Несколько раз навстречу нам показывались верховые, и к моему большому удовольствию, ни один из них не оказался знакомым моего старика, и он ни разу не остановил меня. О том, что нас ни один всадник не обогнал, не может быть и разговоров, я бы этого никогда не позволил. Мой старик меня любит не только за плавный ход, но также за очень бодрый шаг. Ну, разумеется, если кто-нибудь пустится сзади галопом, он нас опередит. Но это не в счет. Верховое животное ценится за бодрый и плавный шаг. А бег — это забава для людей, и при этом довольно грубая. Видывал, бывал со своим стариком на скачках. Очумелые ребяташки верхом на своих лошадях носятся по кругу. Дикость и больше ничего.

Мы проехали село под названием Эстонка. Здесь живет национальность под названием эстонцы, а кто они на самом

деле, никто не знает. Но живут тихо, нашим не мешают. Вообще, о них мало что известно.

Одно только известно, что они разводят огромных коров, которые дают в день по двадцать литров молока. Но нашим абхазцам такие коровы ни к чему. Нашему абхазцу неприятно возиться с такой коровой. Она его унижает своей несамостоятельностью. Эти эстонские коровы по горам ходить не могут и сами себя не прокармливают. То и дело приходится их кормить, подмывать, держать в чистом сухом помещении.

Нет, нашим такие коровы ни к чему. У абхаза совсем другой подход. Скажем одна эстонская корова дает двадцать литров молока, а абхазская корова, скажем, два литра, хотя на самом деле она может дать до четырех литров. Но будем считать два, это яснее покажет глупость другого понимания выгоды. Эстонец от одной коровы имеет двадцать литров, а абхазец заводит десять коров и имеет те же двадцать литров. Эстонец целый день крутится возле своей коровы, а у абхаза всех-то дел — утром открыть ворота скотного двора и выпустить их, а вечером, когда они придут, снова впустить их.

Так что же выгодней — целый день возиться с одной коровой и иметь двадцать литров или то же молоко получать от десяти коров и не иметь с ними никакой возни? А теперь возьмем со стороны мяса. Ясно, что тому, кто имеет десять коров, проще прирезать телка, чем тому, кто имеет одну корову.

Но теперь пришел колхоз, и абхазцам не разрешают держать больше трех коров. Ну, наши, конечно, пока исхитряются там, где живут подальше от начальства. Но сколько ни хитри, а власть тебя все равно перехитрит, на то она и власть. И никто понять не может, кому мешает скотина, почему ее не дают разводить. Ведь ясно же каждому, чем больше у крестьян скотины, тем больше мяса в город попадет. Им же выгодно, а они этого почему-то не понимают. Потому-то и говорит мой старик: «Железа-то у вас будет много, а вот откуда вы мясо возьмете, хотел бы я знать...»

Становилось жарко. Солнце приближалось к середине неба. Я это понимал и не подымая головы, потому что тень моя топталась подо мной. В одном месте возле развесистого куста ежевики мой старик спешил и ушел за кусты. Я понял, что вино прошло сквозь него и ему захотелось помочиться. Я тоже помочился, воспользовавшись тем, что он отошел. Обычно ему почему-то неприятно, если я на ходу мочусь. Поэтому я на ходу стараюсь сдерживаться, если не слишком подпирает. Когда я на ходу освобождаюсь от навоза, ему тоже бывает неприятно, но совсем по другой причине.

Дело в том, что люди ценят наш навоз. Нет, нет, не только мулов, хотя у мулов, конечно, навоз получше, но и других животных. Для людей это почти золото. От нашего навоза земля жиреет и передает свой жир растениям полей и огородов. Крестьяне были бы счастливы, если бы мы только ночью на скотном дворе освобождались от навоза. Так ведь не подгада-

ешь, чтобы тебе захотелось только на скотном дворе, хотя и там мы им оставляем немало добычи.

В одном месте из калитки выскочила мерзкая собачонка и с визгливым лаем долго бежала за мной. Ей очень хотелось укусить меня за заднюю левую ногу, но она и не решалась укусить и не отставала, подлая тварь. Конечно, я бы мог ее одним ударом копыта отбросить в сторону, но это означало бы признаться, что она выводит меня из себя. А это унижительно для такого солидного мула, несущего на себе такого человека, как мой старик.

Пришлось сдерживаться изо всех сил, пока эта собачонка не отстала от меня. Я почувствовал, что мои нервы перенапряглись, а сердце закололо. Вот так ничтожная тварь может вывести из равновесия. Когда настоящая, большая собака лезет на тебя, хоть это и неприятно, но это борьба. Тут — кто кого. Подойдет слишком близко — садану копытом. И она это знает, и я это знаю. А эта зудит, зудит, зудит за тобой, и связываться с ней унижительно и терпеть ее невозможно.

Видно, Господь Бог решил вознаградить меня за мои страдания. Не успели мы отъехать от этой собачонки на сто шагов, как из проселочной дороги выехала телега, запряженная кобылой, рядом с которой бежал ослепительной красоты жеребенок. Он был белый, как облачко, с длинными, разъезжающимися ногами и чудной гривкой, которую так и хотелось прикусить и потрепать, но, разумеется, не больно.

Телега выскочила на дорогу впереди нас, и я незаметно ускорил шаг, чтобы быть все время рядом с жеребенком. Я постарался ускорить шаг незаметно, чтобы мой старик ни о чем не догадался. Он, конечно, знает о моей страсти к жеребяткам, но я стараюсь, чтобы это не бросалось в глаза. Наверно, ему обидно думать, что я еще кого-то люблю, кроме него. Понимает ли он, чудак, что это разная любовь?

Моим стариком я горжусь, а к жеребяткам испытываю сумасшедшую нежность. Я купаюсь в наслаждении, когда глаза мои смотрят на них, а ноздри, процедив все остальные запахи, доносят их аромат до самого дна моей души.

Этот чудный, этот потешный жеребенок то шел рядом со своей матерью, то отставал, принохиваясь на дороге к чему-то непонятному. Потом вдруг, опомнившись и взбрыкнув на несуществующего врага, бежал вперед, развевая хвост и обгоняя телегу.

В одном месте, когда он обогнал телегу, через улицу переходило стадо гусей. Жеребенок, увидев их, так и застыл от изумления. Видно, он впервые увидел гусей. Одна гусыня проходила совсем близко от него и он, наклонив голову, хотел поближе рассмотреть ее, может быть, даже понюхать, чем она пахнет. Он же не знал, дурачок, что гусыня ничем хорошим пахнуть не может. То, что жеребенок наклонился к гусыне, страшно не понравилось одному гусяку. Гусак, вытянув шею, как змея, ринулся на жеребенка. Бедняга от неожиданности так перепугался, что вспрыгнул на месте на всех ногах, а потом развернулся и дал стрекача к матери. Ну чего ты испугался, дурошлеп!

Удрал от гусака, жеребенок подбежал к матери с нашей стороны, так что я его видел теперь совсем близко, и меня так и обволокло его сладким запахом. То ли с испугу, то ли еще отчего, он стал на ходу тыкаться в соски кобылы. Наверное, от волнения или потому, что мешала телега, он никак не мог поймать губами сосцы, хотя очень старался, вытянув свою длинную шею. Кобыле, конечно, тоже трудно было подставить ему сосцы (я ее ни в чем не виню), она все старалась не ударить его ногой по мордочке, а он все тыкался, и в конце концов она сбилась с ноги, и тогда человек, сидевший на телеге, гаркнул:

— Ну, ты!

С этими словами он изо всех сил хлестнул кнутом жеребенка! Я увидел своими глазами тонкую полоску, след от кнута на нежной спине жеребенка. Он взвизгнул от боли и помчался вперед. Растерявшаяся кобыла тоже понеслась. А я, потеряв голову от гнева, рванулся за ними, чтобы закусать и затоптать этого живодера.

— Ты что, сбесился! — крикнул мой старик, и сам огрел меня кнутом по спине.

Я не почувствовал боли, но опомнился, и мне стало стыдно, что я потерял голову. Да ведь я все равно не смог бы достать зубами этого негодяя.

— Старый мул, — пробормотал мой старик, — так и будешь до смерти бегать за жеребятами?!

Я почувствовал, как от стыда кровь ударила мне в голову. Да, мне стыдно за свою страсть, но ведь мне от этих же-

ребят ничего не надо. Только любоваться ими, только слышать их запах. Если б этот живодер не ударил кнутом жеребенка, мой старик не догадался бы, за кем я, тайно наслаждаясь, слежу.

Телега, пылившая впереди, снова свернула на проселочную дорогу, и в последний раз мелькнул беленький жеребенок. Я вздохнул и отвернулся. Да, да, конечно, моя страсть не по возрасту. Мул моего возраста и, смело добавлю, моего ума, конечно, должен держаться солидной. Я дал себе слово, чтобы угодить моему старику, больше не обращать внимания ни на одного жеребенка, если они попадутся на нашем пути. Конечно, если хватит сил. Во всяком случае, я постараюсь.

То, что я в порыве гнева рванулся за этим негодяем, напомнило мне другой мой порыв. В отличие от этого, хоть и бессмысленного, но доброго, тот был порывом дикого страха, который привел меня к самым черным дням моей жизни.

В тот пригожий осенний день мы с моим стариком возвращались с мельницы. Мой старик из любви и уважения к моей мудрости никогда не нагружал меня мешками. Так что впереди нас топал ослик, навьюченный мешками с мукой, а старик мой сзади ехал на мне и погонял ослика.

Мы уже взяли самый изнурительный напскальский подъем и шли по ровной тропе, проходившей сквозь каштановую рощу. Изредка, наклоня голову, я успевал хватать попадавшие каштаны. Я это старался делать, не замедляя хода, чтобы не раздражать моего старика. Отчасти из-за этих кашта-

нов все получилось. Из-за них и из-за ослика, хотя главную вину я с себя не снимаю.

Дело в том, что ослик шел впереди, и он подбирал самые лучшие и самые близко от тропы лежавшие каштаны. В сущности, он подбирал почти все каштаны, а мне оставались только случайные. И это вызывало во мне зависть и дурной азарт. Я от этого забылся, я только думал, как бы не пропустить какой каштан.

Слева от нас вдруг послышался сильный треск в кустах черники, и я мгновенно почему-то решил, что там медведь. Он же очень любит чернику. От ужаса, сломя голову, я пустился по тропе. Старик мой вскрикнул и от неожиданности свалился с меня. От этого я окончательно потерял голову и бежал, и бежал, и бежал. Так я пробежал с километр и наконец опомнился и остановился. Только теперь я осознал, что я наделал.

Вспоминая, что случилось, я содрогался от стыда, раскаянья и позора. Медведь? Какой медведь?! Разве я видел медведя?! И как я, старый болван, забыл, что в это время года никакой ягоды нет и медведю в кустах черники нечего делать. Может, чья-то корова заблудилась или, в крайнем случае, косуля хрюстнула веткой. А я бежал, сбросив с себя своего старика. Ужас! Ужас! И что еще дополнительно обжигало меня мучительным унижением, это то, что все это произошло на глазах у ослика, который не поддался страху и никуда не убежал.

В самом мрачном состоянии души, не зная, что случилось с моим стариком, я стал возвращаться. Я решил, что, если обнаружу труп моего старика, брошусь со скалы и разобьюсь.

Как раз тут рядом напскальский спуск и там обрыв метров на сто. Но если он остался жив, думал я, пусть он меня три дня бьет палкой, и пусть я до конца своей жизни не увижу ни одного жеребенка.

И вот я вернулся и увидел, что мой старик сидит на земле, а ослик (Позор! Позор! Он все видел!) спокойно похаживает возле него и осторожно, чтобы не уколотся о колючие коробочки, из которых каштаны еще не выскочили, вытаскивает их оттуда и ест.

— А-а-а, вернулся, волчья доля, — сказал мой старик, заметив меня.

Понурился, я подошел к нему и стал рядом с ним. Он с большим трудом встал, и я понял, что он повредил ногу. Проклиная меня на все лады, он кое-как взобрался на меня, согнал ослика на тропу, и мы двинулись домой. Я чувствовал перед своим стариком ужасную вину и готов был нести любую кару. Меня как-то тревожило, что мой старик меня ни разу не ударил.

И вот мы дома. Старик мой остановил меня у самой кухни. Кряхтя, он слез с меня и крикнул домашним:

— Расседлайте эту волчью долю!

Сильно хромая, он вошел в кухню. С ослика сняли мешки, расседлали его, а потом расседлали и меня. Нас пустили пастись во двор, но мне трава в горло не лезла, и я так уж, по привычке, через силу ел ее.

На другое утро ослика выпустили со двора, и он вместе с другим скотом ушел пастись в котловину Сабида, а меня

оставили во дворе. Я чувствовал, что это знак какого-то предстоящего наказания, но какое наказание предстоит, я не знал.

И от этого было очень тоскливо. Если бы мой старик меня побил или, лишив еды, запер в сарай, было бы не так тоскливо.

Так три дня в полном неведении я проторчал во дворе. Мой старик ко мне не подходил. Только внуки его, мальчик и девочка, дети его сына Кязыма, пытались иногда меня утешать. Но у меня было такое плохое настроение, что я ничем не мог ответить на их доброту и ласку.

На четвертый день на некрасивой кобыле в наш двор въехал знакомый моего старика. Он жил совсем в другой деревне. Меня охватило самое зловещее предчувствие. Я живо вспомнил, как этот человек встречался в прошлом году с моим стариком и упрашивал его продать меня. Тогда мой старик, конечно, наотрез отказался продавать меня.

И вот почему-то именно этот человек сейчас приехал к нам. Он спешился, привязал лошадь, и они вместе с моим стариком вошли в кухню. Все-таки у меня еще была маленькая надежда, что этот человек приехал сюда случайно. Я не слышал, чтобы мой старик за ним кого-нибудь послал. Они долго оставались в кухне, и я сильно волновался от неизвестности.

Но вот они вышли из кухни и стали подходить ко мне, и сердце у меня замерло. Они подошли ко мне и остановились возле меня. Мой старик сказал, что я во всех отношениях великолепный мул. Что ход у меня ровный и быстрый, а выносливость выше всяких похвал. И он сказал, что прода-

ет меня только потому, что сильно осерчал на меня за то, что я сбросил его по дороге с мельницы.

Как ни горько мне было слышать это, все-таки я не мог не подивиться его гордости. Ведь мог скрыть, что я его сбросил, но не захотел. Гордый. Через эту проклятую гордость, я думаю, он и продать меня решил. Как это так, он упал с мула, да еще на глазах у ослика. Может, не окажись этого дрянного ослика, он бы меня не так страшно наказал.

Не знаю, за сколько они сговорились, но мой старик продал меня. Шею мне обвязали веревкой, человек этот взял за конец ее и сел на свою кобылу.

Все домашние вышли провожать меня, и старуха, жена моего старика, столько раз кормившая меня кукурузой, причитала по мне, как по мертвому:

— Бедный Арапка, бедный Арапка!

И жена Кязыма, сына моего старика, говорила:

— Бедный Арапка, неужели мы тебя больше не увидим?!

А дети ее, милые дети, обнимали меня, целовали и плакали. И только мой старик не посмотрел на меня, и я старался не смотреть в его сторону, потому что сердце мое разрывалось от горя и обиды.

Моему новому хозяину открыли ворота, и он выехал на своей кобыле, ведя меня за собой на веревке. Мы долго шли к нему домой. Я знал, что счастья в моей жизни больше не будет никогда. Но живое существо, пока оно живет, будь то человек или животное, ищет себе какое-нибудь утешение. И я, шагая за этой тряской, низкозадой кобылой, думал, что,

может быть, у нее есть дома жеребенок. И этот жеребенок, думал я, будет последним утешением в моей горестной судьбе.

Часов через десять мы въехали во двор моего нового хозяина. Он отвязал от моей шеи веревку и пустил пастись. Я быстро оглядел двор. Тут было полно кур, паслась пара телят, но никакого жеребенка не оказалось. Я тайно следил за кобылой, не ищет ли она кого глазами, но кобыла ничего не искала, и было неясно, есть у нее жеребенок или нет. Но я все еще не терял надежды. Я думал, что жеребенок может пастись на выгоне с домашним скотом.

Кобылу расседлали и выпустили на волю. Меня оставили во дворе. До вечера я пасся во дворе, ожидая, что, когда вечером скотина вернется домой, жеребенок придет вместе со своей матерью.

Но вот пришел вечер, коровы подошли к воротам скотного двора и, мыча, стали просить выпустить к ним телят. Телята тоже своим матерям отвечали мычанием. Рядом с коровами у ворот стояла кобыла безо всякого жеребенка, и душу мою окончательно заела тоска. Господи, и откуда только взялась такая надежда! Как я мог подумать, что найдется жеребец, который покроет эту вислозадую уродку!

На следующее утро хозяйка вынесла мне несколько початков кукурузы и бросила их передо мной на грязную землю. А ведь жена моего старика всегда в тазике выносила мне кукурузу. Я, конечно, съел початки, хотя прекрасно понимал, что угощают меня не от большой доброты. Меня собирались отправить пастись с местным стадом, чтобы

я, помня об этой кукурузе, вечером снова подошел к дому своего хозяина.

Ну что же бежать я никуда не собирался. А куда побежишь, если твой хозяин сам от тебя отказался. Не бежать же в лес к медведям. Меня выпустили вместе с хозяйским скотом и этой кобылой, утроба которой ничего, кроме навоза, не способна выродить. Мы вышли на выгон, и я огляделся. Здесь было около дюжины соседских коров, примерно столько же ослов и лошадей и ни одного жеребенка.

И тут черная туча отчаянья окончательно заволокла мою душу. Внешне я жил, но внутренне чувствовал себя мертвецом. Через несколько дней хозяин оседлал меня, и мы пошли в соседнюю деревню. Все в нем мне было неприятно — и его запах, и его тяжесть, и его привычка грубо одергивать поводья. Я старался идти как можно хуже. Конечно, как я ни старался плохо идти, хуже его кобылы я просто при всем желании не мог шагать.

Но он все-таки был очень удивлен. Несколько раз он сходил с меня, рассматривал мои копыта и бабки и никак не мог понять, что со мной случилось. Он был очень недоволен и все время бормотал проклятья моему старику за то, что тот якобы обманул его.

Пять-шесть раз он выезжал на мне в соседские деревни, и я старался так его трясти, что, думаю, у него селезенка с печенкой поменялись местами. Кончилось это тем, что он перестал на мне ездить и снова перешел на свою вислозадую кобылу.

Меня теперь использовали только для переноски мешков на мельницу или в город на базар. Мой старик использовал меня только для того, чтобы ездить на мне верхом. Теперь на мне перевозили груз, но это меня несколько не унижало. Я же сказал, что я жил только внешне, внутренне я умер. А мертвому мулу нечего стыдиться. Раз я потерял своего старика, мне все было безразлично.

Меня могут спросить: «Ну хоть что-нибудь тебе понравилось на новом месте?»

Отвечаю: «Ничего!»

Ни дом, ни двор, ни хозяин, ни жена его, ни дети, ни скот, ни выгон. Само это низинное село мне было глубоко противно с его обилием мух, с его болотцами, наполненными черепахами, с его вечным ночным воем шакалов.

Однажды на рассвете я из скотного двора перемахнул через плетень и вдосталь потравил кукурузу на приусадебном участке моего хозяина. Сколько мог кукурузных стеблей съел, а что не мог съесть — топтал ногами. Мне было все равно, что бы со мной ни сделали. Я даже хотел, чтобы меня убили.

Утром, конечно, меня обнаружили в кукурузе. Подняли крик, хозяин меня загнал в сарай, надел на шею крепкую веревку и привязал ее к стене. Потом он вышел из сарая, принес колотушку, которой молотят кукурузу, и ухватившись за нее обеими руками, стал меня бить.

Он бил меня изо всех сил, он бил меня, кряхтя, он бил меня, время от времени поплеывая на ладони. Он бил меня,

может быть, больше часу, потому что весь вымок, и перестал бить только после того, как колотушка сломалась о мою спину. Ненависть, ярость и отчаяние мои были так велики, что я ни разу не охнул, пока он меня бил. Я не доставил ему этого удовольствия, и именно это его больше всего разозлило. И конечно, ему еще было жалко сломанную колотушку.

— Будешь глодать доски, Богом проклятая тварь, — сказал он, уходя из сарая.

Я понял, что мне не будут давать есть. Пускай я умру, думал я, но никогда не унижусь до того, чтобы жалобными криками напомнить о себе или начать глодать доски сарая. Три дня без капельки воды, без клочка травы простоял я в сарае, а хозяин каждый день приходил смотреть на меня. Видно, он ждал от меня жалобных стонов и виноватых взглядов, молящих о милосердии.

Так ничего и не дождавшись, на четвертый день он вывел меня из сарая, снял с шеи веревку и отпустил на волю. Через неделю я пришел в себя. Люди давно заметили, как вынослив мул, но не все знают, что у мула есть своя гордость и свое достоинство.

Жить я продолжал с местной скотиной, а хозяин мой и его домашние больше меня не трогали. Утром я уходил вместе с хозяйской скотиной на выгон, а вечером вместе со всеми приходил к их постылому дому. Но, между прочим, на скотный двор меня больше не выпускали. Остальные животные там зимой получали свою вязанку кукурузной соломы. Я ничего не получал, ел только то, что сам добывал в поле.

Как я сказал, по ночам я стоял у ворот рядом с вонючим сви-нарником. Но меня уже ничто не могло унижить, я был мертв изнутри.

И все-таки, как я уже, кажется, говорил, пока живое существо дышит, к нему рано или поздно приходит надежда. Так и ко мне весной пришла надежда. И пришла она очень просто. Я увидел, как на выгоне эту никчемную вислозадую хозяй-скую кобылу покрыл великолепный местный жеребец. Я-то думал, что эта кобыла не только такого могучего жеребца, но и обыкновенного осла не сможет привлечь. Однако привлек-ла, и я все это видел своими глазами. Пожалуй, дело это на-столько неясное, что ничего заранее нельзя сказать.

И я тогда подумал, что если кобыла хозяйина забеременела, так она обязательно родит жеребенка. А я буду рядом с ним, я буду наслаждаться его близостью, буду любить его и охранять от всевозможных врагов.

И я начал ждать, и я почувствовал, что душа моя, кровоте-чащая тоской и отчаяньем, стала тихо-тихо заживать.

Да, я любил и люблю моего старика, думал я. Но что де-лать! Это счастье кончилось, и надо скорее о нем забыть. Вот родится жеребенок, которого я буду любить больше жизни, и ради этого жеребенка я должен примириться с домом моего нового хозяина и со всеми его обитателями.

И тогда я подумал трезво: что они мне такого плохого сде-лали? За что я их всех возненавидел? Ничего особенного. Да, хозяин меня здорово избил и три дня держал без еды. Но ведь мало того, что я потравил и потоптал ему кукурузу,

я ведь и до этого ему порядочно крови испортил. Ведь я нарочно коверкал свою походку, чтобы ему неповадно было на мне ездить. Так ведь он, бедняга, не виноват, что у него запах не такой уютный, как у моего старика, голос не такой приятный, повадки не такие мудрые?

А уж хозяйку-то его за что я возненавидел? Подумаешь, бросила кукурузу мне на землю. Ведь она меня не думала этим оскорбить. И я сказал себе: «Арапка, будь терпимей. Не везде живут так умно и сложно, как в доме твоего старика. Может, они сами тарелок не знают, а ты обижаешься, что тебе кукурузу подали не в тазу».

И душа моя стала теплеть к моему новому хозяину, к его домашним, не говоря о кобыле, которая явно понесла жеребенка. Я это чувствовал по ее притихшему поведению. Она даже трясти задом стала гораздо меньше. Теперь я старался на выгоне есть траву рядом с ней, чтобы кто-нибудь ее невзначай не напугал и не повредил жеребенка в ее животе.

Я уже сам хотел, чтобы мой новый хозяин снова меня оседлал, и я бы ему наконец показал свою настоящую походку. Кроме того, я хотел, чтобы беременная кобыла не таскала его по соседним селам. Мало ли что — испугается чего-нибудь, поскользнется, а жеребенок в животе может пострадать. Но он меня не взнуздывал. Я терпеливо ждал, теплея душой к нему и ко всем его домашним, а жеребенок, надо думать, рос себе в животе у кобылы.

И вот что удивительно — как меняется отношение к тому, что человек делал, когда меняется отношение к самому чело-

веку. Теперь, когда я вспоминал то, что было в сарае, я не ощущал ни того ожесточения, ни той обиды. Я даже ощущения боли не мог припомнить. Мне все время припоминалась одна и та же картина, которая казалась мне довольно смешной. Мне вспомнилось выражение лица хозяина, когда у него сломалась колотушка, и он от неожиданности растерялся и, взяв в руки оба обломка, все пытался их сложить, словно они могли прирасти друг к другу. И на лице у него проступала какая-то детская обида, он вроде бы говорил: «Я хотел мула наказать, а наказал себя».

И вот однажды хозяин мой пришел на выгон и, поймав меня, надел на меня уздечку. Он повел меня к дому. Я шел гарцующей походкой, радуясь, что наконец-то я ему понадобился. Нет, думал я, больше я никогда не буду таить от него свой знаменитый, свой бодрый и плавный шаг.

Он привел меня во двор, привязал к забору, и тут к нему подошел совсем незнакомый мне человек. Хозяин стал этому человеку нахвалять мой добрый характер, мою прекрасную походку и неслыханную выносливость. Хотя все это было правдой, мне все-таки стыдно было его слушать. Ведь сам он, мой хозяин, не имел случая насладиться моим мирным характером и великолепной походкой. Единственное, в чем он мог убедиться, так это в моей выносливости.

И вдруг они заговорили о деньгах, и я понял, что он меня собирается продавать, а вся его похвала — это бесстыдное вранье, которому он сам не верит.

Он сказал этому человеку, что раньше всегда ездил на мулах, но потом, когда у него умер мул, он вынужден был перейти на лошадь, хотя продолжал мечтать о муле. И вот он приобрел прекрасного мула у такого солидного человека, как Хабуг из Чегема. Но, оказалось, что он уже отвык сидеть на муле и теперь решил до конца жизни не сходить с лошади.

Невыносимая боль снова обожгла мою душу. А как же мой жеребенок, который еще не родился и которого я уже успел полюбить? Значит, я его так и не увижу никогда в жизни? Боже, Боже, и этому человеку я готов был все простить!

Душа моя снова омертвела. Мой новый хозяин надел на меня свою уздечку и, сев на мою неоседланную спину, повел меня в свое село. Мы шли целый день и только к вечеру пришли к нему домой. Я был настолько оглушен горем, что шел, не замечая дороги и не пытаюсь ухудшить свою походку.

Мы вошли к нему во двор. Чтобы снова не растревать себе душу, я даже не думал о возможной встрече с жеребенком на этом новом месте. Но я не мог закрыть глаза и не видеть, что во дворе, куда привел меня новый хозяин, жеребенком и не пахло. Утром вместе с домашней скотиной меня пустили на выгон, и я совсем не думал о возможной встрече с каким-нибудь жеребенком. Я решил больше никого в жизни не любить. Впрочем, никакого жеребенка все равно на выгоне не оказалось.

Не скажу, что новый хозяин со мной обращался хорошо, не скажу, что он со мной обращался плохо. Просто в этой де-

ревне царили грубые нравы, как среди людей, так и среди животных. Вот пример.

Однажды мой хозяин привел меня на мельницу, нагрузив меня тремя огромными мешками. Для тутошних мест это обычное дело, здесь никто не сообразует вес поклажи с возможностью животного. Мой хозяин заставлял меня таскать из лесу такие невероятные вязанки драни, которую он там расщеплял, что только благодаря моей выносливости я тогда выжил. Но животные в этой деревне такие же грубые, и об этом речь.

Так вот, мы пришли на мельницу, хозяин разгрузил меня и привязал к тыльной стороне мельницы. Тут уже привязана была одна ослица и одна лошадь. Потом пришел еще один крестьянин и привез на осле огромные мешки кукурузы. Он разгрузил осла, привязал его рядом с ослицей и отнес мешки на мельницу.

Я думал, что после этих мешков не скоро отдышится этот осел. Но не тут-то было! Как только его хозяин отошел, он стал выказывать явные признаки желания овладеть рядом стоящей ослицей. Его невероятный детородный орган вышел из него, как зверь из норы.

Я понял, что сейчас произойдет что-то ужасное. Стараясь дотянуться до ослицы, этот чудовищный похотливец порвал уздечку и взгромоздился на ослицу. Ослица заорала от ужаса и боли.

Тут из мельницы стали выходить люди и смеяться, глядя на забавы этого осла, чем доказывали собственную

склонность к этим забавам. Вышел и хозяин этого осла и сперва вместе со всеми хохотал, возможно, гордясь мощью своего животного. Видно, он сначала не догадался, что его осел порвал уздечку. Наверно, он подумал, что его осел ее просто сдернул. Потому что, заметив порванную уздечку, он пришел в неопишемую ярость, схватил валявшееся тут же полено и, придерживая своего осла за порванную уздечку, стал изо всех сил колошматить его по спине. Наконец хозяин перестал бить осла, кое-как починил уздечку и привязал свое животное подальше от ослицы. Я понял, что хозяин этого осла не первый раз таким образом избавляет его от похоти. Какие грубые страсти и какие грубые способы избавления от них!

Ни животные, ни люди у нас в Чегеме так не поступают. Сколько раз я стоял на нашей мельнице, привязанный вместе с лошадьми и ослами, но никогда ничего подобного не видел. В поле, в лесу — пожалуйста, сколько твоей душе угодно. Чегемские животные стараются это делать красиво, не на глазах у людей. Уж, во всяком случае, не на мельнице и не у коновязи сельсовета, где полно людей. И вот с такими грубыми людьми и грубыми животными мне пришлось прожить почти год.

Однажды мой хозяин оседлал меня и поехал в гости в одну далекую деревню. Через полчаса я почувствовал, что спина у меня невыносимо горит. Этот болван даже не удосужился оседлать меня как следует. Потник со страшной силой ерзал по моей спине, доставляя мне невероятную боль. Беда

наша в том, что мы, мулы, человеческий язык хорошо понимаем, но сказать ничего не можем.

От боли я пришел в неистовство. Несколько раз я пытался зубами схватить его за ногу и один раз мне это удалось. Но он даже не слишком быстро отдернул ногу. Местные животные и люди к боли не очень чувствительны, что лишний раз говорит о грубости их натуры.

В ответ на мой укус он изо всех сил ударил меня кнутовищем по голове, при этом, конечно, так и не понял, почему я себя плохо веду. Несколько раз я взбрыкивал, не в силах вынести боль, лягал воздух задними ногами, потом понес, но этот олух так ничего и не понял.

Любой хозяин в Чегеме в таких обстоятельствах почувствовал бы что-то неладное, слез бы с лошади или с мула, осмотрел бы его, переседлал бы. А этот так и ехал.

То, что я ему выдал самую безобразную походку, и говорить нечего. Думаю, я перемолотил ему внутренности, если они у него не из камней сделаны. Да что толку-то! Я попал в край грубых, недоразвитых людей, у которых чувствительности не больше, чем у бревна.

Одним словом, когда мы возвращались из этого села, и он меня расседлал, оказалось, что спина у меня протерта до крови.

— Ты смотри, — сказал мой хозяин, — оказывается, у него спина стерлась.

А ты, дубина, не подумал, почему я всю дорогу выходил из себя. Он палец о палец не ударил, чтобы как-нибудь полечить

мою рану. Всю ночь спина у меня горела, и я не находил себе места. Утром рану мои облепили гроздья мух, и к невыносимому жжению прибавилась невыносимая чесотка.

И я принял отчаянное решение. Я решил смирить свою гордость, бежать от этого урода и вернуться к своему старику, а там будь что будет. В моем безумном решении была и доля разумной догадки. Ум-то свой я все-таки не потерял, несмотря на долгое общение с недоразвитыми людьми и животными.

Мой старик всегда хорошо понимал животных и не выносил неумелого обращения с ними. Вот на это я и надеялся. Я не мог рассказать ему, как меня били, как я три дня без еды и без питья стоял в сарае, что за целую зиму мне не подбросили и вязанки кукурузной соломы, но он мог увидеть своими глазами мою стертую до крови спину и все понять.

Как только меня выпустили на выгон, я ушел. Точной дороги в Чегем я не знал, но я хорошо помнил, что от Чегема до первого села мы шли в сторону восхода и от этого села до этого мы опять шли в сторону восхода. Нетрудно было сообразить, что на обратном пути надо держаться в сторону заката.

И я двинулся в путь. Где по дороге, где сквозь леса и горы, где сквозь заросли съедобных и несъедобных растений — на третий день я пришел в Чегем, весь в репьях, опавший, одичалый, с роем мух на кровотокающей спине.

Я толкнул головой калитку Большого Дома и вошел во двор. Дверь в кухню была прикрыта, и я очень удивился это-

му. Неужто нравы старика изменились за время моих скитаний? Ведь он терпеть не может, чтобы дверь в кухню была прикрыта. Но потом я сообразил, что идет дождь и дует сильный порывистый ветер в сторону Большого Дома. Они прикрыли дверь от ветра.

Собака, увидев меня, залаяла, но потом узнала и завиляла хвостом. Нет, все-таки собаки не совсем лишены разума, подумал я мимоходом. Все, что я пережил, стояло поперек моего горла, и я в отчаянье пересек двор, вошел на веранду и, головой распахнув дверь в кухню, остановился в дверях. В ноздри мне ударил самый сладкий в мире запах, запах родной кухни, откуда мне столько раз выносили кукурузу и другие вкусные вещи. В кухне вовсю пылал очаг, и на большой скамье возле него, глядя на огонь, сидел мой старик, и я увидел его родное, горбоносое лицо. Рядом с ним сидел его сын, добрая душа, охотник Иса. А у самого огня, склонившись к котлу с мамалыгой и помешивая ее лопаточкой, стояла жена Кязыма. А в стороне от дверей на кушетке сидела с веретеном старуха, и тут же возились дети Кязыма, мальчик и девочка, которых я не раз катал на себе.

— Арапка пришел! Арапка! — первыми увидев меня, закричали дети и, спрыгнув с кушетки, подбежали ко мне.

— Что я вижу! — закричала жена Кязыма и, бросив свою лопаточку, тоже подбежала ко мне. — Лопни мои глаза, если это не Арапка!

Старуха, бросив свое веретено, тоже подошла ко мне. А Иса, милый Иса, простая душа, увидев меня, прослезился.

— Как он только дорогу нашел! — сказал Иса.

Дорога моя была куда длинней, чем ты думаешь, Иса. Я никогда твоих слез не забуду, Иса. Ты благодарный, ты помнишь, что, когда убил медведя в лесу, две лошади и два осла отказались везти его домой. Они хрипели и в ужасе пятились от этой страшной поклажи. И только я, собрав все свои силы и преодолев отвращение, согласился дотащить его тушу до дому.

Да, все они собрались вокруг меня, и лишь мой старик продолжал сидеть у огня и, только повернув голову, сурово смотрел в мою сторону. Нет, нет, я не верил в его равнодушие, я не верил, что все это время он не думал обо мне, не скучал по мне. Но таков мой старик. Ни один человек в мире не умеет так себя в руках держать, как он.

— Арапка вернулся! Арапка! — только и раздавалось вокруг меня. Да, говорил я про себя, вернулся к вам ваш Арапка, вернулся в родной дом после неисчислимых страданий, все так же любящий и преданный своему хозяину.

— Дедушка! Дедушка! — вдруг закричали дети, взглянув на мою спину. — У него рана на спине!

Тут старик мой встал, все расступились, и он подошел ко мне. Молча и внимательно рассматривал рану. Да, да, говорил я про себя, смотри, что со мной сделали.

— Оказывается, этот гяур даже не умеет седлать мула, — с тихой ненавистью сказал мой старик и прибавил: — Иса, поедешь к нему и вернешь ему деньги. Я Арапку беру назад, раз ему невтерпеж там жить.

Тут старуха вынесла мне кукурузу и подала мне ее в тазу, как положено у порядочных людей, а не бросила в грязь. Господи, подумал я, все как прежде, как будто не было долгой разлуки и невыносимых страданий. И опять, как прежде, куры и петухи окружили меня в надежде поклевать отскакивающие зерна. Клюйте, клюйте, думал я, Арапка добрый, он снова дома, он снова счастлив.

Мой старик достал из лампы горящую воду под названием керосин, облил ею чистую тряпку и протер рану на моей спине. Сначала сильно жгло, но потом стало гораздо легче, потому что мухи перестали донимать.

В тот же день Иса уехал к моему первому хозяину с деньгами. Я был сильно обеспокоен, что деньги моего старика пропадут. Ведь сказать, что этот хозяин меня уже продал в другое место, я не мог, потому что понимать-то я понимаю абхазскую речь, а сказать ничего не могу.

Но, слава Богу, на следующий день Иса вошел во двор и сказал моему старику, что этот хозяин давно продал меня и даже слышать не хочет об этом непотребном муле. Видно, мошенник, не сообразил сразу, что может за меня дважды деньги получить, а когда сообразил, уже было поздно, проговорился. Я прислушивался к Исе не для того, чтобы услышать мнение этого живодера обо мне. Нет. Я прислушивался к Исе, чтобы узнать, не заметил ли он случайно кобылу с жеребенком. Видно, не заметил. Странно, как можно было не заметить жеребенка, если кобыла в самом деле ожеребилась.

Примерно через месяц рана на моей спине совсем зажила, и старик мой оседлал меня и поехал в село Атары. С тех пор мы с ним неразлучны, и время, когда он меня продал, я вспоминаю, как дурной сон.

Живем мы душа в душу. Ну, конечно, бывают у нас небольшие стычки. То он мной не совсем доволен, то я настаиваю на своей правоте. То он на меня поварчивается, то я заупрямлюсь, защищая достоинство солидного, знающего себе цену мула. Вот так и живем с тех пор, и другой жизни я себе не желаю.

Но хватит вспоминать. Я возвращаюсь к нашей дороге. Мы со своим стариком продолжали бодро идти вперед, когда вдруг услышали страшный визг свиньи. Это был какой-то скрежещущий, раздирающий душу визг. Через некоторое время я увидел, что в пятидесяти шагах от нас выволокли из калитки свинью. Двое держали ее за ноги, третий держал за уши, а четвертый шел рядом. Свинью явно собирались зарезать, а она об этом знала и визжала с невероятной силой.

Свинью положили на траву возле калитки. Те двое продолжали держать ее за ноги, один за передние, другой за задние, а третий, оттянув ей голову к спине, за уши. Четвертый, вынув большой нож, склонился над ней, но почему-то нож не вонзал в нее, а что-то обсуждал с остальными. Свинья, понимая, что надвигается смерть, продолжала визжать изо всех сил. Я почувствовал, что мой старик начал раздражаться. Он терпеть не может, когда кто-то какое-то дело делает нечисто.

А эти явно не могли справиться со свиньей, то ли были пьяные, то ли просто неумехи. Наконец, когда мы поравнялись с ними, тот, что держал нож, сунул его в свинью, и она замолкла. Те, что держали свинью, отпустили ее и немного отошли, довольные сделанным делом.

И вдруг мы со своим стариком увидели страшное зрелище. Свинья, которая казалась убитой, встала на ноги с торчащим по рукоять из груди ножом и, шатаясь, пошла. Видно, тот, что убивал, не попал ей в сердце.

— Растак вашу мать, дармоеды! — крикнул мой старик, спрыгивая на землю. — Разве можно мучить животное, даже если это свинья!

С этими словами он с необыкновенным проворством погнался за свиньей, догнал ее, схватил за одно ухо, вывернул ей голову, выхватил нож, всаженный ей в грудь, и с силой вонзил его снова. И конечно, попал ей в самое сердце. Свинья замертво свалилась на траву.

Молодец мой старик. И что особенно интересно, это то, что он, конечно, немало нарезал всякой живности, но свинью он резал в первый раз. Вообще он только в последние годы стал разводить свиней и продавать, но сам он их никогда не резал и свинину не ел.

Воинственно поглядывая на этих примолкших людей и что-то бормоча насчет кривоглазых и криворуких, мой старик взгромоздился на меня, и мы пошли дальше. А эти все продолжали стоять, смущенно переминаясь, то глядя на мертвую свинью, то на моего старика, словно все еще пора-

женные неожиданным воскрешением свиньи и ее невесть откуда взявшимся забойщиком.

Снова перед нами появился Кодор. Но здесь через него пролегал огромный железный мост. Проходить по нему было неприятно, и я был рад, когда мост кончился.

Над нами с грохотом пролетел аэроплан, и мой старик, остановив меня, из-под руки долго глядел ему вслед.

— Железо-то вы летать научили, — пробормотал он, пустив меня вперед, — посмотрим, как вы мясо научите летать, чтобы вам оставалось только хватать его и швырять в котел.

Что удивительно в моем старике — это то, что его ничем не возьмешь: ни аэропланами, ни машинами, ни конторами, ни большими городскими домами. Он всегда уверен, что внутри у него есть что-то такое, что в тысячу раз важнее всех этих аэропланов, машин и контор. Такая внутри у него есть сила, но объяснить эту силу я не могу. Я ее только чувствую. И не только я. Все ее чувствуют. Ее чувствуют даже наше чегемское начальство, и они стараются особенно с моим стариком не связываться. Они даже сквозь пальцы смотрят на то, что он все еще держит пастуха Харлампо.

Все чаще стали попадаться эндурцы. В сущности, кругом были одни эндурцы. Мы въехали в село абхазских эндурцев. Старик мой спокойно озирался и никак не показывал, что такое большое скопление эндурцев в одном месте действует ему на нервы. Днем с огнем не сыщешь другого такого человека, который умел бы так держать себя в руках.

Самое смешное, что мой старик спокойно проехал эндурское село, а когда мы въехали в село чистокровных абхазцев, нервы у него не выдержали из-за наших же абхазцев. Мы проезжали мимо большого кукурузного поля, которое мотыжили десяток колхозников. Старик мой остановился и, видно, захотел прополоскать горло родной речью. Он стал с крестьянами говорить о том, о сем. Конечно, спросил у них насчет эвкалиптов, и они ему отвечали, что насчет эвкалиптов у них все тихо.

Разговаривая с моим стариком, они продолжали мотыжить кукурузу и время от времени, подымая голову, спрашивали сами у него насчет чегемских дел. Мой старик сначала охотно с ними говорил, а потом стал сердиться, и я это понял, потому что он стал дергать за поводья так, словно я пытался идти, а он хотел меня остановить. Но ясное дело, что я стоял на месте, а это он начинал беситься.

— Слушайте, — крикнул мой старик, — как это вы мотыжите?!

— Как мотыжим? — спросил у него один мужчина, выпрямляясь над мотыгой. — Как надо, так и мотыжим!

— Не по-людски вы мотыжите! — крикнул мой старик. — Вы мотыжите по-гяурски!

— Езжай-ка, старик, куда ехал, — сказал этот мужчина, снова берясь за свою мотыгу, — тоже мне учит... да еще верхом на муле...

Нехорошо это он сказал моему старику. Дело не в том, что он глупо упомянул меня. Но он гораздо младше моего стари-

ка по возрасту, а по абхазским обычаям так со старшими разговаривать не положено.

— Дуррак! — крикнул мой старик по-русски, и я понял, что он в сильном гневе. — При чем тут мой мул, если вы оскотинились!

С этими словами он соскочил с меня, как мальчишка, перелез через плетень, прыгнул на поле и, наклоняясь к стеблям кукурузы, стал разгребать землю из-под них. Попутно он выдергивал стебли, слишком близко росшие друг от друга, которые надо было срезать мотыгой.

— Совсем оскотинились! — повторял он, продолжая разгребать землю под стеблями кукурузы. И каждый раз видно было, как из-под них высовываются сорняки, слегка заваленные землей. Дело в том, что эти колхозники ленились выполоть сорняк из-под каждого стебля, а чаще всего просто заваливали корни кукурузы землей. Они это не нарочно делали, а просто ленились. Если было удобно выполоть сорняк одним ударом мотыги, они его выпалывали, а если было неудобно — заваливали землей. Снаружи получалось, что поле нормально промотыжено. Но ясно, что невыполотый сорняк через неделю прорастет.

— Где ваша совесть, — кричал мой старик, — вы что, не в Абхазии родились?!

Колхозники, слегка смущенные правотой моего старика, помалкивали. Старик мой стоял, побледнев, и я видел, что кадык его так и ходит ходуном, словно у него в горле доккладывают невысказанные им слова.

— Так это ж колхозное, — наконец миролюбиво сказала одна крестьянка, — чего ты убиваешься, старый...

Я почувствовал, что старик мой так и опал.

— Ну и что ж, что кумхозное, — тихо сказал мой старик, — грех так работать... Кукурузу жалко...

Старик мой разжал руку, и несколько кукурузных стеблей, вырванных им, упали на землю. До этого я, честно говоря, надеялся, что он их перебросит мне на улицу. Но теперь у меня так горло перехватило, что я бы, наверное, не смог сделать и глотка. До того мне жалко его стало. Он и ругает колхоз, и в то же время видеть не может нечистую работу даже на колхозном поле. И терпеть все это невоюготу и податься ему некуда, вот какие дела.

Старик мой повернулся, и, сопровождаемый молчаливыми взглядами крестьян, перелез через плетень, и тяжело, ох, как тяжело, взгромоздился на меня, и мы пошли дальше.

Вот так мы шли и шли, а мимо нас пробегали машины то в одну, то в другую сторону, а иногда проходили арбы, запряженные буйволами, а иногда проскакивали нарядные коляски, запряженные двумя лошадьми. В этих краях такие коляски называют фаэтонами. И это уже признак, что близится город.

Постепенно старик мой пришел в себя. Я это почувствовал, потому что ноги его расслабились и перестали сжимать мне живот. Конечно, до конца улучшить настроение ему теперь ничего не сможет. Вскоре старик мой свернул с дороги и подъехал к крестьянскому дому, стоявшему неподалеку.

Видно, он решил, что мне пора отдохнуть и чего-нибудь пожевать, да и ему перекусить не мешает.

— Эй, Батал! — крикнул он, подъехав к воротам. В глубине двора стоял дом, а рядом с ним виднелась кухня. Дверь в кухне отворилась, и оттуда вышел человек. Когда он стал переходить двор, я разглядел его и обмер. Такое чудо я видел впервые в жизни. К нам приближался человек, черный, как обугленная головешка. Нет, слышать-то я о таких слышал. Слава Богу, я — кое-что повидавший на свете мул. Но я думал, что такие живут только в заморских землях. И после этого мой старик называет меня Арапкой? Я — арап? Нет! Он — арап!

Не успели мои глаза привыкнуть к этому арапу, как из кухни высыпала почти дюжина арапчат и побежала в нашу сторону. У меня в глазах так и замелькали черные пятна. Тут из-под дома с лаем выбежала собака, и тоже черная, без единой светлой шерстинки. Господи, подумал я, что же это здесь творится! И вдруг, видно, взволнованный собачьим лаем, на плетень вскочил петух, весь черный, как ворон, и сердито заклокотал — я почувствовал — дурею. Что же это за чертов край, подумал я, что здесь и люди, и животные, и птицы — все в одну масть! Но тут, слава Богу, рыжий телок вышел из-за дома, и куры показали, хоть и не белые, но все же с пестринкой. Чувствую, как-то легче стало.

Старый арап отогнал собаку и, улыбаясь белозубым ртом, подошел к воротам. Только я подумал: на какой же тарабарщине мой старик будет разговаривать с ним, как

хозяин поздоровался на чистейшем абхазском языке. Откуда же взялся этот абхазский арап? Сначала, когда я увидел этих арапов, у меня сразу же мелькнула мысль: эндурцы нам их подбросили! Но теперь, когда он заговорил на чистейшем абхазском языке и детки затараторили по-абхазски, я решил: нет, эндурцы тут ни при чем. Не стали бы они так хорошо говорить по-абхазски, если б их чернаки нам подкинули. Значит, каким-то другим путем они к нам попали, придется видно, крепко поработать головой, чтобы разгадать эту тайну.

Старый арап открыл нам ворота и впустил нас во двор.

— Ты все на том же муле, Хабуг, — сказал он с улыбкой, оглядывая меня.

— Нет, это уже другой мул, — сказал мой старик, слезая с меня.

Трудно даже сказать, до чего мне неприятно было слышать эти слова. Я уже восемь лет ношу своего старика, и мне кажется, что мы всегда были вдвоем. Но, когда я такое слышу, мне становится ужасно тоскливо. Это так горько думать, что у твоего хозяина и до тебя был какой-то мул и, вероятно, после тебя будет. Такова жизнь, я знаю, но так не хочется думать об этом и знать это.

Мой старик спешил, вынул удила из моего рта, приторочил поводья к седлу и пустил меня пастись во дворе.

— Смешная лошадь! Смешная лошадь! — кричали арапча, петляя вокруг меня и подо мной, так что я боялся невзначай отдавить кому-нибудь из них ногу. Видно, они в первый

раз видели мула. Глупышки, думал я, кто из нас смешней, я или вы?

Я хоть и здорово проголодался, но сначала с опаской попробовал траву во дворе этого арапа. Но с первым же клочком убедился, что по вкусу это настоящая абхазская трава и по цвету она вполне зеленая.

Тут из кухни вышли две женщины. Одна была старая и черная, а другая средних лет и белая, как обычная абхазка. Она стала отгонять от меня детей, чтобы они не мешали мне спокойно есть траву, и я понял, что она мать этих детей. Нетрудно было догадаться, что она жена сына старого арапа. И я подумал: вот она белая абхазка, а дети все у нее черные, без единого белого пятнышка. Что же это делается, подумал я. Здесь арапская кровь оказалась сильнее абхазской, и все дети получились один другого черней, там русская кровь оказалась сильнее абхазской, и ребенок оказался чересчур белым. Если абхазская кровь будет так слабеть, эндурцы совсем на голову сядут.

А при чем тут эндурцы, вдруг подумал я. Я чувствую, что, кажется, заразился от своих абхазцев, и все наши беды готов свалить на других. Я же слышал, что сегодня чистокровнейший абхазец оскорбил моего старика, сказав, что нечего, мол, учить нас, сидя верхом на муле.

А я говорю: «Нечего свою дурость сваливать на эндурцев! Слушайте во всем таких мудрых людей, как мой старик, и вы никогда не погибнете».

Моего старика пригласили на кухню, но он, ссылаясь на жару, сказал, что посидит на веранде. Вместе со старым ара-

пом они уселись за столом, а белая абхазка и старая арапка стали приносить из кухни и ставить им на стол угощения.

Я ел траву, изредка поглядывая на них и прислушиваясь к их речи. Видя черноту старого арапа и слыша его абхазскую речь, я все никак не мог их соединить, и мне все казалось, что внутри этого арапа сидит белый абхазец и говорит за него. Однако постепенно я привык к этому чудному сочетанию абхазской речи и арапской черноты и стал более спокойно слушать, о чем они говорят.

Мой старик, конечно, стал расспрашивать абхазского арапа насчет колхозных дел. Первым делом он у него спросил, не заставляют ли их сажать эвкалипты. Старый арап отвечал, что эвкалипты их заставляли сажать в прошлом году, а в этом году их заставляют сажать тунгу.

— Это что еще за тунга? — подивился мой старик.

— Это такое растение, — отвечал старый арап, — у которого страшно ядовитый сок. От него мгновенно умирает что человек, что скотина...

— Зачем же им этот ядовитый сок, — встревожился мой старик, — кого они собираются травить?

— Нет, — успокоил его старый арап, — травить они никого не собираются — ни людей, ни скотину. Этот сок им нужен для аэропланов. Аэропланы без этого сока взлететь не могут, могут только ехать по земле, как машины.

— Час от часу не легче, — сказал мой старик.

Тут они выпили вина, и старик мой, опрокинув выпитый стакан, намеком сказал, чтобы дела их врагов также опроки-

нулись, как этот стакан. Они продолжали есть и пить, и старик мой стал рассказывать о делах чегемского колхоза. Он рассказал и про низинку, и про табак, и еще про колхозную ферму, заведовать которой приставили никудышного человека. Про ферму он говорил с большой горечью, и только я один знал о ее причине. Дело в том, что мой старик надеялся, что именно его, как лучшего чегемского скотовода, попросят заведовать фермой. Но его никто об этом не попросил, а сам он из гордости себя ни за что не предложит.

— Этот человек, — сказал мой старик, — даже при Николае не мог завести пару овец. Что же он сможет сейчас? Он же загубит всю скотину!

— Точно загубит, — согласился старый арап.

— Если так пойдет дальше, — сказал мой старик, — в деревнях из четвероногих разве что собаки останутся.

— Собаки останутся, — согласился старый арап, — потому что власти к собакам интереса не имеют.

— Попомни мое слово, — сказал мой старик, — будет много железа и мало мяса.

— Это точно, — опять согласился старый арап, — к нам недавно трактор пригнали. Так он с головы до хвоста весь железный...

Они проговорили еще с полчаса, выпили по несколько стаканов вина, и мой старик стал собираться в дорогу. Старый арап со своими арапчатами проводил нас до калитки. Мой старик попрощался с хозяином дома, сел на меня, и мы пошли дальше.

Я успел хорошо отдохнуть, подкрепиться, и мой шаг был легким и бодрым. Не прошли мы от дома этого арапа и одного километра, как вдруг на небольшой лужайке возле улицы я увидел рыжего жеребенка, стоявшего возле своей матери. Вот это да! Оказывается, встреча с арапом — это хорошая примета. Надо запомнить на будущее.

Меня так и обдало нежностью. Но я сказал себе:

— Держись, Арапка, не позорься перед своим стариком, следи за своим шагом, не выдавай дрожи в ногах.

Я шел, стараясь не смотреть в сторону жеребенка. Но не мог же я нарочно закрыть глаза, чтобы не видеть его. Это было бы просто глупо. Когда мы проходили мимо него, он стоял, забавно раздвинув свои шаткие ноги, и, весь изогнувшись, покусывал себя под лопаткой. Ох, изведут меня эти жеребята, чувствую, изведут.

Когда мы прошли мимо него, у меня появилось ужасное желание оглянуться. Но я сдержал себя и не повернул головы. Правда, в это мгновение какая-то наглая муха села мне на веко и я вынужден был изо всех сил мотнуть головой. И снова на короткое время я увидел его. Теперь он перестал чесаться, и, сияя белым пятнышком на лбу, удивленно смотрел в мою сторону. Видно, что-то в моем облике заинтересовало его. Довольный этой встречей и собственной сдержанностью, я шагал и шагал по дороге.

Часа через два, пройдя еще один мост через неизвестную мне реку, мы вступили в город. Мимо нас беспрерывно пробежали большие и маленькие машины, и я стал невольно привы-

кать к их неприятному запаху. Теперь вся дорога была выстлана черной смолой. Ходить по ней было хуже, чем по земле, но приятней, чем по камням.

Множество людей проходило взад и вперед, и то и дело слышались слова на разных языках. Когда раздавались знакомые слова, я узнавал грузинскую речь, мингрельскую речь, армянскую речь, турецкую речь и греческую. А когда я не встречал ни одного знакомого слова, я понимал, что говорят по-русски. Я, как и мой старик, по-русски не понимаю ни одного слова, потому что по-русски говорят только в городах, а мы в них очень редко бываем.

Мы подошли к большому дому, где жил Сандро. Мой старик спешил, ввел меня во двор и привязал к штакетнику забора. Я стал ждать. Городские мальчишки, игравшие во дворе, окружили меня, восхищаясь мной и по неопытности принимая меня за лошадь. Вообще, меня часто принимают за лошадь, а за осла никогда не принимают.

Вскоре из дому вышел Сандро вместе с моим стариком и золотистой длинноногой девчушкой, дочкой Сандро. Мой старик вел ее за руку. Я знал, что он обожает эту свою внучку, да и я сам не мог отвести от нее глаз. Пожалуй, она единственное человеческое дитя из тех, что я видел, которое по красоте облика я бы сравнил с жеребенком.

— Дедушкина маленькая лошадь! — крикнула девчушка и подбежала ко мне.

Мой старик посадил ее в седло и, взяв меня за уздечку, вывел на улицу. Я понял, что мы идем рассматривать дом, ко-

торый собирается купить Сандро. Между прочим, я сразу почувствовал, что он чем-то смущен и что-то хотел бы скрыть от моего старика. Конечно, я был уверен, что он собирается просить у него деньги на покупку дома. Думаю — старик мой тоже был в этом уверен. Я знал, что он сперва немного поупрямится, а потом даст.

Но в том-то и дело, что смущение Сандро никак не было связано с этим. Да мало ли он в своей жизни у него денег вытянул! Нет, нет, я чувствовал, что здесь что-то другое. Пусть с меня шкуру дерет медведь, подумал я, если тут что-то не скрывается.

Не знаю, почувствовал ли мой старик то, что почувствовал я. Так ведь его сразу не поймешь. Ни один человек в мире не умеет так держать себя в руках, как мой старик. Все же сдаётся мне, что мой старик на этот раз ничего не заподозрил. Иногда мой ум работает быстрее, чем ум моего старика.

Мы прошли несколько улиц и подошли к калитке какого-то дома. Сандро открыл калитку и пропустил нас во двор. Это был очень маленький дворик с очень сочной травой, с несколькими хорошо ухоженными фруктовыми деревьями и цветами перед крыльцом. Домик был небольшой, но тоже хорошо ухоженный.

Я почувствовал, что дом старику понравился. Особенно он ему понравился, потому что был с участочком земли. Так я думаю.

— Хороший дом, — сказал мой старик, кивнул головой, — вызывай хозяина, поговорим, поторгуемся...

— Хозяина нет, — сказал Сандро, — дом продает горсовет.

— А хозяин что, умер? — спросил мой старик и, вынув у меня изо рта удила, прикрепил поводья к седлу, чтобы я мог попастьись на этой жирной, не выдавшей скотины траве. Теперь я окончательно убедился, что старик мой ничего особенного в облике Сандро не заметил. Он только думал, что Сандро станет у него выклянчивать деньги, а больше ни о чем не думал.

— Не то, чтобы умер, — сказал Сандро и, замаявшись, добавил: — Здесь жил один грек. Так его вместе с женой арестовали и в Сибирь отправили...

— Вот оно как, — сказал мой старик и замолчал. Сандро тоже молчал. Я же сразу почувствовал, что здесь что-то не то!

— А детей у него не было, что ли? — спросил мой старик, прерывая молчание. Он взглянул на меня рассеянным взглядом, и я почувствовал, жалеет, что вытащил у меня изо рта удила. И напрасно. Потому что я все равно не мог есть траву, зная, какой ураган надвигается.

Я посмотрел на Сандро и, хотя он был немного смущен, но не понимал, что нависло над ним.

— Были двое, — отвечал Сандро, — их забрали в Россию родственники.

— Вот как, — сказал мой старик, все еще сдерживаясь, — значит, родителей сослали в Сибирь, детей забрали в Россию, а дом тебе продают. За какие такие заслуги, интересно?

— Я же сейчас лучший танцор ансамбля, — сказал Сандро. — Сейчас же многих арестовывают, а дома их продают са-

мым заслуженным людям города. Я тебя понимаю, отец. Но не мы же их арестовали. Не я — так другой купит...

— Сдается, что не понимаешь, — отвечал мой старик, все еще сдерживаясь. — И за сколько же тебе продают этот дом с землицей?

Он снова оглядел участок. Мимоходом он взглянул и на меня и, мне кажется, остался доволен, что я неподвижно стою и не ем эту кладбищенскую траву. Мне бы в горло она сейчас не полезла. Я же знал, какой ураган рвется сейчас из груди моего старика, но он его все еще удерживал.

— За две тысячи рублей! — воскликнул Сандро, стараясь обрадовать моего старика выгодностью покупки.

— Две тысячи рублей, — усмехнулся мой старик, — в наше время это стоимость двух хороших свиней. Вот уж необычное дело, чтобы за две свиньи человек мог купить приличный дом.

— Так горсовет назначил, — разъяснил Сандро, — что ж мне увеличивать цену?

И тут старик мой сказал:

— Сын мой, — начал он тихим и страшным голосом, — раньше, если кровник убивал своего врага, он, не тронув и пуговицы на его одежде, доставлял труп к его дому, клал его на землю и кричал его домашним, чтобы они взяли своего мертвеца в чистом виде, не оскверненным прикосновением животного. Вот как было. Эти же убивают безвинных людей, и, содрав с них одежду, по дешевке продают ее своим холуям. Можешь купить этот дом, но — ни

я в него ни ногой, ни ты никогда не переступишь порога моего дома!

С этими словами мой старик подошел ко мне, вдвинул мне в рот удила с такой силой, что чуть зубы мне не выбил (я при чем?!), сгреб девчужку с седла, чтобы сесть на меня и уехать из города.

Тут-то Сандро опомнился и подскочил к отцу.

— Отец! — закричал он. — Не горячись, прошу тебя! Я ведь для этого тебя и вызвал, чтобы посоветоваться. Я и сам чувствовал, что тут что-то нечисто. Что я, две тысячи рублей не мог достать? Мне бы друзья одолжили!

— А-а-а, — сказал мой старик, помедлив, и снова посадил девчужку на меня, — посоветоваться... Так вот мой совет: возвращайся в деревню. Мать твоя голову мне продырявила своими причитаниями. Время такое, и тебя забрать могут. Или плясуны у них неприкасаемые?

— Ну да, неприкасаемые, — ответил Сандро, вздохнув. — Платона Панцулая уже взяли...

— Чего ж ты ждешь? — спросил мой старик.

— В том-то и дело, отец, — ответил Сандро, помрачнев, — и оставаться страшно, и уходить страшно. Уйду — скажут, испугался, потому что был любимчиком Лакобы. А с Лакобой знаешь, что они сделали...

— Прямо уходить не надо, — сказал мой старик, подумав, — я тебе все устрою. Я найму хорошего доктора, он временно испортит тебе колено, тебя выбракуют, и ты вернешься домой.

С этими словами мы покинули этот выморочный дом и пошли к Сандро. Старик мой явно успокоился. Он был доволен, что и сына не потерял, и совесть свою не осквернил.

Ночью старик мой переночевал у Сандро, а утром мы двинулись обратно.

Мой старик как обещал, так и сделал. Он нанял хорошего, доверенного доктора из села Атары, тот так подпортил Сандро колено, что он еще месяца два хромал после того, как его выбраковали и отпустили в деревню.

В ту же осень мой старик нанял четырех греков, и они построили Сандро дом так, чтобы он стоял на виду, и мой старик со своего двора мог видеть, всегда ли открыта дверь в его кухне, и если не открыта, то криком напомнить ему или его жене, что такая забывчивость позорна.

Теперь после всего, что я рассказал, я хочу спросить: есть ли у вас на примете старик, подобный моему? Если есть — покажите. В том-то и дело, что показать вам нечего.

Сейчас я расскажу про знаменитые огурцы Сандро. На следующий год Сандро взялся возле своего дома выращивать для колхоза огурцы. И он получил неслыханный урожай огурцов. Сколько ни шарили в кустах колхозники, проходившие мимо его бахчи, огурцов оставалась тьма-тьмушая. Слух об этих огурцах прошел по всему району, и из Кенгурска приезжала комиссия за комиссией, и все они пробовали огурцы и уносили с собой в мешках, а огурцов все равно было полным-полно.

И начальство, приезжавшее пробовать огурцы, говорило, что Сандро вывел новый сорт, который сначала надо распро-

странить по району, а потом по всей стране. А самого Сандро, говорило начальство, будем выдвигать в депутаты.

— Болваны! — кричал мой старик. — Я раньше в этом месте загон держал, там навозу на полметра!

Но его все равно никто не слушал. В середине лета сорвали огуречную плеть, на которой насчитывалось до ста огурцов, и снарядили четырех чегемцев, чтобы они ее отвезли в Мухус на сельскохозяйственную выставку. Сандро хотел с ними поехать, но ему сказали, что теперь он почти депутат, а для перевозки плети с огурцами можно использовать людей и попроще.

Сначала эти четверо чегемцев осторожно, не осыпав огурцы, донесли плеть до Анастасовки. Но когда они сели в машину, пассажиры стали удивляться их необычной ноше, и они, хвастаясь неслыханным урожаем огурцов, стали всех угощать. Правда, они хитроумно, по их разумению, от плети отрезали огурцы ножом, а не обрывали. Так что на месте отрезанного плода оставался пятачок, чтобы было видно, что огурец там в самом деле рос.

К тому же один из пассажиров машины оказался с большой бутылью чачи, и он стал всех угощать чачей, а наши давай им подсовывать огурцы, аккуратно отрезая их от плети так, чтобы оставались пятачки. Так что, когда они приехали в Мухус, на плети оставалось около двадцати целых огурцов и великое множество пятачков.

Посланцы Чегема пришли со своей плетью на выставку, но там у них ее не приняли. Смотритель выставки сказал, что на плети маловато огурцов.

— Так видно же, сколько было, — отвечали чеге́мцы, показывая на пяточки.

— Мало ли, что видно, — сказал смотритель, — люди будут думать, что я или мои помощники съели эти огурцы.

— Ну и пускай себе думают, — уговаривали его чеге́мцы, — главное — видно, сколько на ней огурцов было выращено.

— Нет, нет, — наотрез отказался смотритель, отпихивая от себя плеть, которую чеге́мцы пытались разложить на его столе, — это проходит как вредительство.

Удрученные упорством смотрителя, посланцы Чегема вышли из помещения выставки и стали раздумывать, как быть дальше и что делать с оставшимися огурцами. И тут один из них заподозрил, что смотритель выставки, скорее всего, эндурец армянского происхождения.

— А-а-а, — сказали остальные, — тогда все ясно. Разве эндурец когда-нибудь будет способствовать нашей славе?

И тогда они зашли в винную лавку и стали там пить вино, закусывая оставшимися огурцами.

Чегемцы, узнав о неудаче с выставкой, до того озлились на смотрителя, что окончательно распотрошили бахчу Сандро. А в райцентре, между прочим, ничего не слышали обо всем этом. Осенью из района приехала новая комиссия, чтобы взять огурцы на семена для других колхозов. Но им не удалось нашарить в кустах ни одного плода. И комиссия очень обиделась на Сандро, хотя он ни в чем не был виноват.

— Такой депутат нам не нужен, — сказали члены комиссии, уезжая в Кенгурск с пустыми мешками.

На этом закончилась история со знаменитыми огурцами Сандро.

Мне часто снится один и тот же сон. Мне снится, как будто я на гребне холма, разделяющего котловину Сабида на две части, купаюсь с жеребенком в пыли. Там есть такое место, облысевшее под спинами лошадей, мулов, ослов. Трепыхаясь спинами в теплой пыли, мы их сладостно почесываем, почесываем, а ноги наши весело бьют по воздуху, и кажется, что мы бежим по небу, и мы смеемся, смеемся от счастья, а потом мы вскакиваем на ноги и отряхиваемся от пыли.

И тут я вижу, что мой старик спускается за мной в котловину Сабида, и в руке у него горсть соли, а лицо у него такое, какое редко теперь бывает. По лицу его видно, что крестьянское дело не погибло. И справа по склону холма пасутся его козы и овцы, и слева по склону холма пасутся его коровы и буйволы, и он знает, что крестьянское дело будет вечно и никогда не кончится, и я буду вечно, и он будет вечно, и трудно даже сказать, до чего в такие мгновенья мне неохота просыпаться.

10. дядя сандро и его любимец

С Тенгизом я познакомился в доме дяди Сандро во время скромного пиршества, устроенного по случаю благополучного выздоровления хозяина дома, который, по его словам, уже одной ногой был там, но вторая оказалась покрепче, и он удержался на этом берегу.

Во время одного довольно незначительного застолья, что было особенно обидно, дядя Сандро почувствовал себя плохо. Он почувствовал, что сердце его норовит остановиться. Но он не растерялся. Он ударил себя кулаком по груди, и оно снова заработало, хотя не так охотно, как прежде.

И после этого оно всю ночь время от времени норовило останавливаться, как тяжело навьюченный ослик на горной тропе, но дядя Сандро каждый раз ударом кулака по груди заставлял его двигаться дальше.

Так или иначе, по словам очевидцев, в ту ночь у него хватило мужества и сил в качестве тамады досидеть за столом до утра.

Ранним утром он вышел из-за стола, распрощался с хозяйками и пошел домой. Говорят, он упал, открывая калитку собственного дома. Кто-то из соседей увидел распростертого дядю Сандро (поза неслыханная для великого тамады), поднялся переполох, собрались люди, и его внесли в дом.

Весть о случившемся через полчаса облетела жителей этого пригородного поселка и распространилась по городу. Сочувствующие толпились во дворе и в доме. Все предлагали свои услуги, а безутешный Тенгиз привез к нему тайного светила закрытой поликлиники, именуемой в наших краях лечкомиссией.

Позже Тенгиз рассказывал, что ему пришлось минут пятнадцать шелестеть двумя новенькими двадцатипятирублевками, положив их между ладоней, прежде чем двери закрытой поликлиники осторожно отворились и оттуда высуну-

лась голова знаменитого доктора, которого Тенгиз, надо полагать, продолжая шелестеть, и привез к дяде Сандро.

Через несколько часов после падения дядя Сандро пришел в себя и увидел склоненное над ним лицо тайного светила.

— Не обижайся, не узнаю, — оказывается, сказал дядя Сандро, довольно долго вглядываясь в него уже выдавшими тот свет глазами. Обрадовались близкие разумности его слов и правильности догадки.

— Где ж тебе его узнать, — отозвался Тенгиз, — под фатой содержим, как невесту.

Эта шутка окончательно вернула дядю Сандро к жизни. Он сразу же счел своим долгом объяснить окружающим, что упал не оттого, что был пьян, а оттого, что споткнулся о корень, высовывавшийся из-под земли у входа в его калитку.

— Ну, если дело в нем, я его сейчас вырублю, — сказал Тенгиз и вышел из комнаты. Он вытащил из кухни топор, спустился к калитке и вскоре возвратился с корявым куском корня, похожим на отрубленную лапу дракона.

В последующие дни этот корень, слегка обструганный и вымытый, дядя Сандро, лежа в кровати, держал в руках и показывал навещающим его лицам как вещественное доказательство его падения под воздействием внешних сил, а не алкогольных паров.

Когда через два дня я его навестил, он лежал в кровати, держа в высунутых из-под одеяла руках этот узловатый, загнутый кусок корня, величиной с хороший бумеранг.

Дядя Сандро молча указал им на стул и, когда я сел у его изголовья, он и мне, несмотря на протесты тети Кати, повторил версию своего падения, добавив, что ночью был ливень, и корень сильно подмыло. Дав мне его понюхать, он вдруг спросил с хитровой улыбкой, не пахнет ли корень шелковицей.

— Вроде, — сказал я, — а что?

— А ты пораскинь умом, — сказал он, отбирая у меня корень и внюхиваясь в него.

— Опять за свои глупости, — отозвалась тетя Катя и, сунув в пузырек с валерьянкой сломанную спичку, стала капать ему в рюмку, губами считая капли.

— У меня на участке нет шелковицы, — сказал он, лукаво поглядывая на меня с подушки, — ближайшая — через дорогу у соседа... Соображаешь?

— Нет, — сказал я, — а что?

— Там абхазский эндурец живет, — проговорил дядя Сандро и кивнул с подушки в том смысле, что не все может сказать в присутствии жены.

Я рассмеялся.

— Совсем с ума сошел старый пьяница, — заметила тетя Катя ровным голосом, стараясь не сбиться со счета и не переплеснуть капавшее лекарство. Она подошла к нему и осторожно подала рюмку.

— Ишь ты, первача нацедила, — сказал дядя Сандро и, привстав с подушки, взял рюмку, сморщился, проглотил, еще раз сморщился, откинулся на подушку и выдохнул: — Ес-

ли кто меня убьет, то это она... А ты напрасно смеялся, доживем до весны, увидим...

— Почему весной? — не понял я.

— Увидим, как дерево начнет усыхать, — приподняв корень одной рукой, он обхватил его в самом толстом месте другой, — дерево, потерявшее такой корень, не может не высохнуть хотя бы наполовину... Тут-то вы, ротозеи, и поймете, что эндурцы повсюду свои корни протянули...

Я подумал, что дядя Сандро, стыдясь этого неприятного случая, а главное, стараясь отвести многолетние попытки тети Кати разлучить его с любимой общественной должностью, придал этому корню смысл мистического страшилища (подобно тому, как нас когда-то пугали колорадским жуком).

— В следующее воскресенье приходи, — сказал он мне на прощанье, — люди хотят отметить мое выздоровление.

— Клянусь Богом, я пальцем не пошевелю ради этой бесстыжей затеи, — сказала тетя Катя, скорбно замершая на стуле у его ног. Она это сказала, не меняя позы.

— А ты можешь и не шевелиться — люди все сделают, — сказал дядя Сандро и, сам шевельнувшись под одеялом, принял более удобное положение и понюхал корень, словно через этот запах прослеживал за степенью опасности эндурских козней.

В воскресенье на закате теплого осеннего дня я снова поднимался к дому дяди Сандро. След вырубленного корня в виде глубокой выемки все еще оставался у калитки. Куда

ведет оставшаяся часть корня, трудно было понять, потому что корень пролегал вдоль забора и с обеих сторон уходил в глубь земли. Разумеется, если разрыть улицу, можно было бы проследить, куда он ведет, но пока никто не догадался это сделать.

Еще внизу на тропинке я услышал сдержанный гомон голосов — гости были в сборе. Я поднялся.

Перед домом возвышался шатер, покрытый плащ-палаткой, для проведения в нем праздничного пиршества.

У входа в дом стоял брат дяди Сандро, тот самый старик Махаз, который когда-то поручил мне передать брату жбан с медом. Рядом с ним, опершись на посох, стоял старый охотник Тендел, все еще глядевший пронзительными ястребиными глазами.

Махаз меня сразу узнал и, пожимая руку, поблагодарил, что я не отказался прийти и отметить это радостное событие.

— И ты в свое время потрудился на него, — сказал он, напоминая про жбан с медом, в целости доставленный адресату, — и ты сделал, что мог, как и все мы, — продолжал он, присоединяя меня к людям, которые честно исполнили свой долг перед дядей Сандро, как если бы дядя Сандро превратился в символ воинского или еще какого-нибудь общепринятого долга.

— Не узнал, не взыщи! — крикнул мне Тендел, сверля меня своими ястребиными глазками.

Махаз объяснил ему мое чегемское происхождение и дал знать, что я здесь в городе при должности, из Присматривающих.

— Небось деньгами подтираешься? — крикнул тот, радостно сверля меня своими желтыми ястребиными глазами. Я засмеялся.

— Подтираешься, — повторил он уверенно и неожиданно добавил: — А вот то, что вы Большеусого сверзили, это вы неплохо придумали.

Я пожал плечами, чувствуя, как трудно ему объяснить невероятность расстояния между мной и теми, кто его в самом деле сверзил. Но, с другой стороны, главное он определил точно — Присматривающие свергли Большеусого, а на каком расстоянии тот или иной из Присматривающих, или, как они еще говорят, Допущенных к Столу, от тех, кто его в самом деле сбросил, это и вправду не имеет никакого значения. Важно то, что не он, охотник Тендел, не он, пастух Махаз, и не все они, чегемцы или подобные чегемцам, это сделали, а люди совсем другого сорта, то есть Присматривающие сверзили Присматривающего над всеми Присматривающими, и теперь вроде всем полегчало (оттого так весело говорилось об этом), но главную выгоду все равно заберут Присматривающие, иначе и не могло быть, для этого и было все затеяно. Вот так можно было понять его слова в сочетании с зычным голосом и сверлящими ястребиными глазами.

...Перед домом, чуть левее шатра, был разведен костер, на котором в огромном средневековом котле уже закипала мамалыжная заварка. Мужчины хлопотали вокруг огня. Рядом к инжировому дереву был привязан довольно упитанный телец.

В нескольких шагах от него молодой парень, видимо один из соседей, точил на точильном камне большой охотничий нож. Время от времени парень пробовал его, подымая рукав рубахи и сбрывая с руки волосы. Бычок упрямо косился на него, словно догадываясь о назначении ножа. Бычка, конечно, пригнал брат дяди Сандро.

Я присоединился к тем мужчинам, которые спокойно и радостно ждали ужина, живописно расположившись на бревнах.

Есть какой-то особый вкус в принятых в наших краях ночных бдениях у постели больного или даже в ожидании поминального пиршества (не к ночи будь сказано!), когда поминки связаны со смертью достаточно пожившего человека. Нигде не услышишь столько веселых и пряных рассказов о всякой всячине, как на таких сборищах. По-видимому, близость смерти или смертельной опасности обостряет интерес к ярким впечатлениям жизни.

Вероятно, влюбленным вот так бывает особенно сладостно целоваться на кладбище среди могильных плит. Я-то никогда этого не испытал, если не приравнять к могильным гazonные плиты коммунальных кухонь, где в студенческие времена перед экзаменами случалось поздней ночью сживать с подружкой за учебниками в смутном страхе, усиливающем сладость объятий, перед командорскими шагами ее папаши в коридоре или, наоборот, перед тихими призрачными шагами любопытствующей соседки.

Меня всегда потрясала в таких случаях ураганная быстрота и точность преобразования милого облика, не оставляющего

никаких улик, кроме полыхающих губ и тупенького взгляда, устремленного в книгу!

Впрочем, я зарапортовался, потому что к этому дню ни о какой смертельной опасности не могло быть и речи. Дядя Сандро запретили вставать, но он настоял на том, чтобы находиться среди пирующих, и после небольшого совещания самых близких людей его решили вынести из дома и внести в шатер.

По этому случаю некоторые предложили кровать, ввиду ее громоздкости, заменить раскладушкой, а там уж, если иначе нельзя, перенести его на кровать. Тетя Катя с ними согласилась, и сторонники раскладушки, может быть боясь, что она передумает, стали поспешно перетаскивать дядю Сандро с кровати на раскладушку.

Сторонники цельнокроватного переноса дяди Сандро несколько растерянно следили за действиями сторонников раскладушки, время от времени переводя потухший взгляд на значительно обесцененную отсутствием дяди Сандро кровать.

Тетя Катя еще во время совещания по поводу способа перенесения дяди Сандро успела надеть на него чистую рубашку и подала ему брюки, которые он сам надел под одеялом. Но сейчас, когда его перенесли на раскладушку и накинули на него сверху верблюжье одеяло, и уже нетерпеливые сторонники раскладушки подхватили его и стали выносить, обнаружилось, что из-под одеяла высунулись большие голые ступни дяди Сандро.

— Что ж ты лежишь, как мертвец, — всплеснула руками тетька Катя. — Мог бы сказать, если я забыла...

Она велела поставить раскладушку, что, кстати, очень не понравилось тем, кто собирался ее нести, и засуетилась в поисках носков. Она нашла носки и стала надевать их на упрямо негнущиеся ноги дяди Сандро, что могло означать и недовольство ее забывчивостью и желание взбодрить сторонников цельного переноса, дать им возможность выиграть время.

Дело в том, что, когда обнаружили голые ступни дяди Сандро, и раскладушку пришлось поставить на пол, сторонники кровати оживились и решили хотя бы из дому выйти впереди раскладушки, чтобы перед теми, кто сейчас столпились во дворе, не выглядеть слишком смехотворно, спустившись во двор с пустой кроватью, уже После того, как понесут раскладушку с дядей Сандро.

И вот они ринулись с кроватью, пока тетя Катя надевала на негнущиеся ноги дяди Сандро наконец-то найденные носки. Чтобы дойти до веранды, надо было пройти сквозь три двери, что оказалось делом нелегким, учитывая громоздкость этого никелированного сооружения и сравнительную узость дверей, не говоря о довольно слабой конструктивной образительности несущих, усугубленной волнением, что идущие следом с раскладушкой попросят уступить им дорогу и выйдут вперед.

Все это не могло не отразиться на обращении с самой кроватью, особенно с ее решетчатыми никелированными спин-

ками, которые вместе со скрипом колыхающейся сетки издавали жалобные звуки.

Бедная тетя Катя сразу же отозвалась на эти звуки и, оставив раскладушку с дядей Сандро, присоединилась к несущим кровать, вскрикивая и причитая при каждом болезненном соприкосновении ее с дверными косяками. В конце концов причитания ее вызвали в дяде Сандро, которого несли следом, ревнивую досаду и он пробормотал что-то вроде того, что он вот, мол, не железный, а тем не менее никто не заботится о том, чтобы его несли поосторожней.

— Помнил бы об этом, когда пьешь, — ответила тетя Катя не оглядываясь.

Было забавно видеть, как выносили его с крыльца, а он важно лежал под живописно свисающим одеялом, важно прислушивался к нежелательной тенденции соскальзывания своего тела и, не придавая ей никакой личной заинтересованности, давал мелкие наставления несущим его четверем парням.

— Ну, теперь напоследок не опозорьтесь, — сказал он, когда несущие его дошли до середины крыльца, а наклон раскладушки принял характер, угрожающий оползнем ее верхнему, наиболее плодотворному слою.

— Господи, хоть бы корень свой оставил, — сказала тетя Катя, теперь уже отставшая от несущих кровать и сейчас следившая снизу, как спускают дядю Сандро с крыльца, а он лежит и руками, высунутыми из-под одеяла, сжимает свой корень, как штурвал управления.

Дядю Сандро внесли в шатер и донесли до его середины, где уже стояла кровать, а у кровати тетя Катя, наклонившись, сбивала ему подушку. Пожурив ее за то, что она делает это тут, где люди будут есть, а не раньше, он дал перенести свое тело на кровать, а раскладушку велел сложить и приставить к спинке кровати, где она и стояла, как шлюпка, причаленная к большому кораблю на случай мелководных надобностей.

Мы расселись на длинных скамьях, а точнее, на обыкновенных досках, подпертых кирпичами. Более широкие доски, наскоро приколоченные к подпоркам, служили столами.

Женщины стали раздавать тарелки с горячей мамалыгой, раскладывать из больших мисок куски дымящегося мяса, разливать алычовую подливу.

Высокий тонкий парень, не обращая внимания на шум готового вот-вот начаться ужина, стоя на табуретке, заканчивал электрификацию шатра. Это и был Тенгиз.

Минут десять—пятнадцать, пока мы рассаживались, он протягивал шнур, прикреплял к нему патрон и наконец ввинтил в него последнюю лампочку.

Рядом с ним возле табуретки стояла черноволосая миловидная девушка с ярким румянцем на щеках, как потом выяснилось, вызванным ее смущением. Время от времени Тенгиз брал у нее из рук какой-нибудь инструмент, который она доставала из ящика, стоявшего у ее ног, или передавал ей сверху тот, что держал в своей руке.

Чувствовалось, что он все время подшучивает над ней, одновременно легко, с артистической небрежностью делая свое

дело. Слов не было слышно, но атмосфера чувствовалась. Когда он ей сверху подавал щипцы, или кусачки, или молоток, он так вкрадчиво улыбался ей, так многозначительно задерживал руку, словно подсовывал не слишком благопристойную открытку или, подавая инструменты, намекал на вездесущий фрейдистский символ.

Кстати, глядя на него, я вспомнил глупую молву о том, что он якобы незаконный сын дяди Сандро. Как и всякий человек, не верящий сплетне, я мысленно все-таки сравнивал внешность этого парня с внешностью дяди Сандро.

Разумеется, ничего похожего, кроме высокого роста, между ними не было. Парень этот был чернявый, худой, даже несколько инфантильного сложения, тогда как во внешности дяди Сандро стройность сочеталась с мягкой мощью.

Наконец Тенгиз ввинтил в патрон вспыхнувшую лампочку и уже без всякого заигрывания сам отбросил отвертку в ящик, словно энергия заигрывания переключилась в электрическую и, став общим достоянием, потеряла интимный смысл. Он соскочил с табурета, и сразу же посыпалось со всех сторон:

- Тенго, сюда!
- Тенгиз, к нам!

Тенгиз развел руками и посмотрел на дядю Сандро, возлежавшего на кровати и оттуда благостным взором оглядывающего столы. Слегка улыбаясь, он протянул руку с корнем и указал ему на место рядом с молодыми женщинами, откуда он мог хорошо его видеть и слышать.

Мое место оказалось недалеко от него, и я с любопытством следил за ним и старался прислушиваться к тому, что он говорит.

Вскоре я узнал, что в доме у него стоит телевизор — первый в поселке, что он недавно провел себе телефон — тоже первый в поселке.

По поводу телевизора он сказал, что соседские дети устроили у него в доме кино, так что в доме теперь повернуться негде, и он намерен в ближайшее время продавать билеты за вход, особенно когда будут показывать картины про шпионов или футбольные матчи с тбилисским «Динамо». Разумеется, это он сказал шутливо, как бы добавляя зрелищную притягательность своего дома к другим его притягательным свойствам. Без всякого видимого повода он также сообщил, что обсадил свой участок лавровыми деревьями.

— Сто корней лавруши, — сообщил он, — пускай растут...

Кстати, Тенгиз рассказал, обращаясь к более широкому кругу гостей, историю своего знакомства с дядей Сандро.

Оказывается, это было семь лет тому назад. Из районной милиции, где он до этого работал, он перешел работать в Мухус завгаром НКВД. Квартиры у него сначала не было, и он попытался ее нанять в этом поселке с тем, чтобы попозже выбить себе участок и построить здесь собственный дом. Однако же домовладельцы, по его словам, узнавая, где он работает, вежливо ему отказывали. Наконец он попал к дяде Сандро. Дядя Сандро тоже спросил у него,

где он работает. Тенгиз ему сказал, что он работает в гараже, а кому принадлежит гараж — не сказал. Вернее, даже не успел.

— Вот бы дровишки мне кто привез, — сказал дядя Сандро, услышав про гараж.

— Можно устроить, — сказал Тенгиз, и этот ответ дяде Сандро так понравился, что он его тут же впустил на квартиру, больше ни о чем не спрашивая.

Дядя Сандро в первые же дни рассказал ему о многих бурных событиях своей жизни, причем некоторыми из них он явно не стал бы делиться, знай, где тот работает, неважно — в гараже он там или не в гараже.

Так или иначе, когда однажды Тенгиз вышел из комнаты в военной, мягко говоря, форме, дядя Сандро так растерялся, что вскочил со стула и отдал ему честь. Впрочем, увидев, что Тенгиз ничего дурного ему не собирается делать, он окончательно подружился с ним.

Пока Тенгиз рассказывал, дядя Сандро лежа улыбался, доброжелательно слушая его и время от времени поднося к носу корень, нюхая его и опуская руку вдоль одеяла.

Все посмеялись этому приятному рассказу, а Тенгиз налил себе вина и, велев всем налить, посерьезнел, встал и поднял тост в честь дяди Сандро.

Тост его сначала с эпической медлительностью охватывал жизнь дяди Сандро в целом, а потом, как ствол дерева естественно растекается живой зеленью ветвей, был оживлен многими частными подробностями.

По его словам, дядя Сандро шел по жизненному пути, стремясь украсить праздничные столы, если они ему попадались на пути, а если извилистый жизненный путь приводил его к поминальным застольям, ибо в жизни всякое бывает, он и тут не уклонялся, и тут выполнял свой общественный долг с тем приличием, с тем печальным достоинством, которое завещано нам дедами. Так что и тут бывали им довольны и родственники покойного, и соседи, и сам покойник, если ему дано оттуда видеть, что у нас тут делается.

В этом месте Тенгиз на мгновение остановился, чтобы разрешить этот дуалистический вопрос, и разрешил его в том смысле, что, скорее всего, умершим дано видеть многое из того, что делается здесь, хотя и не все, конечно.

Слушатели кивками и поддерживающими восклицаниями выразили согласие с его точкой зрения, но нашелся и скептик.

— Дай Бог, чтобы мои враги так видели, как покойники видят, — сказал он и, оглядев застольцев, словно спрашивая: не хотите ли проверить? — окунул кусок мяса в подливку.

— Тоже верно, — вздохнули некоторые из сидевших поблизости, отчасти отвергая даже самую отдаленную возможность производить над ними такого рода опыты.

— Какой светлой головой надо обладать, — продолжал Тенгиз, — я не говорю про седину, я говорю про содержание, чтобы в наше нелегкое время прожить, нигде не работая на себя, а целиком отдавая свою жизнь за наши с вами интересы. Да, за всю свою жизнь он нигде не работал, если не считать

этого несчастного сада, который он сторожил три года, если я не ошибаюсь?

Тут он обратил взоры к тете Кате как верной спутнице его жизни и правдивому свидетелю собственного тоста. Она стояла возле кровати дяди Сандро, куда ее, слегка подталкивая, вывели другие женщины, обслуживавшие стол, когда Тенгиз уже начал произносить свой тост.

— Он согласился сторожить этот несчастный сад только из-за коровы, — вставила она, краснея, как школьница. Кажется, она хотела подчеркнуть, что это небольшое отступление от правил его жизни не было личной прихотью или легкомыслием, а только следствием крайней необходимости.

— Тем более, — сказал Тенгиз, благосклонно принимая эту справку, и, закончив тост, предложил последовать его примеру. Гости, одобрительно пошумев, последовали.

Пока он говорил, дядя Сандро слушал его, кротко подложив одну руку под голову, время от времени, в самых патетических местах тоста, приоткрывая веки, словно тихо удаляясь и снова возвращаясь в шатер. При этом губы его были слегка раздвинуты в прислушивающейся улыбке, которую можно было так расшифровать: интересно, вспомнит ли он об этом моем достоинстве? ты смотри, вспомнил... молодец... а теперь посмотрим... и об этом, оказывается, помнит... а теперь...

В течение этого товарищеского ужина Тенгиз то и дело пошучивал с сидящими рядом женщинами, которым он был явно приятен, иногда перекидываясь с дядей Сандро взаим-

ной подначкой, иногда вставлял замечания в окружающие разговоры.

Пил и ел он, как я заметил, очень мало. Он держал в руке складной ножичек и весь вечер обрабатывал не очень мясистый мослак, вырезая из него маленькие ломти мяса, и, равнодушно отправляя их в рот, бросал окружающим шуточные замечания.

— Темный человек, — сказал он одному из соседей, который собирался поехать в деревню и проведать больного родственника, — зачем ехать, когда у меня телефон. Завтра позвоню в сельсовет и все узнаю...

Казалось, он страдал от того, что телефоном его никто не пользуется, в отличие от телевизора. Жители этого поселка, в основном выходцы из абхазских горных деревень, прекрасно обходятся без телефона, предпочитая переключаться, благо местность здесь холмистая, и звук хорошо движется во всех направлениях.

За весь вечер он так и не выпустил из рук эту неистощимую кость и, казалось, главным образом озабочен придать ей какой-то определенной скульптурной формы, а мясо отправляет в рот только для того, чтобы не сорить вокруг. Он действовал, как опытный косторез. Позже я убедился, что он может быть и опытным костоправом.

Не буду скрывать, что я незаметно попал в небрежные сети его обаяния. Хвастовство его носило настолько откровенный характер, что даже украшало его. Возможно, я ему тоже понравился, потому что к концу ужина мы оказались рядом.

Узнав, что я интересуюсь горной охотой, он сказал, что охота его любимое развлечение, что у него есть друзья-сваны, которые приведут нас в такие места, где столько дичи, что ее можно просто палкой бить.

— Приготовься, дам знать, когда можно будет ехать, — сказал он, продолжая обрабатывать свою кость, время от времени слизывая с лезвия ножичка кусочки мяса.

Тут он рассказал историю одной горной рыбалки, в которой он, волею случая, вместо с дядей Сандро принимал участие. Рыбалка эта была замечательна тем, что была устроена для товарища Сталина и велась при помощи взрывчатки.

Когда я выразил недоумение по этому поводу, дядя Сандро закивал головой с кровати, дескать, все это правда, так оно и было.

— Откуда у вождя время с удочкой там сидеть, как пенсионер? — пояснил Тенгиз и, срезав со своей кости тонкую стружку мяса, вбросил ее в рот. — И знаешь, что характерно?

Он посмотрел на меня и, убедившись, что я этого не знаю, добавил:

— Оказывается, в море то же самое... С торпедного катера глубинными бомбами глушили рыбу... Но этого я сам не видел, наши ребята рассказывали.

По словам Тенгиза, в один прекрасный день начальнику НКВД Абхазии дали знать, что товарищ Сталин, тогда отдыхавший у нас в Синопе, выразил желание порыбачить на горной речке. По этому случаю ему предложили выбрать рыбака из среды чекистов, которому можно было бы доверить дина-

мит в присутствии вождя. Начальник запаниковал, потому что, хотя в его ведомстве было немало чекистов, но никто из них глушить рыбу не умел. И тут начальник вспомнил, что Тенгиз много раз хвастался, выдавая себя за хорошего охотника. Он решил, что охотник обязательно должен быть рыбаком, а рыбак, по-видимому, должен быть браконьером, что было неверно. И вот он вызвал Тенгиза и предложил ему возглавить рыбалку для товарища Сталина.

— Товарищ начальник, — сказал Тенгиз, — я от всей души, но никогда в жизни удочку не держал.

— Удочку тебе и не надо будет держать, — ответил начальник, — будешь взрывчаткой глушить.

— Взрывчатку тем более не держал, — ответил Тенгиз и почувствовал, что начальнику это сильно не понравилось.

— Срываем отдых вождя, — печально сформулировал начальник, и тут Тенгиз, испугавшись, вспомнил, что дядя Сандро рассказывал ему о том, что он якобы при меньшевиках на Кодоре глушил рыбу. Но он со страху все спутал. Дядя Сандро ему этого не говорил. Дядя Сандро говорил, что при меньшевиках сами меньшевики глушили рыбу. И вот, со страху все перепутав, он сказал начальнику, что хозяин его дома, уважаемый всеми человек, хорошо умеет глушить рыбу.

— Это Сандро? — спросил начальник хмуро.

— Да, — сказал Тенгиз, — а за столом вообще лучше его нет человека.

— Можешь за него поручиться?

— Могу, — ответил Тенгиз, — тем более при Сталине он уже выступал как участник ансамбля песен и плясок.

— Одно дело танцевать, другое дело взрывчатку держать, — ответил начальник, задумавшись о своей карьере.

— Товарищ начальник, — напомнил ему Тенгиз, — они же с кинжалами танцуют...

— Одно дело холодное оружие, другое дело — взрывчатка, — возразил начальник, но, видно, делать было нечего. — Ладно, пошлем его в Ткварчели, пусть потренируется у взрывников... А тебя на время рыбалки приставим к нему. Чуть что — стреляй без предупреждения...

— Товарищ начальник, — постарался успокоить его Тенгиз, — даю слово, что стрелять не придется, проверенный человек...

Таким образом дядю Сандро за казенный счет, на казенной машине отправили в Ткварчели, где к нему приставили лучшего взрывника шахты № 1 имени товарища Сталина, который три дня на речке Гализге учил его глушить рыбу. Так что через три дня дядя Сандро приехал домой опытным браконьером.

А еще через три дня дядя Сандро вместе с Тенгизом и еще двумя охранниками в черном ЗИМе с закрытыми занавесками подъехали к правительственной даче, откуда выехали еще четыре ЗИМа с закрытыми занавесками, и они, согласно инструкции, последовали за этими машинами в район одного из горных озер, а какое именно озеро — до последнего момента не открывали.

Тут дядя Сандро перебил Тенгиза и сказал, что он сразу догадался, что рыбалка будет где-то поблизости от Рицы, потому что ни к одному из других горных озер шоссейная дорога не ведет.

Тенгиз улыбнулся в ответ на замечание дяди Сандро и добавил, что он тоже об этом знал, тем более что все эти дни на всем протяжении дороги размещалась охрана, что сделать было непросто, потому что, с одной стороны, она должна была быть замаскирована от злоумышленников, а с другой стороны, ее не должен был замечать товарищ Сталин.

Тенгиз неожиданно обратился ко мне:

— Допустим, ты отдыхаешь в Гаграх. Тебе вдруг захотелось поехать в Сочи. Что ты делаешь? Есть деньги — берешь такси. Нет денег — берешь электричку, правильно?

— Допустим, — согласился я.

— А товарищ Сталин не мог, — сказал Тенгиз, — за три дня должен был сообщить органам, чтобы охрану успели выставить. Но через три дня или охота пропадет, или погода испортится. А некоторые думают — вождям легко!.. Думают — куда хочешь езжай, что хочешь кушай... Все бесплатно...

С этими словами он постукал себя пальцем по темени, одновременно с пристальным вниманием оглядывая гостей. Палец его, постукивающий по темени, намекал на умственную отсталость тех, которые так думают, одновременно давая знать, что должность вождя требует и пожирает такое количество умственных сил, что с ума сойдешь, света божьего не

взвидишь. И оба эти смысла были поняты и должным образом оценены собравшимися.

— Что ты, Тенгиз! — восклицали некоторые, как бы суеверно отстраняясь от этой должности. — Воздем быть — хуже нет! Голова сама лопнет!

— Один Чан Кай-ши и то сколько лет мозги лечит!

— Да что вы говорите, я с женой и то не могу справиться, а он целую страну вот так держал. И еще соцлагерь построил.

— Тито, правда, уполз...

— А насчет жены, — снова раздался голос скептика, — ты сказал неправильно. С женой он тоже не мог справиться.

Тенгиз спокойно выслушал эти восклицания и, взяв ножичек, вырезал из мослака еще один кусочек мяса и отправил его в рот.

— Расскажи про того с мотыгой, — сказал дядя Сандро, уютно с постели глядя на Тенгиза и самым тоном своих слов показывая, что он его не торопит, а просто напоминает о чем-то интересном.

— Про какого с мотыгой? — посмотрел Тенгиз на дядю Сандро.

Дядя Сандро сейчас лежал на боку, сунув одну руку под подушку и время от времени лениво взмахивая другой, держащей корень. Так взмахивают камчой, не трогая лошадь, но давая ей знать, чтобы она не сбавляла ход.

— Ну, про того, что возле речки стоял, когда Большеусый вышел из машины.

— А-а, — вспомнил Тенго, — так тот был с лопатой.

— Какая разница, — сказал дядя Сандро, — с лопатой, так с лопатой...

— Большая разница, — неожиданно прицепился к нему Тенгиз, — в органах могут выдать лопату, а мотыгу не могут выдать... Ты бы еще сказал — сеялку-веялку...

— Ладно, — махнул дядя Сандро своим корнем, — знаем... Насчет лопат там у нас все хорошо... Рассказывай дальше.

— Вот ехидна, — после некоторой паузы сказал Тенгиз, глядя на дядю Сандро с затаенным восхищением. Затем он продолжал рассказ.

* * *

Оказывается, уже в горах, где дорога то подходила к реке, то сворачивала в золотистые буковые рощи, в одном месте товарищу Сталину захотелось выйти из машины и посмотреть на огромную полукилометровую скалу, нависшую над рекой. Он вышел из машины, и, стоя на дороге, некоторое время изпод руки любовался этой скалой, а потом вдруг спустился к реке и стал мыть в ней руки.

И в этот самый миг, метрах в тридцати от него, из-за кустов выглянул человек с новенькой лопатой.

Видимо, он так был поражен, что товарищ Сталин вдруг оказался в такой близости от него, что, забыв про все инструкции, открыто, во все глаза смотрел на него.

А между тем, когда Сталин вышел из машины, все, кроме шофера, тоже покинули свои сиденья. Оказывается, вместе

со Сталиным здесь был его секретарь Поскребышев, начальник кремлевской охраны, чью фамилию Тенгиз забыл, и врач, чью фамилию, по его словам, он и тогда не знал. Все остальные были охранниками или начальниками охранников.

И вот все они видят, что этот неопытный охранник сейчас попадется на глаза товарищу Сталину, и это может стать для всех большой неприятностью. И вот, чтобы этого не получилось, они все ему знаками показывают, чтобы он прятался назад в кусты, где он находился до этого.

— Но что интересно, дорогие друзья, — сказал Тенгиз, — он их всех не видит, хотя их много, а видит одного товарища Сталина, потому что смотрит только на него.

И вот товарищ Сталин вымыл руки, достал из кармана платок и только начал вытирать руки, как заметил этого товарища. И конечно, это ему не понравилось. Ему это показалось подозрительным. Здесь, в горах, где поблизости ни жилья, ни хотя бы маленького сельсовета, из-за кустов высовывается человек и глазет на него, даже не стыдясь своей лопаты.

Сталин быстро повернулся и, нахмурившись, пошел назад. Оказывается, он что-то сказал Поскребышеву, когда сел в машину, и, судя по ответу, он спросил у него про этого человека.

— Говорят, местный житель, — ответил ему Поскребышев, — червей копает для рыбалки...

При этом он вынул блокнот и что-то записал. Машины поехали дальше, и уже товарищ Сталин до самого места рыбалки нигде не выходил.

На зеленой лужайке возле огромного ствола каштана устроили привал, разожгли костер, вынесли раскладной стул, на котором возле костра уселся товарищ Сталин, поставив у ног бутылку армянского коньяка.

...Тут Тенгиз прервал свой рассказ и, обратившись к дяде Сандро, сказал:

— Теперь тебе даю слово. Ты рыбачил со Сталиным, ты с ним пил коньяк, ты и рассказывай...

Дядя Сандро на мгновение задумался, понюхал свой корень и, убедившись, что эндурцы ведут себя достаточно сносно, продолжал рассказ.

— День был хороший, солнечный, но лезть в горную воду в конце октября — дело не из легких, — так начал свой рассказ дядя Сандро.

После каждого взрыва всплывало десять—пятнадцать форелей, и дядя Сандро в закатанных кальсонах входил в воду и выбрасывал их на берег. Там их подбирали ребята из охраны и относили повару, хлопотавшему у костра.

Каждый раз после того, как дядя Сандро выходил на берег, очугуневший от ледяной воды, товарищ Сталин подзывал его к себе и наливал ему полную рюмку коньяку.

— Не надо, товарищ Сталин, мне не холодно, — отвечал дядя Сандро, клацая зубами, потому что ему было стыдно мокрым, в закатанных кальсонах подходить к вождю. Но тот молча манил его пальцем, и дяде Сандро ничего не оставалось, как подойти к нему и принять эту живительную рюмку.

Так продолжалось четыре или пять раз, а потом дядя Сандро забросил взрывчатку в маленький, но глубокий бочаг. Вместе с форелью всплыл огромный лосось, и все, стоявшие на берегу, радостно закричали, а товарищ Сталин, положив свою трубку на стул, подошел к берегу и полез в воду.

— А в чем он был одет? — спросил я.

— Вроде военной формы, — сказал дядя Сандро и поглядел на Тенгиза.

— Обыкновенный маршалский костюм, — сказал Тенгиз и, срезав тонкую длинную стружку мяса, слизнул ее с лезвия ножичка и добавил: — Только без погон.

И вот, значит, товарищ Сталин, увидев этого большого лосося, всплывшего и зацепившегося за камень, неожиданно для всех полез в воду. И тут кремлевский врач закричал:

— Товарищ Сталин, не забывайте, конец октября!

Но товарищ Сталин, не оборачиваясь, махнул ему своей левой, усыхающей рукой, и продолжал входить в воду. Тут начальник кремлевской охраны закричал:

— Товарищ Сталин, я вам категорически запрещаю!

Товарищ Сталин и ему дал отмашку своей усыхающей рукой и пошел глубже, стараясь не набрать воду в сапоги. Пока он шел по мелководью. А его личный секретарь Поскребышев в это время бегал по берегу, как курица, которая высидела утенка, и все кудахтал:

— Я буду жаловаться в Политбюро! Я буду жаловаться в Политбюро!

Тут товарищ Сталин нагнулся и вытянул руку, чтобы достать лосося, который зацепился за камень у маленького переката. Но рука его не дотянулась, он сделал еще один шаг и набрал воду в сапог. Тогда он махнул в последний раз своей усыхающей рукой, мол, незачем кричать, когда я набрал уже полный сапог воды, сделал еще один шаг и, промокнув до самых карманов маршальского галифе, ухватил лосося, приподнял его, повернулся и, с улыбкой держа его на руках, ну, совсем как на портрете девочку Мамлакат, вытащил его из воды и отдал подбежавшим людям.

...В этом месте дядя Сандро был вынужден приостановить свой рассказ, потому что некоторые из гостей решительно забыли, о какой Мамлакат он говорит, тогда как другие, наоборот, стали говорить, что хорошо помнят эту фотографию сборщицы хлопка, обнимающей товарища Сталина, потому что перед войной эта фотография в сильно увеличенном виде повсюду висела.

Тут некоторые из слушателей, поняв что к чему, вспомнили свою давнюю обиду на товарища Сталина, что он тогда взял на руки эту совсем даже не красивую среднеазиатскую девочку, тогда как мог взять на руки какую-нибудь из наших маленьких сборщиц чая, хорошеньких, как куколки. Но почему-то не захотел. Другие тут же вступили с ними в спор, оправдывая вождя тем, что тогда для политики надо было взять на руки именно среднеазиатскую девочку, чтобы индусы его заметили и подумали о себе.

Дядя Сандро снисходительно выслушал все эти точки зрения и продолжал свой рассказ.

— Одним словом, — продолжал он, — не успел Большееусый выйти на берег, как к нему бросились Поскребышев, кремлевский врач и начальник охраны, неся на руках полотенце, запасные кальсоны, запасные галифе, сапоги и всякую мелочь из одежды, которую не упомнишь.

Они окружили его и увели к машине, а дядя Сандро взял свои брюки, носки и туфли и пошел вверх по течению, где метрах в пятидесяти виднелись заросли ежевики.

Он зашел в эти заросли, снял кальсоны и начал их выжимать, как вдруг услышал, что в глубине кустов что-то шевельнулось. Дядя Сандро испугался, думая, что это может быть шальной медведь и ему придется бежать от него в голом виде, что было бы для него как для абхазца большим позором.

— Хейт! — крикнул он, думая, что, если это птица — вспорхнет, а если зверь — выбежит.

— Не бойся, охрана! — вдруг раздался голос в кустах.

Тут дяде Сандро стало опять не по себе, потому что ему, как абхазцу, было очень стыдно показываться в голом виде даже перед охранником. Он повернулся спиной на этот голос и, удивляясь про себя, сколько их повсюду понатыкано, стал надевать свои влажные кальсоны. Только просунул ногу в штанину, как раздались шаги со стороны привала. Кто-то подошел к кустам и остановился.

— Где здесь товарищ Сандро? — спросил голос.

— Да вы что, с ума посходили, — крикнул дядя Сандро, — дайте человеку одеться!

— Вам кальсоны в подарок от товарища Сталина, — сказал человек, и дядя Сандро, вынув ногу, вдевая в кальсоны, и прикрывшись ими же, выглянул из-за кустов. Там стоял молодой парень из охраны и держал в руке шерстяные кальсоны серого цвета.

— Сталинские? — спросил дядя Сандро.

— Да, — сказал охранник, — можете надевать.

Дядя Сандро взял в руки кальсоны, подивился их пушистой легкости и, забыв поблагодарить удалившегося охранника, стал их надевать, чувствуя необыкновенную легкость и теплоту шерсти.

— Можете думать, что хотите, но в эту минуту решилась судьба абхазцев, — вдруг сказал дядя Сандро и оглядел пригнутые столы.

Тенгиз усмехнулся и, не подымая головы, продолжал работать над своей костью.

— Это еще чего? — спросил Тенгиз из своего угла.

— А вы знаете, что в это время готовые эшелоны стояли в Эшерах и в Келасури? — спросил дядя Сандро.

— Знаем, — сказал молодой завмаг, — когда я слушал дело Рухадзе...

— При чем тут дело Рухадзе? — поднял Тенгиз голову над своей костью и строго посмотрел на завмага.

Завмаг смущенно замолк. Он был один из соседей дяди Сандро и магазин, в котором он работал, находился прямо у выезда на шоссе под холмом, где жил дядя Сандро. После ареста Берии, когда в Тбилиси проходил процесс над началь-

ником НКВД Грузии, он, будучи в Тбилиси, попал на один день в театр, где проходил процесс. Видно, друзья по благу устроили ему однодневный пропуск. С тех пор он к месту и не к месту вспоминал об этом.

— Эшелоны стояли в Очемчирах и в Тамышах, — добавил кто-то.

— Вы знаете, конечно, что нас собирались выселить из Абхазии, как выселили многие другие народы? — сказал дядя Сандро, важно оглядывая столы.

— Говорят, правда, — раздалось со всех сторон.

— Тенгиз должен знать, — сказал один из гостей, — он же тогда в системе работал.

— Во-первых, не знаю, — сказал Тенгиз, подымая голову и многозначительно оглядывая столы, — а, во-вторых, даже если бы и знал, не имел бы права говорить.

— Ты смотри как строго! — удивился кто-то.

— Тенгиз, — раздалось с другого конца стола, — я не пойму, ты в системе находишься или вышел из системы?

— Я давно уже вышел из системы. Я в автоинспекции, — ответил Тенгиз.

— Знаю. Но я думал, что так легко из системы не отпускают.

— Меня отпустили, — сказал Тенгиз достойно, показывая, что он это он, но распространяться по этому поводу незачем.

— Дядя Сандро, — спросил молодой завмаг, — как все-таки это связано — кальсоны вождя и выселение абхазцев?

— Что вы его слушаете, — сказала тетя Катя, — он и сам сядет на старости лет за свой язык и вас еще прихватит с собой...

— Через этот подарок, — сказал дядя Сандро, переждав тетьку Катю, как некий стихийный шум, — он хотел показать, что выселение абхазцев отменяет... То ли я ему сильно понравился... то ли еще что. Прямо он не мог сказать, а так дал понять: живите спокойно, я вас трогать не буду.

— Это ты, Сандро, перехватил, — сказал скептик, — он мог и кальсоны подарить, и выслать.

— Точно, — добавил кто-то, — буйвол сам пашет и сам топчет!

— Ты лучше рассказывай дальше, — сказал Тенгиз, — зачем тебе Сталин подарил кальсоны, теперь мы никогда не узнаем...

Не вполне довольный тем, что его догадку никто не поддержал, дядя Сандро двинулся дальше, постепенно оживляясь в процессе рассказа.

...Одним словом, надев брюки, он вышел из-за кустов, держа в своих руках старые солдатские кальсоны, которые он еще во время войны выменял на корзину груш у бойца истребительного батальона.

Теперь ему эти старые кальсоны показались ужасными, и он стал стыдиться того, что осмеливался в них подходить к товарищу Сталину, одновременно пытаясь утешить себя тем, что они были в закатанном виде.

Дядя Сандро решил, что теперь они ему не нужны, да и подходить к костру со старыми кальсонами в руке было как-то неудобно. Он огляделся и, заметив у ног большой камень, отодвинул его и подложил под него свернутые жгутом кальсоны.

— Что это ты там спрятал? — спросил у него Тенгиз по-абхазски, когда он подошел к остальным.

— Старые кальсоны, — ответил дядя Сандро, — а что?

— Здесь уже доложили, что ты там что-то спрятал, — сказал он ему строго и предупредил, чтобы он никогда таких вещей не делал.

По словам дяди Сандро, он сказал это так, как будто он, Сандро, собирался всю жизнь глушить рыбу для Сталина, а Сталин за это всю жизнь собирался дарить ему кальсоны, а дядя Сандро, приняв подарок, норовил бы тут же пристроить свои старые кальсоны под первый же подвернувшийся камень.

Гости посмеялись забавности этого предположения, а Тенгиз, доскабливая уже оголенную кость, улыбнулся и, не подымая головы, пожал плечами:

— Тогда такое время было...

— И чему я дивлюсь, — продолжал дядя Сандро, — сколько времени прошло, а кальсоны как новенькие на мне... Видно, особая какая-то шерсть...

— Спецовцы, — бросил Тенгиз, не поднимая головы и не отрываясь от кости.

— Господи! Все-таки, может, хватит про исподнее, тут и женщины молодые, — сказала тетя Катя, обращаясь к мужу. Сейчас она сидела у его ног на постели.

Дядя Сандро взглянул на нее рассеянным взглядом и продолжал свой рассказ, никак не показав своего отношения к ее словам.

...Оказывается, возле костра расстелили большой персидский ковер, на который постелили скатерть, а на ней разложили всевозможные закуски, особенно много было жареных цыплят.

У ног Сталина, на самом ковре, расположились приближенные начальники во главе с Поскребышевым. Товарищ Сталин подозвал всех ребят из охраны и, как они ни ломались, заставил их усесться на ковер и принять участие в этом обеде под открытым небом.

— Кушайте цыплят, а то они вырастут, — говорил товарищ Сталин ребятам из охраны, которые очень стеснялись есть в присутствии вождя.

Когда дядя Сандро вспомнил эту шутку, Тенгиз радостно закивал и, оторвавшись от своей кости, пояснил:

— Но как они могли вырасти, когда они были жареные?

Подчеркнув абсурдность замечания вождя относительно цыплят, Тенгиз, как бы во избежание кривотолков, дал знать слушателям, что реплика эта представляла из себя только шутку, хотя и довольно затейливую, но все-таки только шутку. Вождь шутил, чтобы приободрить ребят из охраны, и никакого другого значения не надо придавать его словам.

Дядя Сандро продолжал. Оказывается, во время обеда товарищ Сталин много шутил над своими приближенными, особенно же доставалось Поскребышеву. Он высмеял его за то, что тот никак не мог сесть на ковер по-турецки, а потом, когда стали пить шампанское, он его поймал на том, что По-

скребишев старается скорее, пока пена не осела, пригубить свой бокал, чтобы ему не доливали.

По словам дяди Сандро это было тонким и справедливым наблюдением, доказывающим, что он тоже мог бы стать неплохим тамадой, если бы так много не занимался политикой. Тут дядя Сандро остановился и лукаво оглядел всех со своей высокой подушки, словно стараясь понять, дошел ли до слушателей его далеко идущий намек.

Трудно сказать, дошел ли он до слушателей, потому что Тенгиз, тут же оторвавшись от своей кости и насмешливо посмотрев на дядю Сандро, спросил:

— Выходит, если бы ты так много не занимался застольными делами, мог бы стать вождем?

— И не хотел бы, — сказал дядя Сандро, — тем более после Двадцатого съезда.

Разговор перебросился на Двадцатый съезд, и многие стали высказывать различные соображения по поводу критики Хрущевым Сталина.

Я спросил у Тенгиза, что он лично думает по этому поводу.

— Именно я, да? — переспросил он и посмотрел мне в глаза.

— Именно ты, — повторил я.

— Конечно, Хрущев во многом прав, — сказал Тенгиз, — насчет колхозов прав. Насчет выселения народов прав и насчет арестов прав... Но если ты хочешь мое личное впечатление, я тебе скажу.

— Да, твое личное, — повторил я.

— К ребятам из охраны лучше его никто не относился. Это я видел своими глазами.

Тут нас неожиданно перебил Тендел, сидевший в углу рядом с братом дяди Сандро, который, кстати, отвалившись от стола, уснул.

— Сандро! — крикнул он. — Швырнул бы в костерок ему кусочек взрывчатки, тут бы тебе Хрушит и орден выдал!

Все расхохотались, а брат дяди Сандро проснулся и, дико озираясь, кинул.

— Посмертно, — добавил Тенгиз к словам старого Тендела, продолжая работать над своей костью, которая теперь вдруг стала похожа на одну из двух скрещенных костей, стоящих под черепом (барабанные палочки судьбы!) и составляющих вместе с ним известный символ.

— Посмертно, — повторил он уже по-русски и добавил: — Там ребята были будь спок — шевельнуться не успеешь.

— Чего это он сказал? — спросил Тендел, но ему не успели разъяснить, потому что дядя Сандро продолжил его мысль.

— Куда уж взрывалку, — сказал дядя Сандро задумчиво, словно и такая возможность была им изучена, но отброшена ввиду ее невыполнимости, — куда уж взрывалку, кальсоны, и то не дали сунуть под камень...

— Опять за свое, — посмотрела тетя Катя на него с укоризной.

Но дядя Сандро не остановился на своих кальсонах, а продолжал рассказ. По его словам, он сидел напротив вождя и исподтишка наблюдал за ним, стараясь не сверкать в его

сторону своими хотя и не такими, как в молодости, но все еще яркими глазами.

Оказывается, он все еще боялся, что Сталин узнает его, хотя со времени той первой встречи прошло больше пятидесяти лет.

По наблюдениям дяди Сандро, внешне Сталин сильно изменился даже по сравнению с тем, каким он был в ночь знаменитого пиршества, не говоря уже о первой встрече. Он весь поседел, а усыхающая рука была заметна даже тогда, когда он ею не двигал. Но глаза остались такими же яркими и лучистыми, как тогда, при первой встрече. А когда он встал и пошел доставать лосося, двигался очень легко и быстро.

И все-таки он еще раз вспомнил дядю Сандро, а дядя Сандро еще раз сумел перехитрить вождя! (Говоря об этом, он с непередаваемым удовольствием облизнулся.)

По словам дяди Сандро, уже к концу обеда Большеусый что-то почувствовал и стал присматриваться к ему. Дядя Сандро встревожился и старался не поднимать глаз, но, и не поднимая глаз, он чувствовал, что Сталин время от времени на него посматривает.

— Где-то я тебя видел, рыбак, — вдруг услышал он его голос.

— Меня? — спросил дядя Сандро и поднял глаза.

— Именно тебя, рыбак, — сказал Большеусый, взглядываясь в него своими лучистыми глазами.

— Я раньше танцевал в хоре Панцулая, — ответил дядя Сандро заранее обдуманной фразой, — и мы перед вами выступали в Гаграх...

— А еще раньше? — спросил Большеусый, не сводя с дяди Сандро своего лучистого взгляда, и вдруг за столом все замерли. Поскребышев, стараясь не шуметь, салфеткой вытер руки и сунул одну из них в карман, готовый по первому же знаку вытащить свой блокнот.

— Раньше могли в кино видеть, товарищ Сталин, — сказал дядя Сандро, прямо глядя ему в глаза.

— В кино? — удивился Сталин.

— Наш ансамбль снимался в кино, — сказал дядя Сандро бодро и снова взглянул в глаза вождя.

— А-а-а, — сказал Сталин, угасая глазами, — а где сейчас Платон Панцулая?

Он макнул ножку цыпленка в сациви и вяло откусил ее. Откусив, снова поднял глаза на дядю Сандро.

Дядя Сандро не сразу нашелся, что ответить. Он боялся испортить настроение вождю.

— В тридцать седьмом арестовали, — сказал дядя Сандро и развел руками в том смысле, что, мол, не повезло человеку, угодил под обвал. (Сейчас, рассказывая об этом, он именно так пояснил свой жест.)

Тут Сталин посмотрел на Поскребышева, как будто что-то хотел сказать. Поскребышев проглотил то, что было у него во рту, и, снова вытерев руки салфеткой, замер в ожидании. По словам дяди Сандро, он смотрел на Сталина так, как будто хотел сказать: — Пожалуйста, прикажите, мы его освободим.

Во всяком случае, так показалось дяде Сандро. Во всяком случае, дядя Сандро почувствовал волнение и радость

при мысли, что Платона Панцулая могут освободить. Он подумал: хорошо бы попросить и за Пату Патарая и за сына Лакобы — Рауфа, четырнадцатилетним мальчиком арестованного в тридцать седьмом году. Но потом у него мелькнуло голове, что все же за сына Лакобы опасно просить, и он честно признался, что мысленно воздержался от этой мысленной просьбы.

Тут дядю Сандро перебили, напоминая о том, что сына Лакобы убили в сорок первом году, когда он написал письмо Берии, чтобы его отправили на фронт, а Берия, удивившись, что он еще жив, приказал его убить.

— Видно, в тридцать седьмом не могли убить как несовершеннолетнего, а потом забыли про него, а он, бедняга, в сорок первом попросился на фронт и тем самым напомнил о себе, — предположил один из гостей дяди Сандро, как мне показалось, вполне разумно. По слухам, письмо, которое Рауфу удалось переправить из тюрьмы, содержало в себе просьбу отправить его на фронт.

— Бедный мальчик, — вздохнула тетя Катя, — сейчас был бы на свободе.

— А вы знаете, что сказал генеральный прокурор Руденко на процессе Рухадзе? — вдруг вставил молодой завмаг, у которого дядя Сандро пользовался кредитом.

— Ну, что сказал? — спросил у него Тенгиз насмешливо, словно уверенный, что он опять скажет что-нибудь невпопад.

— Руденко сказал, что Сарье, жене Лакобы, нужно памятник поставить, потому что, сколько ее ни пытали, она не пре-

дала своего мужа, — сказал он, победно оглядывая присутствовавших.

— Вот и пусть поставят — кто им мешает, — сказал тот, что высказывался насчет Рауфа.

— Бедняга Сарья, — вздохнул дядя Сандро, — я ее в те времена каждый день видел вот так, как я вас сейчас вижу...

— Да ты лучше расскажи, как у вас там с Большеусым закончилось, — напомнил один из гостей, — что все-таки он сказал, когда посмотрел на Поскребышева.

— В том-то и дело, что ничего не сказал, — ответил дядя Сандро, — вернее, сказал, что он опять неправильно сел, ноги вывернул из-под себя...

— Да, да, — закивал Тенгиз, улыбаясь, — он совсем не умел сидеть по-турецки. Сталин его за это высмеивал...

— Да ты лучше скажи, — крикнул Тендел, со своего места, — здорово ты наложил в штаны, когда Большеусый глянул на тебя?

— Трухнуть трухнул, а так ничего, — серьезно ответил дядя Сандро.

— Жалко, что он не вспомнил нижнечегемскую дорогу, а то бы ты полные штаны наложил! — крикнул Тендел под общий хохот. Все знали историю встречи дядя Сандро со Сталиным или с тем, кого он принял за Сталина на нижнечегемской дороге.

— Если бы не кальсоны Сталина, может, и наложил бы, — сквозь общий хохот закричал Тенгиз, — а так испугался, что еще хуже будет.

— Вас же, засранцев, спас от выселения. и вы же надо мной смеетесь! — крикнул дядя Сандро, сам еле сдерживаясь от смеха.

Поздно ночью, когда окончился ужин, мы с Тенгизом распрощались с дядей Сандро и спустились на улочку, ведущую к шоссе.

— Шухарной старик, — захлопывая калитку, сказал он, — я его от души...

— Он тебя тоже, — ответил я и заметил, как Тенгиз, в знак согласия, кивнул головой. Ночь была свежая, звездная. В воздухе стоял запах перезрелой «изабеллы» и сохнувшей кукурузы.

Когда мы поравнялись с его домом, он стал уговаривать меня, чтобы я остался у него ночевать. Я его поблагодарил, но отказался, ссылаясь на то, что меня ждут дома.

— Позвони от меня, — предложил он и, в качестве приманки, добавил, — я тебе расскажу, как я охотился с маршалом Гречко, когда он отдыхал в Абхазии.

— У нас телефона нет, — сказал я, чувствуя, что на сегодня с меня хватит. Мы распрощались, и я стал спускаться к шоссе. Впереди и позади меня шли по домам гости дяди Сандро, громко разговаривая и окликая друг друга.

* * *

Дней через двадцать дядя Сандро появился у меня в редакции. Он был уже вполне здоров, и я его несколько раз

мельком встречал в кофейнях. Сейчас он выглядел взволнованным.

— Что случилось? — спросил я, вставая и показывая ему на стул.

— Над женой надругались, — сказал он, продолжая стоять.

— Кто, где? — спросил я, ничего не понимая.

— Директор поликлиники в поликлинике, — сказал он и выложил подробности.

Оказывается, в новооткрытой коммерческой поликлинике, куда тетя Катя пришла лечить зубы, ей обещали вставить золотые коронки, а потом в последний момент отказали, ссылаясь на отсутствие золота.

И главное, что сами же ей предложили вместо четырех коронок вставить шесть, хотя дядя Сандро и тетя Катя просили насчет четырех зубов. И вот теперь, по его словам, заточив ей два лишних зуба, чтобы удобней было коронки вставлять, они говорят, золото в этом квартале кончилось, пусть подождет еще месяц, тогда, может, дадут золото.

А как ждать бедной женщине, когда она говорить не может и кушать не может. Ну, то что говорить не может, это даже неплохо, но то, что кушать не может, это слишком.

— Да что же там могло случиться?

— Вот пойдем, узнаешь, — сказал он, и я, закрыв двери кабинета, вышел вместе с ним из редакции.

— Я думаю, — продолжал он по дороге, — они ждали ревизию, и, чтобы показать, что золото не только продают спекулянтам, но и вставляют населению, дали обещание, да еще

два лишних зуба прихватили, для плана. А теперь — или с ревизией нашли общий язык, или ревизию отменили.

Мы завернули за угол, прошли два квартала и подошли к поликлинике. На тротуаре в тени платана стояла тетя Катя, скорбно прикрыв рот концом черного платка, которым была повязана ее голова. При виде меня она изобразила на лице морщинистую гримаску, в центре которой, спрятанная под платком, по-видимому, должна была находиться смущенная улыбка. Потом она с упреком, как на виновника надругательства, посмотрела на дядю Сандро.

— Я при чем? — сказал дядя Сандро, пожимая плечами.

— Ты меня надоумил, — сказала она сквозь платок, — я бы вырвала болящий и дело б с концом.

Она говорила тихим, ровным голосом, стараясь, видимо, не раздражать боль.

— Больно? — спросил я.

— Так не больно, но когда воздух ударяет, прямо дырявит, — сказала она и, помолчав, добавила, как о нравственном страдании, усугубляющем физическое: — Говорить не могу.

— А ты и не говори, — сказал дядя Сандро.

— Тебе бы этого только и хотелось, — сквозь платок скорбно проговорила она.

— Ничего, тетя Катя, мы сейчас, — сказал я бодро, чтобы самому настроиться на решительный лад.

— Подожди нас здесь, — сказал дядя Сандро, и мы направились к входу.

— А то улечу, — вздохнула она нам вслед.

— Что интересно, — заметил дядя Сандро, когда мы вошли в поликлинику, — с тех пор, как боль не позволяет ей говорить, еще больше говорит.

Мы прошли по коридору, где тут и там на скамьях сидели люди с лицами, искаженными зубной болью или окаменевшими в мрачном ожидании встречи с бормашиной.

Мы подошли к директорскому кабинету. Я приоткрыл дверь и увидел маленького человека в белом халате, сидевшего за столом и разговаривавшего с другим человеком в белом халате.

Когда я открыл дверь, оба посмотрели в нашу сторону. Несколько секунд тот, что сидел на директорском месте, раздумывал, стараясь понять, случайно ли я оказался в дверях с дядей Сандро или мы представляем единую сомкнутую силу. По-видимому, решил, что мы вместе.

— Одну минуту, — сказал он, сверкнув золотыми зубами, — сейчас освобожусь.

Я закрыл дверь.

— Нету золота, — проворчал дядя Сандро, — а сам работает тут два месяца и уже полон рот золота...

Мы постояли с полминуты, прислушиваясь к глуховато доносившимся голосам из кабинета. Голос директора стал громче, видно, он куда-то позвонил. Вдруг дядя Сандро приник головой к дверям. Мне стало неловко. Я отошел и сел на скамейку рядом с несколькими мрачными пациентами, ожидающими своей очереди. Дядя Сандро продолжал прислушиваться к тому, что происходит в кабинете. На него никто не обращал внимания.

Я смотрел в глубину коридора, где время от времени появлялись сестры и врачи в белых халатах, и у каждого в руке были какие-то бумаги или журналы с историями болезней. Я боялся, что кто-нибудь из них подойдет к директорскому кабинету. Но никто не подошел и не обратил внимания на дядю Сандро. Каждый был занят своим делом.

Наконец дядя Сандро оторвался от двери и подошел ко мне.

— Про тебя говорил, — кивнул он в сторону кабинета.

— Про меня? — переспросил я, почему-то уверенный, что это не сулит мне ничего хорошего.

— Спрашивал у кого-то по телефону, — объяснил дядя Сандро, — тот ему сказал, что ты некрепко сидишь на месте.

— Почему? — спросил я, хотя и сам знал почему.

— Они подозревают, что ты донес Москве про козлотура, — сказал дядя Сандро и с любопытством заглянул мне в глаза. — Они говорят, что редактор только и думает, как от тебя избавиться...

Настроение у меня испортилось. Этот подлый слух начал мне надоедать. Главное, почему надо было доносить, когда материалы о козлотуре печатались в местной прессе, и даже один из них был перепечатан в Москве?

Дверь директорского кабинета открылась, и оттуда вышел человек, который сидел спиной к нам. Он держал в руке толстый журнал. Проходя мимо, он мельком как-то нехорошо взглянул на меня, словно знал обо мне какую-то неприятную тайну.

— Пригрози фельетоном, — шепнул дядя Сандро, когда мы вошли в кабинет.

— Пожалуйста, присядьте, — сказал директор, кивнув на стулья. В тоне его была доброжелательность человека, который уверен в своих картах.

Мы продолжали стоять.

— Я уже говорил товарищу Сандро, — продолжал он, — мы не виноваты, что так получилось. В этом квартале нам отказали в материале...

Он развел руками в том смысле, что обстоятельства сильнее наших добрых намерений.

— Но в какое положение вы поставили женщину, — сказал я, — вы ей сточили зубы, она не может ни есть, ни говорить...

— Я же говорил товарищу Сандро, — сказал он, энергично взмахнув рукой в сторону дяди Сандро, — мы ей можем вставить металлические коронки, кстати, это и прочней и гигиеничней...

Я повернулся к дяде Сандро.

— Что ж, моя жена, — сказал он, — как ведьма, будет ходить с железной челюстью?

— Это предрассудок, товарищ Сандро, — бодро склонился директор в сторону дяди Сандро, — металлические коронки старой женщине больше к лицу.

— Вот и вставь своей, — сказал дядя Сандро.

— Товарищ Сандро, прошу не грубить, — он выставил ладони, словно щитки, на которых написан размер наказания за грубость.

— Как моей — так можно, а как твоей — так грубить!

— Ваша жена — наш пациент. А моя жена тут ни при чем, — он опустил щитки ладоней на стол, но зато в голосе его появился металл. Может быть, тот прочный, гигиенический, из которого делают коронки.

— Ты же мне сам говорил, что вместо четырех надо шесть, а теперь ни одного?

— Я же вам говорил, — снова начал он, — нам недодают золото, потому что в стране валюты не хватает...

Он выпучил глаза и замер, как бы удивляясь, что вместо того, чтобы поскорбеть вместе с ним по поводу нехватки валюты, дядя Сандро еще требует у него золото.

Мы вышли.

— Надо было пригрозить фельетоном, — сказал дядя Сандро, когда мы проходили по коридору, — да, видно, от тебя толку никогда не будет. Придется опять моего Тенго просить...

Мы вышли из поликлиники и подошли к тете Кате, которая так и стояла в тени платана, прикрыв рот концом черного платка.

— Ну и что сказал? — спросила она сквозь платок голосом человека, не ожидающего ничего хорошего.

— То же, что и говорил, — ответил дядя Сандро, — этот бедолага не то чтобы нам помочь, сам, оказывается, еле держится... Сейчас съезжу к Тенгизу — он им покажет... А ты никуда не уходи. Вон там сядь на скамейку и жди, — он кивнул на сквер через улицу, — если кто будет заговаривать, не отвечай, притворись немой.

Дядя Сандро повернулся и, не прощаясь со мной, решительно отправился в сторону автобусной остановки. Мне было неприятно за свое бездарное участие в этом деле и жалко тетю Катю, так и оставшуюся стоять со ртом, прикрытым концом черного платка.

— Иди, сынок, — проговорила она сквозь платок, — что ж делать... И тебя потревожили...

Понурившись, я пошел к себе в редакцию. Перед самым концом рабочего дня ко мне вошел дядя Сандро.

— Выйдем, — сказал он властным тоном человека, который одаривает вас жизненным уроком. Я поплелся за ним.

Мы спустились вниз. Тетя Катя стояла возле редакции. Она все еще прикрывала рот концом платка, но теперь она это делала совсем по-другому. Так девушка, впервые накрасившая губы, прикрывает их от знакомых.

— А ну, улыбнись! — сказал дядя Сандро, подходя к ней.

— Отстань! — сказала тетя Катя, стараясь скрыть смущение и не решаясь отодвинуть от губ конец платка.

— Совсем поглупела? — строго сказал сверху дядя Сандро.

— Ну, что тебе? — сказала тетя Катя и, отодвинув платок, смущенно улыбнулась золотом зубов, — кажется, вроде все смотрят мне в рот.

— Ну, что? — обернулся ко мне дядя Сандро. — Хорошо подковали мою старушку?

— Замечательно, — сказал я, глядя, как тетя Катя, снова приподняв платок, осторожно спрятала в него свое золото.

— Теперь понимаешь, что за человек мой Тенго?

— Но где он взял золото? — спросил я.

— Ха! — воскликнул презрительно дядя Сандро. — Где он взял? Да ты спроси, как было!

— Как было? — спросил я, и он мне рассказал, как было.

— Когда мы на мотоцикле с грохотом подкатили к этой поликлинике, все окна распахнулись, и они поняли — дело плохо. Тенгиз не выключил свою машину, и мы прошли внутрь. Пока шли по коридору, двери приоткрывались и оттуда тоже высовывались эти жулики, и только мы поравняемся — как двери под взглядом Тенгиза хлоп! хлоп! хлоп!

Тенгиз распахивает дверь директорского кабинета — никого. Успел сбежать. Теперь я спрашиваю: что бы ты делал на месте Тенго? Ты бы, как нищий пенсионер, стоял бы в дверях и ждал, пока он вернется. Что сделал Тенгиз? Тенгиз вошел в кабинет и сел на директорское место. Только сел, зазвонил телефон. Берет трубку. «Алло», — говорит и смотрит на меня. Тот, видно, спросил, кто говорит.

— Тенгиз говорит, — отвечает, — начальник автоинспекции приморской дороги.

Тот, видно, спрашивает, где, мол, директор.

— Директор в бегах, — говорит, — как раз мы его ищем. Есть подозрение, что сбежал с казенным золотом. Дороги перекрыты.

Тот, видно, испугался и, ничего не ответив Тенгизу, положил трубку. А Тенгиз спокойно набирает номер и разговаривает со своими знакомыми. И что же думаешь? Через пять минут директор, как побитая собака, входит к себе в кабинет,

а Тенгиз (ах ты, мой Тенго!) продолжает говорить по телефону, только теперь не на меня смотрит, а на директора. Рукой показывает ему — садись! — но тот не садится, потому что хочет в свое кресло сесть. Наконец Тенго кладет трубку и смотрит на директора.

— Что скажешь? — спрашивает Тенго.

— Я уже все сказал, — говорит директор, как будто бы сердится, а на самом деле боится.

— Зато я еще не все сказал, — отвечает Тенгиз, — потому что я не выношу, когда обижают старушек, особенно таких добрых, застенчивых старушек, как наша тетя Катя. И при том чистоplotная старушка. Если, — говорит, — в доме ничего нет, одно лобии подаст, но в таком виде, что пальцы покушаешь. И вот, когда обижают таких старушек, когда им путем обмана стачивают зубы, как бериевские палачи, а потом вместо золота предлагают железо, я, — говорит, — бросаю приморскую дорогу и выхожу на защиту. А в это время эндурские подпольные фабриканты через левых шоферов провозят левые бесфактурные товары.

В общем, такую речь сказал Тенгиз, что я чуть не заплакал. Но директор наоборот. Видно, он решил, что Тенгиз дает слабину, раз говорит про добрых, застенчивых старушек. Но он ошибся, дурачок, потому что Тенгиз никогда не дает слабину, а всегда свой подход имеет.

— Что вы мне лекции читаете, — говорит директор громко, чтобы сотрудники слышали, какой он храбрый, — у нас нет золота, и вообще встаньте с моего места.

— У вас золото есть, — отвечает Тенгиз и так спокойно пробует открыть ящик стола, как будто надеется, что там золото лежит.

— Не трогайте ящик! — кричит директор и подбегает к нему.

Оказывается, это как раз надо было Тенгизу. Как ястреб цыпленка, Тенгиз цап его одной рукой за подбородок! Честно скажу, это мне не понравилось, черт с ним, думаю, лучше бы моя старушка с железной челюстью ходила.

У директора рот разинулся, слова сказать не может, почернел.

— У тебя во рту, — говорит ему Тенгиз и, держа его за подбородок, раскачивает ему голову, — хватит золота на двух старушек, и я это тебе докажу совершенно официально как старший автоинспектор.

С этими словами он его отпускает, клянусь прахом отца, отряхивает руки, и мы выходим.

— Приведи тетю Катю, — говорит он в дверях, — а он пока вспомнит, где золото лежит.

Одним словом, как видишь, и золото нашли, и старушку мою подковали, и ни копейки денег не взяли.

— Как ни копейки?

— Налог государству уплатили, — добавила тетя Катя, — а так им ничего не дали.

— А собирались пятьдесят рублей дать, — добавил дядя Сандро.

— Могучий человек! — сказал я вполне искренне.

— А как же! — заключил дядя Сандро. — На приморскую дорогу всякого простачка не поставят.

Они пошли. Я еще некоторое время постоял, глядя им вслед: аккуратная старушенция в черной шали и высокий стройный старик рядом. На самом углу они остановились, встретив какого-то знакомого. Дядя Сандро сделал жест в сторону тети Кати, и я понял, что заново излагается эта история. Я вошел в редакцию.

Не знаю, точно ли так происходило то, что рассказывал дядя Сандро, но примерно через месяц я убедился, что Тенгиз — человек самого решительного свойства, а приморское шоссе таит в себе немало опасностей.

* * *

В этот воскресный день мы с Тенгизом договорились, что он довезет меня на своем мотоцикле до поворота на село Атары, куда я ехал к родственникам. Это было для него не слишком обременительно, потому что он сам каждое воскресенье отправлялся в деревню к своим родственникам, они жили дальше, по пути.

Он подъехал ко мне домой, я уселся в коляску, и мы выехали из города. Был хороший солнечный день, и мы быстро катили вдоль моря по безлюдному шоссе. Километрах в десяти от города Тенгиз вдруг резко затормозил, и мотоцикл остановился.

— Что случилось? — спросил я.

— Надо проверить, — кивнул он назад, скидывая мне на колени свои гладиаторские перчатки, — эндурские аферисты.

Я оглянулся и увидел далеко позади обыкновенную полуторку. Она догнала нас и теперь проезжала мимо. Тенгиз приподнял руку и небрежно махнул им. Я заметил, что в кабине сидело два человека. Проехав еще метров двадцать, машина, как мне показалось, неохотно остановилась.

Я до сих пор не понимаю, как он узнал эту машину, потому что он ни разу не оглянулся за все время, пока мы ехали из города. То ли он узнал ее по звуку мотора, то ли увидел в своем зеркальце, а может, он по каким-то своим сложным автоинспекторским расчетам определил, что она именно в это время должна появиться здесь, подобно тому, как астрономы заранее определяют время сближения небесных тел.

Так или иначе, машина остановилась, и Тенгиз направился к ней своей ленивой, расслабленной походкой.

Сидя в коляске, я видел, как он подошел к кабине и, поставив ногу на подножку, разговаривал с шофером. Изредка до меня долетали отдельные слова, из которых мало что можно было понять, да я и не старался вникать в них.

От нечего делать я надел на руки его перчатки. Они были тяжелые, и я почувствовал себя по локоть погруженным в средневековье. Я почувствовал, что центр тяжести моей сущности переместился в сторону моих утяжеленных рук. Я почувствовал легкое желание сжать в этих турнирных перчатках рыцарское копьё или меч.

Через мгновение, по-видимому, отсутствие остальных рыцарских доспехов вернуло меня в обычное миролюбивое состояние, и я задремал, ощущая на своем лице тепло осеннего солнца и слыша за эвкалиптовой рощей шум мотора. Спросонья я улавливал слова, которые долетали до меня от машины. Так они разговаривали минут пять или десять.

Потом я открыл глаза и увидел, как из машины высунулась толстая красная рука шофера, закатанная по локоть. Он протягивал Тенгизу какую-то бумагу. Возможно, это был наряд. Лицо Тенгиза изменилось. Его горбоносый профиль принял насмешливое выражение, как у Мефистофеля, которому подсовывают поддельную индulgенцию. Он и настоящей-то индulgенции знает цену, а тут еще поддельная. Он бросил на нее один только взгляд и с легкой досадой протянул в окно:

— Показывай... бабушке...

Они говорили еще некоторое время, а Тенгиз все стоял в той же расслабленной позе, опершись ногой о подножку машины, а шофер, видимо, ему что-то доказывал. Я даже про себя удивился терпению Тенгиза, а главное, его добро-совестности. Все-таки у него был выходной, и он мог бы дать себе отдых.

Но вот что происходит дальше. Рука из кабины подает ему какой-то документ, по-видимому, шоферскую книжку, и Тенгиз, не глядя, сует ее в карман и идет к мотоциклу. Но тут открывается дверь кабины с противоположной стороны, и шофер быстро догоняет его.

Это парень лет тридцати, небольшого роста, очень коренастый, с небритым лицом, с красными, вроде от недосыпа, веками. Он идет рядом с ним и что-то говорит, и я обращаю внимание на его широкие плечи и невероятно толстые руки, высовывающиеся из закатанных рукавов ковбойки.

Вдруг я замечаю, что этот парень лезет в карман, что-то вынимает оттуда и, на мгновение прижавшись к Тенгизу, что-то сует ему в брюки.

Тут я окончательно поборол дрему и уставился на них. Я никак не мог понять: в самом деле он ему что-то сунул в карман или мне это только померещилось, потому что ни у парня, ни у Тенгиза выражение лица не изменилось. Парень продолжал ему что-то говорить, а Тенгиз продолжал его насмешливо выслушивать. Потом они остановились, а Тенгиз, вынув из кармана книжку, теперь я был уверен, что это шоферские права, отдал ее этому парню, слегка помахав ею перед его носом.

Парень кивнул ему своей лохматой головой, и теперь было особенно заметно, какие у него тяжелые плечи и руки, особенно по сравнению с Тенгизом, высоким и тонким, как эстрадный танцор.

Парень повернулся широкой спиной и быстро пошел к машине. Тенгиз подходил к мотоциклу своей расслабленной походкой. И пока он подходил, я никак не мог понять, знает ли он, что парень этот что-то сунул ему в карман или вообще мне это померещилось. И только когда он подошел, по его блудливо-самодовольной улыбке я понял, что знает.

В этот миг машина почти с места вырвалась на большой скорости. Тенгиз продолжал улыбаться, но мне показалось, что какая-то тень тревоги пробежала по его лицу. Он медленно сунул руку в карман и вынул оттуда дореформенную трешку.

В следующее мгновение он брезгливо отбросил эту трешку и взглянул исковерканным от гнева лицом на дорогу. Машина пылила далеко впереди.

— Слезай! — гаркнул он.

Я, сам не понимая как, мгновенно вывалился из коляски. Кажется, он вытряхнул меня из нее, как фасолину из перезрелого стручка.

Мотоцикл взревел, как взлетающий самолет, и, обдав меня вихрем горячего воздуха и пыли, исчез впереди. Я, между прочим, здорово тогда разозлился на него. Скорее всего, из-за глупой неловкости, с которой я вывалился из коляски, к тому же на руках моих остались его турнирные перчатки, что было особенно неуместно. Я встал, снял эти перчатки и, шлепая одной из них по брюкам, стряхнул с себя пыль. Потом я бросил перчатки на обочину дороги и стал ждать. Я не знал, что думать обо всем этом, я только ясно ощутил, что в воздухе запахло лжесвидетельством.

Минут тридцать мотоцикл не появлялся, и я заглядывал в кабины встречающих машин, стараясь угадать по выражению лиц сидящих в машине, знают ли они что-нибудь о том, что случилось впереди, но, видимо, никто ничего не знал, да и машин было не так много.

Наконец появился мотоцикл. Он шел на небольшой скорости. Он был похож на победителя заезда, делающего круг почета. Поравнявшись со мной, Тенгиз остановился и устало сбросил руки с руля. Пыльное лицо его сияло победной сытостью кровника, добывшего голову врага.

— Что было? — спросил я у него, подавая ему перчатки.

— Было то, что должно было быть, — сказал он, одной из них вытирая лицо.

Вот что он рассказал, заглядывая в кабины проезжающих машин и иногда кивая знакомым шоферам.

— Минут через пятнадцать догнал. Вижу — обойти не дает. Даю вправо — он вправо. Пытаюсь влево — и он влево. Посмотрим, думаю, сука, кто кого купит. Близко не подхожу, знаю, тормознет — врежусь. Старый эндурский номер. Ну, думаю, хорошо, как только встречная поравняется с ним, дам газ и проскочу мимо встречной. Но он тоже не дурак. Как только встречная — берет вправо, чтобы тот еле-еле проскочил, не оставляя для меня просвета.

Ну, ничего, думаю, у кого гайка крепче, посмотрим. Присосался, иду сзади. Он прибавляет скорость, я прибавляю, он убавляет — я убавляю. Хочет, чтобы я чуть поближе подошел, чтобы тормознуть. Я чуть прибавлю скорость, он хочет тормознуть, я сбавляю. Опять прибавляю, думает, хочу проскочить, я опять убавляю. Наконец не выдержали у него нервы. Тормозит и выворачивает вправо, а я слева выскакиваю вперед, бросаю мотоцикл и выхватываю пистолет. Понял — хана ему. Останавливает машину.

Подхожу. Сидят — готовые мертвецы. Толстый молчит. А второй говорит:

— Прости, Тенгиз! Клянусь мамой, пошутили.

— Я тоже, — говорю, — хочу пошутить. Выходите!

Держу под прицелом, потому что толстый — такой аферист, на все пойдет.

— Поворачивайтесь спиной, — говорю. Поворачиваются. — Ты отойди на три шага, — говорю шоферу. Отходит. Обыскиваю дружка, карманы пустые. Обыскиваю коротышку. Уже по затылку вижу: в кармане что-то есть. Правильно. Пачка денег в кармане. Не считая, кладу к себе в карман.

— Триста? — спрашиваю.

— Да, — бурчит, — триста.

— Правильно, — говорю, — такса за провоз бесфактурных нейлоновых кофточек из Эндурска до Мухуса. Теперь езжайте и рассказывайте в Эндурске, как вы посмеялись над Тенгизом дохрущевской трешкой.

Молчат. Коротышка сопит. Съел бы меня, чувствую, да боится пулей подавиться. Сели в машину и, пока не уехали, все время под прицелом держал, потому что этот коротышка — первый аферист Эндурска.

С этими словами он вынул пачку десятков из кармана и пересчитал.

— В самом деле триста? — спросил я.

— Да, но не в этом дело, — сказал он, укладывая деньги в бумажник и пряча бумажник в карман кителя.

— А в чем? — спросил я.

— Ты представляешь, как он мог опозорить меня! — воскликнул Тенгиз и, прикусив губу, покачал головой. — Ну, теперь пусть рассказывает, кто кого опозорил.

— Неужели выстрелил бы, если бы не остановились? — спросил я.

— А разве иначе этот аферист остановился бы? — сказал он, надевая перчатки и включая мотор.

— Но ведь тебя за это посадили бы!

— Конечно, — согласился он, и уже громко, чтобы перекрыть мотор: — Когда человеку задевают честь — человек идет на все!.. Садись, поехали!

Я сел в коляску.

— Опозорить хотел, негодяй! — снова вспомнил он, разворачиваясь.

Мы поехали. Через некоторое время Тенгиз что-то мне крикнул и кивнул на дорогу, сбавляя скорость. Я увидел на шоссе темный след от шин резко затормозившей машины. След уходил вправо, как будто машину занесло. Он снова дал газ, оставляя позади место своего поединка с эндурским шофером.

— Опозорить! — донеслось до меня сквозь шум мотора, и я увидел, как вздрогнула его спина. Так вздрагивают от чувства омерзения люди, вспоминающие, каким чудом им удалось избежать нравственного падения.

Он благополучно довез меня до поворота в село Атары, а сам поехал дальше. Мне показалось, что он уже успокоился.

Во всяком случае, поза его на мотоцикле выражала обычную для него ленивую расслабленность...

Легко догадаться, что с тех пор я не слишком стремился к мотоциклетным прогулкам с Тенгизом.

...Примерно через год я узнал, что его сняли с работы. Как-то встретил его на улице.

— Уже знаешь? — спросил он, заглядывая мне в глаза.

— Слышал, — сказал я.

— Что думаешь?

— Сам знаешь, — говорю, — можешь считать, что легко отделался.

— Все это ерунда, — досадливо отмахнулся он, — не в этом дело.

— А в чем?

— Интриги, — сказал он многозначительно, — место у меня хорошее, многие завидуют... Но я это так не оставлю, в ЦК буду жаловаться...

Пока мы говорили, он поглядывал на дорогу в ожидании, как можно было понять, подходящей машины. Наконец он поднял руку, и возле нас остановилась частная «Волга». Видимо, магию власти он еще не утратил.

— Подбросишь до Каштака, — сказал он владельцу машины. Тот с мрачной покорностью кивнул головой.

— Интриги, — повторил он еще раз, усевшись рядом с водителем и кивнув головой, как бы намекая на могущественную корпорацию, которая собирается его уничтожить, но с которой он намерен бороться и бороться.

И видно, боролся, и борьба была нелегкая. Во всяком случае, корпорация сначала взяла верх. Через несколько месяцев я его увидел за рулем такси возле базара. Он сидел, откинувшись на сиденье, с ленивой снисходительностью ожидая, пока усядутся сзади несколько крикливых женщин с сумками, одна из которых, высунув руку из окна, держала за ножки щебечущий букет цыплят.

Всей своей позой, выражающей снисходительное равнодушие к настоящему, он мне почему-то напомнил (так мне представилось) монархического эмигранта, вынужденного в чужой стране заниматься унижительным делом, но верящего в свою правоту и ждущего своего часа.

В отличие от монархических эмигрантов Тенгиз его дождался. Еще через полгода он был возвращен, правда в качестве простого инспектора, на ту же дорогу. Возможно, понадобился его опыт.

Дело в том, что в это время среди мирных подпольных фабрик Эндурска появилась сверхподпольная трикотажная фабрика, выпускающая изделия из «джерси» и работающая на японских станках, что было установлено, к сожалению, только по образцам конечной продукции экспертами Мухуса, Сочи, Краснодара и других городов страны.

Раздраженные успехами новой фабрики, старые фабриканты Эндурска, по иронии истории, отмеченной еще Марксом, вошли в классово чуждый контакт с органами ОБХСС с тем, чтобы помочь им найти и разорить своих удачливых конкурентов.

Но это оказалось не так просто. Борьба длилась несколько лет, и новое, кстати, так и не выходя из подполья, победило. Держатели акций «джерси», несмотря на японские станки, в этой схватке применили старинный слободской прием. В один прекрасный день в Эндурске сгорел подпольный склад с огромным запасом временно законсервированных нейлоновых кофточек.

И опять, теперь, правда, в обратную сторону, сработала ирония истории. Советским пожарникам (а эндурских пожарников смело можно назвать советскими) пришлось гасить этот классово чуждый пожар.

Оказалось, что дом, в котором находился склад, раньше принадлежал грузинскому еврею Давиду Аракишвили, который уехал в Израиль, подарив свой дом, как выяснилось после пожара, своему фиктивному племяннику. Изощренность этого сионистского издевательства Давида Аракишвили состояла в том, что, оставляя дом на имя несуществующего племянника, он в то же время всех своих существующих племянников забрал с собой.

Спрашивается, зачем паспорт, зачем прописка, зачем домовая книжка, если в Эндурске целый дом можно продать подпольным фабрикантам под видом меланхолического подарка остающемуся племяннику от разочарованного в возможностях социализма дяди?!

Но, как говорится, нет худа без добра. С этих пор лекторы Эндурска и Мухуса с немалым успехом используют эту историю, как наглядный пример, подтверждающий тезис о хищ-

ническом характере частнособственнического развития, что неоднократно отмечалось в лучших классических работах как Маркса, так и Энгельса.

11. тали — чудо чегема

В этот незабываемый летний день шло соревнование между низальщицами табака двух табаководческих бригад села Чегем. Соперницы, одна из них — пятнадцатилетняя дочь дяди Сандро Тали, или Талико, или Таликошка, другая — девятнадцатилетняя внучка охотника Тендела, Цица, разыгрывали между собой первый чегемский патефон с полным набором пластинок «Доклад тов. Сталина И. В. на Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года о проекте Конституции СССР».

Кто не видел Тали, тот многое потерял в жизни, а кто видел ее и сумел разглядеть, тот потерял все, потому что в его душе навсегда застревала влажная тень ее образа, и, бывало, через множество лет человек, вспоминая её, вдруг вздыхал с какой-то горькой благодарностью судьбе.

В пятнадцать лет она была длинноруким и длинноногим подростком с детской шеей, с темно-золотистыми глазами, с каштановым пушком бровей, с густой челкой на аккуратной головке, то и дело шлепавшей ее по лбу, когда она бежала. И только необыкновенная по своей законченности линия

подбородка, лунная линия, намекала на небесный замысел ее облика и в то же время вызывала немедленное и вполне земное желание прикоснуться к этому подбородку, попробовать его на ощупь: такой ли он гладкий и законченный, как это кажется со стороны?

Но мало ли миловидных и даже просто красивых девушек было в Чегеме! Чем же она выделялась среди них?

Лицо ее дышало — вот чем она отличалась ото всех! Дышали глаза, вспыхивая, как вспыхивает дно родничка, выталкивая струйки золотистых песчинок, томно дышали подглазья, дышала шея так, что частоту биения пульсирующей жилки можно было посчитать за пять шагов от нее. Дышал ее большой свежий рот, вернее, дышали углы губ, не то чтобы скрывающие тайну ее чудной улыбки, но как бы неустанно подготавливающие эту улыбку задолго до того, как губы ее распахнутся. Казалось, углы губ ее пробуют и пробуют окружающий воздух, вытягивая из него какое-то солнечное вещество, чтобы благодарным слиянием улыбки ответить на сияние дня, шум жизни.

Со временем понадобилась целая гора безмерной подлости и жестокости, чтобы наконец залепить углы ее губ в тревожной неподвижности, но и тогда вдруг прорывалась ее прежняя, нет, почти прежняя улыбка, и тем, кто знал ее в пору отрочества, хотелось кусать пальцы от боли при виде этой улыбки или свернуть шею самой судьбе за то, что она допустила все это. Но тогда до всего этого было еще далеко.

Чуть ли не с самого рождения девочка была отмечена знаком, а точнее, даже знаками небесной благодати.

Однажды, когда ей было четыре или пять месяцев, мать, держа ее одной рукой, другой стягивала белье с веревки, протянутой вдоль веранды. Неожиданно девочка вскинула ручонки в сторону яблоневых ветвей, нависавших над верандой, и стала кричать:

— Луна! Луна!

И тут, взглядевшись в направление ее вздетых розовых ручонек, мать ойкнула и чуть не выронила дочку: сквозь ветви яблони в тихом предзакатном небе серебрился бледный диск луны.

Узнав об этом необыкновенном явлении, чегемцы несколько дней приходили смотреть на чудо, и ребенок, стоило ему кивнуть на небо, с необыкновенной радостью вздымал ручонки и бодро говорил:

— Луна!

Некоторые чегемцы предлагали устроить дежурство с тем, чтобы не пропустить мгновение, когда ребенок произнесет свое второе слово, чтобы, сопоставив оба слова, узнать, что он этим хотел сказать, начав свой словарь с такого высокого предмета, как луна.

Кстати, местный учитель, с улыбкой (которая сразу же не понравилась чегемцам) выслушав сообщение об этом чуде, с улыбкой же опроверг его.

Он сказал, что наука совсем по-другому смотрит на этот вопрос. Он сказал, что скорее всего кто-то, держа в руке большое красное яблоко, сравнил его с луной, а ребенок это услышал, и ему это так и запало в голову. И вот он, однажды увидев на дереве плоды, похожие на яблоко, ошибочно назвал их знакомым звуком, а диск луны, если он даже и виделся сквозь ветви яблони, не имеет к этому никакого отношения. Так объяснил чудо учитель неполной средней школы, открытой в Чегеме в начале двадцатых годов.

Чегемцы из присущего им гостеприимства (наука в Чегеме — гость, это они чувствовали) не стали спорить с наукой, а предложили учителю прийти самому и убедиться, что ребенок именно луну называет луной, а не яблоко.

На следующий день, поближе к вечеру, учитель пришел в дом к дяде Сандро и при немалом скоплении народа произвел опыт. Проверка чуда происходила в условиях, исключающих всякую случайность: мать вынесла ребенка во двор и осталась в таком месте, где диск луны сиял в небе в полном одиночестве, а не как-нибудь там сквозь яблоневые ветви. Учитель стал рядом с матерью и, к удивлению чегемцев, вытащив из кармана румяное яблоко, ткнул в него другой рукой и с коварной наивностью в голосе спросил:

— Луна?

Ребенок немедленно запрокинул голову, нашел глазами луну, вытянул в ее сторону ручки и, улыбаясь беззубым ртом, мягко поправил учителя:

— Луна! Луна!

Учитель не сдавался. Он еще несколько раз выразительно показывал на свое яблоко и с терпеливо наигранной тупостью (чегемцы считали, что ему и не надо было ее наигрывать) спрашивал:

— Луна?

Каждый раз девочка отстранялась от яблока и, почти выпрыгивая из рук матери, показывала на небо и с удовольствием произносила полюбившееся ей название небесного тела.

В конце концов она, видимо, догадалась, что учитель хочет ее запутать и, внезапно вытянувшись из материнских рук, довольно увесисто шлепнула его по щеке ладонью. Учитель от неожиданности уронил яблоко, и оно откатилось от него по косогору двора. Чегемцы весело заулюлюкали, учитель стал растерянно озираться, что ребенком было неправильно понято, как попытка найти свое яблоко, и он, видимо сжалившись над учителем, свесившись из материнских рук, стал показывать ему, куда оно закатилось, и на этот раз не делая ни малейшей попытки назвать его луной.

Сконфуженный учитель ушел со двора, торопливо бросив чегемцам на ходу, что до луны триста тысяч километров. В другое время эта новость, может быть, и произвела бы на чегемцев сильное впечатление, но не сейчас.

— Теперь и не такое скажешь, — смеялись чегемцы и кивали вслед уходящему учителю, мол, отыграться хочет.

Не успело полнолуние смениться тоненьким серпом, как произошло второе чудо, и опять на той же веранде. Тетя Катя

оставила здесь спящего в люльке ребенка, а сама ушла на огород, где провозилась около двух часов.

Набрав целый подол стручков зеленой фасоли, которую она собиралась приготовить на обед, тетя Катя вернулась с огорода, взошла на веранду и вдруг увидела, что люлька всю раскачивается, а ребенок напевает, правда без слов, застольную песню «Многие лета».

Уронив руки и рассыпав фасоль, мать, остолбенеv, смотрела на свою единственную дочку. Заметив маму, девочка перестала петь и тоже уставилась на нее. Качнувшись несколько раз, люлька остановилась...

Было похоже, впоследствии рассказывала тетя Катя, что тот, Невидимый, который раскачивал люльку, застыдившись или испугавшись прихода матери, тихо отошел в сторонку с тем, чтобы посмотреть, что будет дальше. Очнувшись, тетя Катя бросилась к люльке, выпростала девочку и, то целуя, то шлепая ее (испытание на противоположных раздражителях), убедилась, что она целая.

Такой случай нельзя было оставить без внимания. Надо было срочно выяснить, кто посетил ребенка — посланец Аллаха или шайтана. В тот же день к вечеру Хабуг привез из соседней деревни муллу.

Мулла прочел над изголовьем ребенка спасительную молитву, причем читал он ее достаточно долго, чтобы произвести впечатление реального труда. Закрыв Коран, он приготовил амулет, куда тетя Катя дополнительно вложила квитанцию оплаченного налога и бумажку облигации («Небось не

помешает»), после чего, прикрепив к треугольнику амулета шелковую нитку, повесила его ребенку на шею. Мулла сделал вид, что не заметил посторонние бумажки, вложенные тетей Катей в амулет, — ничего не поделаешь, приходилось мириться с предрассудками общественной жизни.

Тетя Катя спросила у муллы, не надо ли перестроить веранду, раз уж на ней случилось такое.

— Да чего уж там веранду, давай дом перенесем, — поправил ее дядя Сандро с некоторой желчной усмешкой.

Мулла, не обращая внимания на желчную усмешку дяди Сандро, отметил, что пока веранду или тем более дом не надо перестраивать, потому что, судя по всем признакам, ребенка посетил посланец Аллаха. Очевидно, в тот миг, когда девочка впервые произнесла: «Луна!» — он слетел с Луны и сегодня, после десятидневного полета, появился у ее изголовья. Какие признаки, что это был ангел, а не шайтанское отродье?

Во-первых, девочка, показывая на луну, как вы сами говорите, все время радовалась, улыбалась, смеялась, а это как раз характерно для посещения небожителя. Во-вторых, когда Невидимый стал качать ее люльку, она запела «Многие лета», что само за себя говорит. А в-третьих (тут мулла лукаво улыбнулся и показал на ласточкины гнезда под карнизом веранды), ласточки обязательно бы почуяли посланца шайтана и с криками преследовали бы его, как они преследуют ястреба, ворону или, скажем, сойку.

Так говорил мулла, единственный в Кенгурийском районе владелец и читатель святой книги — Корана. Родственники

и соседи, собравшиеся послушать муллу, обрадовались его словам и стали гадать, с какой стороны мог подлететь посланец Аллаха так, чтобы не задеть фруктовые деревья, росшие вокруг двора.

Версия о том, что посыльный Аллаха мог прямо камнем спуститься с неба, была сразу же отвергнута ввиду ее хищного оттенка. Тут один из чегемцев вспомнил слова учителя относительно расстояния между Землей и Луной и тут же высчитал среднюю скорость полета ангела, которая, по его словам, должна была равняться тридцати тысячам километров в сутки.

— Если он за это время нигде не присел, — уточняли некоторые.

— А где присядешь? — добавляли другие, намекая на отсутствие в небесах какой-либо точки опоры.

— И то сказать, — соглашались остальные чегемцы, больше всего пораженные не скоростью передвижения ангела в небесных просторах, а его необыкновенной выносливостью, позволившей ему пройти десятидневный путь, нигде не присев. Несмотря на ясную, как божий день, разгадку этого доброго чуда, мулла, чтобы исключить любую случайность, велел поджарить кукурузную муку, смешать ее с мелко натолченной солью и посыпать ее вокруг люльки, когда она, разумеется с ребенком, будет стоять на веранде.

Если ангел снова вздумает подойти к ребенку, то на рассыпанной муке никаких следов не будет, потому что наш мусульманский ангел скорее испепелится, чем наступит

на хлеб-соль — символ нашего мусульманского гостеприимства.

А если это был шайтан (что маловероятно) и если он, сумев одолеть отталкивающую силу талисмана (что еще более маловероятно), вздумает снова подойти к люльке, то на рассыпанной муке обязательно останутся следы его свинячьих копыт. Потому что шайтанскому отродью нет большего удовольствия, чем топтать наш хлеб-соль, символ нашего древнего гостеприимства.

Так говорил мулла, уважаемый чегемцами человек, потому что он при всех режимах (царском, меньшевистском, большевистском) читал одну и ту же священную книгу — Коран, в отличие от новейших грамотеев, которые при одном режиме и то ухитряются чуть ли не каждый год менять свои книги.

Кстати, мулла строго-настрого приказал, рассыпав муку, смешанную с солью, не подглядывать, потому что, объяснил он, увидеть все равно ничего не увидите, а разозлить можете, особенно шайтана.

Эти дополнительные инструкции мулла давал, уже сидя за столом и макая в благоухающее алычовое сациви хрустящие куски жаренного на вертеле цыпленка. Кстати, тут же, не отходя от стола, он попросил у тети Кати рецепт ее алычовой подливки, которая ему очень понравилась.

Покраснев от удовольствия, тетя Катя сказала, что ее алычовая подливка ничего особенного из себя не представляет, разве что в ней два-три сорта малоизвестных трав, которые

она разводит у себя в огороде. Тут же она побежала в кладовку и вынесла оттуда мешочек с тремя сортами семян, отделенных друг от друга узелками.

Тетя Катя и в самом деле была прекрасной огородницей. Она разводила не только огородные культуры, известные в Абхазии, но и сама находила в лесу какие-то новые, в том числе и лекарственные травы, и выводила их у себя в огороде. Злые на язык чегемцы говорили, что она выслеживает больных собак и, высмотрев, какие они травы кусают, разводит их у себя в огороде.

Так или иначе, мулла положил в карман мешочек с семенами ароматических трав, сел на своего коня и, таща на веревке заработанного козла, выехал со двора. Уже с дороги он крикнул, чтобы за ним послали, если появятся следы шайтанского отродья. Голос его, понукавший упиравшегося козла и громко высказавший подозрение, что шайтанское отродье вселилось именно в него, еще некоторое время раздавался над Большим Домом, а потом затих. Тетя Катя стояла у ворот и с блаженной улыбкой слушала его голос.

— Да падут твои болезни на мою голову, — сказала тетя Катя и, как бы осененная благодатью, возвратилась домой.

На следующее утро она перемолола соль, поджарила муку и рассыпала эту миролюбивую смесь вокруг люльки своей дочери, предварительно вытащив ее на веранду. После этого она, как обычно, пошла к себе в огород кое-что прополоть, как она говорила. Примерно через час со двора раздались визги встревоженных ласточек. Сперва тетя Катя думала как-ни-

будь перетерпеть, но не выдержало материнское сердце, да и взвизги эти до того стали пронзительны и остры («ну, просто голову секут»), что она побежала к дому.

Только она прыгнула с перелаза во двор, как увидела своими глазами визжащие молнии ласточек, промелькнувшие над кукурузником, явно кого-то преследуя. Позже она клялась, что видела, как тряслись гребешки кукурузы впереди пролетающих ласточек. Было ясно, что посланец дьявола, не успев набрать высоту, летел (хотя и невидимый), задевая своими погаными крыльями кукурузные гребешки.

— Чернушка! Чернушка! Ату его, ату! — кричала тетя Катя, зовя и проклиная собаку, которая куда-то запропала.

Вбежав на веранду, она увидела, что люлька опять раскачивается, а ребенок, выпростав руки, изо всей силы сжимает кулачками амулет. Тетя Катя выхватила девочку из люльки, ошупала ее и, убедившись, что она цела и здорова, снова вложила ее в люльку и тут только заметила, что тонкий слой муки, насыпанный вокруг люльки, исчез.

Тут, по ее словам, она испытала легкое помутнение разума: с одной стороны, ласточки явно гнались за посланцем шайтана, с другой стороны, люльку мог раскачивать только посланец Аллаха. С одной стороны, нет следов богохула, топчущего символ хлебосольства, с другой стороны, сам символ куда-то исчез. Уж не действуют ли обе силы разом, не разыгралась ли у люльки ее единственной дочери битва потусторонних сил?

Четыре дня подряд повторялось одно и то же, и неизвестно было, что появится у люльки младенца. И только одно было ясно, что существо это за долгий путь к Земле успело здорово наголодаться — жареная мука с мелко натолченной солью каждый раз исчезала. Тетя Катя на всякий случай с каждым днем стала все гуще и гуще подсыпать муки, хотя она точно не знала, кто эту муку подъедает: посланец шайтана или Аллаха. Но она так рассудила: посланец шайтана, как бесстыжий человек, и так прокормится где попало, а посланец Аллаха может и голодным остаться через свою совесть — не украдет, не попросит.

Все-таки на пятый день она не выдержала — то ли надоело ей жарить муку каждое утро, то ли неизвестность надоела. Она сказала дяде Сандро, что, если он не приведет муллу, она сама пойдет за ним.

— Хорошо, — сказал дядя Сандро, — ты подкорми их в последний раз, а я пойду.

Но дядя Сандро за муллой не пошел. Ему жалко было терять еще одного козла. Никому ничего не сказав, он вышел из дому, а потом потихоньку через заднее крыльцо вошел в дом, зарядил ружье и притаился у окна, откуда хорошо были видны и люлька, и мука, насыпанная вокруг нее, и ласточки, стремительно влетающие и вылетающие из-под карниза.

И вдруг разом все переменялось: люлька заходила ходуном, ласточки бешено закружились, и дядя Сандро услышал приближающееся со стороны кухни осторожное цоканье когтей о пол веранды.

«Оказывается, у него не копыта, а когти», — успел подумать дядя Сандро об ошибке муллы и с колотящимся сердцем приподнял ружье, решив разом пальнуть из обоих стволов, а там будь что будет!

Еще бы одно мгновенье, и он на потеху чегемцев убил бы свою собаку. Да, это была Чернушка. Под радостные вопли младенца и тарактенье раскачивающейся люльки, сопровождаемая взвизгами пикирующих ласточек, собака подошла к люльке, тщательно вылизала вокруг нее всю муку, мимоходом лизнула протянутую в ее сторону руку девочки и, блудливо озираясь, покинула веранду.

Уже внизу на лужайке двора ласточки с еще большей смелостью, имея пространство для маневрирования, налетели, почти чиркая ее на бреющем полете, и она, изо всех сил сдерживаясь, чтобы сохранить достоинство и не побежать, затрусила в сторону кукурузника.

У самого плетня нервы у нее все-таки не выдержали, она, обернувшись, лягнула зубами на задевшую ее ухо ласточку, так что вся стая грянула взрывом чирикающего негодования: «И она еще огрызается?!» Со взрывом чирикающего негодования слился вопль тети Кати из огорода, и тут собака, тяжело перемахнув через плетень, бросилась наутек по кукурузнику, сопровождаемая взволнованным шумом ласточек.

В тот же вечер в кругу ближайших родственников, сидя у горящего очага, дядя Сандро, посмеиваясь и то и дело кивая на жену, сидевшую тут же на отдельной скамейке, рассказал о том, что видел днем.

(Кстати, кивки его в сторону жены имели двойной смысл: с одной стороны, он как бы призывал смеяться над ее пред-
рассудками, а с другой стороны, обращал внимание слушателей на то, что она то и дело клевала носом.)

Это была довольно обычная картина. Умаявшись за день, тетя Катя после ужина вот так вот усаживалась с клоком шерсти и веретеном, и начиналась великая борьба бдения с дремотой, и неизвестно, кто побеждал, потому что бдение ее было заполнено воспоминаниями об увиденных снах, а дрема не останавливала работы.

Крутанув веретено и вытягивая из облачка шерсти нить, она засыпала на то время, пока веретено не дойдет до полу. За эти несколько секунд она успевала не только заснуть, но и увидеть что-нибудь во сне. Главное, что картины ее снов в этот промежуток по насыщенности действиями никак не соответствовали ни ее короткому сну, ни ее кроткому нраву.

— Если бы наяву ты была такая шустрая, — говаривал дядя Сандро, когда она, проснувшись, тут же выкладывала свой сон.

— А ну, посмотри, что дальше будет, — иногда говорил ей кто-нибудь из соседей или родных, если сон им казался интересным и незаконченным. И она, крутанув веретено, послушно засыпала. И хотя не сразу, обычно с пятой-шестой попытки, она все-таки попадала в колею желанного сна и досматривала его до конца.

Было забавно видеть, как она готовится вступить в эту колею. Вот она сидит, повыше подняв руку и прищурив-

шись, словно всматривается в очертания сумеречной страны снов, и, стараясь угадать местность, где проходил ее сон, как бы мысленно примериваясь, чтобы не проскочить ее, она крутила веретено. Иногда она довольно быстро попадала в колею нужного сна, но иногда очень долго, а то и совсем не получалось.

— Отстаньте-ка от меня, занимайтесь своим делом, — говорила она в таких случаях нетерпеливым слушателям, как бы отчасти объясняя свои неудачи за счет их чересчур теребящего беспокойства. И уже, бывало, люди заняты другими разговорами, собственно, даже подзабывали, в чем был соблазн продолжения ее сна, как она снова выуживала из хаоса потусторонних теней.

— Опять там была, — объясняла она, проснувшись и наматывая на веретено выработанный во время сна кусок нитки.

— Ишь ты, ишь ты! — насмешливо кивал в ее сторону дядя Сандро, а сам слушал.

— Ну, как там дальше, — бывало, спрашивал кто-нибудь из соседей, — наших никого не видела?

И тетя Катя рассказывала сон свежий, как только что разрытая могила. Дело в том, что сны ее обычно представляли из себя полулегальные встречи с близкими и дальними родственниками и односельчанами, покинувшими этот мир. Во всяком случае, местность, в которой проходили ее сны, была одинаково доступна для жителей этого и того мира. И те, что уже там, при встрече с теми, что еще здесь,

вечно выражали им свое недовольство, предъявляя свой грустный, иногда очень запутанный счет и, главное, сами же, заранее зная, что этот счет никто не оплатит, не выполнит, старались изложить его как можно точнее, что должно было лечь дополнительным укором на совесть тех, кто с ними встречался. Они вели себя примерно так, как крестьянин, надолго, может быть навсегда, застрявший в больнице, при встрече с близкими дающий им хозяйственные указания по дому, чувствуя, что они все сделают не так, как надо, и все-таки не в силах отказаться от горькой сладости укоряющего совета.

(Тут ваш скромный историограф хочет взять слово и поделиться своими наблюдениями над природой сна, что ни в коем случае не является попыткой умалить ценность открытий, сделанных в этой области тетей Катей или даже дядей Фрейдом.

Как ни разгадывай сон, который произвел на нас сильное впечатление, истинный смысл его уже в том, что он хотя бы на миг раздвинул перед нами пелену повседневности и дал почувствовать трагическую даль жизни. В этом его могучее освежающее предназначение. Как бы ни был нелеп или запутан сюжет сна, подспудный смысл его никогда не мелочен: неосознанная или, чаще, неразделенная любовь, коварство, страх, стыд, милосердие, жалость, предательство.

Сюжет сна можно сравнить с обезьяной, которая с кинокамерой на шее пробежала по джунглям нашего подсо-

знания. А может, это хлам жизни, вынесенный прибоем на пустынный берег. И вдруг среди сотен бессмысленных кадров мы находим несколько приоткрывающих истинный смысл увиденного в прибрежном хламе, какой-то никчемный лоскуток тупой болью отяжелил наш сон, и мы, проснувшись или еще во сне, догадываемся, что он напомнил нам платье давно любимой женщины, а мы-то думали, что все позабыто...

И тут мы начинаем понимать, что нужны были сотни нелепых кадров, чтобы сделать убедительными те два-три, которые приоткрыли нам смысл. Ведь если бы все кадры более или менее логически приводили бы нас к смыслу, мы могли бы заподозрить, что кто-то подsunул нам нравоучительную басню. Убедительность находки тем жгучей, чем подлинней мусор, из которого мы ее извлекли...)

Разумеется, тетя Катя, разбираясь в своих снах, не всегда доходила до смысла, чаще так и застревала в мусорных тенях своих видений или, так и не сумев за весь вечер снова попасть в колею интересующего сна, откладывала веретено и, схватив головешку, загребала золу и покрывала ею жар, словно семя, которое зарывают в землю, чтобы на завтра очаг снова расцвел дружными всходами плодоносного огня.

— Сегодня что-то ничего не получается... Пора спать, — говорила она, при этом сладко зевая.

— Можно подумать, что она весь вечер чем-то другим занималась, — неизменно отвечал на ее слова дядя Сандро, за

привычной насмешкой скрывая досаду на то, что не удалось узнать, чем кончился ее очередной сон.

Однако в тот вечер, когда дядя Сандро, посмеиваясь, рассказывал о том, что он видел днем, случилось совсем другое. Девочка тут же лежала в люльке и в знак всеобщей радости и собственной необыкновенной живости сама себя раскачивала. И вдруг, глядя на отца, который в это время как раз показывал, как он чуть было не пристрелил свою собаку, девочка улыбнулась и сказала:

— Папа!

И тут родственники и соседи, сопоставив ход предыдущих чудес, пришли к неотвратимому выводу, что все это время, начиная с неожиданно узнанной и названной луны, пенья (хотя и без слов) застольной песни, самораскачиванья в люльке, ребенок двигался к тому, чтобы вымолвить: «Папа!» — тем самым пророчески намекнув на его великое и вечное призвание тамады.

Луна означала время его деятельности, раскачивание в люльке и пенье застольной песни — результат его деятельности. (Мысль, что ребенок мог запомнить эту мелодию, потому что ее довольно часто исполняли во время ночных пиршеств в доме дяди Сандро, почему-то никому не пришла в голову.)

— Видишь, даже ребенок тебя осуждает, — не очень впопад, но зато целенаправленно, стараясь использовать каждый случай, чтобы отвратить дядю Сандро от его застольных стремлений, сказала тетя Катя и, крутанув веретено, клюнула носом.

— Наоборот, — отвечал дядя Сандро, смеясь ее неудачному замечанию, — она меня первым назвала, значит, она меня одобряет.

* * *

Девочка росла необыкновенно резвой и, еще не умея ходить, пыталась танцевать под всякий звук, из которого можно было извлечь если не мелодию, то, по крайней мере, ритм. Так, она вырывалась из рук и раскачивалась в люльке, услышав звон коровьих колокольцев, стук града в крышу, хлопанье ладоней по ситу и даже кудахтанье кур.

В восемь лет она научилась играть на гитаре и вечно волочила ее по дороге между Большим Домом и соседями.

В двенадцать лет она играла все мелодии, которые когда-либо воспроизводились в Чегеме. Играть она могла в любом положении: сидя, стоя, лежа, бегом и даже верхом на дедушкином муле, который, по наблюдениям чегемцев, слегка подплясывал, услышав над собой брэнчанье струн.

Но больше всего она любила играть, сидя на макушке дедушкиной яблони. Бывало, в летний день, гремя орехами, всыпанными в нутро гитары, взберется на яблоню; там, у самой вершины на развилке веток и сплетенье виноградных лоз у нее было уютное местечко, где можно было сидеть, часами наблюдая за Чегемом и его окрестностями.

Иногда на голову путника, проходившего по верхнечегемской дороге, вдруг сверху, с небес, обрушивалась бойкая ме-

лодия, и он, остановившись, долго зыркал глазами, стараясь понять, откуда эта мелодия, но и определив, что она льется с яблони, он, продолжив свой путь, пытался обнаружить того, кто там притаился, и нередко спотыкался, а то и шлепался на каменистой верхнечегемской дороге. И тут мелодия обрывалась смехом.

Некоторые путники при этом очень сердились и клялись костями всех покойников, что, видно, на дом этот снизошла порча, моровая чума и сибирская язва, если девки его с гитарами шастают по деревьям, как ведьмы.

— Чем ворошить кости своих покойников, лучше бы присоединился к ним! — кричала девочка вслед сердитому путнику и нарочно изо всех сил ударяла по струнам.

А как она встречала гостей!

— Дедушка, к нам! — бывало, радостно закричит она сверху и, гремя гитарой, скатывается с дерева.

— Может, не к нам?! — с надеждой переспрашивала тетя Катя, которой изрядно надоедали гости.

— К нам! К нам! — на лету кричала Тали и, спрыгнув на землю, бежала к воротам.

А тетя Катя, ворча на людей, которые для собственного разорения нашли лучший способ, поселившись у большой дороги, заходила в дом, чтобы через минуту выйти оттуда в новом качестве, а именно в качестве добродушной хозяйки, приветливо улыбающейся гостям.

А Тали уже мчится за ворота, опережая собаку, и бросается обнимать и тащить в дом родственников, знакомых, а то

и просто случайных людей, которых вечер застал на верхне-чегемской дороге.

Иной раз, бывало, до утра простоит над столом, подливая гостям вино, подставляя закуски и с жадным, благодарным любопытством выслушивая все, что они говорят. А потом еще и уложит всех гостей, поможет раздеться, с какой-то обезоруживающей смелостью и чистотой подправит подвыпившим одеяло, пожелает всем спокойной ночи и унесет лампу, светясь своим прозрачным лицом — то ли лампа озаряет лицо, то ли лицо лампу...

Черт-те что, подумает гость сквозь сладкую дремоту и уснет, так и не поняв ничего, чтобы потом через годы и годы вспоминать этот вечер, с горящей сладостью смакуя каждую его подробность.

Зимой, когда выпадал глубокий чегемский снег, девочка верхом на дедушкином муле, впереди всех ребятишек округи, торила дорогу до сельсоветской школы. Голосок ее, особенно звонкий на снегу в эти времена, бывало, раздавался на пол-Чегема, и каждый, слушая, как она покрикивает на мула, подбадривает маленьких, вечно спорит со своими двоюродными сестрами, называя их дважды протухшим молоком или трижды прокисшими сливками, невольно улыбался ее горячему голосу на снегу, ее неукротимой энергии.

И каждый, кто встречал ее в это время на верхнечегемской дороге и видел, как она на крутом подъеме, раскрасневшись, покрикивает то на своих спутников, то на мула, пошлепывая его ногой, обтянутой толстым домотканым шерстяным чул-

ком и обутой в чувяк из сыромятной кожи с торчащим оттуда пучком особой травы, которую суют туда для мягкости и тепла, к тому же, видимо, очень вкусной, потому что, выбрав мгновенье, мул то и дело пытался отщипать оттуда хоть клоч, хоть несколько травинок; каждый, кто видел, как она, ни на секунду не замолкая, оборачивается на самой крутизне и предлагает кому-нибудь ухватиться за хвост своего мула и отгоняет тех, которые пытаются ухватиться за этот хвост, хотя, по ее мнению, и не заслужили этой чести, а те, уже ухватившись, доказывают, что они ее заслужили или, по крайней мере, заслужат в самом скором времени, и наконец всей гурьбой вываливаются на гребень холма, чтобы тут же выкатиться на ту сторону, — каждый, кто видел эту картину, потом, многие годы спустя, вспоминал о ней как о видении пронзительной свежести, юности, счастья.

На обратном пути из школы, проходя через буковые и каштановые рощи, ребята выбирали самые крутые косогоры и, сев на портфели и сумки, скатывались с них. Если удавалось цельным пластом сгрести снег, то на обнаженной почти сухой земле, покрытой мерзлым пламенем палых листьев, вдруг открывался не тронутый дикими кабанями и белками клад каштановых или буковых орешков. Если их оказывалось достаточно много, то и мулу перепало полакомиться.

Кстати, мул старого Хабуга, по многим признакам, которые смело можно приравнять к прямому признанию, считал ее школьные годы самыми очаровательными в своей жизни.

Оказывается, он, как и все другие животные, окружавшие ее, любил ее и понимал чуть ли ни с полуслова.

Так или иначе, девочка с детства была одарена даром, если можно так сказать, приятия мира, даром милосердия и доброжелательства. К тому же необыкновенная любовь бабушки к ней давала ей ощущение всеислия, и она в свои детские годы нередко действовала с рассеянной расточительностью маленькой принцессы.

Однажды она подарила лошадь дяди Сандро геологам, которые, подымаясь к себе в лагерь из города, сделали привал возле Большого Дома. Тали принесла им напиток, и один из них, самый молодой, напившись, кивнул на лошадь, которая паслась во дворе:

— Нельзя ли нанять?

— Зачем нанимать, — отвечала Тали, — берите так...

— А вы? — слегка опешил этот парень, как позже оказалось, студент-практикант.

— А у нас есть еще мул, — сказала Тали и, сама вытащив из дому седло и поймав лошадь, помогла оседлать ее.

Когда вечером дядя Сандро пришел домой и узнал о ее проделке, он молча, ничего не говоря, впервые в жизни нарвал букет крапивы, но при этом не учел резвость ее ног. Да и крапивицу рвал чересчур аккуратно. Она сбежала от него в кукурузу, а оттуда пробралась к тете Маше, и та уложила ее спать между своими пятью дочерьми.

Дочери тети Маши из экономии постельного белья спали в своей комнате на полу прямо на козых шкурах. Они уступи-

ли ей место у стены, так что, захоти дядя Сандро добраться до нее, ему пришлось бы преодолеть огнедышащий заслон, образованный телами юных великанш.

То ли оттого, что они, эти девушки, по бедности с детства мало чем прикрывались, то ли это следствие их могучего здоровья, скорее всего, и то и другое, но, видимо, их телам был свойствен какой-то особый теплообмен, какая-то повышенная отдача тепла. Если присмотреться к любой из них, то можно было заметить легкое марево, струящееся над ней и особенно заметное в тени. В этой связи чегемцами было замечено, что собака их, зимой спавшая под домом, выбирала место для сна прямо под комнатой, где спали девушки. По мнению чегемцев, они настолько прогревали пол, что собака под домом чувствовала тепло, излучаемое могучим кровообращением девиц.

Неизвестно, рискнул бы дядя Сандро раскидать этот тлеющий тайным жаром костер, чтобы добраться до своей дочери, потому что ночью вернулся этот парень верхом на его лошади. Начальник геологической партии оказался достаточно умным человеком, чтобы не принимать подарка от девочки.

Дядя Сандро, который сильно подозревал, что эндурские конокрады под видом геологов выманили лошадь у его дурочки, теперь очень обрадовался и устроил парню небольшой кутеж, пригласив двух-трех соседей.

— Где тут моя? — раздался ночью голос тети Кати в комнате дочерей тети Маши. — Вставай, лошадь привели, будешь виночерпием!

Студент этот оказался юным кутилой и никак не хотел уgomониться до самого утра, хотя ему и намекали, что дядя Сандро не слишком ему подходит для застольных состязаний.

— Не может быть, — под смех окружающих хорохорился парень, — чтобы этот сухопарый абхаз мог меня перепить!

Сам он был могучего сложения, но, по мнению большинства застольцев, несколько сыроват, что должно было его в конце концов подвести. Другие возражали, что он сыроват по нашим, по чегемским понятиям, а по русским понятиям он, может быть, и не сыроват. На это первые возражали, что пьет-то он все-таки наше вино, а не русскую водку, поэтому можно считать, что он все-таки сыроват.

— Тоже верно, — соглашались те, что находили этого юного кутилу не таким уж сыроватым, — посмотрим, там видно будет.

Увидев Тали, парень этот вовсе расхорохорился, потому что она ему очень понравилась и, главное, показалась гораздо старше. И чем больше он пил, тем старше она ему казалась.

Напрасно один из соседей пытался по-русски ему объяснить, что «сухой земля пьет много вада (кивок в сторону дяди Сандро), мокрый земля пьет мала вада (кивок в его сторону)», студент вошел в раж.

— Не может быть, — кричал он под смех окружающих и, принимая этот смех за следствие своего остроумия, — чтобы этот сухопарый абхаз мог меня перепить!

Вместе с первыми утренними лучами перед студентом поставили тарелку с восемью стаканами вина, похожую на фантастический цветок с кровавыми алкогольными лепестками. Дядя Сандро только что вылакал нектар из такого же цветка и теперь с некоторым блудливым любопытством, облизываясь, смотрел на студента. Студент встал и легко, один за другим, выпил два стакана.

— Вот вам и сыроватый, — сказал один из гостей, когда студент с такой же легкостью приподнял и пригубил третий стакан. И тут случилось неожиданное. Третий стакан рухнул на оставшиеся пять стаканов, а студент, как ошпаренный, выскочил из дому.

— Невтерпеж, — первым догадался дядя Сандро и отечески улыбнулся вслед бегущему студенту, — только б успел расстегнуться...

Студент не добежал и до середины двора, когда из него хлынул фонтанчик, и он так и бежал, неся его впереди себя, пока не вскочил на плетень и не перемахнул в кукурузник. Одному из застольцев даже показалось, что источник этого фонтанчика расположен несколько выше, чем положено.

— Уж не прорвало ли ему пупок, — высказал он странное предположение. Разумеется, студент этот больше к столу не вернулся, хотя за ним был послан человек. Этого следовало ожидать — слишком понравился ему виночерпий.

Впоследствии нередко у дяди Сандро спрашивали, мол, откуда он знал, что студенту нестерпимо именно в этом

смысле, а, например, не в то, что вино у него пошло обратно горлом.

— Очень просто, — отвечал дядя Сандро, — когда не выдерживает желудок, человек заранее бледнеет и потеет, а когда не выдерживает пузырь, ничего не заметно.

— Чего только не подметит этот Сандро, — говорили чегемцы и прицокивали языками в том смысле, что век живи, век учись.

* * *

Другой, гораздо более печальный случай раскрывает ее некоторые душевные особенности, которые позже, когда она стала взрослой женщиной, расцвели с такой могучей силой.

Чтобы рассказать о нем, надо вернуться на несколько лет назад. Один из сыновей Хабуга, а именно Иса, был страстным охотником. Он часто охотился с Тенделом и, по-видимому, во время одного из многодневных зимних походов сильно простудился, скорее всего, схватил плеврит, который в конце концов привел его к туберкулезу.

— В ту зиму, — вспоминал позже Тендел, — бывало, закашляется где-нибудь в пути и выплюнет на снег красный пяточок. Бывало, скажешь ему: «Что, это ты кровью харкаешь, старина?» — «Да так, — говорит, — видно, где-то простыл». Думал, простыл, а оказалось вон что...

Так рассказывал Тендел, обычно сидя у горящего очага, и вместе с последними словами сам отхаркивался в костер,

может быть для того, чтобы лишний раз убедить окружающих, что сам-то он откашливается здоровой харкотиной старого курильщика.

Бедный Иса года два прокашлял, а потом умер. От него заразилась его жена и тоже умерла через два года. От жены заразилась ухаживавшая за ней старшая дочь Катюша и умерла. И когда этой весной открылась болезнь у сына Исы, огнеглазого Адгура, цветущего двадцатилетнего парня, родственники, жившие в ближайшем окружении, тихо между собой решили не пускать детей в этот выморочный дом. В доме осталось всего два человека: Адгур и его младшая сестра Зарифа, восемнадцатилетняя девушка, как бы окаменевшая от ужаса ожидания своей очереди.

С тех пор как заболел несчастный Иса и до этих дней все родственники, и в особенности старый Хабуг, всеми силами помогали его семье. И сейчас Адгур после больницы месяц провел в санатории, и, конечно, деньги на это дал дед.

Тем не менее решение не пускать детей в дом Исы было принято. Люди патриархальные сначала вообще не верят в то, что болезнь, как блоха, может с одного человека перепрыгнуть на другого, но потом, убедившись, что болезнью можно заразиться, впадают в обратную крайность и делаются чересчур подозрительными.

И вот Адгур приехал к себе домой и вдруг почувствовал, что все его надежды на выздоровление споткнулись о тихо сплотившееся отчуждение родственников. С неделю Тали смотрела, как он одиноко и неприкаянно гуляет по деревне,

и сердце ее сжималось от жалости к нему. Впервые в жизни она почувствовала, что в мире, который ей сиял ожиданием бесконечного счастья и которому она отвечала благодарной улыбкой за счастье ожидания счастья, она почувствовала, что в мире бывает ничем не объяснимая жестокость и подлость. За что ее брат, в котором она с восхищением угадывала красоту и мощь цветущего парня, должен был умереть от этой страшной болезни? И как можно покидать его в такие дни? Ведь выживают же некоторые, ведь сами взрослые об этом говорят? А как же он выживет, если видит, что все его покинули, потому что не верят в то, что он может спастись?

Такие мысли мелькали в ее голове, но больше, чем мыслими, собственным стыдом понимания, как поступить правильно, она нарушила запрет и пришла в дом к своему брату.

Она пришла в полдень, когда сестра его уже возвратилась с колхозного поля и готовила на кухне мамалыгу. Он сидел у очажного огня, зябко ссутулившись и вытянув к огню мерзнущие руки.

— Тали, — спросил он, увидев ее, — тебя за чем-нибудь прислали?

Глаза его ожили. Казалось, ветерок дунул на гаснущие угли костра.

— Нет, — сказала она, — я просто так...

Она вошла и с каким-то вдохновением стыда (только бы не подумал, что боюсь) шлепнулась рядом с ним на скамью. Своим сирым голосом он стал рассказывать, что видел медвежьи следы в котловине Сабида, что надо бы устроить там

засаду, да вот ему сейчас трудно одному, а напарника не найдешь... Он унаследовал от отца страсть к охоте.

Сестра его, месившая в котле мамалыгу, когда он стал рассказывать про медведя, вдруг взглянула на него с каким-то ужаснувшим девочку язвительным удивлением, словно хотела сказать: «Господи, он еще разговаривает, как живой!»

Адгур не заметил этого взгляда, а, может быть, привыкнув к нему, не обратил внимания. Тали заметила, что котел, висевший над огнем на цепи, сильно оттянут в другую сторону костра, где стояла Зарифа. Она чувствовала, что сестра Адгура старается как можно меньше соприкоснуться с братом, и даже не скрывает этого.

Пока он рассказывал про медвежьи следы, она вспоминала один яркий зимний день, когда возле дома брата раздался выстрел, потом еще и еще. А потом через некоторое время из котловины Сабида послышался голос Адгура, он кричал, что убил косулю, чтобы ему помогли ее принести.

Поблизости никого из мужчин не было, поэтому только дети и женщины пошли навстречу ему, и Тали была среди них. Он подымался по тропе, разгоряченный, распахнутый, со сверкающими глазами, с косулей, лежавшей за плечами и свесившей чудную головку ему на грудь. Придерживая ее за одеревеневшие ноги, он подымался, такой высокий и гибкий, не в силах скрыть восторга и торжества, выкрикивая какие-то подробности, прикрикивая на бегущих вокруг него, тонущих в снегу и выпрыгивающих из снега собак, собак, лижущих капающую кровь, вертящихся возле него и, иногда,

взвизгивая от восторга, пытающихся дотянуться то до его лица, то до его добычи.

— Пошли вон! Да что вы на самом деле! — прикрикивал он на них, пытаясь вызвать в голосе гневное удивление, но гневного удивления не получалось, а получался восторг, упоение, которое он испытывал всем своим существом и которое чувствовали собаки и потому, не слушая его окриков, продолжали бесноваться, выпрыгивая из снежных заносов, визжа и клубясь возле него.

Таким его видела Тали в толпе женщин и детей, стоя у края котловины Сабиды, откуда он, бороздя глубокий снег, подымался к ним, весь распахнутый, растерзанный, мокрый от снега, со струйками пота, стекающими по лицу, с глазами, полыхающими горячим голубым огнем, с рукой, то и дело хватающей снег и одним движением запихивающей, даже, скорее, жадно вмазывающей его в рот.

А потом здесь, в этой же кухне, у сильно разожженного огня, освеживая тушу, подвешенную на веревке к балке, он рассказывал, как случайно заметил ее со двора и, не веря самому себе от счастья, все-таки так близко к дому они никогда раньше не подходили, он одним выстрелом уложил ее.

А потом побежал вниз, в котловину, и, когда подошел и схватил ее за ногу, она вдруг рванулась с такой силой, что он отлетел на несколько метров, а косясь, несмотря на тяжелую рану, вскочила на ноги и побежала, а он все-таки успел приложиться и выстрелить (он как бы настаивал на том, что успел приложиться, то есть не случайно и второй раз попал

в нее), и она снова упала, и он снова подбежал к ней, уже уверенный, что она убита, но, когда он снова схватил ее за ногу, она дернулась с невероятной силой, но он и второй рукой успел уцепиться за ту же ногу, и все-таки она, несмотря на две полученные пули, проволокла его по глубинному снегу метров десять, но тут выбилась из сил и рухнула. Но и после этого они еще несколько минут барахтались в снегу, пока он не изловчился и не всадил в ее горло нож, и тут она наконец притихла.

Гудел огромный костер, над которым уже был подвешен большой котел для варки мяса, а он рассказывал, освежив тушу, то стягивая с хрустом отделяющуюся от туши шкуру, то осторожно, чтобы не испортить ее, надрезая все тем же ножом цепкую пленку, как бы склеивающую шкуру с тушей, иногда оттягивая одной рукой сырую эластичную шкуру, а кулаком другой время от времени протискиваясь под шкуру, чтобы облегчить ее отделение.

Гудел костер, похрустывала шкура, и вся его мокрая одежда дымилась, и под ней легко угадывалась гибкая мощь юного здорового тела. А потом за длинным низким столиком дети ели вареное мясо с мамалыгой, да еще разносили по своим домам соседские паи и рассказ о том, как их брат убил дикую козу. Так неужели это он сидит сейчас, сгорбившись своим опустелым телом, и тянет среди лета к огню свои зябнувшие руки?

Через несколько минут сестра молча поставила перед Адгуром низкий столик, наложила ему из котла порцию мама-

лыги и, кивнув на другую сторону костра, где она поставила столик для себя, спросила у Тали:

— Пообедаешь со мной?

— Я здесь, — сказала Тали.

Та, ничего ей не отвечая и нисколько не удивляясь ее словам, вытащила из котла еще одну порцию мамалыги и выложила рядом с порцией брата — не слишком далеко, не слишком близко.

Так же молча она поставила между ними тарелочку с нарезанным сыром, две тарелки с фасолью и прямо положила на стол несколько ломтей мокрой соленой капусты. После этого она поставила уже в уголок рядом с братом банку с каким-то лекарственным жиром.

Молча проделывая все это, она как бы говорила Тали: «Ты можешь играть в благородство, это — твое личное дело. Но я знаю, что это такое, и сделаю все, чтобы не умереть».

Адгур стал вытаскивать из банки куски жира. Он это делал неприятно позвякивающей металлической ложкой, которая воспринималась Тали как какой-то больничный инструмент. Чегемцы пользовались только деревянными и костяными ложками.

Подав все сразу — Тали поняла, она это сделала, чтобы лишний раз не подходить к столу, — Зарифа молча вышла из кухни, прикрикнула на собаку, стоящую в открытых дверях, и, усевшись на перильца кухонной веранды, молча и равнодушно оттуда смотрела на них.

Она сидела на перилах веранды, озаренная солнцем, сильная девушка, и ни капли не скрывала своего намерения во что бы то ни стало выжить.

Иногда клубы дыма от костра относило к дверному проему, и тогда на мгновение исчезала девушка, сидевшая на перилах. Но потом она снова появлялась там в той же позе, и эта неизменность ее неподвижной позы, казалось, тоже подчеркивала решительность ее намерения выжить.

Тали не осуждала ее за намерение выжить, но она чувствовала, что грубая откровенность этого желания означает уверенность, что брат ее должен умереть. И вот с этой уверенностью она никак не могла примириться...

Он сделал своей ужасной металлической ложкой углубление в мамалыге, вложил туда куски этого жира из банки, и жир, теперь растаяв, растекался по мамалыге. Он ел фасоль, макал мамалыгу в это тающее масло и с хрустом разрезал зубами скрипящую и капающую соком капусту.

Энергия, с которой он ел, Тали это чувствовала, говорила не столько о его аппетите, сколько о его яростном нежелании сдаваться. Он словно посылал подкрепление своим слабеющим силам. И каждый раз, когда глоток проходил по его страшно исхудавшему горлу, она это видела боковым зрением и чувствовала всей кожей усилия его воли, с которой он проталкивал каждый глоток, как бы повторяя: «И ты помоги мне... И ты помоги мне...»

Девочка есть не хотела, но все-таки старалась есть как обычно, ничем не выдавая своего состояния. Неожиданно он

закашлялся и долго не мог остановиться, и, продолжая кашлять, он стал что-то показывать рукой, а Тали сначала никак не могла понять, что он хочет этим сказать, и вдруг поняла, и он тотчас понял, что она поняла, потому что она ему в знак согласия кивнула головой, и он сквозь кашель просиял, обрадовался ее пониманию. Тали догадалась, что знаки, которые он делал руками, означали, что он закашлялся не из-за своей болезни, а оттого, что очень уж дымит костер.

Он продолжал кашлять, в горле у него что-то мучительно хлюпало и хлюпало, и она вдруг ощутила капельку слюны, выбрызнувшей из его kloкочущего горла и вколовшейся ей в лицо чуть повыше верхней губы. Девочка, похолодев от ужаса, подумала, что теперь конец, что теперь она, конечно, умрет, и в то же время чувство стыда и даже позора за свое малодушие, если она даст ему заметить свой страх, было настолько сильным, что она удержала себя в руках, и только мгновение спустя утерла рукавом место, почему-то мучительно чесавшееся, куда вкололась капелька его слюны.

Сестра его продолжала сидеть на перилах и за все время кашля не изменила ни своей неподвижной позы, ни выражения окаменевшего равнодушия на лице.

Они доели и встали из-за столика. Тали набрала воду в кубышку черпака и поливала ему, когда они вышли на веранду. Он вымыл руки и особенно тщательно споласкивал рот и пальцем промывал крепкие скрипучие зубы. Казалось, зубы свои он особенно любил за то, что это единственная часть его организма, несколько не пострадавшая за время его бо-

лезни. Но для постороннего глаза ничто так не напоминало о страшном разрушительном действии болезни, как его крепкие, здоровые зубы в невольном сопоставлении с изможденным лицом, судорожной шеей и опустившимися плечами.

Куры, пока он споласкивал рот, осторожно подходили и выклевывали крошки, которые он выплескивал изо рта.

Как только они вышли мыть руки, сестра его обвязала рот и нос черным шарфом, наверно выделенным для этой цели: он висел на веранде, как знак траура. И вот она, надев его на лицо, вынесла столик, за которым они обедали. Приподняв его за один конец, она стряхнула с него остатки еды, которые тут же, рывкнув на кур, подхватила собака и съела. Потом она облила его кипятком из кувшина, который все это время стоял у огня, потом той же водой из кувшина вымыла тарелки, убрала столик, сняла шарф и, повесив его на гвоздик, сама тщательно вымыла руки и вошла в кухню.

Там она в одиночестве пообедала, время от времени без всякого выражения поглядывая на них сквозь открытые двери кухни. Тали сидели с ним на кухонной веранде, и он рассказывал ей о каком-то чудодейственном средстве, которое готовит одна женщина, живущая в Донбассе, куда он собирается поехать, как только немного окрепнет, если к тому времени его черствые родственники не догадаются сами туда поехать. Это была довольно обычная ворчня и обычный рассказ долго болеющих людей.

Внимание, с которым Тали слушала его рассказ, делало слова о чудодейственном средстве более убедительными,

словно кто-то со стороны подтверждал, что все это правда. Возбужденный надеждами на выздоровление, отчасти подтвержденными вниманием, с которым его юная сестричка слушала, отчасти самим ее приходом сюда, он и в самом деле взбодрился и повеселел.

Когда она уходила, он смотрел на ее стройную босоногую фигуру, на ее еще угловатые, но уже смягченные намеком на женственность движения и думал с каким-то умилением: «Какая девочка у нас растет!» За время болезни, кажется, впервые он подумал о том и восхитился тем, что не имело прямого отношения к его здоровью. Ощущение свежести, безотносительности к своим интересам этого наблюдения обрадовало его, хотя и снова возвратило к мыслям о своей болезни. Он подумал, что это состояние его объясняется началом его выздоровления. И еще он подумал, что все-таки болезнь сделала его слишком подозрительным: вот он решил, что родственники запретили детям ходить к нему в гости, а Тали пришла, и даже пообедала с ним.

Вечером, когда девочка у себя в кухне, сидя перед огнем, мыла в тазике ноги, на нее напал кашель.

— Не бегай босиком по росе! — затараторила тетя Катя, ничего не зная о ее посещении дома чахоточного брата. А Тали почувствовала, что у нее внутри все помертвело: значит, она заразилась...

Уже в постели на нее еще несколько раз находил кашель, и она окончательно уверилась, что теперь ее ничто не спасет. С какой-то сладостной жалостью она видела себя умираю-

шей, и даже мертвой, и страшно жалела дедушку, и все-таки, вспоминая этот день и посещение брата, она чувствовала, что и сейчас нисколько не раскаивается в этом. Она не могла бы сказать почему, она только знала, что нельзя человека с таким горем оставлять одного, и это было сильнее всяких доводов, и тут она сама ничего не могла объяснить. Она смутно чувствовала, что то доверие к миру и к людям, та счастливая способность извлекать постоянную легкость и радость из самого воздуха жизни как-то связаны с тем, что у нее за душой не было ни одного движения, запахивающего, прячущего свою выгоду, свою добычу. И так как в этой распаханности, открытости, доброжелательности ко всему окружающему был залог ее окрыленного счастливого состояния, она заранее бессознательно знала, что ей никак нельзя запахиваться, даже если распаханность ее когда-нибудь станет смертельно опасной.

...Утром, проснувшись, она прислушалась к себе и с радостным удивлением почувствовала, что здорова и что с ней никогда ничего не может случиться.

Солнце уже встало и било искоса в окно сквозь ветви яблони. Тень ласточки, трепетавшей у гнезда на веранде, сейчас трепетала на занавеске окна, под которым спала Тали. Тали, шутя, стала раскачивать занавеску, удивляясь, что трепещущая тень ласточки никак не сходит с нее.

Глупая я, подумала Тали, окончательно просыпаясь, ласточка же не видит, что я раскачиваю ее тень, как же она может испугаться? А раз ласточка не боится, значит, и тень ее так

и будет трепетать на занавеске. Рассмеявшись над своей наивностью, она вскочила с постели и стала одеваться, чувствуя в себе ту сладостную неутоленность золотистым, еще не надкушенным летним днем, тот аппетит к жизни перед началом жизни, который и есть настоящее счастье.

* * *

Тали было двенадцать лет, когда сын мельника, весь в кудрявых завитках, чем, видно, и покорила ее, одним словом, парень ненамного старше ее, хотя и намного глупей, уговорил ее сбежать с ним из дому.

Пользуясь тем, что дедушка уехал в город продавать свиней, она согласилась и, прихватив гитару, пришла к моельному дереву, где они условились встретиться.

К счастью, с самого начала их преследовали неудачи. Первая неудача заключалась в том, что сын мельника достал, и то с большим трудом, только одну лошадь, которую одолжил ему сосед.

Так как Тали не согласилась садиться с ним в одно седло, ему пришлось посадить ее в седло, а самому усесться сзади на спину лошади, что лошади с самого начала не понравилось. Кроме того, ей не понравился вид странного предмета, который девочка держала в одной руке, то вытягивая его поперек лошадиного крупа, то вздымая его над собой.

Не успели они почувствовать себя влюбленными беглецами, как лошадь свернула с намеченного пути и раздраженно

зарысила в сторону своего дома. Тали никак не могла удержать поводьями сильную голову животного, и лошадь все быстрее и быстрее мчалась в сторону своего дома, что никак не входило в расчеты беглецов — ведь умыкатель сразу никогда не привозит свою пленницу домой.

Тем временем лошадь, окончательно раздраженная гитарой, которую Тали теперь приподняла, боясь разбить ее о круп лошади, помчалась во весь опор.

— Бросай гитару! — кричал сын мельника и, одной рукой держась за заднюю луку седла, другой пытался дотянуться до гитары.

— Ни за что! — отвечала Тали, оттягивая руку с гитарой, что заставляло лошадь выкашивать бешеный глаз на этот гулкий предмет и мчаться с еще большей быстротой.

Так они проделали километра три, пока сын мельника во время одной из попыток дотянуться до гитары не упал с лошади. Как только он упал, лошадь остановилась, словно решив примириться с одним из неудобств при условии, что ее избавят от второго.

Убедившись, что сын мельника цел, Тали стала доказывать ему, что гитара тут ни при чем, что вот она сидит на лошади с гитарой, лошадь стоит себе на месте.

Потирая ушибленное бедро, сын мельника подошел к лошади и схватил ее под уздцы. В ответ на ее слова он стал ее ругать, говоря, что, если мул ее деда разрешает ковырять гитарой у себя в ушах, то это не значит, что хорошая лошадь будет терпеть такое.

Тут Тали, не слишком стесняясь в словах, стала излагать свое мнение о напскальских лошадях и их кучерявых наездниках. В это время на тропе, где они стояли и спорили, появился Хабуг. Он подымался по тропе, ведя за поводья навьюченного городскими покупками мула.

Если б они вдвоем сидели на лошади, или будь Тали без гитары, или, по крайней мере, не ругайся они, старик, может быть, о чем-нибудь и догадался бы. Но тут он только удивился.

— Ты куда это на ночь глядя волочишь гитару? — останавливая мула рядом с лошадьёю и на мгновение одним взглядом (не устаивающим видовым различием) окидывая парня, держащего лошадь, и самую лошадь.

— На мельницу, — сказала Тали, уже разочарованная в своем женихе и, может быть, окончательно убитая этим взглядом.

— На мельнице и без тебя шуму хватает, — сказал дедушка и, не обращая внимания на сына мельника, который, привычавшись, стоял, держа под уздцы лошадь, бросил поводья мула и протянул руки своей внучке.

Он подхватил привычно потянувшуюся к нему Тали, и та, обняв его за шею и хлопнув гитарой по спине, повисла на нем, как сотни раз повисала, когда, вымыв на кухне ноги и сидя с ногами на скамье, она цеплялась за его шею, и он нес ее из кухни через длинную веранду в горницу.

— Какой ты все-таки, дедушка, — только и сказала она, опустившись между мешком и корзиной, оправляя юбку и укладывая на коленях гитару.

— Дай-ка мне свою дрыну, — сказал Хабуг и, взяв у нее гитару и перебросив ее через плечо, как топорик, подхватил поводья и пошел. Тали оглянулась на своего неудачливого жениха. Тот все еще держал лошадь под уздцы и, еще больше набычившись, теперь смотрел в сторону Тали, взглядом упрекая ее в великом предательстве. Тали пожала плечами в том смысле, что она вроде и не виновата в случившемся, но тот, еще больше набычившись, дал знать, что именно ее считает виновной во всем.

— А зачем ты сверзился? — обидевшись на это, ответила ему Тали и, последний раз пожав плечами, повернулась к нему спиной.

Оказывается, их переглядывания, а может быть, последние слова Тали вызвали у старого Хабуга смутные подозрения. Чем больше он об этом думал, шагая впереди своего мугла, тем неподвижней становился его затылок и походка приобретала свирепую быстроту.

Мугл едва поспевал за своим хозяином, когда они подошли к дому.

— Какого черта?! — крикнул наконец старый Хабуг, открывая ворота и оборачиваясь к внучке. Видно, к этому времени подозрения его окончательно созрели.

— Ты чего?! — Тали обернулась к деду.

— Какого черта?! Там, на лошади?! — сказал старик, теряя дар речи от возмущения и, притянув ворота, изо всех сил хлопнул ими.

— Ну что ты, бабушка, — сказала Тали и, распахнувшись в улыбке, протянула к нему руки. И точно так же, как она,

когда он протянул руки к лошади, по привычке обняла его за шею, так и он сейчас, хоть и был сердит на внучку, но, увидев протянутые руки ее, подхватил ее и ссадил с мула.

Все же среди чегемцев стали распространяться слухи о том, что Тали пытались бежать с сыном мельника, и это не удалось только благодаря тому, что мул старого Хабуга догнал беглецов, или, по другой версии, сам мул, на котором они якобы бежали, выбрав удобное место, сбросил умыкателя, так что тот до самой мельницы катился по крутому склону.

Мать Тали неустанно отрицала эти слухи так же, как и жена мельника.

По этому поводу обе матери обменялись заочными любезностями. Тетя Катя сказала, что Тали не какая-нибудь там бедная сиротка, чтобы выходить замуж за сына мельника, у которого от глухоты паутина в ушах поросла.

Это было, конечно, не совсем верно, потому что сын мельника, хотя и не отличался большим умом, но слышал вполне сносно. Правда, отец его от долгой работы на мельнице был и в самом деле глуховат, но сын мельника слышал хорошо, хотя по глупости иногда кое-что и переспрашивал. Вот тетя Катя и решила, что у них наследственная глухота.

Учитывая, что сама она, хоть и добрая женщина, но, по словам дяди Сандро, тоже недостаточно отличалась выдающимся умом, так что легко могла перепутать одно с другим, при этом, если иметь в виду, что она была оскорблена всеми этими слухами, да к тому же с глупыми, как с глухими, разго-

варивают громче обычного, что ж тут удивляться, что она решила, что у этого парня с самого рождения уши заложены мучной пылью.

Жена мельника, в свою очередь, говорила, что сын ее никогда не собирался жениться на Тали. Чем жениться на Тали, говорила она, уж лучше сразу жениться на ее гитаре, по крайней мере, будет за что ушипнуть. При этом она разъясняла, что если ее сын и любезничал с Тали, то он просто подбирался к ее двоюродной сестре Фирузе, старшей дочери многолетней тети Маши.

В самом деле, скоро сын мельника женился на могучей Фирузе. Чегемцы по этому поводу говорили, что жена мельника решила во что бы то ни стало доказать, что сын ее вполне достоин чегемской девушки.

(Подобно московской милиции, которая считает, что человечество разделяется на две части: на ту, которая уже прописалась в Москве, и ту, которая еще мечтает это сделать, чегемцы были уверены, что вся Абхазия мечтает с ними породниться. Не говоря об эндурцах, которые мечтают не столько породниться с чегемцами, сколько покорить их и даже не покорить, а просто извести, превратить в пустошь цветущее село, а потом и самим убраться восвояси, чтобы повсюду говорить, что, собственно говоря, никакого Чегема никогда не было, что это выдумка, виденье в усталых глазах пастухов, пробиравшихся на альпийские луга и делавших в этих местах привал.

Несколько эндурских семей, издавна живших в Чегеме, находились под постоянным тайным наблюдением чегемцев.

Во время тревожных слухов или стихийных бедствий они неизменно обращали свои взоры на эндурцев, с тем чтобы выяснить их позицию по этому поводу.

— Интересно, что Эти говорят? — спрашивали они друг у друга в таких случаях, и любой ответ воспринимался как коварная, но вместе с тем и глупая попытка скрыть их истинное, якобы чаще всего злорадное отношение ко всему, что тревожило чегемцев.

Все это не мешало им в обычных условиях вполне дружески относиться к своим эндурским чужеродцам, но в трудную минуту чегемцы начинали подозревать эндурцев в тайных кознях.

Скажем, лето, засуха. Мимо кукурузного поля, где мотыжит чегемец, проходит какой-нибудь из местных эндурцев:

— Скажи-ка, земляк, — обращается тот, кто мотыжит кукурузу, — дождь будет?

— А кто его знает, — отвечает эндурец, мельком взглянув в небо, и идет дальше своей дорогой. Чегемец снова берется за мотыгу и некоторое время молча работает. И вдруг, усмехнувшись, он говорит сам себе, из чего следует, что все это время он напряженно обдумывал ответ эндурца...

— «А кто его знает», — повторяет он с какой-то смиренной иронией ответ эндурца, — дай Бог нам столько хорошего, сколько вы всякого скрываете от нас...)

Однако, так или иначе, а сын мельника и в самом деле женился на дочери тети Маши. Тали подарила своей двоюродной сестре материал на платье, привезенный дедуш-

кой как раз в день ее неудачного побега. В день отъезда невесты она принимала такое деятельное, такое праздничное участие, что просто никому не могло прийти в голову, что она сама еще полгода назад собиралась бежать с ним из дому.

— Он хороший, — говорила она с удовольствием, причесывая перед зеркалом свою двоюродную сестру, — а то, что он с лошади сверзился, так это ничего, правда, тетя Маша?

— Умница, — соглашалась тетя Маша, размашисто, как и все, что она делала, дошивая нехитрое платье для своей дочки, — главное, с сыном мельника никогда голодной не будешь... А ну, подойди-ка сюда, дылда, примерим, — добавляла она, перекусывая нитку и оглядывая свою работу.

* * *

Где бы ни появлялась Тали, повсюду она вносила тот избыток жизненных сил, которыми ее наградила природа. Даже на похоронах какой-нибудь троюродной бабушки, которую она и при жизни-то ни разу не видела, она вдруг заливалась такими рыданиями, что ее начинали успокаивать более близкие родственники, говоря, что ничего не поделаешь, старуха свое отжила.

— Все равно жалко, — обливаясь слезами, говорила она сквозь рыданья.

Через полчаса она же, полыхая своим дышащим личиком, рассказывала что-то сверстницам, и вокруг нее начинали ис-

криться глаза, раздаваться смешки, как бы особенно веселые от сдавленности.

— Тали! Ты все-таки не на свадьбу приехала! — раздавался голос кого-нибудь на близких.

Больше всего в людях в те годы Тали не любила медлительность, угрюмость, неулыбчивость. Бывало, влетит в табачный сарай, где усталые, приунывшие женщины молча нижут табак, и закричит:

— Поднимите ваши дважды протухшие, трижды прокисшие лица!

Хлопнется возле матери или возле одной из своих двоюродных сестер, вырвет у нее иглу и защелкает табачными листьями. Женщины оживают, встряхиваются, их освеженный мозг вспоминает совершенно неожиданного человека, чьи косточки они, оказывается, забыли перемять.

В четырнадцать лет она имела свою трудовую книжку и считалась одной из лучших низальщиц Чегема, а через год (наконец мы добрались до того дня, с которого начали рассказ) она стала единственной соперницей другой лучшей низальщицы табака взрослой девушки Цицы.

Узнав, что одной из двух лучших вязальщиц оказалась дочь дяди Сандро, председатель колхоза был неприятно удивлен.

— Неужели это та вертихвостка, что зимой на муле приезжает в школу? — спросил он у Михи, просматривая сводки.

— Она самая, — с удовольствием кивнул Миха, — молния, а не девочка.

— Ладно, — угрюмо согласился председатель и, отложив сводку, задумался.

В последнее время он все чаще и чаще чувствовал в себе это угрюмство от какого-то ехидного несоответствия течения жизни ясным указаниям пролетарской науки Маркса.

Вот и сейчас, почему низальщицей колхозного табака должна была оказаться внучка бывшего кулака Хабуга? Ну, а кто ей хотя бы противостоит? Цица? А она кто такая? Внучка этого старого бездельника, этого охотника-мракобеса Тендела!

Позже, когда председатель Тимур Жванба стал на путь прямого мошенничества, на не слишком громкие укоры своей совести он, бывало, злорадно отвечал, что у Маркса тоже кое-какие несоответствия имеются, словно учение Маркса придумал не Маркс, а его бедная совесть.

И без того обездоленная слухами о своем классовом происхождении, совесть его окончательно замолкла и в распрях его страстей уже не принимала никакого участия, как бедная родственница, лишняя рот, незаметно устраивалась где-нибудь в уголке, чтобы не слишком попадаться на глаза, не раздражать своей сексуальной никчемностью главу марксистской духовной семьи, волосатого самца по имени Ненависть.

Итак, было объявлено, что патефон будет разыгран между двумя девушками, Цицей и Тали, больше всех нанизавшими к этому времени табака.

Сам патефон вместе с пластинками находился у тети Маши, потому что она считалась первой активисткой села Че-

гем. Дом ее и раньше напоминал молодежный клуб, отчасти благодаря обилию дочерей (пять девушек и ни одного мальчика), отчасти благодаря ее собственному общительному характеру. Теперь после появления патефона сюда стали заходить и пожилые и старые чегемцы послушать, как вождь говорит своим глуховатым (на языке чегемцев — гниловатым) голосом.

Чегемцы знали, что в городе продают и другие пластинки с записями русских, грузинских и даже абхазских песен, но до Чегема они еще не дошли, потому что до сих пор не было ни у кого патефона. Все ждали, чтобы кто-нибудь другой, особенно из местных эндурцев, его купил, чтобы посмотреть, не приводит ли голос человека, отделенный от самого человека, к порче скота или осыпанию винограда.

Так что чегемцам после появления призового патефона приходилось тешиться только этими пластинками. Зато их они очень хорошо изучили в смысле особенностей модуляций голоса, запинаний, точного знания мест, где раздаются аплодисменты, и что особенно поразило чегемцев в этой исторической речи, так это места, где вождь наливает себе воду, а потом, выпив ее, стучает стаканом о стол, на который, как довольно правильно полагали чегемцы, он его ставит.

Неугомонная Тали придумала сопровождать речь вождя игрой на гитаре с паузами в тех местах, где начинались аплодисменты или раздавалось отчетливое журчание боржома, льющегося в стакан.

— Ты смотри, воду пьет, — говорили чегемцы, услышав этот звук, каждый раз поражавший их мистикой своей естественности.

— Тут бы его и уложить, — однажды неожиданно добавил Тендел, почему-то решив, что именно это место, где он пьет воду, удобнее всего для таких нехороших дел. Догадавшись, что в словах старого охотника сказалась многолетняя привычка связывать водопой с засадой, чегемцы стали смеяться над его темнотой, говоря, что вождь, если захочет напиться, не станет спускаться к водопою, как какой-нибудь пастух, а просто мигнет, и ему поднесут лучший из лимонадов страны. — А я знаю, как он там пьет, — добродушно отвечал старый охотник.

Так как чегемцы, за исключением дяди Сандро, которому еще во времена революционных митингов в городах и низинных селах удалось услышать аплодисменты в качестве одобрения ораторской речи, слышали и сами неоднократно били в ладоши только во время пиршественных плясок, они долго не понимали, почему во время аплодисментов никто не выскакивает на сцену и не начинает плясать.

Ну, вождь, конечно, рассуждали чегемцы, не выскочит на сцену и не закружится в лезгинке, на то он и вождь. Ну, русские, рассуждали чегемцы, и не умеют плясать, на то они и русские. Ну, а Микоян-то чего стесняется? Все-таки армянин, все-таки на нашей земле вырос, знает вкус нашей хлеб-соли?

Постепенно чегемцы свыклись с тем, что после аплодисментов ничего не будет, и только, если появлялся новичок и, услышав знакомое битье в ладоши, радостно настораживался, они, махнув рукой в сторону пластинки, говорили:

— Не... Не... Эти попусту хлопают...

Одним словом, на зеленом дворике тети Маши в эти дни собиралось особенно много односельчан.

Сама тетя Маша, слегка дородная (редкое и потому ценное для горянки сложение), сидя в тени лавровишни на большой турьею шкуре, мерно покручивала ручку патефона. Обычно при этом у нее изо рта торчал надкушенный персик, который она таким образом придерживала, пока накручивала пружину патефона и ставила пластинку на крутящийся диск, после чего обламывала своими крепкими зубами надкус и, оглядывая окружающих, давала им насладиться голосом вождя и всеми сопровождающими его речь звуковыми эффектами.

Окружающие тоже строгали и ели персики, которые время от времени приносила в подоле какая-нибудь из дочерей тети Маши и сыпала тут же на траву в тени лавровишни. Этими персиковыми деревьями был обсажен весь двор тети Маши, но можно было поклясться, что ни один человек никогда их не пробовал в спелом виде — все подчистую подъядали многочисленные посетители ее дома еще до того, как персики созреют.

Муж тети Маши, которого она отчасти презирала за то, что у него никак не мог родиться мальчик, дома бывал редко,

потому что работал на колхозной ферме пастухом. Почти все лето он проводил на альпийских лугах, куда угонял скот, а в остальное время тоже редко бывал дома, потому что и ферма была расположена в нескольких километрах от дома, да и сам он за многие годы пастушества до того отвык от людей, что у него, по его собственному признанию, начинала кружиться голова, когда он видел вместе пять-шесть человек, особенно если они проявляли во время разговора склонность к излишней жестикуляции. Вот он и предпочитал оставаться на ферме со своими козами.

Возвращаясь домой на несколько дней, он выполнял кое-какие мужские работы: ну, там, плетень приподнять и обновить, настругать подпорки для фасоли, свалить дерево на дрова и тому подобное. Приезжал он обычно страшно обросший, но тетя Маша в тот же день нагревала котел воды и брила его собственноручно. После бритья лицо его как бы выражало мучительное раздражение своей постыдной оголенностью, и несколько дней это выражение не сходило с его лица, пока он занимался своим хозяйством, покрикивая на дочерей и то и дело путаясь в их именах.

— Эй, Фируза, или как там тебя, — кричал он откуда-нибудь с крыши сарая.

— Папа, я не Фируза, я Тата, — отвечала дочка. — Фируза в прошлом году замуж вышла...

— Знаю без тебя! — огрызался он и добавлял, постукивая топориком, что-нибудь вроде этого: — Там у меня за домом

возле точильного камня должен лежать большой гвоздь... так вот принеси-ка мне его сюда, если дружки твоей мамыши еще не пустили его в расход...

Через несколько дней, переделав мужские дела (по его разумению, как язвительно уточняла тетя Маша), он с видимым облегчением, в сущности, даже с тайным ликованием, отправлялся к своим козам. По наблюдениям чегемцев, каждый раз он после длительной отлучки возвращался домой, накопив угрюмую яростную мечту зачать мальчика, и снова уходил к своим козам, уже издали, как бы с недоверчивым угрюмством, с дурным предчувствием прислушиваясь к процессу беременности своей жены.

Жена в очередной раз с неслыханной легкостью рожала ему девочку, и все начиналось сначала. По уверению чегемцев, рожала она так. Мотыжит кукурузу вместе с колхозницами или ломает на поле табак и вдруг разогнулась, приподняла голову, разинула рот и чего-то слушает, слушает.

— Ша, девки! — бывало, прикрикнет на молодежь, чтобы не мешали слушать.

— Чего это вы, тетя Маша? — спрашивают самые глупые.

— Кажется, рожать буду, — говорит она и, бросив мотыгу, идет в кусты. — Мужиков не допускайте...

Не то чтобы за повивальной бабкой сбегать, еще и опомниться не успеют, а некоторые, работающие подальше от нее, толком и не расслышали, чего это она там сказала, а потом, бросив мотыгу, ушла в кусты, как оттуда, говорят, раздастся мяуканье очередного младенца.

Хотя тетя Маша и в самом деле рожала легко, тут чегемцы, конечно, напреувеличивали. Да они, остроязыкие, благодаря свободе умственных сил и не такое нараскажут. Так рассказывают они, что якобы один человек, узнав о приезде мужа тети Маши после долгой отлучки, нарочно спрятался у них под домом и, оказывается, вот что он услышал.

— Ну и что? Ну и что? Все равно мальчик не получится, — по словам этого таинственного человека, всю ночь раздавался голос тети Маши.

Но что и интересно и легко было заметить даже без указания чегемцев, — все девочки рождались миловидными и даже отчасти склонными к полноте, как и тетя Маша, но главное не это. Главное, что каждая девочка рождалась здоровее предыдущей, и, уже начиная с третьей, они напоминали добродушных великанш, а самая младшая, еще совсем малютка, когда ее забывали в люльке, а это случалось частенько при общественной направленности интересов тети Маши, так вот, когда ребенка клали в люльку и забывали в тени под лавровишней, а тень отходила, то ребенок, говорят, вставал из люльки и, крихтя, сам перетаскивал ее в тень, после чего снова ложился в люльку, если ему была охота лежать.

По мнению чегемцев, возрастающее могущество дочерей Махаза было следствием все тех же его стараний добиться мальчика, но так как в жене его действовала одна только чадотворящая форма, а именно форма женщины, то старания Махаза хоть и отражались в виде возрастающего могущества мужской силы в его дочерях, все-таки ви-

доизменить единственную, данную ей Богом форму он никак не мог.

Чегемцы считали, что женщине даются от рождения чадо-творящие формы. Большинству обе формы даются, и мужская, и женская, а некоторым дается только одна, и тут, сколько ни старайся, ничего не получится. Это все равно, что вливать вино в графин и требовать, чтобы вино принимало форму бутылки.

То ли оттого, что у тети Маши муж был нелюдим, то ли это было свойством ее собственной природы, но тетя Маша любила бывать на людях. А ничто, особенно абхазской женщине, не дает такой естественной возможности быть на людях, как колхоз. Поэтому тетя Маша была одной из лучших колхозниц, и со стороны руководства она всегда ставилась в пример.

Она была в те времена чуть ли не единственной женщиной, которая посещала колхозные собрания, и притом вполне добровольно.

Бывало, принарядится, выйдет не верхнечегемскую дорогу, поджидая идущих сзади или, наоборот, громко окликая идущих впереди, чтобы ее подождали, а другие чегемские женщины смотрят на нее со дворов и бормочут что-нибудь вроде того что: «Иди, иди... Там тебе сделают мальчика...»

Так жила тетя Маша со своими богатырскими дочерьми — бедно, вольно, неряшливо. Дети и сама она питались чем попало, но могучая природа брала свое, и все они выглядели румяными, сильными, довольными.

И каждый день, особенно в плохую погоду, в затянувшийся полуденный перерыв во дворе играл патефон, доедали последние персики и начинали есть первую вареную кукурузу.

Пастушеский волкодав, оставленный хозяином дома в качестве мужской защиты, после появления патефона сбитый с толку обилием приходящих и уходящих людей, вообще перестал лаять и почти целыми днями сидел под домом, стоявшим на высоких сваях, и тоскливо следил оттуда за происходящим во дворе.

Между прочим, собака эта так и не смогла привыкнуть к патефону. Первый раз, услышав голос Большеусого, она вдруг зарычала и приблизилась к тени лавровишни, где стоял патефон. Она несколько раз недоуменно полаяла на его голос и тут, словно поняв, кому этот голос принадлежит, на глазах у всех она поджала хвост и, словно огрызаясь на ходу, повернулась и убежала в кукурузник. Оттуда она долго продолжала лаять и возвратилась домой только к вечеру, когда все разошлись.

— Знает, кого бояться, чувствует время, в котором стоим, — говорили чегемцы, цокая языками и поглядывая друг на друга с намеком на вещие способности животного.

(«Эх, время, в котором стоим», — вообще любят говорить чегемцы по всякому поводу, и выражение это, в зависимости от того, как его произносить, имеет множество оттенков, выражающих разную степень безнадежности. При всех оттенках само время неизменно рассматривается, вер-

нее сказать, ощущается, как стихия текучая, но не подвластная нам, и не в нашей воле войти в него или выйти, мы можем в нем, как в потоке, стоять и ждать — то ли поток усилится и покроет нас с головой, то ли вдруг исчезнет под подошвами ног.)

Со временем собака по привычке к голосу патефона и уже обычно даже не лаяла и не рычала на него, а просто, если он заставал ее во дворе, тихо вставала и уходила под дом.

Смешная тонкость ее поведения (разумеется, не оставшаяся незамеченной чегемцами) заключалась в том, что она уходила не тогда, когда патефон выносили из дому и устраивались с ним в тени лавровишни, и даже не тогда, когда ставили пластинку, а лишь тогда, когда, поставив пластинку, начинали крутить ручку. Тут она лениво вставала, брела под дом и там, брякнувшись в прохладную пыль, с сонной скорбью следила за тем, что происходит под лавровишней.

В то лето в доме у тети Маши стал появляться молодой парень из соседней деревни. Звали его Баграт. Был он по происхождению наполовину лаз, наполовину абхазец. Многими чегемцами было замечено, что парень этот своими глубоко запавшими глазами и большими часами кировского завода на широком запястье, носимыми поверх рукава рубахи, сильно смущает девушек округи.

Часов тогда в Чегеме ни у кого не было, ни стенных (солнце заменяло настенные часы), ни ручных. Ручные часы были только у председателей колхоза и сельсовета, и, бывало, во

время затянувшегося собрания они вдруг начинали сверять часы, подгоняя вперед или, наоборот, отгоняя назад стрелки на циферблате, при этом переговариваясь почему-то всегда по-русски, что придавало их словам и действиям некий кабристический оттенок и еще раз убеждало чегемцев, что эти люди как раз и держат в своих руках то самое время, в котором стоим.

Кстати говоря, кроме часов в те годы, как знак власти, начинали входить в моду чесучовые кителя. Так что некоторые чегемцы, как и жители других сел, стали шить себе эти самые кителя, чтобы на свадьбах или похоронах в чужих селах для незнакомых людей сходить за незнакомом начальника и тем самым занимать лучшие места за свадебными и поминальными столами. В первое время, когда стали появляться эти кителя-самозванцы с липовой идеологической прокладкой, истинные начальники то и дело окидывали их недоуменно-подозрительными взглядами, которые вскоре сменились взглядами презрительными, что несколько не смущало чесучовых самозванцев. В самом деле, запретить было невозможно, потому что чесучовые кителя были только неофициальным признаком официального положения.

В конце концов, как говорится, жизнь учит всему. Истинные начальники в истинных чесучовых кителях придумали приходить или приезжать к поминальным и праздничным пиршествам с хорошим опозданием и этим сдвигом, солидной паузой, очистительным пробелом во времени отгораживаться от своих несносных двойников.

Правда, уже в наше время, когда начальство на поминальные и праздничные пиршества запросто приезжает на служебных машинах, эти проклятые подражатели опять-таки приспособились к обстоятельствам. Например, какой-нибудь лавочник, имеющий свою «Волгу», будучи приглашенным на такое пиршество, думаете, просто садится в свою машину и приезжает? Черта с два! Нет, он, видите ли, нанимает шофера, чаще всего таксиста, свободного в тот день от работы, и приезжает, солидно скучая рядом со своим шофером. Поди пойми, лавочник он или начальник, если там человек пятьсот, а то и тыща собралась. Иногда этот же лавочник, поигрывающий в начальника, в самый разгар пиршества вдруг подзывает кого-нибудь из обслуживающих столы и спрашивает у него якобы вполголоса:

— Моего шофера не забыли покормить?

— Нет, что вы, — отвечают ему, — он сидит вон в том углу рядом с шофером секретаря райкома.

— Ладно, — кивает он, — только, ради Бога, вина не давайте...

Сидящие вокруг прислушиваются, чтобы из этого маленького диалога что-нибудь узнать о таинственном соседе и, конечно, узнают ровно столько, сколько надо самому соседу.

Но мы, кажется, слишком отвлеклись от парня, что своими запавшими глазами и часами кировского завода на руке вызывал смутные приятные мечтания у чегемских девушек. Нет, он и без часов был в самом деле хорош. Среднего

роста, широкоплечий, стройного сложения, он, к уважительному удивлению чегемцев, обладал необычайной физической силой.

Впервые замеченный всеми, он этой весной появился у тети Маши и предложил ей за два пуда кукурузы вспахать ее приусадебный участок. Тетя Маша с радостью согласилась. Она послала к Хабугу одну из своих дочерей, чтобы тот одолжил им своих быков. Быки были пригнаны, и парень этот в два дня, работая с восхода до заката, вспахал ее участок.

Получив свой мешок кукурузы, он надел на руку часы, перекинул мешок через плечо и молча удалился в свою деревню, сопровождаемый ласковыми благодарностями тети Маши.

— Чертов сын, — сказал старый Хабуг, осмотрев его работу и отгоняя своих быков домой, — моих быков замордовал...

С неделю после ухода молодого пахаря в доме тети Маши стоял могучий запах мужского пота, в который с удовольствием внюхивалась она сама и все ее дочери.

— Ах, молодчина, — вздыхая, вспоминала тетя Маша, — мне бы такого...

Было решительно непонятно, что она имеет в виду: мужа, сына или зятя. Дело в том, что родственники и соседи, гадая, чего это он вздумал вспахать за такую смехотворную плату ее участок, пришли к выводу, что ему приглянулась одна из ее миловидных великанш, а именно Лена. Ей он отдавал часы во время работы, а во время отдыха научил узнавать вре-

мя, не подглядывая за солнцем. Она и в самом деле научилась узнавать время по часам, но потом опять забыла и снова перешла на солнце. Тете Маше такое предположение было приятно, хотя Лена казалась ей чересчур рослой для этого парня. Она была на голову выше его и, судя по всему, не собиралась останавливаться в росте — ведь ей было всего восемнадцать лет.

И вот он стал появляться у тети Маши. То сам зайдет, то снизу окликнут его, когда он, бывало, проходил по верхнечегемской дороге, и он, срезая расстояние, прямо по осыпям косяга загремит вниз.

Во всех играх, которые затевали чегемские ребята, будь то толкание камня, игра в мяч (абхазский регби) или борьба, он всегда выходил первым. Всеми как-то сразу было принято, что с ним состязаться невозможно, и только Чунка, двоюродный брат Тали, юный гигант, бешено ревновавший к успехам этого чужеродца, не мог с этим примириться.

Иногда ему кое в чем удавалось сравняться с Багратом. Так, однажды ему удалось остановить Баграта, когда тот, расшвыривая людей, мчался с мячом к воротам противника. Чунка в прыжке схватил его за пояс и, бороздя носками сильных волочащихся ног зеленый двор тети Маши, сумел остановить его.

В другой раз ему удалось поднять пятипудового пастуха Харлампо, которого держал у себя дома Хабуг. В это время года Харлампо, бродя с козами в окрестностях Чегема и поедая несметное количество созревающих грецких

орехов, прибавлял в весе целый пуд, и обычно в это время года его уже никто не мог вытянуть наверх. А в начале лета его многие чегемские ребята поднимали, но не сейчас, когда он целыми днями лопал грецкие орехи и потолстел на целый пуд.

Обычно поднятие живого веса чегемцы производят таким образом. Человек, который собирается подымать другого человека, ложится на траву. Рядом с ним садится на корточки тот, кого поднимают, и, обхватив бедра, крепко сцепляет руки. Тот, который подымает его, продевает свою руку под его руку и изо всех сил сжимает предплечье другой руки. Потом, помогая себе другой рукой, он взваливает его себе на грудь, выпрямляет руку, держащую вес, и с этого мгновенья он уже ничем не должен ей помогать. Задача состоит в том, чтобы, больше не прикасаясь к грузу, без посторонней помощи встать на ноги.

Почему-то для этой цели чаще всего употребляли пастуха Харлампо. То ли потому, что он был маленький, сбитый и потому удобный для поднятия, то ли потому, что он никогда не жаловался, если поднимающий, не выдержав напряжения, неожиданно сбрасывал его вниз.

Чувствовалось, что Харлампо испытывает некоторую гордость за то, что оказался удобнее всех других для поднятия. Некоторым претендентам он сразу говорил, что они не смогут его поднять, но если те настаивали, он садился, обхватив руками бедра, и с обреченной серьезностью, уже приподнятый над землей, ждал, когда тот не выдержит и сбросит его на землю. Если тот не сбрасывал его на землю, а подымал над го-

ловой, то Харлампо, уже благополучно приземлившись, пожимал плечами, признавая свою ошибку.

Так вот, то ли под влиянием ревности, то ли еще что, но Чунка в тот день поднял набравшего свой классический августовский вес Харлампо. Это было титаническое зрелище. Вот Чунка приподымается, старается судорожными движениями найти свободной рукой опору, вцепиться в траву. Вот он уже сел и, медленно перенося тяжесть на одну ногу, стал на стопу второй и, опираясь свободной рукой о колено этой ноги и все это время не выпуская из вида живую тяжесть, которую он вздымает (живая тяжесть тоже почему-то не выпускает его из виду и даже напряженно скалится, словно изо всех сил облегчая себя), медленным героическим усилием выпрямляется во весь свой внушительный рост и встает, как памятник красноармейцу, швыряющему скрученного врага на его же территорию.

После него Баграт сделал то же самое с такой унижительной легкостью, что, когда он, подняв пастуха, мягко опустил его на землю и стал надевать свои, часы, многие подумали: а стоило ли вообще их снимать?

В тот день у Чунки дважды из носу шла кровь и он окончательно возненавидел Баграта.

Кстати, Баграт ввел в Чегем новую игру — «разрывание веревки».

Игра эта некоторое время вяло цвела, а потом быстро забылась, во-первых, потому, что рвать веревку очень трудно, а во-вторых, потому, что, и это важней, чем во-первых, просто жалко веревку.

Суть этой странной игры заключалась в том, что брался кусок веревки длиной в метр, связывались его концы, после чего в образовавшуюся петлю просовывались запястья рук и с силой раздергивались. Некоторым чегемским ребятам удавалось по одному, по два раза разорвать веревку, но все равно никому не удавалось пойти дальше Баграта. Он рвал и связывал и снова рвал веревку, пока она настолько не укорачивалась, что уже приходилось не раздергивать руки, а разжимать.

Однажды, когда он так и разбрасывал во дворе у тети Маши порванные веревки, Колчерукий, проезжавший верхом по верхнечегемской дороге, не останавливая лошадь, крикнул вниз:

— Боюсь, как бы не полетели шнурки на трусах у чегемских девчат, как только у этого парня кончатся веревки!

Услышав такое, чегемские девушки дружно захохотали, показывая своим смехом, что такая угроза не кажется им самой страшной.

Хотя тетя Маша и решила, что Багра́т прицеливается к Лене, и всячески намекала об этом окружающим, все же прямо спросить у него об этом было бы, по чегемским обычаям, величайшей бестактностью. Бывало, Багра́т обратится за чем-нибудь к Лене или пошутит с ней, тетя Маша тут же толкнет кого-нибудь из сидящих поблизости, дескать, не проведешь, знаем, о чем ты. Например, попросил Багра́т пить. Тетя Маша тут же со значением подхватывает его просьбу.

— Напон его, детка, напон, — сладко причитает она, — нашей родниковой, непригубленной...

— Послушай, — шутили чегемцы с Багратам, кивая на юную великаншу, — как ты будешь ее целовать?

— А я в прыжке, — отшучивался Баграт.

Следует сказать, что по чегемским обычаям всякие там разговоры считаются верхом бесстыдства, если их вести серьезно. Например, парень, заявивший родителям девушки или другим ее родственникам, что она ему нравится, независимо от их отношения к нему, с этого мгновения лишается всякого права не только бывать в их доме, но и в любом доме, находящемся в доступной для общения близости.

Другое дело шутка. В шутильной форме можно сказать все. В шутильной форме чегемцы умели обходить все табу языческого домостроя. Я даже думаю, что Бог (или другое не менее ответственное лицо), вводя в жизнь чегемцев суровые языческие обычаи, в сущности, применял педагогическую хитрость для развития у своих любимцев (чегемцы в этом не сомневаются) чувства юмора.

Таким образом чегемцы, якобы в шутку, пытались узнать у Баграта, чего он добивается у тети Маши, но так как Баграт отшучивался, якобы соглашаясь с ними, все по-прежнему оставалось непонятным. И только один человек с сладостной тревогой догадывался, зачем он здесь, — это была Тали.

* * *

Впервые они встретились в прошлом году. Тали с выводком двоюродных братьев и сестер (детишки так и тяну-

лись за ней, хотя она их иногда и поколачивала) стояла на дороге недалеко от дома. Она сбивала палкой еще зеленые грецкие орехи, и возмущенный колокольчик ее голоса то и дело звенел на детей, потому что они бежали собирать сбитые орехи еще до того, как ее палка успевала упасть на землю.

Еще не видя ее, он уже улыбнулся ее голосу, а потом, когда за поворотом дороги сразу же открылась сень огромного орехового дерева и под ним полдюжины маленьких детей с жадно запрокинутыми вверх головами, со ртами, до ушей измазанными соком зеленой кожуры орехов, а рядом с ними длинноногая девочка-подросток в свободном ситцевом платье салатного цвета с короткими рукавами, тоже с запрокинутым навверх лицом и всей тонкой и, видимо, крепкой фигурой, оттянутой назад в замахе, с палкой в еще дальше оттянутой руке, с тем особым девичьим жестом, который ни с чем не спутать, естественным в своей противоестественности, то есть жестом, как бы пытающимся внести плавность в бросок, то есть внести плавность в то, что от природы должно быть резким, он вдруг почувствовал какую-то трогательность всей этой картины и остановился против девочки на тропе. Дети и она сама, поглощенные предстоящим броском, так и не заметили его. Это показалось ему забавным, тем более что девочка, молча и напряженно целясь, продолжала оттягиваться и все дальше заводила за спину руку, пока конец слегка трепещущей палки не уперся в его живот.

— Смотри, меня не убей! — сказал он.

Тали бросила палку и быстро обернулась. Дети тоже разом повернули головенки назад. Увидев в двух шагах от себя незнакомого парня с запавшими глазами, с широкой грудью, с пустым мешком, перекинутым через плечо, она вдруг застыдилась своих измазанных рук и быстро спрятала их за спину.

— А рот куда спрячешь? — спросил он.

Девочка попыталась утереть рот тыльной стороной руки, вспомнила, что сильный сок грецкого ореха так не сотрешь, устыдилась своего стыда и вспыхнула:

— Иди куда идешь!

Сердитый ее голос на этот раз оказался неожиданно низким. Багра́т усмехнулся, сбросил с плеча свой мешок, поднял палку, уроненную девочкой, тряхнул ее, чтобы убедиться, что она не сломается на лету, взглядом отогнал от дерева детей, поймал глазами высокую ветку, густо обсыпанную орехами, и с такой силой швырнул в нее палкой, что на землю посыпался зеленый ливень орехов.

— Ау!!! — радостно завывли дети и бросились собирать зеленые, подскакивающие на камнях кругляши. Некоторые из них, наиболее зрелые, от сильного удара вылуцивались из кожуры и, сверкнув золотистой скорлупой, исчезали в траве. За ними дети бросались с особой радостью.

Багра́т заметил большой камень, на котором они разбивали орехи вместе с кожурой. Камень был весь мокрый от яростной свежести сока расплюснутых и вылуценных орехов. Багра́т вдруг почувствовал детский аппетит к этому нездоре-

лому ореху и, набрав пару горстей, сунул их в карман, подобрал мешок и пошел дальше своей дорогой.

Тали, глядя ему вслед, видела, как он, нащупав на бедре нож, вытащил его и, доставая из кармана по одному ореху, разрезал их надвое и, вылуцнив мякоть, бросал на дорогу опустевшие полушария.

Позже Баграт говорил, что именно тогда у него мелькнула и тут же забылась мысль, что хорошо бы эту девчонку забрать домой, вымыть ее как следует, дать попастись, не выпуская со двора, чтобы немного вошла в тело, а потом жениться на ней. Мысль эта мелькнула и пропала, когда он, доев последний орех, вложил нож в болтавшийся на бедре футляр.

Через полчаса, разогнав детей, Тали шла к дедушке, чувствуя радость и смутно понимая, что радость эта связана с тем, что она понравилась этому незнакомому взрослому парню. Она быстро шла по тропе, с непонятым умилением находя глазами (вон еще! а вот еще одна!) точно разрезанные и чисто выскобленные полукружья грецких орехов. Вдруг ей показалось, что эти свежевскобленные полушария чем-то напоминают самого незнакомца. Она очень удивилась этому непонятному сходству. Чем же скорлупа выеденного ореха, да еще с зеленой кожурой, может быть похожа на человека? Но она была похожа — и все! То ли его запавшие глаза напоминали углубления этих выскобленных полушарий, то ли толстая зеленая кожура чем-то напоминала его коренастость. Она почему-то вдруг подняла одну из этих половинок, понюхала ее, с удовольствием втя-

гивая горько-нежный аромат недозрелого ореха, словно первый раз его почувствовала, хоть сама была вся пропитана этим запахом и, вдруг застыдившись, что ее кто-то может застать за этим занятием, отбросила зеленую половинку, подпрыгнула и рассмеялась: ей стало как-то смешно, приятно и стыдно...

Тут она вспомнила, что еще утром на приусадебном поле видела кукурузный початок, который уже можно сорвать. Узнавалось это так. Найдя глазами более или менее налитой початок, надо было раздвинуть ногтями прикрывающую его одежду стеблей, причем верхняя одежда была всегда толстой и грубой, а нижняя тонкой и нежной. Так вот, надо было раздвинуть ее до самого початка и, добравшись до него, раздавить набухшее зерно: если из него идет бесцветный сок, значит, оно еще должно дозреть, но если брызнуло молоко, значит, можно жарить.

Вообще-то дедушка не любил, чтобы так пробовали на спелость кукурузу. Дело в том, что, хотя опробованные початки и продолжали наливаться и поспевать, птицы, особенно сойки, легко просовывали клюв сквозь эту однажды уже раздвинутую одежду (как ни скрывай, а это уже не скроешь) и постепенно выклевывали весь початок.

Но разве можно было что-нибудь запретить его любимице? Да Тали почти безошибочно узнавала спелые початки, потому что это были те же самые, которые раньше других выпускали свои льняные розовые и золотые косички, и она их заплетала задолго до того, как они высыхали...

Минут через десять, взлетев на порог дедушкиной кухни, Тали внезапно замерла — незнакомец был здесь.

Оказывается, он пришел покупать поросят. К этому времени Хабуг научился разводить свиней особой длиннорылой и жизнестойкой породы. Свиньи эти, скрещиваясь с дикими кабанями, давали неприхотливое потомство, благодаря необыкновенной скорости передвижения легко уходившее от любого хищника и по той же причине в состоянии раздражения, иногда от бегства переходя к погоне, заставляющее в панике бросаться наутек не только шакалов, но и матерых волков.

Баграт уже выбрал в сарае трех рябых поросят, и они с хозяином, вернувшись на кухню, уже сторговывались, то и дело шлепая друг друга по ладони и стараясь внушить друг другу, что каждый из них в проигрыше, но так уж и быть. Старик давил на парня всем своим могучим авторитетом, но и парень оказался на редкость крепким и подымался в цене почти так же туго, как опускался старик.

И тут вдруг Тали влетела в кухню и замерла на пороге, никак не ожидая снова увидеть здесь этого парня. И он снова увидел ее, взволнованную, с трепещущей шеей, с детским дышащим лицом и с недетским любопытством в глазах и как бы выражением горячей преданности в будущем, с губами, все так же вымазанными соком грецкого ореха. В руках она держала большой кукурузный початок, туго запеленутый зеленой одеждой, сдвинутой сверху дерзким движением, отку-да сквозь редкие, светящиеся, нежные, влажные волосья выглядывали набухшие молоком зерна кукурузы.

— Ну чего ты? — сказал старый Хабуг, нахмурившись. Тали прервала ту атмосферу нагнетания психического превосходства, которую он создавал в течение их торга, чтобы сломать этого упряма, и вот теперь, ему казалось, все придется начинать сначала.

— Уже поспела, дедушка! — воскликнула Тали и одним прыжком с порога оказалась возле него. Она воткнула ноготь большого пальца в брызнувшее молоком зерно: — Видишь?

— Тали, на что ты похожа! — воскликнула бабка, входя в кухню из кладовки и стараясь смягчить перед чужим человеком ужасное впечатление от ее рук и лица. — Это все проклятые орехи!

— Да знает он! — со смехом крикнула Тали и выбежала на веранду, где висела умывалка, привезенная дядей Сандро из города.

— Она думает, что все еще ребенок! — хмуро сказал Хабуг и уже снова начал было мрачнеть, чтобы показать, что он в этой сделке проигрывает, и тем самым создать атмосферу психического превосходства, но тут парень почему-то сразу сдался.

— Хорошо, пусть будет по-твоему! — сказал он и ударил его по руке.

— Принеси-ка нам по рюмке, — обратился Хабуг к жене.

— Ну и затылок, — сказала старушка, взглянув на спину Баграта, и прошла в кладовку, где хранилась сухая закуска и чача.

Багра́т сидел рядом с Хабугом у горящего очага и, почти не слыша, что тот ему говорит, невольно прислушивался к тому,

что происходит на веранде, где по звуку стерженька умывалки он определил, что она умывается, потом по голосу, отгонявшему собаку, он понял, что у нее упало мыло, и собака подбежала, увидев, что у девочки что-то свалилось.

Потом он услышал, как она со скрежетом срывает листья с кукурузного початка, и звук этот своей какой-то скрипучей свежестью напоминал о давней неистребимой детской радости смены плодов — земляника, вишня, черника, алыча, сливы, лесной орех, кукуруза, грецкий орех, виноград, яблоки, груши, айва и, наконец, каштаны...

Странно, подумал он, почему этот свежий скрежет листьев, которые она сдирает с кукурузы, напомнил ему так сладостно этот круговорот плодов, эту детскую радость?

В это время жена Хабуга внесла в кухню графин розовой чачи, нарезала сыру, наломала чурчелин и, придвинув к очагу низенький столик, разложила все это на нем. Старый Хабуг разлил чачу.

В открытую дверь кухни он увидел, как, потряхивая гривой, к веранде через двор идет, так же, как и он, услышав сочный звук листьев, сдираемых с початка, мул Хабуга.

Через мгновенье мул захрустел листьями кукурузы.

— Ишь, чего захотел! — услышал он ее голос и совершенно ясно представил, что мул потянулся к очищенному початку.

— ...чтобы Бог не отбавлял нам! — услышал он конец тоста старого Хабуга. Тали влетела в кухню с очищенным початком.

Они выпили, и он почувствовал струйку огня, прокатившуюся по горлу и дальше, почти до самого пояса.

— Ух! — сказал он, на этот раз искренне, то, что приличествует говорить по законам гостеприимства. — Голову сечет!

— Да, вроде ничего, — согласился старый Хабуг и выплеснул остаток из своей рюмки в огонь — мгновенно полыхнувшую синим пламенем струйку.

Тали уселась на низенькой скамейке возле самого огня и, раздвинув головешки, выгребла жар и поставила поближе к нему свой початок, прислонив его к полюну.

Скамейка была такая низенькая, что она сидела на ней, опираясь подбородком о колено и с каким-то смущающим Баграта любопытством поглядывая на него, то, вскинув голову с колена, поворачивалась к огню, лицо ее нежно просвечивало, и он невольно задерживал взгляд на ней.

Через некоторое время нестерпимый запах жареной кукурузы зашекотал ноздри сидящих в кухне. Тали выхватила початок, но не удержала, он был слишком горяч, початок шлепнулся возле очага. Она снова подхватила его, ударила о скамейку, на которой сидела, и, вышибив из него струйку золы и то и дело перехватывая, чтобы не обжечься, забыв о том, что здесь, в кухне, чужой человек, и, подчиняясь давней привычке, быстро обернула его краем платья, оголив ногу выше колена одновременно с возгласом бабки:

— Тали, как тебе не стыдно!

Одновременно с этим возгласом она успела (тук! тук!) сломать початок на четыре части и, взяв одну, правда самую тол-

стю, себе, молниеносным и как бы презрительным движением (подумаешь!) оправив платье, стала есть ее, отщипывая по несколько зерен и шумно, чтобы охладить их во рту, втягивая воздух и одновременно перекидывая с ладони на ладонь початок и самым этим шумным втягиванием воздуха как бы отвечая бабке: «Ты видишь, мне и так горячо, какой тут уж стыд?!»

— На вид-то она верзилистая, но голова сквозная, — сказал Хабуг и взял в свою задубелую ладонь обломок пахучей, золотистой кукурузы.

— Чудная девочка! — сказал Багра́т, стараясь сказать это равнодушным голосом и сам удивляясь своему старанию. Он тоже взял обломок початка. — Мащ-аллах! — сказал Багра́т и, отщипнув горсть зерен, отправил их в рот.

— Мащ-аллах! — повторил за ним Хабуг, радуясь, что этот полуабхазец помнит наш древний возглас, благословляющий цветенье, поспеиванье, изобилие. Они выпили еще по рюмке.

— Гляжу я на тебя, ты как чистокровный абхазец, — сказал Хабуг своему гостю, довольный и удачной продажей поросят, и приятным видом этого уважительного парня.

— Значит, могу быть абхазским зятем? — спросил Багра́т, подшучивая над Хабугом, но тот этого не заметил.

— Даже не сомневайся, — твердо отвечал ему Хабуг, разливая розовую чачу.

Тали сидела у огня, и лицо ее, то ли озаренное жаром огня, то ли собственным жаром, светилось. Теперь она спокойно грызла кукурузу, и глаза ее со странным, смущающим Багра́та любопытством то и дело останавливались на нем.

Все-таки в тот день, уходя к себе домой с поросятами, повизгивающими в мешке, Баграт не знал, как дорого заплатил за них. Он не знал, что девочка, которой он сбивал зеленые грецкие орехи, заставит его снова и снова возвращаться к этому дому и делать возле него сужающиеся круги, пока он не выберет двор тети Кати как взлетное поле для своего замысла.

Но это случилось через год, а тогда он никак не мог поверить, что влюбился в эту девочку, стебелек шеи которой, черт возьми, можно обхватить ладонью одной руки да еще так свободно, что она может ерзать своей пульсирующей шеей внутри ладони, если, конечно, дать ей ерзать...

Да, все это получилось как-то странно и неожиданно. Чтобы так влюбился он, двадцатишестилетний парень, на которого девушки поглядывали уже давно, при этом они свои быстрые взгляды старались сделать маленькой частью долгого взгляда, и он это чувствовал и знал еще до того, как приобрел кировские часы, а уж после того, как он купил часы, у него стали спрашивать время и те девушки, которым, в сущности, время было так же безразлично, как, скажем, возраст земли. А те девушки, которые раньше поглядывали на него, выдавая свои быстрые взгляды за маленькую часть долгого взгляда, теперь осмеливались бросать на него долгие взгляды, правда, выдавая их за короткие взгляды, продленные по рассеянности.

И вдруг он стал по ночам вспоминать об этой девочке? Правда, улыбка, как солнечная щелочка в облачном небе. Но до чего же худая, Господи!

И все-таки он не злился на себя в засушливые часы бессонницы, ему было приятно вспоминать ее голос, такой звонкий, вызвавший его улыбку еще до того, как он ее увидел, и потом вдруг такой низкий, грудной, когда она разозлилась и сказала:

— Иди куда идешь!

Вспоминать то упрямое и быстрое движение, с которым она спрятала руки за спину, вспоминать, как она влетела в кухню с кукурузным початком и внезапно замерла на пороге, когда он там торговался с ее дедом! И, как это ни странно, все, что он о ней вспоминал, казалось ему или забавным или смешным, но никак не достойным восхищения. Тем не менее это забавное и смешное томило и не давало спать.

Однажды, придя на мельницу, он увидел мула ее деда, привязанного там. Он почувствовал такой испуг, что хотел тут же повернуть назад, но потом, устыдившись своей робости, решил войти в мельницу. Мул, обернувшись на его шаги, посмотрел на него так, словно что-то знал о его тайне.

На мельнице, кроме мельника Гераго, сушившего над огнем костра табачные листья, никого не оказалось.

— Чей это мул? — мотнул он головой наружу, чтобы узнать, кто из них пришел с кукурузой.

— Хабуг оставил, — сказал Гераго, кивнув на дощатые нары возле мельничного жернова, где стояли, дожидаясь своей очереди, мешки с кукурузой. Хабуг всегда приход на мельни-

цу связывал с какими-нибудь делами, которые ему предстояло сделать в селе Напекал, ближайшем от мельницы.

Багра́т посмотрел на нары и сразу же с какой-то звериной безошибочностью узнал мешки Хабуга из козьей шкуры, хотя там были и другие такие же мешки. Эти ему почему-то напомнили ее (пушистостью, что ли? — мелькнуло у него в голове), и, словно проверяя свою догадку, он кивнул на них:

— Эти?

— Да, — кивнул Гераго, медленно поворачивая у самого огня ладонь с распластанным на ней табачным листом. Не сказав больше ни слова, Багра́т вышел с мельницы.

С расчетливой хитростью безумца он стал, проходя по верхнечегемской дороге, следить за Большим Домом. Увидев ее, он как бы разочаровывался ее внешностью и на некоторое время успокаивался. Внешность ее уступала тому образу, который создавало любовное воображение, и он каждый раз был рад уличить свою страсть в смехотворных преувеличениях, и она, страсть, как бы устыдившись явности недостатков ее внешности, на несколько часов замолкала, а потом все начиналось сначала. Он сам удивлялся той жадности, с которой он искал и находил в ней недостатки. Одно время она ходила с прямо-таки рябыми ногами: так бывает, если слишком близко и слишком часто с голыми ногами стоять у огня. Поиски недостатков немного успокаивали самолюбие, они как бы убеждали его, что он не сидел сложа руки, пока страсть не охватила его, а деятельно сопротивлялся ей. Он даже не подозревал, что это не он говорит своей страсти: «Пойдем посмо-

трим на нее, увидишь, чего она стоит...» — а сама страсть внушала ему идти и искать в ней недостатки, чтобы, воспользовавшись этим его безопасным занятием, ей, страсти, взглянуть на нее, испуганно любоваться, радоваться, что она жива!

Однажды он вошел в табачный сарай, где работали женщины их бригады. Он пришел туда со смутной надеждой встретить ее здесь.

В самом деле, она сидела рядом с матерью и тоже низала табак. Увидев его, она с молниеносной быстротой опустила глаза и, пока он там стоял, так и не подняла их ни разу. Про себя он смутился и не знал, как быть, но тут тетя Маша попросила его помочь вкатить в сарай табачные рамы, потому что начиналась гроза. Это дало ему возможность овладеть собой и достойно уйти.

Но он был сильно смущен. Ему показалось, что она догадывается о его чувстве, злится на него! Как быстро она опустила глаза! Не знал он, что только восходящая звездочка еще неосознанной любви способна на эту молниеносную быстроту, ласточкину чуткость!

* * *

Иногда, когда старый Хабуг брал своего пастуха на какие-нибудь хозяйственные работы, она пасла дедушкиных коз. Над домом Хабуга возвышался холм, покрытый густой травой, зарослями лещины, кизила, ежевики. Там-то она и пасла дедушкиных коз. Чуть повыше начинались сплош-

ные папоротниковые пампы, где он прятался и откуда следил за ней.

Она беспрерывно что-нибудь пела или перекрикивалась со своими сестрами, дочерьми тети Маши, или играла с козами — то с одной, то с другой, за какие-то малопонятные заслуги надевая им на шею цветочный венок и за еще более непонятные провинности отнимая его, если они сами не успевали сбросить его, что они пытались сделать, как только она их отпускала.

Иногда она приставала к огромному вожаку с пожелтевшей от времени длинной бородой, с огромными рогами, вершины которых сходились, как бы образуя триумфальную арку, вход в глупость. И этот старый дурак с важным спокойствием дожидался, пока она заплетает его почтенную бороду в малопочтенную косичку, а она еще покрикивала на него, чтобы он перестал жевать жвачку, пока она занята его бородой.

Однажды (видно, ей захотелось пить, а спускаться к роднику было лень) она поймала козу, улеглась возле нее и стала бесстыдно, прямо из вымени выцеживать себе в открытый рот струйки молока.

Баграта почему-то особенно поразила коза, которая во время этой непристойной, как ему показалось, дойки замерла с головой, повернутой в ее сторону, с выражением тайного юмора на морде или, во всяком случае, благосклонного недоумения.

Он чувствовал, что ему здесь нечего делать, и тихо покинул свою засаду, так и не дождавшись, пока она напьется. В ту ночь он почувствовал такой приступ яростной тоски, возможно, его доконала эта сцена с козой, что он решил во что бы

то ни стало дожидаться случая и встретиться с ней один на один. Через неделю он узнал, что дед ее и Харлампо ушли на несколько дней в котловину Сабида расщеплять дрань, и понял, что она опять будет с козами. Он решил выманить ее в папоротники, а там предоставить все воле случая.

В тот день он чуть свет встал с постели, достал у себя в кладовке несколько кусков лизунца, низкосортной соли, которую держат для скота, тщательно растолок ее и, насыпав ее в карманы, пустился в путь. Еще до восхода солнца он был на холме возле дома Хабуга и, выбрав место, где козы паслись чаще всего, стал, рассыпая соль, двигаться в сторону папоротниковых зарослей и углубился в них настолько, насколько хватило соли. Таким образом посолив зеленый салат для коз Хабуга, он притаился в папоротниках и стал ждать.

Его безумная хитрость, учитывая, что он полагался на коз, то есть на существа достаточно безумные, полностью оправдалась. Часов в десять утра часть коз напала на следы его соли и упрямо двинулась в папоротники, несмотря на окрики Тали.

Он навсегда запомнил тот миг, когда она полезла в папоротники и он понял, что теперь она никуда не уйдет, и вдруг сердце в груди его забилося медленными толчками и каждый опалил тело тревожным, сладко сгущающимся пламенем...

Как только она вошла в папоротник, он перестал ее видеть, но зато слышал ее теперь с удвоенной чуткостью. Он слышал хруст и шорох ее босых ног по высохшим прошлогодним стеблям папоротников и мягкий шелест живых,

раздвигаемых руками папоротниковых веток. Звуки эти, все сильнее и сильнее волновавшие его, то замолкали, то уходили в сторону и все-таки неизменно поворачивали к нему, словно подчиняясь невидимой силе притяжения его страсти.

Вокруг него то здесь, то там раздавался хруст, иногда зыркание, иногда блеянье и всплеск колоколец бредущих в папоротниках коз, но сквозь все эти звуки он четко различал ее шаги и изредка слышал ее голос, поругивавший коз: «Чтоб вас волки!..» — и снова шорох шагов и шелест раздвигаемых веток. Когда она останавливалась, чтобы сообразить, как идти дальше, он вдруг слышал высоко в небе пенье жаворонков, наводившее на него какую-то странную, неуместную грусть.

Вдруг шаги ее замолкли, и тишина на этот раз длилась гораздо дольше, чем это надо для того, чтобы оглядеться и посмотреть, как двигаться дальше, чтобы опередить коз и повернуть их назад. Он никак не мог понять, что случилось, и сам пошел навстречу, почему-то стараясь ступать как можно тише.

Он прошел шагов пятнадцать, и там, где примерно ожидал, раздвинув высокие стебли папоротника, увидел ее.

Она сидела на траве и, изо всех сил изогнувшись и придерживая обеими руками ступню правой ноги, оскалившись и даже слегка урча, грызла большой палец ноги. Маленькая ведьма, мелькнуло у него в голове, прежде чем он сообразил, что она старается извлечь занозу из ноги.

Вдруг она подняла голову и исподлобья посмотрела на него. Ничуть не испугавшись его и даже не удивившись (до то-

го она была раздражена этой занозой), она медленно опустила ногу, что-то сплюнула и сняла с кончика языка в щепотку и, снова подняв голову, просто сказала:

— Это ты? А я думала, коза...

— Я, — сказал он с глухой усмешкой и стал к ней подходить.

Она быстро встала. Он остановился.

— А что ты здесь искал? — спросила она, одновременно озираясь на невидимых коз и прислушиваясь, с интуитивной проницательностью помогая ему найти какое-то простое объяснение тому, что он оказался здесь.

— Тебя, — сказал он и, сделав еще один шаг, остановился. Теперь она была в трех шагах от него и, если б у него хватило смелости, он смог бы схватить ее прежде, чем она успела бы крикнуть или отпрыгнуть от него.

— Ну да, — протянула она, и глаза ее полыхнули такой непосредственной радостью, что он почувствовал легкость, ясность, как бы полное понимание, что иначе и не могло быть.

— Да, — сказал он, чувствуя, что владеет собой. — Хочу жениться на тебе

— Сейчас?! — спросила она, и ему показалось, что глаза ее в какую-то долю мгновенья оглядели местность в поисках гнездовья, и вдруг добавила: — А как же козы?!

Он рассмеялся, потому что это в самом деле прозвучало смешно и непонятно: то ли она имеет в виду, что нам сейчас на виду у коз жениться будет стыдно, то ли означало: «Как же я брошу коз, если мы сейчас женимся?»

Увидев, что он смеется, и поняв из этого, что ничего приятного ему, во всяком случае, она не сказала, она тоже сначала улыбнулась, словно осторожно расправила крылья, а потом рассмеялась.

Смех ее звучал с такой детской непосредственностью, что вдруг ему подумалось, а знает ли она вообще, что такое выйти замуж, и не думает ли она, что муж — это человек, который всю жизнь торчит возле нее, чтобы сбивать для нее грецкие орехи?!

А она стояла перед ним, глядя на него своими золотистыми глазами, иногда скашивая их в сторону шорохов в папоротнике, и углы губ ее слегка вздрагивали, и лицо, как всегда, дышало, и пульсировал стебелек шеи, а правая ступня осторожно ерзала по земле, и он понял, что это она потирает о землю большой палец ноги, проверяет, остался кончик занозы или нет.

Солнце уже довольно сильно припекало, и от папоротниковых зарослей поднимался тот особый запах разогретого папоротника, грустный дух сотворенья земли, дух неуверенности и легкого раскаяния.

* * *

В этот еще свежий зной, в этот тихий однообразный шелест папоротников словно так и видишь Творца, который, сотворив эту Землю с ее упрощенной растительностью и таким же упрощенным и потому, в конце концов, ошибочным, пред-

ставлением о конечной судьбе ее будущих обитателей, так и видишь Творца, который пробирается по таким же папоротникам вон к этому зеленому холму, с которого он, надо полагать, надеется спланировать в мировое пространство.

Но есть что-то странное в походке Творца, да и к холму этому он почему-то не прямо срезает, а как-то по касательной двигается: то ли к холму, то ли мимо проходит...

А-а, доходит до нас, это он пытается обмануть назревающую за его спиной догадку о его бегстве, боится, что вот-вот за его спиной прорвется вопль оставленного мира, недоработанного замысла:

— Как?! И это все?!

— Да нет, я еще пока не ухожу, — как бы говорит на этот случай его походка, — я еще внесу немало усовершенствований...

И вот он идет, улыбаясь рассеянной улыбкой неудачника, и крылья его вяло волочатся за его спиной. Кстати, рассеянная улыбка неудачника призвана именно рассеять у окружающих впечатление о его неудачах. Она, эта улыбка, говорит: «А стоит ли так пристально присматриваться к моим неудачам? Давайте рассеем их на протяжении всей моей жизни, если хотите, даже внесем их на карту моей жизни в виде цепочки островов с общепринятыми масштабами: на 1000 подлецов один человек».

И вот на эту рассеянную улыбку неудачника, как бы говорящую: «А стоит ли?» — мы, то есть сослуживцы, друзья, соседи, прямо ему отвечаем: «Да, стоит». Не такие мы дураки, чтобы дать неудачнику при помощи рассеянной улыбки смазать свою неудачу, свести ее на нет, растворить ее, как говорится, в

море коллегиальности. Потому что неудача близкого или далекого (лучше все-таки близкого) — это неисчерпаемый источник нашего оптимизма, и мы, как говорится, никогда не отрицали материальную заинтересованность в неудачниках.

Даже в самом крайнем случае, если ты — полнейший рохля, слюняй, разиня и никак не можешь использовать неудачу близкого, и то ты можешь подойти к нему и, покачав головой, сказать:

— А я тебе что говорил?

...Но все это детали далекого будущего, а пока Творец наш идет себе, улыбаясь рассеянной улыбкой неудачника, крылья его вяло волочатся за спиной, словно поглаживая кучерявые вершины папоротниковых кустов, которые, сбросив с себя эти вяло проволочившиеся крылья, каждый раз сердито распрямляются. Кстати, вот так вот в будущем, через каких-нибудь миллионы лет, детская головенка будет сбрасывать руку родителя, собирающегося в кабак и по этому поводу рефлексирующего и с чувством тайной вины треплющего по голове своего малыша, одновременно выбирая удобный миг, чтобы улизнуть из дому, и она, эта детская головенка, понимая, что тут уже ничего не поможет, отец все равно уйдет, сердито стягивает его руку: «Ну и иди!»

Но все это опять же детали далекого будущего, и Творец наш, естественно, не подозревая обо всем этом, движется к своему холму все той же уклончивой походкой. Но теперь в его замедленной уклончивости мы замечаем не только желание скрыть свое дезертирство (первое в мире), но отчасти

в его походке сквозит и трогательная человеческая надежда: а вдруг еще что-нибудь успеет, придумает, покамест добредет до своего холма.

Но ничего не придумывается, да и не может придуматься, потому что дело сделано, Земля заверчена, и каждый миг ее существования бесконечно осложнил бы его расчеты, потому что каждый миг порождает новое соотношение вещей, и каждая конечная картина никогда не будет конечной картиной, потому что даже мгновенья, которое уйдет на ее осознание, будет достаточно, чтобы последние сведения стали предпоследними... Ведь не скажешь жизни, истории и еще чему-то там, что мчится, омывая нас и смывая с нас все: надежды, мысли, а потом и самую плоть до самого скелета, — ведь не скажешь всему этому: «Стой! Куда прешь?! Земля закрыта на переучет идей!»

Вот почему он уходит к своему холму такой неуверенной, такой интеллигентной походкой, и на всей его фигуре печать самых худших предчувствий (будущих, конечно), стыдливо сбалансированная еще более будущей русской надеждой: «Авось как-нибудь обойдется...»

* * *

Солнце и в самом деле довольно сильно припекало, и от папоротниковых зарослей поднимался тот особый запах разогретого папоротника, грустный дух сотворенья земли.

Крепкие стебли папоротников, красноватые у подножия, поднимались над землей, усталанной остатками прошлогоднего по-

колени папоротников, сквозь которые просачивалась изумрудная зелень травы и совсем юные, толстые, розовые безлиственные стебельки папоротников с туго закрученными вершинами.

Один из них, нечаянно сломанный ее ногой, торчал возле нее и из его мясистого стебля сочилась густая жидкость, не то кровь, не то сок, словно из тех далеких времен, когда еще не определилась разница между кровью теплокровных и соком растений, между жаждой души и жаждой тела.

Он снова почувствовал сковывавшую сознание страсть и сделал шаг, а она не только не отодвинулась, не испугалась, а сама протянула руку и вдруг погладила, вернее, тронула его глаз шершавой ладонью. В ее прикосновении было больше трезвого любопытства ребенка, чем робкой нежности девушки. Он обнял одной рукой ее твердую ребячью спину, горячую от солнца.

— И чего ты во мне нашел, я худая, — не то предупредила она, не то сама удивилась той силе очарования, которая была заложена в ней и которая пробивалась, несмотря на худобу и юность.

«Если б я знал», — подумал он, и потянул ее к себе, и сразу почувствовал дымно-молочный запах ее тела, ее руки, легшие ему на плечи и обжигающие их сквозь рубашку, ее близкое лицо, дышащее свежим зноем, и нестерпимое любопытство ее глаз. И уже готовый на все, он все еще не решался ее поцеловать, словно свет сознания еще слишком озарял детскость и чистоту ее лица, тогда как тело его все теснее и теснее прижималось к ней, словно поток страсти прикрыл их до горла, и уже было не стыдно за то, что делается внутри этого потока, как бы мчащегося мимо сознания.

— Тссс! — вдруг просвистела она, и руки ее быстро сползли с его плеч и кулаками уперлись ему в грудь.

— Что? — спросил он, ничего не понимая и глядя на ее внезапно удалившееся лицо.

— Кто-то идет, — шепнула она и кивнула через плечо.

Он оглянулся. Сквозь ветки папоротника, на расстоянии тридцати шагов от них, виднелась каменная вершина холма, через которую проходила тропинка. Он оглядел пустынную вершину холма, покрытую редкими кустами ежевики и светящуюся печальными белыми камнями, похожими на черепа каких-то доисторических животных, и подумал, что она нарочно все это разыграла, чтобы отвлечь его, но в это мгновение на вершине холма появилась чуть сутулая фигура ее чахоточного брата.

Хорошо заметный отсюда, он подымался на вершину, заложив руки за спину, каким-то тихим, безразличным шагом, какой-то пустотелой походкой, равнодушный ко всему на свете и отдаленный ото всех выражением горькой обиды, застывшей на его худом лице и сутулой, зябнувшей даже в эту жару фигуре.

— Он же не видит нас, — шепнул Баграг и, взглянув на ее лицо, поразился выражению грусти и удаленности ее лица.

— Неужели и он умрет? — прошептала она и как-то потянулась вслед за исчезнувшим на той стороне холма братом. Баграг почувствовал укол ревности.

— Все умрем, — сказал он и ощутил, что слова его упали в пустоту.

Она все еще из-за плеча смотрела на вершину холма, за которым исчез ее брат, и покачивала головой. Он вдруг почув-

ствовал себя нашкодившим ребенком, которому открыли жестокий смысл его шутки. Она подняла глаза и посмотрела на него с грустным удивлением, словно спрашивая: «Неужели можно быть счастливыми, если рядом такое?»

Он ничего не ответил на ее взгляд, он просто растерялся. Он почувствовал, что за нею стоит какая-то сила, и растерялся от того, что не мог себе объяснить, откуда взялась эта сила в этой девочке.

— Знаешь, — сказала она ему, перестав прислушиваться и опуская голову, — лучше я окончу школу и тогда, если ты не передумаешь, возьмешь меня... А то дедушке и так.

— Что и так? — спросил он.

— Ну, сам знаешь, ему будет неприятно, — сказала она, как бы упрямая его не уточнять, что именно и почему будет дедушке неприятно. Он был уверен, что дедушка никогда не согласится отдать свою любимую внучку за него, полукровку.

— А что отец? — спросил он, удивляясь, что она говорит только о дедушке, и чувствуя, что лучше было бы в будущем иметь дело с ее отцом, чем с дедом, упрямым, как его мул.

— Ну, папа, — улыбнулась она улыбкой старшего, вспоминающего о младшем, — он-то переживет...

* * *

Весной следующего года Баграт неожиданного появился в Чегеме и взялся за мешок кукурузы вспахать приусадебный участок тети Маши.

За два дня до соревнования Тали с Цицей Баграт снова появился во дворе у тети Маши. На этот раз он принес завернутую в мешковину стопку пластинок, переложенных огромными листами тыквы. Осторожно, как яйца, вынимая их из мешковины, он, одну за другой, переиграл все пластинки. Это были записи русских, грузинских и абхазских песен. Последняя из них была записью абхазского хора песен и плясок под руководством Платона Панцулая, хотя имя его было тщательно стерто с ярлыка пластинки.

Переиграв все пластинки, он снова переложил их листами тыквы и завернул в мешковину.

— Оставил бы, — сказала тетя Маша, — небось не съедим...

— Подарю выигравшей патефон, — ответил Баграт и, осторожно взяв под мышку своей хрупкий музыкальный груз, вышел со двора.

Услышав эти слова, Талико, сидевшая тут же на шкуре тура, повалилась на спину и, лежа, подхватив гитару, сыграла «Гибель челюскинцев» — самую модную в ту пору мелодию в Чегеме. Неизвестно, откуда взялась эта грустная мелодия и в самом ли деле она была посвящена челюскинцам или это — плод фантазии чегемских девушек, но так они ее называли, и Тали играла ее лучше всех.

И вот наступил решительный день. Еще с вечера наломанные холмики зеленых табачных листьев лежали в прохладе сарая, устланного по такому случаю свежим папоротником, чтобы женщинам было в этот день мягче и праздничней сидеть и работать.

Около дюжины женщин и девушек из местной бригады, почти все родственницы, а если не родственницы, то ближайšie соседки, так вот, все они во главе с тетей Машей усердно низали табак и еще более усердно обсуждали возможности и последствия такого соревнования.

Тали была в этот день особенно хороша. Склонив свое живое, дышащее лицо со старательно прикушенным язычком над длинной табачной иглой, торчавшей у нее из-под мышки, она низала с молниеносной быстротой.

«Цок! Цок! Цок!» — с хрустом надкушенного огурчика листья нанизывались на иглу.

— Да не горячись ты, язык откусишь, — говорила ей время от времени тетя Маша, поглядывая на нее, — патефон наш...

— Да, тетя Маша, — отвечала ей Тали, — тебе хорошо говорить...

Заполнив иглу табачными листьями, она (на миг убрав язык) прижимала ее к груди и жестом лихого гармониста тремя-четырьмя рывками (шмяк! шмяк! шмяк!) сдергивала на шнур, скрипящую низку и теперь снова, прижав ее к груди, со свистом пропускала сквозь нее свободную часть шнура и таким образом, доведя ее (низку) почти до конца шнура, быстрыми шлепками ладони растягивала плотно согнанные листья до необходимой прореженности, предварительно намотав кончик шнура на большой палец ноги.

Дядя Сандро и Кунта надевали на сушильные рамы вчерашнюю низку табака. Они брали с двух концов четырехметровый шнур, тяжело прогибающийся от сырых листьев, при-

подымали его, слегка встряхивали, чтобы сразу же отпали листья, которые плохо держатся, и прикрепляли его к раме, стоящей на деревянных путях. Наполненную раму откатывали по этим путям, пока она не упиралась в предыдущие рамы, на которых сушился табак.

В полдень, когда женщины, поскрипывая одеждой, пронизанной черным лоснящимся табачным маслом «зефиром» (так его называли чегемцы), пошли к роднику умываться и перекусывать, Тали осталась в сарае. Не прерывая работу, она выпила традиционную окрошку из кислого молока с мамалыгой, которую принес ей из дому дядя Сандро.

— Не убивайся, дочка, — на всякий случай не слишком громко говорил ей дядя Сандро, — твой дед и без патефона неплохо жил.

— Все же обидно будет, — отвечала Тали, доскребывая миску и облизывая костяную ложку, — ведь я быстрее всех умею низать...

— Сама знаешь, чья дочь, — согласился дядя Сандро с неожиданной гордостью, хотя за всю свою жизнь не нанизал ни одной табачной иглы.

Дядя Сандро подсчитал ее работу. Оказалось, что Тали до полудня нанизала шестнадцать шнуров табака — примерно дневная выработка неленивой, крепкой женщины.

Вырвав клоч папоротниковых листьев, Тали обтерла руки и, достав гитару (как винтовка у хорошего партизана, гитара у нее всегда была с собой), улеглась на спину, чтобы дать немного отдохнуть затекшей спине, и сыграла «Гибель челюскинцев».

Десятилетний мальчик, приемный сын Кунты, целый день толкался в сарае и не сводил глаз с Тали. Сейчас, когда она стала играть «Гибель челюскинцев», он почувствовал, что глаза его предательски щиплет от этой сладостной грусти чужой мелодии. Мальчик боялся, что слезы его вызовут насмешку у дяди Сандро или, тем более, у Тали, и не знал, как быть, то ли сбежать, то ли, пересилив слезы, дослушать «Гибель челюскинцев». Чтобы дать стечь назад наверхившимся слезам, он поднял голову и сделал вид, что чем-то там заинтересовался. Тут его окликнул дядя Сандро и велел сходить в табачный сарай, где работала Цица, и узнать, сколько шнуров она нанизала с утра. На тот случай, если они будут это скрывать, он велел ему на глазок посмотреть, насколько велик возле нее холмик нанизанного табака.

— Вот видишь, — показал он ему на табак, нанизанный Тали, — здесь шестнадцать шнуров, а вот здесь около десяти, а вот здесь не больше восьми...

— Хорошо, — сказал мальчик и выбежал из сарая.

— Постой! — окликнул его дядя Сандро. — Если спросят, кто послал, скажи: «Никто! Гулял и зашел».

— Хорошо! — сказал мальчик и снова побежал.

— Постой! — опять остановил его дядя Сандро. — А если спросят про Тали, знаешь, как отвечать?

— Шишнадцать, — сказал мальчик.

— Дурень, — поправил его дядя Сандро, — не надо ничего говорить. Скажи, я не знаю, я там не был. Понятно?

— Да, — сказал мальчик и помчался стрелой, боясь быть снова остановленным и окончательно запутанным новыми подробностями этой интересной, но, оказывается, слишком сложной игры.

— Лучше бы сам пошел, — сказала Тали, откладывая гитару и снова берясь за иглу.

— Что ты! — отвечал ей дядя Сандро. — Как только я отсюда уйду, они шпиона запустят сюда!

Вскоре вернулись все женщины и, рассевшись по своим местам, принялись за работу. Примерно через час в сарай вошел мальчик и сказал, что у Цицы девятнадцать шнуров.

— Не может быть! — в один голос воскликнули все женщины, вскидывая головы и ощетинивая иглы.

— Постой! — гневно воскликнул дядя Сандро. — На вид как?! Горка возле нее большая?

— Горка так себе, ничего, — сказал мальчик, растерявшийся от общего возмущения.

— Ложь! Ложь! Ложь! — воскликнула Тали. — Чтобы эта дважды прокисшая, трижды протухшая низала быстрее меня?! Ей помогают!!!

С этими словами она швырнула свою иглу и, громко рыдая, пошла в сторону дома, перемежая рыдания проклятиями в адрес своей соперницы и всего охотничьего клана.

— Чтоб я вынула твое лживое сердце из груди, — рыдала Тали, — чтоб я его поджарила на табачной игле, как на вертеле...

Женщины из сарая замолкли, прислушиваясь и удивляясь свежим подробностям ее проклятий, чтобы запомнить их и при

случае применить к делу. Их прислушивающиеся лица с забавной откровенностью выражали раздвоенность их внимания, то есть на лицах было написано общее выражение жалости к обманутой Тали и частное любопытство к сюжету ее проклятий, причем частное любопытство ничуть не подозревало, что оно в данном случае неприлично или противоречит общей жалости.

— ...И чтоб я, — между тем продолжала Тали, закончив могучий аккорд рыдания, — скормила его нашим собакам! И чтоб они, — тут она поднялась на еще одну совершенно неожиданную ноту, — чавкая! Чавкая! Поедали его!

Тут сидевшие в сарае лучшие умелицы народных заклятий переглянулись. Неожиданный глагол, употребленный Тали, с плакатной смелостью вырывал крупным планом морду собаки, мстительно чавкающую лживым сердцем соперницы.

— Неплохо, — сказала одна из них и посмотрела на другую.

— Что и говорить — приклепнула, — согласилась другая.

— Что вы тут расселись, как овцы! — заорал дядя Сандро на женщин. — А ну верните ее сюда! Не дай Бог еще услышат там...

Тали вернули в сарай и, едва усадили, как оттуда раздался голос.

— Кто это там у вас плакал? — спрашивал голос женщины из сарая соперников.

— Что я говорил?! — сказал дядя Сандро и, высунувшись из сарая, крикнул своим зычным голосом: — Это Лена плакала, Лена! Чего вам?!

С этими словами он быстро поднял бинокль и направил его на сарай соседской бригады, словно хотел убедиться, какое впечатление произвели его слова на кричавшую женщину.

— Небось Макрина? — спросили из сарая.

— Да, Макрина, — сказал дядя Сандро. — Тише, она опять кричит.

Не отрывая бинокль от глаз, словно это помогало ему слушать (а это и в самом деле помогало ему слушать), он прислушался.

— А нам послышалось... голос Тали, Тали! — донесся издалека голос Макрины.

— Ха! Так и знал! — усмехнулся дядя Сандро.

— Тали плакать не с чего! Не с чего! — закричал он, глядя в заплаканные глаза своей дочери. — Тали поет и смеется!

Дядя Сандро снова посмотрел в бинокль и увидел, как женщина обернулась в сторону сарая, видимо передавая остальным его слова. Потом в бинокле появилось лицо Макрины и по его ясному озорному выражению дядя Сандро понял, что она хочет сказать что-то неприятное.

— Слышали, как она поет, слышали! — уловил дядя Сандро.

— Делом надо заниматься! Делом! Э-у-у-уй! — закричал дядя Сандро и вошел в сарай, показывая, что не хочет тратить время на пустые разговоры.

— Я всегда могу узнать, что она нанизала, а что ей подсунули, — сказала Тали, не отрываясь от работы.

В сущности, Тали была права, у каждой вязальщицы свой почерк; одна прокалывает стебелек табачного листа повыше, другая пониже, третья и так и так, четвертая, прокалывая, надламывает его и так далее. Но занятие это, конечно, хлопотное и неприятное. Лучше уж обойтись без него.

Дядя Сандро решил снова послать мальчишку в сарай той бригады, но для маскировки он уговорил Кунту через некоторое время, якобы в поисках мальчика, заглянуть туда же.

Мальчик отправился в путь, а через некоторое время за ним заковылял и Кунта. Когда дорога стала подниматься на холм, Кунта по старой привычке срезал ее, чем сильно обеспокоил дядю Сандро.

— Вот, козлиная голова, — бормотал он, следя за ними в бинокль, — смотрите, если он раньше мальчика не явится туда...

Не дожидаясь вестей оттуда, дядя Сандро вошел в сарай. Теперь он заметил, что холмик табака возле его дочки сильно уменьшился, а до вечера было еще далековато. С молчаливого согласия всех других женщин, дядя Сандро стал перекладывать ей охапки табачных листьев, наломанных другими женщинами. При этом он выбирал самые крупные листья, потому что чем крупнее лист, тем его легче нанизывать и вдобавок он сам быстрее заполняет иглу. Это уже было нарушением правил соревнования, но сравнительно небольшим. Низала-то все-таки она.

Дядя Сандро время от времени выходил из сарая и смотрел в бинокль. Наконец появился Кунта.

— Ну, что? — стали спрашивать у него нетерпеливые женщины. Вид Кунты дяде Сандро не понравился.

— Мрачный, как его горб, — сказал дядя Сандро, опуская бинокль.

Мрачность Кунты оказалась вполне оправданной. Придя в сарай, он объявил, что у Цицы нанизано тридцать два шнура.

— Ах, так! — воскликнула тетя Маша и, сдернув на свой заполненный шнур последнюю иглу, взяла его за оба конца и, не вставая, перебрала тяжелую зеленую гирлянду сидящей рядом Тали.

— И мы! И мы! — закричали все остальные женщины и, повскакав со своих мест, стали перетаскивать и перебрасывать в ее кучу нанизанный ими табак. У Тали за одно мгновение прибавилось четырнадцать шнуров табака, и она снова вышла вперед.

Тали рассмеялась сквозь слезы и, в неожиданном бравурном темпе сыграв «Гибель челюскинцев», как бы окропила женщин взаимно освежающей бодростью.

Часа через два дядя Сандро заметил в бинокль, что в табачный сарай соперников вошел председатель сельсовета Махты.

— Ну, при нем-то не будут подкладывать, — сказал он опуская бинокль.

— Что и говорить, при нем не посмеют, — согласились женщины и уже до вечера каждая работала только на себя. Дядя Сандро послеживал за табачным сараем соперников и верхнечегемской дорогой, чтобы вовремя заметить председателя сельсовета, если он покинет соседнюю бригаду до конца рабочего дня.

Уже в сумерках Тали донизывала шестьдесят шестой шнур табака. По строгим условиям договора во время соревнования низать табак разрешалось на протяжении любого времени суток без использования искусственного освещения.

Донизав шестьдесят шестой шнур, Тали схватила свою гитару и побежала домой. Ей еще надо было вымыться, переодеться и явиться в праздничном наряде для получения заслуженной награды. Она была спокойна за свой приз, по предварительным данным разведки было ясно, что Цица, несмотря на помощь родственников, никак не могла подняться выше пятидесяти шнуров.

Подобно тому, как люди, чтобы разобраться в самых запутанных проявлениях жизни, вдруг обращаются к мнению детей или заведомых глупцов, как бы чувствуя, что в данном случае к истине нельзя подойти логическим путем, а можно выхватить ее из тьмы мгновенным взглядом случайного наблюдателя, так и дядя Сандро, зажигая фонарь, чтобы приступить к пересчитыванию и перекладыванию в один ряд всего нанизанного за день табака, спросил у помогавшего ему Кунты:

— Что ты думаешь про это соревнование?

Кунта приподнял второй конец шнура, встряхнул его и, когда они, вытянув, уложили его отдельно, сказал, выпрямляясь, насколько позволял ему выпрямиться горб:

— Я думаю — соревнование вроде кровной мести... Выигрывает тот, у кого больше родственников.

Не успел дядя Сандро насладиться точностью его определения, как возле сарая раздался бодрый голос Махты:

— Искусственное освещение — запрещается!

Дядя Сандро почувствовал в его голосе знакомые интонации легкого опьянения мечтой, которые бывают у истинного алкоголика в предчувствии близкой и точно гарантированной выпивки.

Было решено (еще днем) устроить у тети Маши дружеский ужин человек на семьдесят—восемьдесят в узком кругу лучших людей обеих бригад, где Тали будет вручен патефон вместе с комплектом пластинок. По этому поводу во дворе у тети Маши уже расставляли столы, резали кур и собирали лампы из ближайших домов.

— Искусственное освещение проходит как грубейшее нарушение соцсоревнования! — продолжая восторженно витийствовать, Махты вошел в сарай и поздоровался за руку не только с дядей Сандро, но и с Кунтой.

— Смотри, дорогой, — отвечал ему дядя Сандро, приподымая фонарь и показывая, что в табачном сарае остались несметные сокровища человеческих трудов, но самих людей, нарушающих условия соцсоревнования, нет.

— Знаю, — сказал Махты и, оглядев темные сугробы неубранного табака, двинулся к выходу, — молодцы наши девочки, молодцы!

И по его восторженному голосу дядя Сандро понял, что Махты хотел сказать, а хотел он сказать, что за таких девочек сколько ни произноси здравниц, все мало будет. И тут дядя Сандро заразился его настроением.

— Давай-ка, побыстрей, — сказал он Кунте и ухватился за конец шнура.

И тут из дому раздался крик его жены. Дядя Сандро бросил шнур и выпрямился.

— Э-гей, ты! — кричала она своему мужу сквозь рыдания. — Тали там нет?!

— Какого черта! — крикнул дядя Сандро в ответ. — Она же с тобой мыться ушла!

— Ее нигде нет! — закричала в отчаянье тетя Катя, и голос ее захлебнулся в надгробных рыданиях.

— Как нет?! — проговорил дядя Сандро, и фонарь дрогнул в его руке. — А ну, держи!

Он передал фонарь Кунте и кинулся к дому.

Когда он прибежал домой, тетя Катя сидела на крыльце, бесильно опустив руки на колени и горестно покачивая головой.

Вот что она ему рассказала и впоследствии много раз пересказывала, и с годами воспоминания ее не только не потускнели, а, наоборот, обрастали все новыми и новыми свежими подробностями, которые она в тот час не могла вспомнить или даже считала неуместным вспоминать.

Оказывается, после окончания работы, прихватив свежую одежду, девочка вместе с матерью пошла к роднику. Там они развели огонь, нагрели воду, и девочка, сбросив свое прозефиренное платье, как обычно, вымылась в зеленом шалашике из ольховых веток. Здесь обычно мылись все женщины.

Ничего особенного тетя Катя за ней не заметила, только обратила внимание на то, что Тали очень торопится и что на левой ноге ее, повыше колена, отпечатался след папоротниковой ветки. (Интересно, что, по словам чегемских старожил, раньше тетя Катя, рассказывая об этом, простодушно оголяла ногу и показывала место, где отпечатался этот след. Ваш скромный историограф никогда этого не наблюдал не потому, что отворачивался в этом месте из присущей ему скромности,

а потому, что тетя Катя уже в наше время, несколько раз при мне рассказывая эту историю, просто указывала рукой на то место, где, по ее мнению, отпечатался символический знак. Да и вообще было бы странно ожидать от спокойной, мягкосердечной старушки столь резких экстравагантных жестов.)

Значит, тетя Катя во время купания своей дочки заметила этот след и сперва не придала ему значения, ну, подумаешь, отсидела ногу. Хотя со свойственной ей естественной непоследовательностью она тут же добавляла, что этот след от папоротника на нежной ноге ее дочки ей сразу же не понравился, и она нарочно терла его мочалкой, но он никак не отмывался.

— Да, видно то, что напечатано судьбой, — говаривала тетя Катя, вздохнув, — никакой мочалкой не ототрешь, да я-то не знала об этом...

Потом, по словам матери, девочка быстро обтерлась полотенцем, и тут-то несчастная мать (по словам той же несчастной матери) снова обратила внимание на то, что след от папоротниковой ветки все еще держится на невинной ноге ее дочки, но, видно, ничего уже нельзя было сделать, судьба набирала скорость, как машина, выехавшая из города.

— Хотя кто ее знает, — добавляла она, задумчиво вздыхая, — может, если б отпарить ногу, и обошлось бы...

Одним словом, что говорить... Тали надела на себя крепдешиновое платье (почти неношеное), красную шерстяную кофту и красные туфли, привезенные из города беднягой Хабугом (вовсе не надетые ни разу), и, даже не высушив голы, кинулась к Маше.

— Куда ты простоволосая, там чужие! — крикнула тетя Катя ей вслед. Но девочка уже перемахнула через перелаз и исчезла между высокими стеблями кукурузы.

— Гребенку забыла! — крикнула Тали сквозь шелест кукурузы, и больше она ее голоса не слышала.

Тут тетя Катя обернулась к костру и увидела, что сброшенная слишком близко от огня рабочая одежда ее дочки уже тихо тлеет и дымится. Только она подбежала к ней, как, пыхнув и обдав ее смрадным дыханием старого курильщика, платье ее превратилось в пепел.

— Одно к одному. — возвращалась к теме судьбы тетя Катя, как бы издали глядя на тот вечер, тот шалашик для купания, тот костер, — она-то выбросила одежду из шалаша не глядя, но я-то почему сразу не подобрала ее платье?

Тетя Катя никак не могла понять, что это все означает, хотя уже тогда чувствовала какую-то тревогу. Она загасила огонь, набрала в кувшин воды и крикнула наверх, чтобы Тали возвращалась. Тут сверху раздался голос Маши, и она сказала, что Тали к ним еще не заходила. Тут тетя Катя вовсе перепугалась, но все-таки подумала, что девочка побежала ко двору тети Маши и, увидев, что там много народу, в самом деле постыдилась своей мокрой нечесаной головы и прямо кукурузой, чтобы срезать дорогу, побежала в сторону дома. Что было делать? Ее несчастная мать с тяжелым кувшином на плече, с нижним бельем девочки, но без ее рабочего платья, которое, как она уже говорила, в пепел обратилось, ни разу не останавливаясь, поднялась до дома.

— Тали! — крикнула она, входя во двор, но никто ей не ответил. И тут ноги ее ослабли, но она все-таки дотащила кувшин до кухни и бросилась в комнату девочки. Смотрит — гитара висит над постелью. Наклонилась — чемодан под кроватью.

Не могла же, думала тетя Катя, девочка сбежать с кем-нибудь, не прихватив смены белья?! И все-таки не по себе ей было, все не шел у нее из головы этот проклятуший след от папоротниковой ветки на нежной ноге ее девочки, повыше колена.

Она вышла на веранду и, увидев, что в табачном сарае мелькает свет, решила, а вдруг девочку для чего-то позвали туда. И тут она крикнула мужу и, услышав его ответ, совсем упала духом.

Разумеется, все это она с такими подробностями рассказывала позднее, а, когда прибежал дядя Сандро, она ему только в двух словах изложила суть дела, а про след от папоротниковой ветки даже не упомянула.

— Дура ты! — прикрикнул на нее дядя Сандро. — Там сейчас народу!!! Наверное, забились где-нибудь и обезьянничает с девчонками перед зеркалом!

С этими словами он быстро направился к дому тети Маши. Там уже почти все были в сборе, столы были расставлены, и женщины то и дело выносили из кухни закуски и ставили их на столы. Дядя Сандро осмотрелся, рефлекторно оценил закуски и определил эпицентр пиршества, то есть место тамады, то есть свое место, и, вздохнув, подозвал тетю Машу.

Тетя Маша вышла из кухни, румяная от огня и рассеянная от сосредоточенности на предстоящем веселье. Дядя Сандро рассказал ей о том, что Тали где-то исчезла.

— Да здесь где-нибудь, — ответила тетя Маша, оглядывая столы и стараясь вспомнить, чего где не хватает.

— Фонарь мне! — крикнул дядя Сандро, и один из молодых людей, прислушивавшийся к их разговору, побежал на кухню и вынес фонарь. Через мгновение все знали о том, что Тали исчезла.

Полдюжины молодых людей во главе с дядей Сандро спустились к перелазу. Оттуда, подымаясь вверх по утопанной тропе, они быстро нашли место, где Тали сошла с тропы и, глубоко вдавливая ноги в мягкую пахоту, пошла по полю, местами разрывая плети фасоли и огурцов.

— Фить! — присвистнул один из парней и, наклонившись, поднял огрызок огурца с хвостиком.

— Она! — воскликнули все в один голос, потому что у огрызка был очень свежий вид.

— Или ее украли, или ничего не случилось! — воскликнул один из молодых чегемцев, прозванный Скороспелкой за быстроту и легкомыслие умственных соображений.

— Раз она сорвала огурец, значит, она не знала, что ее украдут, — пояснил он свое предположение, показавшееся дяде Сандро не очень убедительным.

Тут некоторые согласились с этим предположением, что девушка, решившая бежать со своим возлюбленным, не станет по дороге прихватывать огурчики, но некоторые, остановившись, стали спорить в том смысле, что все бывает на свете. Тем более она в этот день сильно намаялась и, может быть, очень хотела пить.

Дядя Сандро двинулся дальше, не выпуская из света фонаря следы своей дочки. Через две минуты эти следы привели к заднему крыльцу дома тети Маши. Тут дядя Сандро страшно повеселел, решив, что это одна из ребячьих затей его дочки.

— Она где-то здесь прячется! — воскликнул он и, передав фонарь своему наиболее воинственному племяннику Чунке, вбежал в дом.

Перевернули все комнаты, даже влезли на чердак, но ее нигде не было. Желание спокойно посидеть за праздничным столом, где именно его выбрали бы тамадой, было у дяди Сандро настолько велико, что это желание порождало все новые и новые надежды, что с дочкой ничего не случилось, и сейчас все выяснится, и все дружной гурьбой направятся к столам. Дядя Сандро вспомнил, что под домом стоит колода для выжимки винограда. Наверное, она туда влезла, подумал он, и, спрыгнув с крыльца, пригнувшись, полез под дом. Подойдя к колоде, он сдернул с нее старую коровью шкуру, грозно сказав при этом:

— Вылезай, вертихвостка!

В тот же миг из колоды шарахнулась собака и, обдав его какой-то тухлой, с воем выбежала в кукурузник.

— Чтоб тебя!.. — выругался дядя Сандро и уныло поднялся в дом, где не только не нашли Тали, а, наоборот, обнаружили, что исчез патефон, хотя пластинки остались на месте, если не считать, что в суматохе одна из них сломалась.

Тут всем стало ясно, что дело плохо, и стали искать ее обратные следы и, конечно, их быстро обнаружили. Прямо с патефоном в руке она спрыгнула с крыльца и приземлилась в трех ме-

трах от него на тыквенный куст. Дальше следы ее (теперь более глубокие из-за патефона, как радостно пояснили чегемские детективы) вели к самому глухому углу приусадебного участка.

Тут страшный шум поднялся во дворе тети Маши. Женщины выли, мужчины кричали, чтобы их отпустили, и они тут же уничтожат весь род этого паршивого полукровка. Как только кто-нибудь начинал кричать, чтобы его отпустили, на нем мгновенно повисали три-четыре человека, так, чтобы всем ясно было — не отпускают парня, а то наделал бы он делов. Интересно, что, пока успокаивали и гасили этот очаг гнева, неожиданно загорался один из гасивших, словно в него влетела искра из этого очага, и теперь все кидались успокаивать его, а погашенный очаг как-то стыдливо смолкал и отходил в сторону, словно говоря: ну что ж, пусть более разгневанный и, значит, более достойный отомстит. Это не мешало ему после некоторой передышки иногда снова загореться и броситься мстить оскорбителю и, когда его схватывали успокаивающие и как бы говорили ему своими удивленными взорами, ведь мы тебя уже успокоили, он, продолжая неистовствовать и кричать, отвечал им глазами, мол, не виноват, оказывается, там еще оставался огонь, оказывается, вы меня не до конца загасили.

Особенно неистовствовал Чунка. Он порвал на себе рубашку и дал в воздух два выстрела из своего кольта, чем перебудил всех окрестных шакалов, и они уже до утра не переставали выть и перелаиваться с чегемскими собаками.

Услышав этот шум, тетя Катя все поняла и с громкими рыданиями, время от времени зовя свою дочь, стала подходить к дому тети Маши.

— Та-ли! — кричала она, как бы выплескивая из рыданий имя дочери.

— А-а-а, — рыданьем отвечали женщины со двора тети Маши, как бы говоря ей: и мы скорбим с тобой, и мы, как видишь, не сидим сложа руки.

Словом, все шло как надо. В таких случаях младшие представители рода, сверстники украденной девушки, должны проявлять неслыханное бешенство, тогда как старшие представители рода должны скорбеть и стараться ввести это бешенство в разумные рамки кровной мести.

К большому горю, как это часто бывает, примешались досадные мелочи, в данном случае смешные претензии охотничьего клана. Представители его по мере накала драмы умыкания стали все громче, все увереннее роптать на то, что Талико, сбежав замуж за парня из другого села, не имела права забирать с собой патефон.

— Но ведь она его выиграла?! — удивлялись родственники Тали. — Ведь она была нашей колхозницей?!

— Нет, — отвечали упрямы из охотничьего клана, — побег явно был задуман раньше соревнования, значит, мысленно она уже была там...

— Да что там спорить, — притворно вздыхали родственники девочки, — патефон-то теперь не вернешь, но вот пластинки, те, что еще не разбили, можете взять.

Такое ехидство представителям охотничьего клана показалось нестерпимым, и они обратились за помощью к самому Тенделу, все-таки Цица была его прямой внучкой. Но Тендел

неожиданно отмахнулся от них — возможность поохотиться за живым умыкателем девушки вызвала в нем прилив такого бескорыстного азарта, что он остался совершенно холоден к возможности получения патефона. Он даже как бы недопонял юридическую зацепку, найденную представителями охотничьего клана.

— Гори огнем ваш патефон! — даже прикрикнул он на них. — Вы что, не видите, что творится?!

Наконец, представители во главе с Тенделом, с криками, со стрельбой из пистолетов, выхлестнули со двора тети Маши, а председатель сельсовета напутственно кричал им с веранды:

— Вперед, ребята! Только мою стахановку не пристрелите!

Топча ни в чем не повинную кукурузу, преследователи добежали до плетня, через который перемахнула беглянка. Сразу же за плетнем протекала речушка, один из маленьких притоков Кодора. Все перешли речку и тут на глинистом берегу обнаружили следы девичьих ног, неожиданно превращающиеся в лошадиные копыта.

— Здесь он ее втащил к себе в седло, — сказал Тендел, а молодые представители рода заскрежетали зубами в знак ненависти к умыкателю. Впрочем, судя по следам, здесь было две лошади, так что втаскивать девочку к себе в седло Баграту не было никакой необходимости. Стали изучать, куда ведут следы, и обнаружили, что лошади, некоторое время потоптавшись на берегу, вошли в воду.

— Чтобы скрыть следы! — воскликнул Тендел и разделил преследователей на две группы, чтобы одна шла вверх по тече-

нию, а другая — вниз. Сам он возглавил группу, которая шла вниз по течению, в наиболее вероятном направлении беглецов. Неудивительно, что именно с ним оказался и Чунка, не перестававший напоминать о том, как он всегда ненавидел Баграта, и дядя Сандро, который с удовольствием пошел бы вверх по течению, но боялся, как бы эти чересчур разгоряченные юноши не наделали бед.

Преследователи затихли, удаляясь в погоне, как бы углубляясь в смысл своего предназначения, а оставшиеся во дворе бессмысленно топтались на месте, на виду у накрытых столов, озаренных уже не только лампами, но и полной луной, появившейся из-за холма. И тут слово взял председатель сельсовета.

— Друзья мои, — сказал он, — ушедшие ушли, а мы давайте займем места за этими столами. Если они вернут нашу девочку в целости — пиршество будет в самый раз. Если не вернут — будем считать этот стол поминальным.

С этими словами он слез с веранды и первым занял место под самой большой лампой у самого ствола лавровишни. За ним устремились остальные мужчины, как бы радуясь, что им наконец дали углубиться в свой смысл, и одновременно удивляясь приятной мудрости председателя сельсовета.

Все быстро расселись за столами, и только ближайшие родственники ели и пили на кухне, потому что в таких случаях чегемские обычаи хотя прямо и не запрещают застолья, но считают, что вроде бы не с чего ближайшим родственникам особенно распускать пояса.

Только бедная тетя Катя молча стояла у плетня и смотрела в ту сторону, куда ушли преследователи. Она тихо плакала, вре-

мя от времени переходя на мотивы похоронного песнопения. Было велено не трогать ее, но из уважения к семье и роду издали следить, чтобы она не наложила на себя руки. Конечно, никто не верил, что она так прямо и покончит жизнь самоубийством, но это считалось наиболее тактичным выражением сочувствия горю матери. Этим обычаем чегемцы как бы говорили тете Кате: «У тебя такое большое горе, что неудивительно, если бы ты попыталась покончить жизнь самоубийством. Но ты этого не делаешь только потому, что знаешь, что мы за тобой следим и не позволим тебе наложить на себя руки».

Между тем настроение застольцев быстро улучшалось. Ночные бабочки кружились не только вокруг ламп, но и вокруг светящихся розовой «изабеллой» стаканов, путая метафизический свет вина с прямым источником света.

Иногда сидящие за столом вдруг спохватывались и, требуя тишины, прислушивались к ночным шумам, как бы улавливая какие-то таинственные подробности погони: то ли крик, то ли ржанье лошади, то ли выстрелы. Через мгновение все убеждались, что все это им примерещилось, зато получалось, что сидящие за столом не просто сидят и пьют, но одновременно и тревожно бдят, духовно сочувствуют в погоне.

А тосты делались все длинней и длинней, так что пьющим приходилось время от времени прерываться, чтобы пальцем вытащить из стакана и стряхнуть вконец осатанелых мотыльков.

Особенно они не давали покоя председателю сельсовета Махты, потому что он сидел возле самой большой лампы и дольше всех говорил, подняв стакан.

— И чего это они во мне нашли, — бормотал он, отмахиваясь от бабочек и то и дело вытаскивая их из стакана.

— Свет ты наш, — не то объяснила тетя Маша причину обилия мотыльков вблизи председателя сельсовета, не то пошутила. Во всяком случае, она велела одной из своих богатых дочерей, а именно Маяне, стоять с домотканым полотенцем позади Махты и отмахивать от него бабочек. Простодушная Маяна некоторое время хорошо смахивала мотыльков, но потом зазевалась и свеела со стола вместе с бабочками лампу, жареную индюшку, несколько бутылок с вином и тарелку с хачапури.

— Уж лучше бабочки, — сказал председатель сельсовета, застыв в оскорбленной неподвижности, пока вокруг него собирали разбросанные закуски и тарелки. Юную великаншу пришлось прогнать домой, и она ушла, ворча:

— А что я такого сделала?

Глядя на ее могучую спину и высокую шею древнегреческой статуи, гости и в самом деле понимали, что она могла и поосновательней перетряхнуть эти сдвинутые столы.

— Друзья мои, — сказал Махты после того, как на его участке стола кое-как восстановили порядок, и застолье приняло характер совершенно узаконенного оптимизма... — Друзья мои... — повторил он, чтобы несколько сбавить гул этого оптимизма, — независимо от исхода мужественной погони наших людей (тут раздались рыдания тети Кати, все еще стоявшей у плетня), рекорд нашей прекрасной девочки никто не умыкнет, он всегда с нами!

После этого тоста ровное и сильное течение веселья никто не прерывал. Кстати, кто-то, взглянув на высокую зеркальную луну, вдруг вспомнил, что именно с этого слова девочка начала свое членораздельное общение с людьми и вот теперь в такое же полнолуние она выскочила замуж, из чего следует, что провидение уже тогда намекнуло на то, что сбьлось через пятнадцать лет.

Но тут кто-то заспорил, что, может быть, все это и не совсем верно, потому что у нее уже была попытка сбежать с сыном мельника, так что, может, ее и теперь вернут, а, стало быть, луна здесь ни при чем.

Воспоминание о сыне мельника вызвало к жизни другую, не менее таинственную догадку, а именно, что каждый раз вместе она бежит со своей музыкой: в тот раз гитара, теперь — патефон. С каким же инструментом, весело гадали гости, она сбежит в третий раз, если ее сейчас вернут?

Этот вопрос очень долго занимал застольцев, хотя по части музыкальных инструментов, надо прямо сказать, в Чегеме не густо — абхазская чамгури, греческая кеменджа у нескольких греческих семей, живущих здесь, да международная гитара. Так что неудивительно, что один из чегемцев в конце концов сделал смелое предположение, что в следующий раз Та-ли, должно быть, доберется до районного пианино, стоящего в кенгурийском Доме культуры.

Одним словом, весело коротали ночь те, что сидели за столом. И только тихо всю ночь плакала тетя Катя, стоя у плетня и глядя туда, куда ушли преследователи, молча плакала богатырская девушка Лена, прикрыв голову овечьей шкурой,

чтобы не слышать застольный шум, и всю ночь стонал пастух Харламно, потому что ночь его была полна сладостных, но, увы, даже во сне недоступных видений.

Преследователи во главе с Тенделом шли вниз по течению реки, утешая себя мыслью, что лошади по такому каменистому руслу реки далеко уйти не смогут.

Километрах в пятнадцати от Чегема речушка эта с неожиданной яростью, низвергнувшись с порога, втекала в узкое ущелье. Так что, по мнению Тендела, здесь они должны были выехать на берег и уже дальше двигаться, оставляя на земле свои предательские следы.

Но, увы, подойдя к грохочущему водопаду, они убедились, что к берегу не ведут никакие следы. Некоторые из преследователей, особенно Чунка, все норовили сверху заглянуть в дымящуюся и грохочущую двадцатиметровую бездну, словно этот безумец мог со своей юной полонянкой и патефоном спланировать туда, распластав полы своей бурки. Возможно, Чунка — самый яростный из преследователей — заглядывал туда с тайной надеждой увидеть внизу, в водовороте бочага, кружащийся край башлыка затонувшего похитителя. Но не было никаких следов удачного или неудачного полета в бездну, и преследователи повернули обратно.

— Где-то проворонили следы! — крикнул Тендел сквозь грохот воды и, ничуть не смущаясь неудачей, наоборот, с еще большим энтузиазмом повел преследователей обратно.

В самом деле, на обратном пути он нашел место, где Баграт рискнул выйти из воды и напрямик подняться по очень круто-

му, поросшему самшитовыми кустами берегу. Тут все, кроме Чунки, стали в один голос утверждать, что лошади здесь подняться не смогли бы, до того им самим неохота было влезать на этот очень уж крутой и дикий берег. Но Тендел нашел лошадиные следы, и преследователям ничего не оставалось, как перейти речку и карабкаться за своим предводителем.

— С его окаянной силищей, — говорил Тендел, подтягиваясь и продираясь сквозь ошетиленные кусты самшита, — он их волоком мог поднять...

Между тем подыматься становилось все труднее и труднее.

Преследователи, несколько поостывшие от усталости, вскоре окончательно истратили всю свою ярость на бесплодную борьбу с неожиданно хлещущими по лицу ветками рододендрона и лавровишен, на отдиранье от одежды колких ежевичных веток и плетей лиан.

— Смотрите! — неожиданно крикнул Тендел и обернулся к своим товарищам. Он победно сжимал в ладони красный клочок от кофты Талико. Этот клочок передали дяде Сандро, чтобы он его признал, хотя и так было ясно, это ее кофта. Дяде Сандро ничего не оставалось, как признать кофту, и он, не зная, что делать с этим странным трофеем, положил его в карман.

Через некоторое время еще несколько клочков от кофты были переданы дяде Сандро, причем каждый раз Тендел, полный охотничьего азарта, передавал ему эти куски одежды с таким победным видом, словно был уверен, что девочку можно вернуть, если не целиком, то хотя бы по частям.

— Платье пошло! — крикнул Тендел и передал назад клочок материи, словно вырванный точным и сильным движением.

— Наверно, лошадь неожиданно дернулась, — гадая и дивясь лентообразной форме оборванного лоскутка, говорили преследователи.

— Если так пойдет, — сказал кто-то осторожно, — он ее к месту как раз голенькой и довезет.

Неизвестно, до чего бы дошутились усталые преследователи, если бы идущий впереди Тендел знаками не показал, что надо остановиться и молчать. Все остановились и стали следить за старым охотником, стараясь подальше заглянуть, но ничего, кроме каштановых деревьев, они не увидели.

А между тем сам Тендел, время от времени оборачиваясь, знаками показывал, что видит что-то очень важное, может быть, даже самого похитителя, пытающегося использовать доверчивость бедной девочки.

Так почему же, все больше и больше волнуясь, думали преследователи, он, старый охотник, метким выстрелом не прервет подлые ласки негодяя или, в крайнем случае, не даст посмотреть, что происходит?!

Вот что говорили они без слов, нетерпеливыми знаками обращаясь к охотнику. Наконец Тендел позволил им подойти. Перед преследователями открылась маленькая лужайка, окруженная каштановыми деревьями, поросшая густой травой и устланная прошлогодними листьями каштана.

Посреди лужайки стоял юный кедр, возле которого виднелись заросли черники. Именно в сторону этого юного кедра и показывал Тендел, знаками объясняя, что если это случи-

лось, то случилось именно там. После этого он, знаками же велел всем стоять на месте, сам осторожно подошел к юному кедру. По его словам, он сразу же заметил, что к этому кедру были привязаны лошади, а потом, раздвинув кусты черники, он увидел зеленое пространство, очищенное от палых листьев, скорее даже отвейное любовным вихрем. Два куста были до того измочалены, что даже старый Тендел представил, с какой же силой надо было держаться за них, чтобы не взлететь в небо.

Тендел повернулся и, уже не затаивая шагов, задумчиво подошел к своим спутникам.

— Что же там случилось? Скажешь ты нам наконец или нет? — спросил Чунка, теряя терпение.

И Тендел сказал. Да, в этот час он, вздорный охотник, произнес слова, исполненные достоинства и красоты даже по мнению придирчивых чегемских краснобаев.

— Друзья мои, — сказал он, — мы хотели пролить кровь похитителя нашей девочки, но не ее мужа...

— А-а-а, — догадались преследователи, как бы с облегчением сбрасывая с себя оружие, — значит, успел?

— Даже не спрашивайте! — подтвердил Тендел, и все стали спускаться вниз.

Окончательно успокоенные прытью влюбленных, преследователи с чистой совестью возвращались домой. (Кстати, много лет спустя, Баграт одному из своих друзей признавался, что шум, поднятый погоней в ту ночь, служил им прекрасным ориентиром безопасности.)

Одним словом, преследователи, умиротворенные усталостью, пробирались к реке. И только Чунка никак не мог угомониться.

— Хоть бы лошадей постыдились! — ворчал он теперь на обоих, продираясь сквозь кусты лавровишни.

— Это уже придирка! — защищал влюбленных старый Тендел. — Нечего стыдиться — муж и жена!

— Да, но подальше могли привязать лошадей, — никак не мог успокоить Чунка свое мрачно бушующее воображение.

— За людьми, можно сказать, войско гналось, — громко спорил Тендел, — а он будет думать, где лошадей привязывать...

Когда они спустились к реке, неожиданно над их головой, видно спросонья, вылетел орел, и Чунка, выхватив свой кольт, одним выстрелом убил могучую птицу, что его как-то сразу взбодрило, и он перестал ворчать. Он положил на плечи убитого орла, сцепил на горле когти птицы, наподобие железных застежек, и, придерживая огромные крылья, как края боевого плаща, возглавил шествие.

Когда они приблизились к дому тети Маши, солнце уже вставало из-за горы. Тетя Катя все еще стояла у плетня и ждала. На рассвете, смиренные вином и усталостью, гости разошлись, остались только ближайшие соседи и родственники.

Юные великанши убирали со столов, то кладя в рот, то отбрасывая собравшимся окрестным собакам куски ночной трапезы. Одна из них доила корову, поймав ртом и прикусив надоевший ей хлещущий хвост коровы и, продолжая доить,

озиралась уса­тым ли­цом на тех, кто с ве­ран­ды сле­дил за воз­вра­щаю­щи­ми­ся прес­ле­до­ва­те­ля­ми.

Убе­див­шись, что доч­ки сре­ди воз­вра­ща­ю­щи­х­ся нет, тетя Катя за­кри­ча­ла, как кри­чат по усоп­шей. Тетя Ма­ша под­бе­жа­ла к ней и ста­ла ее успо­каивать, по­гла­живая ру­кой по спи­не и лас­ко­вым го­ло­сом при­зы­вая ее к стой­ко­сти. Осталь­ные че­ге­м­цы, те, что оста­ва­лись у тети Ма­ши, бы­ли стра­шно заин­те­ре­со­ва­ны, что это там за штука сви­са­ет с плеч Чун­ки.

— Ч­тоб я умер, если это не орел, — на­ко­нец ска­зал один из них.

— Орел, да не тот, — съ­яз­вил пред­ста­ви­тель охот­ни­чь­е­го клана, гля­дя на брон­зо­вею­щую рябь ут­рен­не­го сол­нца, иг­раю­щую на крыль­ях уби­той пти­цы.

На сле­ду­ю­щее ут­ро бед­ня­га Хар­лам­по с го­ря объ­елся грец­ки­ми орехами. Он их ел, не прерыва­ясь, с утра до пол­уд­ня. В пол­день силь­ное мас­ло грец­ко­го ореха ударило ему в го­ло­ву, и он бро­сил­ся за одной из коз, как раз Та­ли­ной любимицей, шея ко­то­рой была пе­ре­вя­за­на крас­ной лен­точ­кой, вернее, не са­ма шея, а обо­док про­во­ло­ки, на ко­то­рой висел ко­ло­коль­чик.

Впо­след­ствии мно­гие го­во­ри­ли, что, не будь на шее этой козы крас­ной лен­точ­ки, может быть, как-ни­будь и про­нес­ло бы. Но тут он взгля­нул на эту крас­ную лен­точ­ку, и парь оре­хо­во­го мас­ла под че­реп­ной ко­роб­кой да­ли вз­рыв.

И вот он помчал­ся за этой ко­зой, ко­то­рая, не будь ду­рой, то­же да­ла стре­ка­ча. Сна­ча­ла они пробе­жа­ли по всей де­рев­не, увле­кая за со­бой собак, но по­том, то ли он ее за­гнал на тропу,

ведущую к мельнице, то ли она сама туда завернула, неизвестно, но коза, Харлаμπο и свора собак, бежавшая следом, устремились вниз по крутой, винтообразной тропе.

Несмотря на шум мельничных колес, на мельнице их услышали еще до того, как что-нибудь поняли. Все, кто там был, высыпали наружу, прислушиваясь к приближающемуся визгу и лаю собак. Они решили, что собаки случайно подняли в лесу кабана, выгнали его на тропу и теперь всей сворой мчатся за ним и вот-вот выскочат из-за утеса перед самой мельницей.

Ружья ни у кого не было, но кое-кто держал топоры или палки. Впрочем, богатырской мощи Гераго хватило бы, чтобы одним пинком подбросить кабана в воздух.

Никто ничего не понял, когда из-за утеса выскочила обыкновенная коза с испуганно дребезжащим на шее колокольчиком. Она пробежала мимо людей, юркнула в помещение мельницы, разбросала головешки костра, обожглась и неожиданно прыгнула в бункер, откуда зерна ссыпались под жернов.

Через мгновение из-за утеса появился Харлаμπο со сворой собак, бегущей за ним. Тут все поняли, что случилось что-то ужасное, а некоторые, узнав своих собак, стали их подзывать и успокаивать с попыткой хоть что-нибудь у них выведать.

Но ни пастух, ни взволнованные собаки ничего толком не могли передать собравшимся у мельницы.

— Ты чего?! — крикнул Гераго, могучими объятиями перехватывая пастуха.

— Пусти! — кричал Харлаμπο, пытаясь вырваться и глядя безумными глазами в дверной проем, откуда, в свою очередь,

время от времени высовывалась из бункера козлиная голова. Задние ноги козы были зарыты в кукурузу, а передние все соскальзывали с крутых, отшлифованных годами досок бункера, имевшего форму перевернутой пирамиды.

Передние ноги, выбивая костяную барабанную дробь, выкарабкивали козу настолько, что она высовывала голову, но тут она соскальзывала вниз и, выплескивая золотистые фонтанчики кукурузы, снова начинала свой безумный бег на месте, чтобы в конце концов высунуть голову из бункера, увидеть Харлампо и снова рухнуть. Все это видел Харлампо, глядя в дверной проем налитыми кровью глазами.

— Что она тебе сделала?! — допытывался Гераго, все крепче и крепче прижимая к себе пастуха.

Ничего вразумительного не сумев ответить на вопрос мельника, пастух продолжал яростно барахтаться в его объятиях. Коза тоже продолжала свой безумный бег на месте, топоча копытцами по стенке бункера, иногда со скоростью пулеметной дроби и все время выплескивая задними ногами золотистые струйки кукурузы, которые иногда вылетали из дверей мельницы, что в конце концов вывело из себя даже уравновешенного мельника.

— Веревки! — гаркнул Гераго и, тут же положив на землю бедного Харлампо, туго запеленал его, благо на мельнице всегда полно веревок, которыми закрепляют кладь на спинах животных.

Неожиданно один из старых крестьян быстро нагнулся и понюхал Харлампо.

— Ха, — сказал он, — все ясно — ореховое одурение!

Тут все стали наклоняться и нюхать бедного Харлампо, убеждаясь, что от него разит орехом, как от свежерасщепленного орехового ствола. По совету того же крестьянина, который догадался понюхать его и вообще оказался неплохим знатоком Ореховой Дури, Харлампо перенесли и опустили в ледяную воду ручья, питавшего мельницу. С его же одобрения Гераго осторожно, чтобы не повредить внутренних органов, положил на пах пастуха пятипудовый запасной мельничный жернов, чтобы, с одной стороны, плотнее заземлить молнию безумия, а с другой, чтобы самого Харлампо не смыло течением. Голова Харлампо была так обложена камнями, что он даже при желании не мог захлебнуться.

Сутки пролежал в воде в таком положении пастух, и каждый, кто видел его здесь, поражался, что мельничный жернов, лежащий на его паху, продолжает вибрировать, выдавая внутреннюю работу безумия, и только к концу следующего дня жернов перестал вибрировать, и Гераго, осторожно просунув в него руку, приподнял его и, взглянув на спокойно всплывшее тело перевязанного пастуха, ухватился другой рукой за веревки и так и вытащил на берег одновременно и жернов и пастуха.

Впоследствии, когда кто-нибудь из чегемцев начинал хвастаться силой мельника, хотя мельник и не был чегемцем, но, обслуживая одновременно свое село и Чегем, он как бы отчасти принадлежал и чегемцам, так вот, когда чегемцы рассказывали о его силе, они часто приводили в пример, как он запросто вытащил из воды пятипудового пастуха и пятипудовый

мельничный жернов одновременно. При этом рассказчик не забывал указывать и на крутизну берега, куда мельник должен был подняться со своим десятипудовым грузом.

Надо сказать, что обычно слушатель пропускал мимо ушей замечание относительно крутизны берега, что было не вполне справедливо. Но, с другой стороны, и слушателя можно было понять, потому что он никак не мог взять в толк, какого черта мельничный жернов оказался лежащим на пастухе, а сам пастух при этом оказался лежащим в воде.

Рассказчику, конечно, только этого и надо было, и он всю эту историю рассказывал с самого начала, что мы в данном случае не собираемся делать, а просто сами подключаемся с того места, на котором остановились.

Таким образом, после того как жернов перестал вибрировать, бедного Харлампо вытащили из воды, развязали и всю ночь отогревали на мельнице у хорошо разложенного костра.

— Сердце мое разорвалось, — к утру, отогревшись у огня, сказал он почему-то по-турецки. Было похоже, что вместе с ореховым безумием ледяная вода ручья, промывая ему мозги, случайно вымыла оттуда знание абхазского языка, правда, довольно слабое, но для пастуха и тем более грека вполне достаточное. Впрочем, чегемцы довольно хорошо знают турецкий язык, так что им никакого труда не составляло общаться с притихшим Харлампо.

Утром Харлампо отправили назад, дав ему в руки веревку, к которой была привязана коза, кстати, тоже успокоившаяся. За это время она не только успокоилась, но даже отчасти

и отъелась, потому что пасти ее тут было некому, и Гераго, держа ее на привязи, кормил ее чистой кукурузой.

На всякий случай через некоторое время следом за ними поднялся наверх и один из чегемцев, который как раз смолол свою кукурузу. То погоняя своего ослика, то слегка придерживая его, он, по его словам, издали следил за пастухом и его козой, но ничего особенного ни в поведении пастуха, ни в поведении козы не заметил.

Единственное, что, по его словам, можно было сказать, это то, что коза время от времени озиралась на Харлампо и, фыркнув, шла дальше, а пастух никакого внимания на нее не обращал.

Кстати говоря, когда решили отправить Харлампо вместе с козой, Гераго, проявив удивительную чуткость, как бы даже не обязательную для человека столь могучего сложения, не только догадался снять с ободка на шее козы красную ленточку, но и самый колоколец намертво заткнул пучком травы, чтобы тот своим звучанием не будил в нем горьких воспоминаний.

В стаде старого Хабуга было пять коз с колокольцами на шее, и дядя Сандро, следуя доброму примеру Гераго, на всякий случай заткнул и остальным козам язычки колоколец пучками травы.

Ко всему случившемуся, в доме с ужасом ждали приезда старого Хабуга, которого все это время не было дома, он отдыхал в горах на Кислых водах. На восьмой день после побега Талли (тетя Катя, вопреки очевидности, все еще называла его умыканием) старый Хабуг въехал во двор на своем муле. До-

машинные так и не решились сообщить ему о случившемся, а узнал ли он сам об этом, сейчас никто не догадывался.

Скорбно поджав губы, тетя Катя вышла ему навстречу. Харлампо как раз перегонял через двор стадо коз со зловеще обеззвучными колокольцами.

— Это еще что? — спросил Хабуг, кивнув на стадо.

— Попали в дурную историю, — вздохнула тетя Катя, в то же время не решаясь сказать что-нибудь более определенное.

— А козы при чем? — спросил старик.

— Наш бедняга-то, — слегка кивнула она назад в сторону Харлампо, показывая, что присутствие самого пастуха мешает ей говорить более определенно.

Старый Хабуг молча спешился, кинул поводья невестке, и, когда стадо устремилось в открытые ворота, он стал вылавливать из него коз с колокольцами на шее, освобождая их от травяного кляпа. Нисколько не удивляясь вновь зазвеневшему стаду, Харлампо прошел мимо старого Хабуга за своими козами.

— Ничего, вытерпит... Не князь Шервашидзе, — сказал старый Хабуг, выпрямляясь, и выразительно взглянул на тетю Катю, из чего она сразу поняла, что старик все знает.

Так и не присев, старый Хабуг нагрузил своего мула двумя мешками грецкого ореха и десятью кругами копченого сыра, прихватил с собой метрику внучки и табеля об ее успеваемости и отправился в Кенгурск. Старик знал, что Советская власть очень не любит, когда девочек до совершеннолетия выдают замуж, и поэтому надеялся отсудить внучку и, если повезет, арестовать соблазнителя.

К вечеру он был у ворот дома кенгурийского прокурора. Прокурор лично вышел из дому и подошел к воротам.

— Что тебя привело? — спросил он, поздоровавшись и открыв ворота. Впуская во двор нагруженного мула, он пытался по форме клады угадать содержание просьбы старого Хабуга.

— Это правда, — спросил старый Хабуг, войдя с мулом во двор, но останавливаясь у самых ворот, — что эти не любят, чтобы девочки замуж выскакивали, пока не войдут в тело?

— Ни секунды не сомневайся, — отвечал прокурор и с жадностью посмотрел на нагруженного мула, взглядом стараясь облегчить его участь.

— Тогда помоги мне, — сказал Хабуг, и они вместе с прокурором разгрузили мула.

Войдя к нему в дом, старый Хабуг показал свидетельство о рождении своей внучки, выданное чегемским сельсоветом, и табеля об успеваемости, на каждом из которых был начертан афоризм Лаврентия Берии: «Героизм и отважность школьника — учиться на отлично». (Кстати, из этого афоризма никак нельзя понять, что думал всесильный министр о героизме и отважности школьников. Через множество лет, после его ареста, выяснилось, что у него был весьма своеобразный взгляд на природу героизма и отважность школьников, во всяком случае, некоторых.)

Табеля об успеваемости девочки не очень заинтересовали прокурора, но свидетельство о рождении он долго рассматривал и даже, приподняв, проверил на свет.

— Считай, что девочка у тебя в кармане, — сказал он, возвращая табеля и прихлопывая метрику как стоящий документ, который он оставляет для борьбы.

— Приезжай, как только я дам знать, — сказал прокурор, выпроваживая старого Хабуга.

Хабуг сел на своего мула и в ту же ночь возвратился домой.

Сама по себе попытка отсудить внучку после всего, что случилось, была для тех времен необыкновенно смелой. Но Хабуг так любил свою внучку, что был уверен, что ее побег — следствие ее доверчивости, доброты, то есть ошибка, которую надо исправить, так верил в необыкновенность ее достоинств (в чем был прав), что ни капли не сомневался в ее счастливом будущем, если ее удастся отсудить. То, что она может стать счастлива с человеком, с которым она бежала, вытеснялось, вышвыривалось из сознания самой силой его любви, его горькой обиды, что все это произошло слишком рано и без его ведома.

Десять дней подряд плакала тетя Катя у кровати своей дочери, разложив на ней ее вещи, фотографии, пластинки с речами товарища Сталина, причем разбитая пластинка тоже лежала возле остальных, как бы символизируя катастрофу, вместе с красными лоскутками кофточки и лентообразным клоком крепдешинового платья.

В поминальном речитативе тети Кати мотив безвременно оборванного детства занимал главное место. («Еще не высохли косички на кукурузных початках, которые ты заплетала.

Еще не перестали сосать козлята, которых ты впервые ткнула в сосцы их матери... Ой, да пусть высохнут сосцы твоей матери, хоть и так они ссохлись давно... Ой, да еще не высохли чернила в твоей чернильнице, еще хочет ручка твоя клювиком поцокать о дно чернильницы, а ты ее бросила... Как ястреб цыпленочка, растерзал тебя злой лаз, только перышки до бедной матери долетели...»)

В этом месте она обычно задумчиво брала в руки лоскутки ее последней одежды и, подержав в руке, перекладывала на другое место, как бы давая всей этой драматической экспозиции, не меняя основного тона, несколько новый узор.

На пятый день дядя Сандро заметил, что в поминальный речитатив стал с некоторой блудливой настойчивостью вкрадываться (видно, сама чувствовала, что переступает границу, но гипноз творчества всасывал) мотив бедного, безвременно осиротевшего вождя, который от чистого сердца прислал ей свой голос, а она его бросила, как бросила свою бедную мать.

— Оставь его, ради Бога! — гремел дядя Сандро, заставляя ее за этим мотивом. — Какой он тебе бедный! В Сибирь захотела?!

Не прерывая речитатива, услышав голос мужа, она отходила от этого мотива, но, как понимал дядя Сандро, продолжала кружиться в опасной близости.

В ближайшие дни поминальное песнопенье все больше и больше насыщалось прозаической мыслью, что девочка, почти голая и босая, без смены белья, оказалась на чужбине.

Этот мотив настолько отяжелил ее песнопенье, что в конце концов мелодия шлепнулась на землю, и голос тети Кати, начав с риторического вопроса: «Разве ты отец?» — перешел на ежедневный ритм домашней пилы.

Дядя Сандро был вполне готов, раз уж так случилось, передать чемодан с вещами своей дочке, но он и в самом деле не знал, где она. Были извещены родственники во всех селах, чтобы в случае чего они передали родителям, где Тали. Но никто ничего не знал.

И только через месяц стало известно, где скрылся Баграт со своей возлюбленной. Он увез ее в село Члоу. Хотя Тали ни разу за это время не выходила из дому, куда он ее привез, ее обнаружили по одному забавному признаку.

Сама-то она, конечно, из дому не выходила, но местная молодежь, как это принято, заходила к молодоженам. Вскоре на всех вечеринках села Члоу стали раздаваться рыдающие звуки «Гибели челюскинцев», что не могло не дойти до Чегема.

Однажды ночью чемодан с вещами был переправлен в село Члоу, а через неделю молодые переехали к себе домой. Переправлял чемодан, конечно, Кунта. Кстати, в виде платы за переправку чемодана он выпросил у тети Кати осколки разбитой пластинки, говоря, что они ему нужны для одного дельца, а для какого — не сказал. Впоследствии оказалось, что он пытался расплавить в сковороде осколки этой пластинки и облить этой расплавленной массой дырки в своих старых резиновых сапогах.

Бедняга Кунта почему-то решил, что резиновые сапоги и патефонные пластинки сделаны из одного и того же материала. Но оказалось, что материал, из которого сделаны пластинки, хотя и хорошо размягчается на огне, но с резиной никак не склеивается. Кунта был сильно раздосадован этой неудачей, и, думая, куда бы приспособить куски разбитой пластинки, он придумал использовать совершенно необычный для чегемских условий запах подгорелой пластинки.

Дело в том, что его кукурузное поле беспокоил дикий кабан. В двух-трех местах плетня, обращенного к лесу, он раздвигал прутья, влезая в поле, и жрал кукурузу, подрыв стебли с самыми крупными початками. Кунта правильно сообразил, что если запах подожженной пластинки совершенно незнаком жителям Чегема, то окружающему животному миру он должен быть тем более незнаком и тем более должен вызывать его опасение.

Кунта развел огонь у этого плетня и, размягчив осколки пластинки, обмазал ими те места в ограде, куда обычно устремлялся кабан. Хотите верить, хотите нет, но расчет его оказался верным — в тот год кабан больше не беспокоил его поле. А в следующие годы дядя Сандро обменивал ему пластинки за разные хозяйственные услуги. Одной пластинки вполне хватало на один год. Разломав пластику на две части, он дважды обмазывал ими опасные места на своем кукурузном поле: в первый раз, когда кукурузные початки выбрасывали косички, и второй раз, когда початки успевали поспеть, но еще недостаточно просохли для сбора урожая.

Пока Тали бежала с Баграмом и пряталась в селе Члоу, слава ее, как одной из лучших низальщиц табака, вышла из укрытия, ибо нет более противоестественных вещей, чем слава и подполье. Так вот слава ее вышла из укрытия и в виде большого газетного снимка в республиканской газете «Красные субтропики» пробежала по всей Абхазии.

Уже из дома мужа в селе Наа она была приглашена в Мухус на слет передовиков сельского хозяйства, где, рассказывая о своих успехах, назвала тетю Машу своей учительницей по низанию табака.

Кстати, фотография получилась на редкость удачная. В доме дяди Сандро она до сих пор хранится под стеклом и даже на пожелтевшей поверхности дрянной газетной бумаги до сих пор видно, как трепещет, как дышит ее лицо.

Она изображена хохочущей амазонкой с табачной иглой, торчащей из-под мышки в виде копья, и нанизывающей этим копьём сердцеобразные табачные листья. При некотором воображении эти табачные листья можно принять за расплюснутые сердца поклонников, которые она нанизывает на свое копьё. Это тем более допустимо, что и табачные листья, между нами говоря, липовые, потому что, когда ее снимали, табака уже не было, так что не растерявшийся фотокор вручил ей горсть платановых листьев, чем, кстати говоря, и вызвал ее неудержимый хохот на фотоснимке.

После появления газетного снимка дядю Сандро неожиданно возвысили и сделали бригадиром бригады, где так славно проявила себя Талико. Тетя Катя достала номер газе-

ты со снимком и включила его в свою поминальную экспозицию, не смущаясь, что хохочущая мордочка ее дочки рядом с красными (отчасти смахивающими на кровавые) лоскутками ее кофты уничтожает зловещий смысл последних вещественных доказательств ее умыкания.

Она упрямо продолжала утверждать, что дочь ее была взята насильно, что лоскутки от кофты и платяя лучше всего доказывают ее героическое сопротивление варварскому натиску этого лаза.

Теперь она редко, примерно раз в неделю, пускалась в поминальный плач. Чаще всего плач ее теперь был обращен к газетному снимку, как к наиболее свежему малооплаканному предмету. Иногда ее плач обрывался совершенно не подходящей фразой:

— Вроде бы похудела, бедняга...

Она поближе к глазам подносила газету и подолгу рассматривала снимок дочки. А иногда, бывало, взгляд ее переходил на снимок исполненного мужества и доблести бойца интербригады. Он был помещен на этой же газетной странице.

С некоторой материнской ревностью она подолгу рассматривала его, не понимая, кто на нем изображен, но чувствуя, что человек этот, судя по виду, может постоять за себя и за своих близких и, видно, совершил много подвигов, раз его поместили в газете с гранатами и с винтовкой.

— Хоть бы за такого вышла, дурочка... — говорила она с некоторой грустью и добавляла, подумав: — Да кто такого нам даст...

После появления снимка в газете старый Хабуг ожил больше всех. Не дожидаясь вызова кенгурийского прокурора, он оседлал своего мула и приехал к нему уже без всякой клади, а только положив в карман газету с изображением внучки.

Теперь, думал он, слава его внучки облегчит ему возвращение. Но все получилось наоборот. Когда он подъехал к воротам дома, навстречу ему вышла жена прокурора и, извиваясь от стыда («Извиваясь от бесстыдства», — говаривал потом старик, рассказывая об этом), стала уверять, что прокурора нету дома, что он завтра будет у себя в кабинете и что он вообще теперь про дела разговаривает только у себя в кабинете.

Тут старый Хабуг понял, что дело плохо, но решил подождать до следующего дня. В самом деле, прокурор на следующий день у себя в кабинете принял старого Хабуга и объяснил ему, что теперь, когда девочка получила такую славу, никого судить нельзя, потому что Эти этого не любят еще сильнее, чем когда несовершеннолетних девочек умыкает какой-нибудь бездельник. Кстати, добавил он, умыкание тоже не получается...

— Почему? — спросил старик, едва сдерживая бешенство, потому что никак не мог взять в толк, как это трудовая слава его внучки укрепляет позиции этого чужеродца, а не родных девочки, которые ее воспитали.

— Патефон, — сказал прокурор с притворным сожалением, — если б она не потащила патефон туда, где он ждал ее с лошастью...

Прокурор, разговаривая с Хабугом, то и дело отрывал глаза от газетного снимка, который положил перед ним старик, и снова углублялся в рассматривание снимка, что явно не содействовало продвижению дела и еще сильнее раздражало старика.

— Сдался вам этот патефон, — процедил Хабуг, пытаясь еще раз в нужном направлении повернуть мысли прокурора, — это можно сделать так: она несла его домой, а этот парень на полпути схватил ее вместе с патефоном... Свидетели будут...

— Нет, — сказал прокурор, на этот раз даже не отрываясь от снимка.

— Метрику! — гаркнул старик, вырывая у прокурора газету и складывая ее.

— Вот, пожалуйста, — сказал прокурор, вынимая метрику из ящика стола и протягивая ее старику, — я бы сам, но сейчас нельзя...

— Пришло нашего горбуна, вернешь все, что взял, — сказал Хабуг и, не оборачиваясь, тяжело зашагал к дверям.

— О чем говорить, — догнал его прокурор в дверях, — я даром копейки не беру.

В самом деле, через несколько дней Кунта вывез из дома прокурора два мешка грецких орехов и девять кругов сыра, ибо десятый, как ему объяснили, был уже съеден. Дядя Сандро считал, что десятый круг сыра был задержан в счет юридической консультации. Чтобы не злить упрямого Хабуга, он велел тете Кате и Кунте не говорить, что прокурор недодал десятый круг сыра. В свою очередь, тетя Катя, когда раскрыла мешки с орехами и увидела, что там не высокосортный чегемский орех, а более грубый низинный орех села Атара, не стала об этом говорить дяде Сандро, чтобы не раздражать его. Вполне возможно, что жена прокурора, которая возвращала ясак, просто спутала географию приношений.

Дни шли. Постепенно рана, нанесенная Багратом, заживала в душе тети Кати. Во всяком случае, в один прекрасный день она убрала в комод всю свою поминальную экспозицию, а портрет дочери, вырезав из газеты, поместила в рамке под стеклом.

Пожалуй, больше всех переживал старый Хабуг, хотя ни разу никому не пожаловался на свою обиду. Единственное, что было замечено всеми, это то, что он не выносит вида узловатых веревок из дома тети Маши. В самом деле у тети Маши еще несколько лет применялись в хозяйстве веревки, бугристые от многочисленных узлов: последняя память коварных игр Баграта.

На следующий год в один из летних дней, когда вся семья сидела на кухне и обедала, вдруг у самых ворот дома раздались два выстрела. Все замерли.

Первой, в чем дело, догадалась тетя Катя.

— Выйди-ка, — сказала она мужу, и лицо ее посвежело от вдохновенного любопытства.

Дядя Сандро выбежал к воротам, где всадник из села Наа прятал в кобуру пистолет и одновременно пытался успокоить свою перепуганную лошадь.

— Наша Тали двоих мальчишек родила! — крикнул он и, подняв лошадь на дыбы, повернул ее и погнал обратно по верхнечегемской дороге.

Дядя Сандро так и замер, изобразив руками жест гостеприимства, мол, въезжай во двор, а там поговорим. На самом деле, жест этот, конечно, был условным: без достаточно сложного церемониала примирения ни один родственник Баграта не мог

переступить порог Большого Дома. Да и сам этот вестовой дяде Сандро не понравился. Его джигитовка в непосредственной близости с хвастливым сообщением о благополучных и обильных родах как бы отдаленно намекала на какие-то особые достоинства их рода, мол, и лошади под нами играют так, как мы хотим, и женщины наши рожают лучшим образом.

Дядя Сандро был, конечно, рад, что его дочурка удачно родила. Но зачем же перед ним, великим Тамадой, так выламываться? Попался бы ты мне, думал дядя Сандро, за хорошим столом, я бы тебя заставил похлевать собственную блевоту.

— Ну как?! — нетерпеливо встретила его у порога тетя Катя. Дядя Сандро молча вошел в кухню. Обстановка была сложной: с одной стороны, радостная весть, с другой стороны, неизвестно, что скажет отец, который больше всех переживает побег внучки.

— Двоих мальчиков родила, — бодро сказал дядя Сандро, войдя в кухню и садясь у огня, — для начала неплохо...

— Бедная девочка, — тихо запричитали бабка и тетя Катя.

Старый Хабуг молчал. Видно, шутка дяди Сандро никак его не развеселила. Пообедав, он молча еще некоторое время посидел у очага, а потом вышел на веранду, взял свой топорик на плечо и пошел в лес, где он рубил колья для фасольных подпорок.

— Ты куда?! — спросила у него бабка, хотя и так знала, куда он идет. Просто ей, как и всем в доме, надо было узнать, что делать с этой новостью, как вести себя дальше по отношению к Тали.

— Это Наа — маляринная дыра, — сказал старик, не оборачиваясь, и вышел за ворота.

Старушка вошла в кухню и передала слова старого Хабуга. Все поняли, что это начало прощения. Слова его можно было и даже отчасти надо было понимать как намек на приглашение внучки приехать с детьми на лето в Большой Дом.

Чегемцы, которые во всем всегда ищут дополнительный смысл, узнав, что такая юная девочка, как Тали, родила двух мальчиков, решили что это неспроста, что, видно, здесь каким-то образом сказалось место, где произошла ее первая брачная ночь. В то лето к юному кедр, под которым расстелил свою нетерпеливую бурку Баграт, поистине была проложена народная тропа.

Оказалось, что этот кедр так богат выделениями сочной огнелюбивой смолы (некоторые говорили, что он стал таким после привала влюбленных), что любая его веточка, подожженная с одной стороны и воткнутая другой в землю или в щель дощатой стены, горела как свеча, фонарик или факел в зависимости от своей толщины.

Кстати, о существовании таких особенно просмоленных экземпляров хвойных деревьев пастухи хорошо знают и часто пользуются ими на альпийских лугах в качестве осветительных приборов.

Но всем, особенно женщинам, хотелось думать, что этот кедр совсем особый. В конце концов некоторые из них дошли до того, что стали тайно пить отвар из душистых веток этого кедра, и от них разлило крепким скипидарным духом, но откуда он

взялся, этот дух, многие тогда не догадывались. И только через год, когда тетя Маша родила близнецов, но, к великому сожалению ее, опять девочек, она призналась, что попивала этот самый отвар. Чегемцы, по-прежнему собиравшиеся во дворе тети Маши, увидев этих двойняшек, считали своим долгом напомнить ей испытанную чегемскую теорию формотворчества женщин, которую она напрасно пыталась перехитрить.

Удивляясь ее непонятливости, они снова и снова ей объясняли, что никакой отвар не может менять данную Богом или природой (тут чегемцы не видели принципиальной разницы) чадотворящую форму. В лучшем случае, говорили они, отвар может только прочистить, привести в рабочее состояние ту форму, которая есть. Кстати, так и получилось, говорили они, намекая на близнецов, усилив свою чадотворящую форму, ты добила, что она тебя зарядила сразу двумя девочками.

— Стало быть, так оно и есть, — отвечала тетя Маша и, вывалив могучие груди, приставляла к ним поднесенных младенцев. Близнецы одновременно приникали к грудям, уставив друг в друга алчный глаз, как бы тускло вспоминающий собрата по доземной жизни, но не выражающий по этому поводу никакой радости и, главное, никак не собирающийся по этой причине делиться с ним благами этой жизни.

Этот взгляд младенцев, сосущих молоко из грудей матери и одновременно одним глазом посматривающих друг на друга, приводил в восторг добродушных дочерей тети Маши.

— Эх, время, в котором стоим, — говорили некоторые чегемцы по этому же поводу. Впадая в обратную крайность, они

связывали алчные взгляды младенцев с братоубийственными делами, которые уже наступили в более низинных местах и могли вот-вот подняться до уровня Чегема.

— Небось всем хватит, — и вовсе ничего не понимая, говорила тетя Маша, опуская глаза на детей... А потом, обращаясь к кому-нибудь из дочерей по привычке добавляла: — Принесла бы чего-нибудь там пожевать, что ли...

* * *

Здесь мы оставляем чегемцев, тем более что они прекрасно обходятся без нас, однако в нужном месте мы к ним еще вернемся, если, как говорят, Бог даст сил и при этом никто их не отнимет.

А сейчас мы покидаем Чегем, ибо пусто даже в любимом Чегеме без Тали, без ее живого голоса, без ее утешающей душу улыбки. И да простят мне читатели эту бессмысленную грусть, ибо даже придворный историограф имеет право на минутную слабость, разумеется, если в самой этой слабости он находит силу хотя бы издали, хотя бы едва заметным кивком подтвердить уверенность в конечной победе пролетариата. И мы кивком (при свидетелях) подтверждаем эту уверенность, оставляя за собой чашечку кофе по-турецки и небольшое право на личную грусть.

Содержание

Глава 1. Сандро из Чегема	8
Глава 2. Дядя Сандро у себя дома	29
Глава 3. Принц Ольденбургский	68
Глава 4. Игроки	104
Глава 5. Битва при Кодоре, или Деревянный броневик имени Ной Жордания	135
Глава 6. Чегемские сплетни	191
Глава 7. История молельного дерева	231
Глава 8. Пир Валтасара	312
Глава 9. Рассказ мула старого Хабуга	388
Глава 10. Дядя Сандро и его любимец	485
Глава 11. Тали — чудо Чегема	547

Литературно-художественное
издание

искандер
фазиль абдулович

собрание

сандро из чегема 1

Редактирование и корректура

Мария Богданович,

Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Верстка

Роман Терешин

Изд. лиц. № 0985 от 17.02.2000.

Подписано в печать 08.06.03.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага для ВХИ.
Гарнитура Петербург. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 30,1. Тираж 3000 экз.
Заказ № 393.

Издательский Дом «Время».
113326, Москва, ул. Пятницкая, 25.
Телефон: (095) 231 1877.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Качество печати соответствует качеству
предоставленных диапозитивов.
<http://www.uralprint.ru>
e-mail: book@uralprint.ru

ISBN 5-94117-070-X



9 795941 170707